

ЧАЙКА – АЛЬМАНАХ

№ 8

Июль – Декабрь

2018

CHAYKA – ALMANAC n 8

July 2018 – December 2018

Copyright © 2019 Irina Chaykovskaya

Editor: Irina Chaykovskaya

Cover Illustration: Portrait of Nina Alovert by Akimov. ©Nina Alovert

Layout: Alex Marin

Printed in the United States of America

CreateSpace Independent Publishing Platform

North Charleston, SC

All stories, memoirs, and poems are copyright of their respective creators as indicated herein.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior permission from the author(s).

Library of Congress Control Number: 2016901652

ISBN-13: 978-1793203953

The Publisher and author(s) don't have any liability nor responsibility to anyone or entity to any damages, loss, etc. from the content of this book.

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ
Выходит два раза в год

ЧАЙКА

№ 8
июль – декабрь
2018

Проза
Стихи
Статьи
Эссе
Интервью

Редактор-составитель
ИРИНА ЧАЙКОВСКАЯ

Содержание

Предисловие редактора	8
<i>Лариса Миллер.</i> О сколь удивителен мир	10
ЧАСТЬ 1. ПАМЯТЬ.	11
<i>Наум Рошаль.</i> Из книги воспоминаний. Война. Эвакуация	12
<i>Александр Экмекчи.</i> Вера	20
<i>Евгения Народицкая.</i> Рута Ванагайте: «Человек не может поверить, что его, невинного, просто так возьмут и убьют»	28
<i>Григорий Яблонский.</i> Рута Ванагайте, «паршивая овца» литовского народа	34
<i>Инна Шифанова.</i> Цветочный остров памяти: Немцов мост	39
ЧАСТЬ 2. IN MEMORIAM. 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА	45
<i>Соня Тучинская.</i> Десять лет без Солженицына	46
<i>Михаил Синельников.</i> В день столетия Солженицына	56
<i>Семен Резник.</i> Что значил Солженицын для меня и моего поколения	58
ЧАСТЬ 3. ИЗ ДНЕВНИКОВ И АРХИВОВ	67
<i>Ирина Роскина.</i> Об Александре Галиче. К 100-летию со дня рождения А.А. Галича	68
<i>Ольга Трифонова-Танган.</i> Как художники пережили войну. Дневники А.Нюренберга. 1941 год	78
<i>Ксения Кривошеина.</i> «Портрет госпожи Т.»	101
<i>Евсей Цейтлин.</i> Эмиграция как сон. Из дневников этих лет	110
ЧАСТЬ 4. РОССИЯ, АМЕРИКА И МИР	131
<i>Евгений Терновский.</i> Русский барин. Николай Иванович Раевский	132
<i>Ренэ Герра.</i> Русский Монпарнас. Русские художники и писатели-эмигранты в Париже	137
<i>Ирина и Жиль Марк Фужерон.</i> Неизвестные деятели русской культуры: Сергей Карцевский	150
<i>Лев Бердников.</i> Несостоявшаяся Лилипутия	156

<i>Ольга Соловьева.</i> О начале «модной» питерской зимы. Из заметок на коленке	161
<i>Сергей Бычков.</i> Объединительный, но не примиривший. Киев – Париж	165
<i>Роман Солодов.</i> Лавочник в мировой политике	169
<i>Виктор Родионов.</i> Жизнь в розовом цвете. Мона Бисмарк	173
<i>Александр Сиротин.</i> Одиннадцатая заповедь	179
ЧАСТЬ 5. НАШИ ИНТЕРВЬЮ	185
<i>Даши Кашина.</i> Энвер Измайлов – недоступная звезда.....	186
<i>Евгения Народицкая.</i> Где был Бог во время Холокоста... Интервью с Александром Городницким.....	190
ЧАСТЬ 6. КИНО И ТЕАТР	195
<i>Нина Аловерт.</i> Ленинградские театры 60-70 гг. Из альбома театроведа и фотографа	196
<i>Борис Фогель.</i> Московские театры 2018. Дифирамб Вере Васильевой	204
<i>Евгений Соколинский.</i> Французские штучки. Ростан и Мольер на петербургской сцене	211
<i>Сергей Линков.</i> Здравствуй, Шлема, с днем рождения! Спектакль о Михоэлсе в Бостоне	222
<i>Александр Сиротин.</i> Дядя Ваня на Манхэттене.....	228
<i>Элеонора Мандалян.</i> Кинообозрение от Элеоноры Мандалян. Где и как рождаются звезды (и рождаются ли).....	234
<i>Ирина Чайковская.</i> Раздайте патроны, поручик Голицын! О фильме «История одного назначения»	243
ЧАСТЬ 7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО	249
<i>Вера Чайковская.</i> Антропное самомнение. Полемические заметки.....	250
<i>Игорь Волошин.</i> Эпизод из жизни еврейского художника Уильяма Гроппера	257
ЧАСТЬ 8. ПРОЗА	261
<i>Натан Шиллер.</i> Мой друг Эдик (дебют)	262
<i>Ксения Дуртай.</i> Object time (дебют).....	266
<i>Сергей Брус.</i> Каиново семя (дебют)	274
<i>Николай Толстиков.</i> Маэстро	281

<i>Лев Альтмарк. Последний бой Рона</i>	286
<i>Григорий Писаревский. Ночные тени</i>	294
<i>Яков Фрейдин. Мой Друг Пупок</i>	302
<i>Александр Романов. Окна напротив</i>	307
<i>Вадим Чирков. Для сердца уголок</i>	313
<i>Вера Чайковская. Гадкий утенок. Сергей Прокофьев и Мира Мендельсон</i>	318
<i>Игорь Троицкий. Сын чекистов</i>	327
<i>Наталья Замулка-Дюбуше. Воздушный поцелуй французским коровам</i>	337
<i>Наум Белог. Юбилей. Из Одесских историй</i>	340
<i>Николай Боков. Мысли. Чехов как медиум. Лара и Лолита. Одинокий воин. Колеса Солженицына</i>	347
<i>Ирина Чайковская. На реках вавилонских</i>	352
<i>Виолетта Гребельник. Один день Леонардо. Хроника изменённых имён, но не изменённых событий. Отрывок из повести</i>	363
ЧАСТЬ 9. ПОЭЗИЯ	378
<i>Саша Немировский. Полоний</i>	380
<i>Юрий Хейфец. Два стихотворения из сборника «Сто стихотворений»</i>	382
<i>Александр А. Пушкин. 25 декабря 1825</i>	384
<i>Татьяна Белянчикова. Он говорит: убогая</i>	385
<i>Валентин Нервин. Две скрипки</i>	386
<i>Валерий Скобло. Новогодние грезы</i>	387
<i>Владимир Спектор. Мы лишние люди</i>	389
<i>Виктор Райзман. Три Отечества</i>	390
<i>Борис Зорькин. Здравствуй, Джерри</i>	391
<i>Григорий Оклендский. За годом год</i>	393
<i>Михаил Гаузер. Из Адама Мицкевича (с польского)</i>	395
<i>Галина Ицкович. Эдна С. В. Миллей в переводах Галины Ицкович</i>	396
ЧАСТЬ 10. ПУТЕШЕСТВИЯ	399
<i>Лейла Александер-Гарретт. Иван-чай</i>	400
<i>Сергей Голлербах. Путевые заметки: Акапулько</i>	413

<i>Маргарита Кайдун. В Мехико</i>	417
ЧАСТЬ 11. ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ.....	423
<i>Олег Лузанов. Дед Мороз</i>	424
<i>Александр Ралот. Сказка-загадка</i>	430
<i>Евгений Ушан. Звездный котенок</i>	433
ЧАСТЬ 12. ЮМОР	435
<i>Александр Матлин. Войти в реку времени</i>	436
<i>Андрей Семенович. Опера «Моби Дик» в городском театре</i>	442
<i>Григорий Яблонский. Голая правда, или новое «Новое платье короля»</i>	446
<i>Олег Пряничников. Спор</i>	450
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	452

Предисловие редактора

Дорогие друзья, в этот раз наш Альманах включил произведения 63 авторов из 9 стран. Страны хочется назвать. Это Америка, Россия, Украина, Израиль, Англия, Германия, Франция, Италия и Новая Зеландия.

Среди традиционных рубрик, таких, как «Память», «Россия, Америка и мир», «Из дневников и архивов», «Кино и Театр», «Изобразительное искусство» – всего рубрик 11 – вы увидите новую: «Наши интервью». Киевская корреспондентка журнала Даша Кашина взяла интервью у известного гитариста-виртуоза Энвера Измайлова, а Евгения Народицкая из американского Рок-Айленда – у знаменитого питерского поэта и барда Александра Городницкого.

Обращаю Ваше внимание на несколько интереснейших материалов. Это отрывок из альбома театроведа и фотографа Нины Аловерт «Ленинградские театры 60-70-х гг». Мы поместили в Альманахе отрывок-воспоминание Нины Николаевны о режиссере ленинградского театра Комедии Николае Павловиче Акимове. Николай Акимов был не только прекрасным режиссером, но и замечательным художником и сценографом. Благодарим Нину Аловерт за предоставленный нам для воспроизведения ее портрет кисти мастера. Портрет Нины Аловерт, помещенный на обложке Альманаха, написан в легкой гротескной манере, с дружеским юмором и огромной симпатией к модели. Другие работы Акимова-художника сопровождают главы нашего Альманаха, украшая и обыгрывая их содержание.

Еще два прекрасных материала пришли к нам из Франции. Это очерк Евгения Терновского о Николае Ивановиче Раевском, потомке знаменитейшей русской дворянской фамилии, и статья известного собирателя раритетов Ренэ Герра «Русский Монпарнас» с большим количеством бесценных иллюстративных материалов.

Как всегда мы даем слово debutантам. В этот раз среди debutантов ЧАЙКИ оказался 96-летний Натан Шиллер со своим рассказом «Мой друг Эдик». Его рассказ соседствует с debutным произведением молодой и современной Ксении Дуртай «Object time», которое кому-то может показаться излишне «модерновым». В числе debutантов

выступил и священнослужитель Сергей Брус. Он написал достойный рассказ, потому и оказался в числе наших авторов.

Раздел «Поэзия» как обычно составлен на основе нашей постоянной журнальной рубрики «Одно стихотворение». Стихотворение любимой нами поэтессы Ларисы Миллер вынесено за рамки раздела и предшествует всему Альманаху. Нам бы хотелось, чтобы его первая строчка «О сколь прекрасен этот мир» стала эмблемой всего нашего сборника.

По традиции завершает наш Альманах раздел «Юмор», и это не случайно. Мы очень хотим, чтобы чтение наших Альманахов повышало ваше настроение и давало новый импульс для жизни и радости.

И в заключение – моя благодарность всем тем, кто помогал и помогает в создании журнала и Альманаха. Это члены редколлегии – Элеонора Мандалаян, Александр Сиротин, Евсей Цейтлин, Сергей Бычков и Николай Боков. Отдельно благодарю Евсея Цейтлина за его замечания, ценные советы и постоянное доброжелательное участие в нашей работе. Огромное спасибо Марку Мейтину за его безотказную деятельную помощь. И – моя сердечная благодарность Алексу Марину, мужу и помощнику во всех делах!!!

Приятного чтения!

Ирина Чайковская

Большой Вашингтон,
Январь 2019

Лариса Миллер

Москва, Россия



О сколь удивителен мир

«What a wonderful world»

Louis Armstrong

О сколь удивителен мир,
Чьи воды всё то отражают,
Чем нас небеса поражают:
Оттенки и птичий пунктир.
О сколь удивительны мы!
О как мы легко забываем,
Что мы на краю, а за краем
Бескрайние залежи тьмы.
О как грандиозен рассвет,
Который всегда наступает
И мраку нас не уступает,
Сводя его тихо на нет.
О как изумителен тот,
Кто эту волынку затеяв
И бедами землю засеяв,
Заставил сиять небосвод.

Часть 1. Память



Николай Акимов. Эскиз костюма Палача для спектакля «Дракон» по Е. Шварцу в Ленинградском театре Комедии. 1944

Наум Рошаль

Б.Вашингтон, США

Из книги воспоминаний. Война. Эвакуация

Я, Рошаль Наум Романович, 1926 года рождения, из Белоруссии. Я написал воспоминания о моей жизни в трех частях. 14 ноября 1943 года я был призван в Красную армию. Воевал в составе войск 1-го Украинского фронта. Мне повезло, я остался жив. Я не журналист, не писатель. Я – строитель. Всё, о чем я написал, это – моя жизнь, У меня хранился небольшой блокнот, который помог мне всё это написать. Мне очень хочется, чтобы пережитое на этом трудном отрезке моей жизни ни в коем случае не пришлось бы пережить моим детям и внукам.

3

...В этот же вечер 22 июня 1941 года дядя проводил меня на вокзал, посадил в поезд и отправил домой в Петриков. Поезд, как никогда, был полным. Люди сидели на полу, стояли в проходах, в тамбуре вагона не пройти, стояли на откидных площадках сцепки.

Ночью 23 июня поезд прибыл на станцию Муляровка. Пешком, как и все пассажиры, к своему дому я добрался под утро и постучал в окно. Папа открыл мне дверь. За меня все беспокоились и радовались моему возвращению. 23 июня немецкие самолёты появились над нашим городом.

В последующие дни они беспрепятственно бомбили аэродром, завод и военную флотилию. Все эти объекты примыкали к району нашего рабочего посёлка. При налете немецкой авиации все жители посёлка спасались от бомбёжек на берегу реки Припять, так как её берег крутой и являлся хорошим укрытием. Все бежали к берегу, дети плакали, стоял невыносимый рев от немецких самолетов и душераздирающий вой от несущихся к земле бомб. Бомбардировщики при налете делали по несколько заходов и пикировали на военные цели и на гражданские объекты.

Наступило тяжелое и тревожное время. Война для всех пришла внезапно. По дорогам, ведущим с запада, непрерывно днем и ночью шли и шли беженцы. Эти люди, целые семьи спасались бегством от

наступающих немецко-фашистских захватчиков. С тревогой и страхом мы смотрели на все это. Взрослые и дети, измученные большими переходами и голодом, очень страдали. Многие несли на руках грудных и маленьких детей.

От усталости люди оставляли на дороге свой, и без того бедный, скарб. Стрдание и испуг за своих детей были на лицах людей, уходящих от войны. На колясках везли больных и старых людей. А немецкие самолеты бомбили, расстреливали идущих по дороге беззащитных мирных граждан. Наступило время и нам оставлять родные обжитые места. Бои стремительно приближались к нашему городу. На дорогах появились воинские отступающие подразделения.

Большую организаторскую работу по отправке нас в тыл страны провел папа. Он сумел подготовить 1,5-тонную машину, в то время такая машина называлась полуторкой. Её он оснастил всем необходимым: бензином, маслом для двигателя, двумя запасными колесами. В начале июля три семьи: Солодкова Матрена Ивановна со своими четырьмя маленькими доченьками, Зарецкая Нюра со своей маленькой девочкой и наша семья из четырех человек: мама, Леня, Фаинка и я – отправились в восточном направлении из города Петрикова, к которому уже подходили немецкие войска.

Папа остался в городе. Ему приказали эвакуировать технологию завода. Но из-за стремительного продвижения немецких войск, отсутствия транспортных средств эту работу осуществить ему не удалось. Демонтированное оборудование растянули по заводской территории, а наиболее ценное – спрятали. Папу вместе с другими мужчинами призвали в армию, и вскоре сформированная команда ушла из города. К вечеру наша машина доехала до районного центра г. Наровля, где мы и заночевали на территории Наровлянской конфетной фабрики.

Всю ответственность за всех нас возложили на нашу маму. Она в её еще молодые годы была очень активной, делала всё, чтобы все были накормлены, продумала маршрут, безопасное время для движения.

Вообще она была нашим командиром, нашим вдохновителем, при любой обстановке не теряла самообладание. В своих решениях она проявляла настойчивость и хорошо контактировала с людьми. Где бы она ни работала, она пользовалась уважением. Её все любили, к ней обращались за помощью и советами. Я это пишу не только потому, что она моя мать, а пишу о человеке, который по-настоящему заслуживает любовь и уважение. Это человек с большой буквы. Я еще не раз буду в

своих воспоминаниях рассказывать о моей МАМЕ, об этом прекрасном человеке.

Мои воспоминания я пишу по просьбе моих внуков: Миши, Леночки, Виталика и даже маленького Брайэна, который часто при наших встречах просит меня рассказать о моей юности.

Моя мама Броня, прабабушка моих внуков, в настоящее время живет вместе со своим сыном, моим братом, Леней, в США в штате Колорадо в городе Денвере. Я продолжаю свой рассказ.

Путь следования в тыл нашей страны проходил через следующие города. Из Наровли мы направились в Овруч, снова пересекли реку Припять.

Первый раз мы переправились через неё в районе г. Мозыря на пароме. На нашем пути следования были следующие города: Чернигов, Нежин, Бахмач, Конотоп и далее по Курской области до г. Курска. Теперь мне трудно сказать, в каких числах июля 1941 года проходил наш нелегкий путь спасения. Помню, что этот рейс оказался для нас очень трудным.

Стояли жаркие безоблачные дни. Немецкая авиация свободно летала и беспрепятственно расправлялась на дорогах не только с отступающими войсками Красной Армии, но и с беззащитным населением, которое двигалось по дорогам в тыл страны.

Мне детально не хочется рассказывать о пережитом, но было всё: нас часто бомбили, мы испытывали страх, что немецкая армия продвигалась очень быстро и, как выражаются, шла по нашим пятам. Лёня, мой брат, вспоминает, что несмотря на все предосторожности, которые предпринимались в дороге, на нашем пути оказывались немецкие десантники, переодетые в красноармейскую форму, и уговаривали нас вернуться обратно к месту жительства.

В Курске у нас изъяли машину. С большим трудом мы сели в проходящий поезд и добрались до станции Змиевка Орловской области. И снова мама проделала большую работу. Она сумела всех расквартировать, обеспечить питанием. Так завершился наш первый очень сложный участок дороги.

В Змиевке мы находились недолго. Город мне понравился, выглядел он уютным и зелёным. Жители города нас хорошо приняли, они были приветливы к нам и помогали обустроиться, поддерживали нас морально. Однажды мы, дети, находясь во дворе нашего барака (место,

где мы временно жили), увидели в воздухе группу немецких самолетов-истребителей, тут же появились и самолеты-истребители Красной Армии.

Мгновенно завязался воздушный бой. Мне помнится, что немецких самолетов я насчитал восемь, а наших – три. Наши лётчики вступили в неравный бой. За несколько минут воздушного боя один за другим три истребителя Красной Армии немцы сбили. Упали они недалеко друг от друга.



Наум Рошаль. Мне 20 лет. 1946 год

Я вместе с детьми (было много и взрослых) побежали к месту падения самолетов и увидели что-то страшное. Горели два наших истребителя. Лётчики погибли. Настроение у всех подавленное. Плакали не только женщины, но и мужчины. Эту трагедию я никогда не забуду.

Мы все понимали, какая опасность нависла над нашей Родиной. Этот воздушный бой остался в моей памяти на всю жизнь. Когда я вспоминаю начало войны, я мысленно вижу тот воздушный бой и то страшное зрелище: вой самолетов, стрельба, грохот

падающих самолетов, разрывающий душу, и трагическая безысходность первых дней войны. В тот период стояла очень теплая солнечная погода.

Уже давно отцвели сады и на фруктовых деревьях наливались плоды. На городских клумбах красочно цвели цветы. Когда стояла тишина, казалось, что всё так и должно быть, а сердце что-то тревожило. Мама беспокоилась за нас, детей, за нашу жизнь, за семьи, которые находились вместе с нами.

Проходили дни за днями, вести с фронтов войны шли неутешительные. На всех фронтах Советская Армия отходила, оставляя города и села. Военная обстановка очень осложнилась и не предвещала что-либо хорошее. Однажды в районе железнодорожного вокзала станции Змиевка мама встретила человека, который в разговоре сказал, что в городе Орле сосредоточено большое количество призывников из Полесской области Белоруссии. Призванные солдаты в своем большинстве еще даже не обмундированы. Место их расположения он рассказал примерно.

Когда мама рассказала нам эту версию, я предложил маме свою готовность поехать в город Орел и попробовать поискать там отца. В то время мне исполнилось 15 лет. Я понимал, что это большой риск, но все же мама со слезами отпустила меня. Ей очень не хотелось, чтобы в такое сложное и чрезвычайно трудное время я уехал от них. Я знал, что уже являюсь какой-то опорой для мамы и для тех семей, которые вместе с нами жили.

За это короткое время с начала войны мы все изменились. Я, Леня, Фаинка стали более выдержанными, привыкли переносить все тяготы и лишения, которые свалились не только на взрослых, но и на нас, детей. Утренним поездом мама меня проводила в Орел.

Она просила меня, чтобы к концу дня я вернулся. Я обещал и сказал:
– Мама, жди, я вернусь.

Поезд шел долго, хотя расстояние до города Орла примерно где-то 40-45 км. Поезд останавливался на каждом разъезде, на всех маленьких железнодорожных станциях. Наконец, он прибыл в Орел. Я вышел на привокзальную площадь, и в это же время начался налет немецкой авиации. Самолетов-бомбардировщиков налетело много. Звеньями поочередно они пикировали на железнодорожный узел и вокзал.

Весь Орловский железнодорожный узел был забит всевозможными военными и гражданскими эшелонами. На путях стояли эшелоны с боевой техникой, санитарный поезд, эшелон с

беженцами и техникой какого-то предприятия. Бомбы падали не только на железнодорожный узел, где стояли всевозможные эшелоны, но и на привокзальную площадь.

Я успел немного отбежать от вокзала и, увидя, что бомба отделилась от пикирующего самолета, упал за деревянным туалетом. Нарастал удручающий вой от бомбы, голову я вобрал в себя, прогрохотал разрыв, но, слава богу, обошлось. Самолёты улетели, стало тихо.

Я поднялся, осмотрелся, подумал об убежище, которое выбрал для себя и которое никак не могло бы меня спасти, если бы бомба упала хотя бы немного ближе к моему укрытию. Мне просто повезло, а многие пострадали. На вокзале и привокзальной площади создалась паника. Люди кричали, слышался плач, кто-то звал на помощь, люди куда-то бежали, ругались, проклиная Германию и Гитлера.

Стоял зловонный пороховой запах. От ударной волны на привокзальной площади валялись куски искороженного железа, кирпича, разбитые деревянные конструкции. На площади появились две санитарные машины, пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь.

Судьба подарила мне возможность исполнить мое намерение найти отца. Я пешком направился в город. Шел всё время по какой-то очень длинной улице. В сторону вокзала с включенным сигналом промчалось еще две машины скорой помощи. Мне навстречу шел красноармеец, я остановил его и спросил, знает ли он, где расположены призывники из Белоруссии. Он ответил, что таких не знает, но сказал, что много солдат находится на противоположном берегу реки Оки. Он спросил, кого я ищу, и рассказал, как туда можно добраться.

Я сел в трамвай, ехал до конца маршрута, затем долго шел по пыльной грунтовой дороге, которая дальше тянулась вдоль берега реки. Вдали я увидел неширокий деревянный мост и вскоре подошел к контрольно-пропускному пункту. Зашел в очень маленькое помещение. За столом сидел дежурный по КПП.

Я обратился к нему и попросил помочь мне. Рассказал, что ищу отца, думаю, что он здесь. Он спросил меня, как фамилия отца, а затем добавил:

– Разве можно здесь найти человека, которого ты ищешь? Здесь тысячи и тысячи людей, посмотри, что делается на том берегу.

Действительно, новобранцев собрали много. Было видно, что каждый солдат занимался своим делом: кто купался, кто сидел, кто стирал, кто просто лежал и отдыхал. Я на всё это смотрел и думал, что в этой массе народа разыскать отца трудно или невозможно.

Дежурный по КПП звонил по полевому телефону кому-то, спрашивал у кого-то фамилию – Рошаль. После продолжительных телефонных разговоров он сообщил мне, что найти человека с такой фамилией не могут (а возможно, и не очень хотели искать). Время шло, и мне нужно было к 15 часам вернуться на железнодорожный вокзал, чтобы поездом уехать в Змиевку. Я попрощался с дежурным по КПП, повернулся к выходу и увидел с правой стороны входной двери наколотые на гвоздь бумажки.

Последней бумажкой оказался корешок увольнительной записки моего отца. В записке значилось, что он отпущен из воинской части в город на одни сутки. Я очень обрадовался этой маленькой бумажке.

Дежурный обратил внимание на мое радостное удивление и спросил:

– Чему ты удивлён и почему радуешься?

Я ответил, что на этой записке фамилия, имя и отчество моего отца. Дежурный по КПП тоже проявил интерес к моей находке, он подошел к записке, прочитал её и вспомнил лицо и фигуру моего отца. Он подтвердил, что, согласно увольнительной записке, мой отец отпущен из части на одни сутки. Где его можно искать, он не знал, так как в увольнительной указан только город Орел.

5

В свою очередь, я радовался и гордился, что эта случайная для меня записка уверила меня, что папа жив и пока служит здесь, где я его искал. У меня уже было что сообщить дома. Я еще раз поблагодарил и попрощался с дежурным. Он пожелал мне успехов, и я вышел из КПП.

Обратный путь до железнодорожного вокзала для меня оказался намного проще. Я шел по той же пыльной дороге. Только мне показалось, что стало еще теплее, тише и солнце светило ярче. Теперь мне хотелось быстрее вернуться в Змиевку и обрадовать маму, брата и сестричку. Я дошел до трамвайной остановки, а затем трамваем доехал до самого железнодорожного вокзала.

Кассы находились с левой стороны от вокзала в длинном деревянном одноэтажном помещении. Я осмотрелся, увидел несколько очередей к билетным кассам, спросил у стоящих в очереди, где касса до станции Змиевка. Мне показали, я подошел и встал. Люди стояли и разговаривали, посматривали на небо и волновались, боясь

очередного налёта немецкой авиации. Очередь стояла на улице длинной извилистой цепочкой, двигалась медленно. Билеты продавались через небольшие окошки.

Я начал беспокоиться, что не успею купить билет до отхода поезда. Простояв минут 30, я увидел недалеко от кассы фигуру, похожую на фигуру моего отца. Там, где стоял этот человек, очередь была выгнута в левую сторону, и я хорошо видел его спину. Мне захотелось подойти и убедиться, кто этот человек. Я сказал сзади стоящему мужчине, что мне нужно отлучиться на несколько минут и что я вернусь.

Я подошел ближе и убедился, что в очереди стоит мой отец, а он стоял и не видел моего приближения.

Я окликнул его: – Папа!

Он повернулся, увидев меня, от неожиданности не смог ничего произнести. Подошел, обнял меня, долго молчал, мы оба были очень взволнованы встречей, затем он произнес:

– Нонка! Сынок, как ты здесь оказался?

– Я был в районе твоей воинской части и искал тебя. Папа! Куда ты берёшь билет?

– Я хочу взять билет до станции Змиевка, так как прослышал, что там живут беженцы из города Петрикова.

Люди, стоявшие в очереди, были потрясены увиденным и услышанным от этой случайной встречи отца и сына. Стоящие впереди пропустили папу к билетной кассе и предложили ему взять билеты раньше его очереди. Папа взял два билета, и мы направились к перрону. Поезд уже стоял. Мы заняли свои места, и вскоре поезд без чрезвычайных происшествий отправился со станции Орел. Мы сидели в вагоне поезда и через окно видели результат налёта немецкой авиации. Еще дымились на путях неубранные вагоны, а дальше по ходу поезда стоял разбомблённый эшелон с боевой техникой.

По восстановлению железнодорожного узла работали солдаты и путевые рабочие. В дороге мы вспоминали о прошедшем военном месяце. Через 2– 2,5 часа поезд подходил к железнодорожному вокзалу станции Змиевка.

Я с папой стояли в тамбуре вагона перед открытой дверью: я впереди, а папа, высокий, стройный, позади меня. На вокзале нас встретили: мама, Лёня и Фаинка. Такого сюрприза от нас никто не ожидал.

Встреча для нас всех была подарком судьбы. Папа нам рассказал о сложившейся обстановке на западном направлении фронта, посоветовал не медлить и уехать в восточные районы страны. Он как-

то чувствовал, что на Орловском направлении Красная Армия еще не сможет остановить фашистские полчища. Он с нами пробыл ночь. Утром следующего дня мы проводили его к поезду. Он уехал к месту своей службы в город Орел...

Александр Экмекчи



Вера

К нам в редакцию была прислана рукопись рассказа, найденного дочерью после смерти отца, участника войны.

Я шёл по болоту, прыгая с кочки на кочку и ежеминутно проваливаясь то по колено, то по пояс в покрытую обманчивым зелёным покровом почву. Моросил въедливый дождик и непрерывно стучал своими каплями по плащ-палатке, стекая тонкими ручейками на землю. Наконец, мокрый, грязный, усталый я выбрался в лес. И чем дальше я шёл вперёд, тем сильнее гремела вокруг стрельба. Вскоре же послышалась трескотня пулеметных очередей, а снаряды стали рваться совсем близко, обдавая градом слякоти и грязи. Я падал, полз, поднимался, наконец, бежал все время согнувшись, в непрерывном напряжении, готовый каждую минуту снова броситься на землю.

Наконец, я добрался до тщательно замаскированного небольшого сруба командира роты – старшего лейтенанта Гардина. О нем

говорили, что это один из лучших командиров в дивизии, человек большой храбрости и силы воли. Зайдя же в сруб, я увидел почти юношу с лицом усталым, почерневшим, но очень привлекательным, благодаря необычно глубокому взгляду черных, как ночь, глаз.

Я представился, он очень радушно принял меня. Мы сперва побеседовали о деле, по которому я пришёл, а потом разговорились. Вскоре выяснилось, что оба мы закончили почти в одно и то же время Ленинградский университет, но только я годом позже него. Оба учились там в аспирантуре. И это сразу сроднило нас. Мы стали вслух вспоминать и захватывающие лекции Тарле о Наполеоне, и шумные защиты диссертаций, и волнение перед экзаменами, и споры с пеной у рта о жизни, любви, и научные кружки, свои доклады на них об учении Джона Локка или же о строении внутриатомного ядра, и громадный зал Публичной библиотеки с сотнями склоненных над книгами голов. Всё это, заслоненное двумя годами войны, физического и духовного напряжения, всяческих невзгод, потерь и страданий, казалось теперь чем-то очень далеким, даже порою не верилось, что всё это было в действительности; и в то же время именно благодаря тому, что эта студенческая жизнь так внезапно сменилась сырыми землянками, тяжелыми лишениями, каждодневной угрозой смерти, именно поэтому теперь она стала для нас во сто крат больше, значительнее и показалась такой прекрасной и неоценимо дорогой.

Под влиянием всех этих воспоминаний каждый из нас почувствовал, что мы не случайно познакомившиеся люди, а чуть ли не старые закадычные друзья, которые очень давно не виделись и которым надо бесконечно многим поделиться, многое вспомнить, и не только надо, а настоятельно необходимо.

Вдруг длинной очередью загремел немецкий шестиствольный миномёт, и один за другим, как бы торопясь и перегоняя, где-то совсем рядом разорвались пущенные им мины.

– Опять заревела корова, – сказал Гардин (так называли у нас этот миномет). – Что -то они заактивничали сегодня.

Он вышел из сруба, чтобы отдать некоторые приказания, но вскоре вернулся, и мы продолжили нашу беседу.

Совсем незаметно разговор перешёл на темы литературы, искусства, и мы с жадностью изголодавшихся людей стали перебирать в памяти любимые произведения сперва скульпторов, потом художников, вспоминали большие, с застекленными потолками залы Русского

музея, Брюлловскую «Помпею», «Девятый Вал» Айвазовского и даже начали спор о том, с какой стороны – справа или слева – входит в комнату вернувшийся после ссылки народоволец из картины Репина «Не ждали». Потом долго рассуждали, где и на каком именно месте висит Суриковский «Меньшиков в Берёзове» и какое там выразительное лицо у Меньшикова – воплощение отчаяния и силы.

Как маленькие дети, мы радовались каждый раз, когда общими усилиями вспоминали какую-нибудь забытую черту, штрих.

– Вы знаете, – начал Гардин, – когда вот так на минутку закроешь глаза и подумаешь о том, как много хорошего, бесценного создано на этом свете, то становишься неопишимо горд именно потому, что ты человек, что всё это создано подобными тебе и ты можешь познать красоту, силу, грандиозность души и разума людей. Как много вечно юного и прекрасного создано человеком.

– В одном месте, не помню в какой книге, Генрих Гейне, – а это один из моих любимых поэтов, – говорит приблизительно так, эти слова почему-то отчетливо и ярко запечатлелись в моей памяти: «Илиада, Платон, Венера Медицейская, Страсбургский собор, Французская революция, Гегель – всё это отдельные счастливые мысли в творческом сне бога». Сказано хорошо, но вы чувствуете, с какой грустью и болью. Я сказал бы примерно так же, но несколько перефразировав: «Всё это лишь лучшее в творческом деянии человека»

...

Он неожиданно остановился. Вокруг стояла тяжелая напряженная тишина. Мы ждали молча и думали каждый о том, как это хорошо в обстановке бессонниц, непролазной грязи, непрерывного огня, смерти, когда не имеешь времени и возможности ни писать, ни читать, ни, зачастую, даже думать о чем-нибудь отвлеченном, вдруг внезапно там, где никогда не ожидал, встретить человека, с которым можно поговорить абсолютно обо всем, погрузиться с ним в беспредельные дебри человеческой мысли, в неиссякаемые источники человеческого духа и как-то особенно, по-новому ощутить величие человека и его творений.

Вдруг Гардин живо вскочил, лукаво засмеялся и сказал:

– А у меня что-то есть для вас совершенно необыкновенное. Спорю на что угодно, – не угадаете!

Он с той же живостью протянул мне свою большую узловатую руку, чтобы заключить спор. Мы, смеясь, обменялись крепким рукопожатием, потом он подбежал к своему вещевому мешку, стал там что-то старательно искать. И внезапно, словно созданная волшебством,

в его руках появилась большая бутылка настоящего Французского шампанского. Я замер от удивления.



Фото из архива Елены Экмекчи

– Вы поражены? – засмеялся он. – Эта бутылка имеет за собой целую историю. Ещё под Спасской Полестью мы напали на один немецкий штаб, и фрицы так поспешно удирали оттуда, что забыли целый ящик хороших выдержанных французских вин, награбленных где-нибудь в Бургундии или в Шампани. Раньше я читал о них лишь в романах, а тут, представляете, целый ящик. Ну, мы, конечно, попробовали их изрядно, а несколько бутылок я всё же припас к празднику или же для редкого гостя. Вот осталась последняя. Так что придется распить по случаю нашей встречи, – и он торжественно понёс бутылку к столу.

В это мгновение снова усилилась стрельба, и наш сруб закачался, как лист, треплемый ветром. Гардин вышел, а я тем временем внимательно рассмотрел этикетку на бутылке и окончательно восхитился, прочитав, что вино ещё марки 1903 года. Вскоре вернулся Гардин, сказал, что, к счастью, только поцарапало осколком одного сержанта, выругал немцев, которые почему-то не хотят понять, что у него сегодня гость и продолжают свои обстрелы. После этого он вытащил непонятно откуда два добротных стакана, сделанных из стреляных снарядных гильз. Мы с благоговением открыли бутылку, пробка с треском выскочила, и бурлящее, словно пена морская у берега, шампанское было разлито по стаканам. Когда мы подняли их вверх и задумались в замешательстве над тостом, то, как это часто бывает, вдруг нас обоих, независимо друг

от друга, осенила одна и та же мысль, и мы задекламировали в один голос Пушкинские:

Поднимем бокалы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Эта здравица в честь солнца и проклятие тьме прозвучала по-настоящему юно и искренне. Хотя вслух мы этого не сказали, но каждый из нас подумал, сидим мы сейчас не в университетской аудитории, не в кругу друзей в студенческом общежитии и не на бархате театральных кресел именно потому, что боремся за сияние этого самого солнца, за уничтожение нависшей над миром адской тьмы.

Я взглянул на часы, к своему удивлению, увидел, что прошел незаметно почти целый день, и собрался уходить. Гардин, удерживая меня, убеждал, что становится темно и поэтому идти бессмысленно, что немцы усиливают в это время стрельбу, да и вообще здесь ходить ночью не рекомендуется. Когда же я всё же пытался возражать и делать какие-то потуги к тому, чтобы уйти, он начальственным безоговорочным тоном заявил, что здесь командир он, а посему запрещает мне идти, и никаких больше разговоров по этому поводу быть не может. После такого категорического заявления я уже больше не осмелился спорить и остался на ночлег. Поужинав, мы легли на нары, покрытые вместо матраца хвоей, обернутой в плащ-палатку, закурили по толстой сигарке, потушили коптилку, сделанную всё из той же универсальной снарядной гильзы, накрылись шинелями и заговорили о жизни и смерти. Вернее, говорил Гардин, а я слушал, изумленный неожиданно открывшимся передо мной богатством чистоты и веры. Как часто проходим мы мимо людей, не зная о том, какая великая сокровищница -душа перед нами!

— Вот, я на войне, — говорил Гардин, сначала медленно, как бы раскачиваясь, а затем все более и более воодушевлённо, — почти с самого первого дня и непрерывно, за исключением двух «вынужденных посадок» в госпиталь, на передовой. В каких только переделках не приходилось бывать! Раньше мне всё это казалось

возможным лишь в книгах, а теперь же я убедился, что жизнь выдумывает подчас значительно более сложные положения, чем любая, даже самая замечательная из книг.

— Достаточно вам сказать, что я сначала рядовым красноармейцем был в окружении под Кингисеппом, потом в сентябре 1941 года, когда немцы рвались к самому Ленинграду, был в Петергофе, а потом на всех этих так называемых «пяточках» и «долинах смерти» — на Невской Дубровке, под Мясным Бором, у Синявино... Ну, словом, в таких местах, где бывали случаи, когда от нашей роты оставались в живых по пять человек, а то и меньше.

Он замолчал, и огонёк вспыхнувшей сигарки осветил в полумраке его бледное от волнения лицо.

– И всё же, – продолжал он, – несмотря на то, что было уже много случаев отправиться, как говорится, «в мир иной», я, как видите, жив: хожу, дышу и даже мыслю. И, знаете, я уверен, что, быть может, придется побывать и в ещё больших переделках, но я всё равно буду жить.

Он остановился, и мне казалось, я почувствовал в темноте неугасимый огонь, сверкавший в его глазах.

— Да, буду, обязательно буду жить. Можно было уже десятки раз стать фаталистом, сама жизнь толкала на это, иногда чудом спасая от смерти, и я часто вспоминал «Тамань» Лермонтова. Это, я сказал бы, словно высеченное из цельного куска мрамора, воплощение неотвратимости судьбы, и все-таки я не верю, не хочу верить в неё! Есть, – вы наверное помните, – одна латинская пословица, она звучит, если не ошибаюсь, так: «*Ducum volentum fata, nolentum trahunt*» – «Покорного судьбы ведут, сопротивляющегося тащат насильно». В этой поговорке – сгусток психологии, пессимизма и пассивного отношения к жизни: хочешь не хочешь, а все равно над тобой довлеет нечто высшее – судьба, и решает она, а не ты. Этот взгляд, по-моему, отражение лишь слабости человека, того, что ещё не понял или не смог понять до конца – своего назначения быть покорителем природы, а значит, и всяческих судеб. Я же считаю, наоборот, что жизнь наша – это арена активной борьбы, где человеку предоставляется возможность применить все его силы и способности, арена, на которой он, в сменяющихся своих поколениях взбирается на вершину познания и господства над миром.

С режущим свистом пролетел снаряд и плюхнулся, не разорвавшись, в болото. В нашей конуре стоял непроницаемый мрак, и слова Гардина

падали уверенно, с достоинством, как бы рассекая эту тьму и прокладывая себе широкую дорогу в свет. Я спросил его:

– А почему у вас всё же такая уверенность в своей счастливой звезде?

– Почему? Да очень просто. Я себя убедил в том, что не должен погибнуть, обязан жить, чтобы отстоять всё, без чего немислимо существование: Родину свою, народ, науку. Не может, не должно быть моей смерти. После войны мне ещё очень много сделать надо: и неоконченную диссертацию написать, и всякие мои мысли по физике проверить опытами, и книг сколько прочесть, и потом... Вы понимаете, я ещё совершенно не жил, а у меня, должен признаться, есть любимая девушка, которая ждёт меня, да и вообще много всего. И вот это убеждение, которое постепенно превратилось в непоколебимую уверенность, даёт мне силы, побеждает страх смерти, помогает идти сквозь все опасности... Быть может, говоря откровенно, здесь есть кое-что и от самообмана, но, если бы я не считал так, то, пожалуй, нелегко было бы выдержать эти два года. Однако, я верю: вот запомните – мы с вами ещё обязательно встретимся после войны в Ленинграде, обязательно.

Он так убеждал своими словами, своей дышащей силой и страстью, верой, что я уже не мог представить себе, что он может быть убит, так же, как и все мы, особенно на войне.

Наутро по-дружески распрощались, долго и крепко жали друг другу руки, решив, что по окончании войны во что бы то ни стало увидимся и вспомним нашу замечательную встречу. Снова согнувшись, под грохот орудий и непрерывную стрельбу, то ползком, то, наоборот, бегом, я возвращался в КП дивизии. Когда я, наконец, пришёл туда, то в нескольких шагах от землянок встретил одного из работников штаба.

– Вы откуда? – спросил он.

Я ответил, что возвращаюсь от Гардина и что там всё в порядке. Тогда он как-то сокрушенно посмотрел на меня и сказал:

– Вы, видимо, не знаете, только что звонили по телефону. Полчаса назад Гардин убит при отражении атаки противника.

Я остолбенел. И если в обстановке непрерывной опасности, когда вокруг погибают часто десятки знакомых людей, острота смерти обычно притупляется, то сейчас, наоборот, она обрушилась на меня всей своей давящей и страшной тяжестью. Ведь только что, изумленный необыкновенной силой его веры в жизнь, я был готов поклясться, что человек такой души просто не может погибнуть. И вдруг... Да, сама жизнь заставляет быть фаталистом. Судьба — это страшное чудовище, которое только и подстерегает удобный момент,

чтобы схватить свою жертву, и никто не уйдёт от её цепких и злых щупальцев. Мне вспомнилась и латинская пословица, которую так незаслуженно осмеял Гардин, и не помню чьи слова: «Давно спутаны страницы в книге судеб, никто не знает, какими удивительными путями придёт он к своей гибели». Стало грустно, и казалось вот-вот подступят к глазам слёзы.

Прошло несколько дней. Мне неожиданно надо было ехать в командировку. Когда я добрался до железнодорожной станции, то узнал, что никаких поездов сейчас нет и не предвидится, кроме санитарной летучки, которая пойдёт через полчаса. Я бросился туда, упорно и долго упрашивал, чтобы меня взяли с собой. Наконец, надо мною, видимо, сжалились и пустили в поезд.

В пути я скоро разговорился и даже подружился с главным врачом – пожилой, очень симпатичной женщиной. А вечером она пригласила меня пройти вместе с ней в обход по вагонам для раненых. Зайдя в один из вагонов, я услышал, как кто-то тихо-тихо зовёт меня. Это был Гардин. Улыбка играла на его губах, и он даже попытался протянуть мне руку.

– Неправда ли странная встреча? – сказал он.

Только услышав его голос, я понял, что это не бред, а действительность. Тогда я бросился к нему:

-Вы живы! Как это хорошо! А ведь сообщили у нас о вашей смерти!..

-О моей смерти!? Я же говорил вам, что обязательно останусь в живых и мы с вами ещё обязательно встретимся в Ленинграде. Нет, меня не могут, не должны убить!

И всё тем же неугасимым пламенем веры горели его глаза, наполняя всё вокруг чувством бодрости и уверенности, великим чувством жизнеутверждения.

13-17 октября 1943-го года

Евгения Народицкая

Род-Айленд, США

***Рута Ванагайте: «Человек не может
поверить, что его, невинного, просто так
возьмут и убьют»***



Рута Ванагайте (Ruta Vanagaite) родилась 1955 году в Шяуляе, Литва. В 1978 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского, где изучала театральное искусство. В 1999—2001 годах была советником по культуре и коммуникации премьер-министра Литвы Роландаса Паксаса. Рута – известная литовская писательница, автор шести книг с тиражами в тысячи экземпляров.

Всемирную известность писательница получила в 2016 году после выхода в свет книги *Mūsiškia* (Наши), рассказывающей об уничтожении евреев литовцами во время Второй мировой войны. Книга переведена на английский, иврит, польский и шведский, а в 2018

году на русский язык под названием «Свои. Путешествие с врагом» и издана в России.

Смысл книги Руты Ванагайте предельно четко обобщен в ее названии – «Свои». Одна часть населения Литвы уничтожила другую часть. Несколько тысяч литовцев лично причастны к убийству около двухсот тысяч литовских евреев, которые жили на этой земле. Не «они» убили «их», а «мы» убили «нас». Да, такое открытие ошарашивает, поскольку посягает на наше представление о себе. Мы ставим себя под вопрос, выходим из «зоны комфорта».

В Литве книга вызвали громкий скандал, власти назвали книгу проектом Путина, угрожающим безопасности Литвы.

Сама Рута рассказывала, почему она решила написать эту книгу: «Я ничего общего не имела ни с кем из евреев. Я типичный продукт советского образования и долгое время о Холокосте знала только то, что в Литве убивали советских граждан. Кто убивал? Фашисты и их местные пособники. При этом огромное количество литовцев спасало евреев. И об этом написано много книг. Вот это я знала.

Но однажды я очутилась на закрытой лекции для учителей, где один историк стал рассказывать про Холокост. Я впервые услышала, что в расстрелах евреев участвовали не какие-то изверги, а обычные люди, молодые литовские ребята. Что все это началось с самого верха, с правительства.

Самое страшное, что я поняла из той лекции, — что те молодые парни делали это для своей страны. Они просто оказались в такой ситуации и вовсе не были извергами. Мы часто думаем, что человек стоит перед моральной дилеммой — то ли я убью, то ли я спасу. Не было такого. И если не каждого человека, то многих ребят затягивали постепенно, понемножку, и довели до того, что они стали способны убить человека. Это было для меня настолько страшно! Это ж сколько людей в Литве в этом участвовали! Нормальных людей! Я вдруг поняла, что мои родственники тоже в этом участвовали. Возможно, не понимая, не зная, неудобно отказаться, работа такая, то-се. После этой лекции меня трясло, у меня все разрушилось — вся моя семья, все мои идеалы, все мое представление о литовской истории».

До начала Второй Мировой войны в Литве жило около 220 тысяч евреев, по окончании войны в живых осталось чуть больше 8 тысяч.

Я работала в архивах полгода, а потом вместе со знаменитым охотником на наци и исследователем Холокоста Эфраимом Зуроффом села в мою машину, и мы поехали по местам массовых расстрелов. Не всех. В Литве 227 мест массовых расстрелов, мы объехали около 40 в

Литве и 5 в Белоруссии. При этом в любом месте, где есть массовые захоронения, заходили в ближайшую избу, спрашивали: вы знаете, что здесь происходило, ваши родители вам рассказывали, вы видели? И некоторые говорили: да, я видел, или моя мама рассказывала, или — я не видел, но вот в той избе знают. Свидетели живы, и они шепотом об этом рассказывали.

– Почему вы говорите шепотом? – Убьют. – Кто убьет? – Литовцы.

Руте Ванагайте тоже угрожают. Ненавидят многие: родные, знакомые, политики... Все хотят быть жертвами, никто не хочет быть палачом. Мифы нравятся людям больше правды.

– После окончания Второй Мировой войны прошло больше 70 лет. Но до сих пор снимают фильмы, пишут книги, ставят спектакли о Холокосте. Почему тема Холокоста остается злободневной?

– Потому что один раз это уже произошло и может повториться. Кроме того, в истории современной Европы это самое страшное событие, непостижимое уму, а то, что непостижимо уму, всегда интересуется искусство.

– Что побудило вас, литовку, написать книгу об участии литовцев в уничтожении своих соседей-евреев во время войны?

– Я мало что знала о Холокосте в Литве, хотя я достаточно образованный человек. И я подумала, что, наверняка, большинство литовцев тоже ничего не знают об этой самой кровавой странице в истории Литвы. К тому же, я хотела знать, участвовали мои родственники в Холокосте или нет. Во многих домах до сих пор есть вещи убитых евреев, так что Холокост от нас никуда не ушел.

– По статистике в странах Восточной Европы на оккупированных фашистами территориях погибло намного больше евреев, чем в странах Западной Европы. Для примера: в СССР 94%, в Польше 60%, во Франции 42%, в Дании 10%. Можете ли вы это объяснить?

– У немцев было два разных подхода к жителям Западной и Восточной Европы, которым нацисты поручали «грязную работу» по убийству евреев. В Западной Европе немцы грузили евреев в поезда и отправляли в Восточную.

– В своей книге вы пишете, что литовцы, массово убивавшие евреев, руководствовались пропагандой «Долой евреев». Может ли это служить им оправданием?

– Нет, конечно. В литовской конституции 1938 года сказано, что все жители Литвы имеют равные права, а убийства и экспроприация имущества незаконны. Литовское правительство в 1941 году постановило, что евреи должны быть изгнаны из Литвы, но не убиты.

Наряду с этим распространялись антисемитские листовки и статьи в газетах, но все это было антиконституционно.

– *Где печатались эти листовки?*

– Большинство в Германии, но распространялись в Литве. Текст писали литовцы, осевшие в Германии, которые сотрудничали с немцами.

– *Вы также рассуждаете о роли церкви, важнейшего нравственного авторитета в тогдашней Литве. В церкви католические священники отпускали грехи убийцам. Было ли официальное покаяние литовской церкви за массовые убийства евреев?*

– Церковь не призывала убивать евреев, католические епископы вообще никак не высказывались по поводу уничтожения евреев, несмотря на то, что евреи просили вмешаться, выразить свою позицию.

Были литовские ксендзы, спасавшие евреев. Официально католические епископы собрались на одну конференцию за все время немецкой оккупации для решения единственного вопроса, что делать с имуществом крещеных евреев. Все это говорит о позиции католической церкви, которая, по-моему, была преступна. И никакого покаяния со стороны литовской церкви не было.

– *Цитата из вашей книги: «Я все думаю о том, почему евреи почти не сопротивлялись, хотя иногда их стерегли и конвоировали совсем немного охранников»? Вы нашли ответ на этот вопрос?*

– Думаю, да. Единственный ответ, который я могу найти – человек никогда не может поверить, что его, невинного, просто так возьмут и убьют. До самого последнего момента он верит, что этого не произойдет. Наверно, это реакция самозащиты, вера в чудо или в Бога. Нет другого объяснения, которое я могла бы найти.

– *Работая над книгой, встречаясь с еще живыми свидетелями, вы могли бы объяснить почему так быстро в критических обстоятельствах «расчеловечивается» человек?*

– Не знаю, что значит быстро. Сначала человек соглашается на один компромисс, потом на другой, третий, четвертый, а потом уже слишком поздно.

Те ребята, которые шли служить в литовские батальоны, они не шли убивать людей. Они думали, что будут служить в армии независимой Литвы и защищать родину. И они стали защищать свою страну от советских активистов, т.е. евреев. Сначала они их охраняли, потом куда-то вели, а потом уже оказывались у расстрельной ямы. Каждый из

них думал, если не буду стрелять я, то другой его застрелит. Какая разница. Страшно первое убийство, а потом человек становится как робот, который ничего не чувствует. Так они говорили.

– Насколько я понимаю, отличие ситуации в Литве в том, что литовцы убивали своих соседей – евреев, с которыми веками жили вместе.

– Были созданы батальоны волонтеров, которые ездили по Литве и убивали. Они не были соседями евреев. Но те, кто составлял списки евреев, полицейские, которые их забирали, они были местные. Значит, эта ненависть, антисемитизм был всегда, но не было возможности ему проявиться. С другой стороны, была и жажда наживы. И все стали ворами в законе. Государственная политика – помогать родине, значит, убивать евреев. Закон был такой страшный.

– В США антисемитизм запрещен законом. Однако недавнее убийство 11 евреев в синагоге в Питтсбурге еще раз показало опасность этой вражды. Как вы полагаете, антисемитизм искореним?

– Нет. Уже две тысячи лет католическому антисемитизму и пропаганде, которая отождествляла евреев с дьяволом. И это очень глубоко сидит в христианском сознании. Когда есть Бог, тебе нужен дьявол, поэтому в ситуации кризиса на эту роль всегда найдут евреев.

Этот миф о евреях жив до сих пор даже при отсутствии самих евреев. Их сейчас в Литве осталось 3-4 тысячи (при населении около 3-х миллионов), мы с ними не сталкиваемся, но антисемитизм никуда не делся. Я даже не знала, что он так силен до сих пор.

Я думала, когда напишу эту книгу, люди станут жалеть евреев, оказалось, что многие люди до сих пор живут с этой ненавистью, хотя евреев они в глаза не видели, не знаю сколько уже лет. И это очень печально для меня.

– В Литве 2559 человек спасали евреев. Их больше, чем убийц – 2055 человек. Есть ли надежда, что подобные преступления не повторятся?

– Надежда есть, но в принципе это только надежда.

Эти официальные цифры не совсем правильные. По данным литовских историков, участников Холокоста где-то 17 – 18 тысяч. Это те, кто охраняли, конвоировали и убивали евреев. 150 тысяч евреев убили в первые 3-4 месяца оккупации. Это было настолько быстро, что люди не успели опомниться. Но когда оставшихся евреев согнали в гетто в городах, тогда литовцы их начали спасать.

– После выхода книги на вас обрушилась ненависть соотечественников. Как вы с этим справились?

– Страна раскололась – часть людей, в основном моего поколения с крестьянским антисемитизмом, живут с верой, что все евреи коммунисты, что они встречали советскую власть с цветами, что депортировали литовцев в Сибирь. Это среднее поколение. Свои предрассудки эти люди защищают до последней капли крови. Пожилые люди, видевшие убийства евреев, поддерживают меня, так же, как и молодые люди, не знавшие этих ужасов. Так что я бы сказала «fifty fifty». Не все так страшно.

– Что дала вам поездка по Литве с Эфраимом Зуроффом по местам истребления евреев?

– Я не могу уже смотреть на литовские леса, куда я любила ходить, собирать ягоды, грибы, они очень красивые, а теперь я знаю, что в этих лесах лежат тысячи, тысячи евреев.

– Ваши ближайшие планы?

– Я думала, что никогда не буду больше писать о Холокосте. Но случайно я встретила замечательным немецким историком Кристофом Дикманом, у которого есть книга на 1600 страниц «Немецкая оккупационная политика в Литве».

Так вот, он мне сказал страшную вещь: в Литве не было немецкой оккупации. Я не поняла: что вы имеете в виду? А он: когда немцы пришли, в Литве было 150 000 солдат Красной армии. Они думали, что придется с ними сражаться, но Красная армия быстро отступила на восток. И немцы пошли за ними. В Литве во время оккупации в гражданской администрации оставалось от 600 до 900 немцев! А вообще во всей стране никогда не было больше 6000 немецких военнослужащих, а в начале, когда убивали евреев, намного меньше. При этом убито было 200 000 евреев! Это о чем-то говорит! Я не представляла, что все может быть так плохо.

Кристоф Дикман знает ответы на те вопросы, которые у меня остались и до сих пор меня мучают. Я сделаю с ним книгу, в которой задам эти вопросы и получу на них ответы.

Я сделаю все, чтобы эта книга вышла в Литве, даже в самиздате.

– Вы считаете себя мужественной женщиной?

– Нет, я не могла представить, к каким последствиям приведет публикация этой книги. Но оказалась в такой жизненной ситуации, когда по-другому поступить не могла. Быть мужественной, значит делать выбор. Я его не делала. Я не могла не написать эту книгу.

Григорий Яблонский

Сент-Луис, США



Рута Ванагайте, «паршивая овца» литовского народа

(О заметке Марка Солонина, но главным образом, не о ней)

В апреле уже прошлого, 2018-го, года на сайте «Эха Москвы» была напечатана заметка Марка Солонина. Прочитал я её сравнительно недавно, в ноябре – по подсказке товарища – на другом сайте.

Заметка о том, как общество воспринимает книгу литовской писательницы Руты Ванагайте «Свои» (Солонин ошибочно называет её «Наши») – о Холокосте в Литве. В России её выпустило издательство АСТ в 2018-м году.

Название у заметки такое: «Этим занималось, надо сказать, 1/10 процента населения». Общественный резонанс вокруг книги кажется Солонину неоправданным. Избыточно-эмоциональным. Ему подозрительно волнение тележурналиста Познера, который хотел бы сделать интервью с писательницей. Он иронизирует и над самой Ванагайте, над её выступлениями, довольно злая ирония

«Встречу с читателями она начинала с прочитаний о том, как её удивляет, что эта встреча вообще могла состояться, и как это зал предоставили, и бомбу пока еще не заложили... Многократно повторенный унылый спектакль от бывшего театрального критика изрядно надоел литовской публике»

Я читал статьи Марка Солонина, инженера и историка, о первых днях войны 1941-45 гг., о крушении самолёта МН-17.

Я привык испытывать уважение к его суждениям. Обычно он основателен и убедителен.

Но тут...

Я сам прочитал обжигающую книгу Руты Ванагайте «Свои». Я сам слушал её выступление. Моя реакция на заметку Марка Солонина – возмущение!

За что он критикует Руту Ванагайте?

Что он ей противопоставляет ?

... В новой Литве что-то делается. ...Обширная исследовательская работа с участием историков... Принята декларация «О геноциде еврейского народа в Литве в годы нацистской оккупации»... Годовщина ликвидации Вильнюсского гетто отмечается как Национальный день памяти... Президент Бразаускас, выступая в Кнессете, принес извинения еврейскому народу... Уроки Холокоста – в обязательной школьной программе ... Музейные экспозиции и мемориалы...Компенсации пережившим Холокост (53 млн. Евро)...Марш памяти...

По мнению Солонина, в Литве для памяти о Холокосте делается куда больше, чем в России.

И главный его тезис.

«К убийцам можно причислить 1-2% от взрослого населения. Не более того. Но с каких же это пор два процента стали обозначаться словами «всё население?»»

Норма! Опять процентная норма! 1-2% – допустимый процент!

Да что ж это значит перед лицом кошмара? В Литве было убито почти всё еврейское население. Современный историк Нериус Шепетис высказался очень просто: «Те, кто участвовал в Литве в истреблении наших евреев, – большей частью литовцы. И что?»

Обратимся к самой книге Руты Ванагайте. Это – сложная книга об очень болезненной проблеме. В ней – несколько слоёв. Документы из архивов (Рута провела в архивах месяцы) – протоколы допросов, отрывки из дневников палачей, свидетельства очевидцев, в частности литовских детей 41-го года, видевших убийства своими глазами – жуткая мозаика ужаса. Это – первая часть книги, «путешествие во тьму», в прошлое.

Вторая часть книги – путешествие в «сегодня». 15 городов Литвы, 30 мест массовых захоронений. Попытка понять, как нынешняя Литва помнит об этом, да и помнит ли.

И здесь начинают звучать два голоса. Оказывается, Рута – не единственный автор. У неё есть соавтор, Эфраим Зурофф, израильтянин, «охотник за убийцами», продолжатель дела Симона Визенталя, главы «Центра еврейской документации», участника поимки Адольфа Эйхмана.

Два автора, два голоса. Вместе с Эфраимом Рута совершила путешествие по Литве, их путь – от захоронения к захоронению. Они заехали и в Белоруссию, туда, где гастролировали литовские «расстрельщики». Они путешествуют в чёрном автомобиле Руты, которому Эфраим дал имя «Шоамобиль». Эта часть книги – ожесточённый диалог. Рута постоянно называет Эфраима врагом, и это слово не взято в кавычки. Две позиции. Эфраим – следователь и прокурор. Рута – психолог и социолог. Она борется, с жёсткой, чересчур жёсткой, логикой Эфраима, но больше – сама с собой. Оба они, Эфраим и Рута, конкретны в своих рассуждениях. Но у них разная конкретность. Эфраим, как и Визенталь, хочет найти конкретных убийц, хотя чего уж искать, большинство умерло. Рута рассуждает по-другому, о человеке, прежде всего о жертве. «Произошло шесть миллионов человекоубийств, и каждый раз погибал один конкретный человек. Всё, что я могу представить, – это одного конкретного человека. Это мужчина. Я вижу его стоящим спиной к убийцам, смотрящим в яму, в которую скоро упадёт его тело. Упадёт и навеки останется там, на телах других убитых, заваленное новыми убитыми. Я вижу, как пуля, выпущенная обычным молодым, может, выпившим литовским парнем, вонзается в затылок этого еврея. Входное отверстие будет 0,8 см, выходное – 8 см. В десять раз больше. Пуля просто разнесла изнутри мозг этого человека. Мозг еврея, который с малых лет учился, изучал Тору, много читал»...Так она видит, её сверхвидение сострадательно.

Но та же Рута страдает и убийцам. Они для неё, прежде всего, литовцы, простые невежественные крестьяне, бессильные перед историческим произволом («обманули», «втянули»...) Она цитирует стихотворение, написанное убийцей Винчасом Саусайтисом накануне смертной казни – «На память сиротам, оставшимся без отца»: «Зябнут руки-ноги/Зябнет голова/Что же мои детки/Не сберегли меня/...За былое на меня/Не держите зла/Я привёл вас в этот мир/Где меня смерть нашла». Убийца просил переслать это стихотворение детям. Просьбу не удовлетворили.

В этом «двойном сострадании» – смысл концепции Ванагайте, смысл названия книги «Свои». Почему «свои»? На обложке книги – два молодых, чём-то похожих человека. Один – Исаак Анолик, талантливый спортсмен, представлявший Литву на Олимпийских играх. Еврей. Убит в 1943 году в Каунасе.

Другой – Балис Норвайша, командир карательного отряда, уничтожившего 70 тысяч человек. Литовец. Убийца.

Для Руты оба, Анолик и Норвайша, жертва и палач, – «свои». В том-то для неё и трагедия, «свои» убили «своих», что-то вроде социального самоубийства. «Еврейские» литовцы были убиты «литовскими» литовцами, бедными – во всех смыслах – невежественными парнями, не знавшими, что творят.

Но концепция эта шаткая.

Изо всех сил Рута сопротивляется аргументам Эфраима, обвиняющего фактически всё литовское общество в преступлении. «Я не могу принять обвинений, которые вы обрушиваете на головы моих соотечественников...Я и сама хочу увидеть более полную картину, ведь это мои люди, это история моей родины...Когда Вы говорите «много литовцев» – меня тошнит»

А Эфраим отвечает: «Послушайте, так ведь большинство литовцев и составили равнодушные – не убийцы и не праведники. Совершенно очевидно, что вы своими аргументами стараетесь, хотя бы отчасти, оправдать убийц

Рута. «Нет, точно нет»

Эфраим. «Вы в этом уверены?»

Рута. «Нет, не вполне».

Да, она постоянно колеблется – во власти эмоционального потрясения. Она ужасается своей близости к преступлению. Дядя-преступник, сбежавший в Штаты, присылал ей прекрасные джинсы. И бабушка могла носить платья убитых евреек. И мама, которой в то время было 13 лет.

Её горечь порой подымается до высот трагического юмора. «Меня сильнее всего приводит в ярость не то, что евреи были убиты. Это я знала и на свой лад примирилась с этим фактом. Однако я не знала, что стёрта память о них. Их закопали и оставили под кустами, как какую-нибудь издохшую крысу. Тропинки заросли, памятники были поставлены в советское, – время или на деньги родственников жертв. Или на средства посольства Англии...Или памятников нет вообще, если не считать мясокомбинат памятником бойням. Простите за такую ужасную мысль»

– Ничего, – замечает Зурофф. – Я уже успел привыкнуть к Вашим циничным замечаниям.

Но это – не цинизм. Это – спазма отчаяния.

Путешествие окончено. Каковы итоги? «Враги» (кавычки мои) нашли – в главном – общий язык. Громадный памятник палачу евреев, партизану Крикштапонису, на площади его имени в городке Укмерге

вызывает у них омерзение. «Дерьмо», – твердит Зурофф, глядя на барельеф. «Лучше бы мы не нашли этот памятник», – думает Рута.

Книга отнюдь не призывает к мести, нет и намёка на это.

Но площади не должны называться именами убийц, а монументы убийцам – это отвратительно.

Проехав по 15 городам, по 30 захоронениям, Ванагайте и Зурофф увидели две главных черты: безразличие и незнание. Собственно, это одна черта. Незнание вытекает из нежелания знать.

Литва – в прошлом – была молчаливой свидетельницей страшного преступления. Более, чем свидетельницей. «Литва разбогатела» – название одной из главок книги, понятно о чём.

Литва – в нынешнем – не хочет помнить о преступлении.

Марк Солонин хвалил музейные экспозиции в Литве...Ну что ж, есть музеи, с невыразительными стендами, скрывающими истину. Краеведческий музей в Укмерге. Там написано, что «в лесу Пивония...были убиты более 6354 человек». Ни слова о том, кто жертвы (евреи), кто убийцы (литовцы). Краеведческий музей в Таураге. Ни слова о четырёх тысячах убитых евреев. Зато есть специальный стенд об Оноре де Бальзаке, который проезжал через город. Панавежис – место убийства более 4 тысяч евреев, в музее – тоже ни слова. Швянченис, где на полигоне было расстреляно более трёх тысяч евреев. Сотрудница музея говорит: «Почему всё время поднимается этот вопрос, есть же и другие вопросы? Мы должны работать не только с еврейскими, но и со своими обидами»... Таких музеев можно построить сотни, а безразличие останется (кстати, в Москве шесть лет назад открыт Еврейский музей и центр толерантности, хороший музей, г-н Солонин).

Теперь об исследовательской работе историков Холокоста, с неё Марк Солонин начинает список достижений Литвы. И Рута Ванагайте относится к литовским историкам с большим уважением, и Зурофф согласен с ней. Литовские историки сделали очень многое за время независимости. Они собрали факты о массовых убийствах и описали их в академических изданиях.

Но профессиональные историки – одно дело, а власти и общество – совсем другое. Проблема – всё в том же безразличии.

Честно говоря, у меня сложилось впечатление, что Солонин вообще не читал эту книгу или критический инструментарий уважаемого Марка Солонина оказался слишком груб, чтобы по достоинству её оценить.

После поездки в Белоруссию Зурофф итожит: «Теперь я действительно узнал, что историю Холокоста искажают двумя различными способами. Националистическим образом в Литве и коммунистическим, я бы сказал, сталинистским в Белоруссии. Ни литовцы, ни белорусы не отрицают, что сотни тысяч людей были убиты. В Литве признают, что убитые были евреями, но скрывают, кто был убийцами, а в Белоруссии скрывают и кто были убийцы, и кто – жертвы. Есть только жертвы и фашисты».

Вот её миссия – через книгу, через своё эмоциональное потрясение, потрясти литовцев, добиться, чтобы страшная правда вошла в душу её любимого народа. Прямая правда – прямым языком.

Я знаю, что Литва прочитала книгу. Выполнит ли Рута свою миссию? Я не знаю.

Но честь и слава Руте Ванагайте, «паршивой овце» литовского народа!

Инна Шифанова

Москва, Россия

Цветочный остров памяти: Немцов мост

Стихийный мемориал Борису Немцову на месте его гибели регулярно подвергается атакам самых разных организаций и персонажей. До сорокового дня волонтеры вели круглосуточное дежурство, сохранили мемориал, отбив множество нападений на него.

Многие пришли сюда, ушли и снова пришли в силу жизненных ситуаций – мы все такие разные, и это наша жизнь уже три года.

Первые цветы приносили со слезами, с отчаянием. С фотографий смотрел наш веселый Боря, поверить, что его больше нет, было невыносимо. Многие сидели и плакали на парапете моста.

За эти годы мы поняли, что Боря действительно мистически не ушел, вот он живой всегда на Мосту его имени. Днем и ночью можно прийти к островку свободы. Теперь мы здесь улыбаемся – парадоксально, несмотря ни на что, – именно здесь мы чувствуем себя в безопасности

от потоков лжи, от агрессии. Да, здесь иногда опасно, но рядом всегда свои и немцовская улыбка уверенности в будущем лучится со всех портретов.

Ошибаются те, кто считает волонтеров героями, мы просто не можем жить без этой неповторимой атмосферы Мемориала. Каждый раз мы говорим: «Спасибо, Боря, что ты нас снова объединил».



Волонтеры — прямая речь

Первый погром, подлый, гадкий, произошел в ночь на 28 марта 2015 года, ровно через месяц после расстрела Бориса Немцова. Даже 40-ка дней не дождались, не дотерпели, не смогли вести себя по-христиански, человечно... В ночь с 27 на 28 марта 2015 года Anna Bogomolova сообщает в facebook:

ВНИМАНИЕ!

Прямо сейчас на мосту происходит зачистка!!!! Выкидывают все!!!

Скоты, они дождались, пока метро закроется!!!!

28.03.2015

Люди в черном складывали цветы, фотографии, записки, складывали память людскую в черные мешки...



Карина Старостина:

Но... Оказалось, что есть граница людского терпения. Люди не смолчали, не проглотили... Мгновенно, как электрический ток, прошла по соцсетям информация о погроме, и тут же началось восстановление.

Максим Кац:

Сделал что мог — купил цветов на 11,000. Пока стою тут один. Приезжайте!

Фотографии — Филипп Киреев

К утру вновь появились свечи, фотографии.

Татьяна Бочарова: Вот так!

Елена Илютина:

Вчера, 27 февраля, были на Мосту..

Месяц без Бориса Ефимовича...

Много цветов, Люди...

Кто-то сказал: наверное, после 40 дней всё уберут. Понятно же, что это кому-то (или многим) действует на нервы...

Они — это не обязательно власть...

Они...

Они — разрушители.

Они могут только ненавидеть и насаждать ненависть.

Они могут только уничтожать то, что с любовью сделано другими.
У них нет будущего. Они ничего не создают.
Им неведомы такие понятия, как любовь, добро, память...

28 февраля

Сегодня на Мосту были Люди, много Людей...

Атмосфера Добра...

Люди несут цветы, несут фотографии, несут от руки написанные посвящения в стихах и прозе...

Так хочется верить, что Борис Ефимович это видит...

Многие пришли с детьми.

Маленькая девочка поправляет таблички, которые лежат на асфальте.

У моста остановилась машина, вышла девушка с букетом цветов, положила, села в машину, уехала...

Люди зажигают лампадки, а это непростое занятие, ветер на мосту жуткий.

К вечеру народу значительно поприбавилось...

И цветы, цветы, цветы...

Кто-то несёт огромные роскошные букеты, кто-то — две гвоздички.

Но люди идут, они не могут не прийти.

Здесь — Люди.

Очень трудно было уйти. Замёрзла...

Уходила с надеждой...

Да, действительно, Память невозможно убить!

Пока мы помним — мы живём!

Пока мы помним — мы сильны...

28 марта 2015 г.

Андрей Волна:

На мосту полтора-два десятка человек. Но люди постоянно меняются, оставляют цветы (вот теперь все свежие), уходят, приходят новые... Очень ветрено. Холодно.

Так вот, пока там цветы — мы живы. Я. Ты. Вот та девочка с тюльпанами. Седой мужик с чуть слезящимися (ветер?) глазами...

Приходите. Живите долго!

28 марта 2015 г.

Сергей Нетребский:

«Для меня уже привычное субботнее утро на Мосту — солнечное и прекрасное.

Пьянящий утренний московский воздух!

Ночь прошла спокойно, Павел Колесников и Карина Старостина желают всем добра и радости, и я не могу их в этом не поддержать».

Народный мемориал в порядке.

Карина Старостина:

Мы дежури́м на Немцовом мосту уже три года. Мы стоим на одном месте, в одной точке. Почти что все наши репортажи и фотографии с одного места, с места ставшего ключевым для многих из нас.

А вокруг Москва. Мы ругаем Москву, но всё равно – она прекрасна.

Наступает лето... Оно наступает всюду... Оно должно наступить и на Немцовом мосту.

11 мая я собираюсь на дежурство. Дежурство, конечно, будет 12 мая, но собираюсь-то я 11-го вечером.

Ох, как не хочется натягивать на себя свитер, да даже лишнюю майку. Смотришь днём в окошко, идёшь по улице – тепло, даже жарко. А в то же время, ночи ещё холодные. Стоит солнцу спрятаться за горизонтом, как становится прохладно. А ещё ветер и влажность.

Вы думаете, что я жалуясь? Нет, сейчас всё равно дежурить по ночам значительно лучше, чем зимой.

Итак, собираюсь, упаковываю рюкзак, выхожу из дома.

Прибегаю на Мост. Там Кирилл и Сергей. Они спешат домой. Мы с Павлом остаёмся вдвоём.

Вот такое начало ночи.

Что ни говори, а сейчас значительно теплее и люди по Мосту ходят всю ночь, немного, но ходят.

Появляется мужчина и две девушки. Девушки позируют, он фотографирует их. Они становятся и в такой позе, и по-другому. Перед нами разворачивается своеобразный театр. Мужчина подходит к нам. Расспрашивает про дежурства. Интересуется. Удивляется.

На Васильевском спуске идёт очередное строительство. Он весь перегорожен, и стоит охрана. Что строят и зачем? Непонятно.

Ранний рассвет. Небо посветлело. Оно было всё в небольших клочках облаков. А дальше, дальше я не видела. Я сидела на парапете моста и понимала, что даже встать и полюбоваться на все красоты не хочется. Просто не хочется. Передо мной выросли длинные тени. Тени от нас с Павлом, тени от деревьев около кремлёвской стены, тени от фонарей. Кремль стал оранжево-апельсинового цвета. И я знала, что сейчас там,

за моей спиной, появляется огненный шар солнца. Я его не видела, но чувствовала, как его лучи охватывают всё вокруг. А если проще, то просто почувствовала – они греют спину.

Мимо проходили люди, изредка останавливались, смотрели, читали.

Мимо проезжали машины, изредка приветственно гудели нам. Не нам, а Мемориалу.

А потом появился Сергей. И сказал то, что он говорит всегда:

– Ну, что, братцы, устали-устали? Домой-домой.

Мы собираемся и идём к метро.

До свидания, Мемориал. Я не буду дежурить в ближайшее время. У меня отпуск, и меня не будет в Москве. Но всё равно я вернусь. Наверное, иначе уже невозможно.

19 июня 2018. Немцов мост. Ночное дежурство

Татьяна Тихонович:

Ночи в Москве сейчас совсем короткие, почти белые, светать начинает где-то с 2:30 час. Да ещё и тепло, и много туристов. Многие подходят, спрашивают. И всегда очень удивляются, переспрашивают: «Что, именно здесь, на этом месте?»

А потом, как правило, спрашивают, в каком году, и снова удивляются.

Конечно, как это возможно, в центре Москвы, у стен Кремля? — и три года люди несут свежие цветы?!»

Часть 2. In memoriam

100 лет со дня рождения

А.И. Солженицына



В доме Генриха Бёлля в Кёльне (ФРГ). 14.02.1974. Photo: Verhoeff, Bert /Anefo

Соня Тучинская

США



Десять лет без Солженицына

Блажени изгнани правды ради:
яко тех есть Царствие Небесное

Мф. 9:5

Если тебе дадут линованную бумагу –
пиши поперёк.

Хуан Рамон Хименес

«Умер Солженицын» – полоснуло по сердцу заголовками новостных каналов аккурат десять лет назад, поздним вечером 3 августа 2008-го. Утешением одно, что дожил, слава тебе Господи, до патриарших девяноста и умер в своей подмосковной усадьбе, дарованной ему правительством в вечное пользование, в своей постели, на руках жены и сыновей. Недаром говорят, что русский писатель должен жить долго.

С тех прошло десять лет. Восхищаться им, подвигом его жизни, его великими книгами, почиталось в эти годы абсолютным неприличием в среде многих образованных людей, включая бывших российских евреев.

Одна предсмертная его книга перевесила в нашем обидчивом сознании все величие, жертвенность и громадность его земного пути. Эта книга затмила нам свет других его книг. Тот свет правды и свободы, который освящал рабски-тусклое существование миллионов в огромной несвободной стране: три тома «Архипелага», «В Круге

первом», «Бодался теленок с дубом», «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича».

Те, кто в конце 90-х кичился своей легкой оппозиционной фрондой, впрочем, вполне безопасной в позднее постсоветское время, не скрывали своего презрения к нему. Они обвиняли его, сидельника и мученика, в холопском служении власти, в мракобесии и шовинизме. Глупцы, они надеялись, что вернувшись в новую Россию, он немедля прибьется к их либеральной тусовке и неколебимым авторитетом своего имени усилит ее влияние на российское общество. А он повел себя дерзко, впрочем, вполне по-солженицынски. Ни к каким стаям, разумеется, не примкнул, и, о ужас! – не только не гнушался принимать награды из рук Президента, но дошел и до того, что несколько раз его самого принимал у себя дома.

Беспамятные и неблагодарные, они забыли, как в мутные годы брежневского безвременья его письма «Советским вождям», «Съезду писателей» переписывали под копирку, его манифест «Жить не по лжи», составленный накануне высылки из СССР, заучивали наизусть как молитву, как нравственное завещание тем, кто только входил в жизнь. Юноша, не читавший самиздатного Солженицына, не мог рассчитывать на успех у интеллигентной (еврейской) девушки.

Он никогда не ждал, когда «правильные» идеи станут достоянием массового сознания. Он сам продуцировал эти идеи. Он говорил горькую правду своему народу как бы «на опережение», невзирая на то, что в те времена ни одурманенный властью народ, ни сама дряхлеющая власть, никаким образом не могли бы проникнуться его, к примеру, концепцией геополитического самоограничения. Вот что писал будущий «шовинист» Солженицын в далеких 70-х:

«Перестав пригребать державною рукой соседей, желающих жить вольно и сами по себе, — обратим свое национальное и государственное усердие на неосвоенные пространства Северо-Востока, чья пустыньность уже нетерпима становится для соседей по нынешней плотности земной жизни. <...> Это будет означать, что Россия предпримет решительный выбор САМООГРАНИЧЕНИЯ, выбор вглубь, а не вширь, внутрь, а не вовне; всё развитие своё — национальное, общественное, воспитательное, семейное и личное развитие граждан, направит к расцвету внутреннему, а не внешнему. Это не значит, что мы закроемся в себе уже навек. То и не соответствовало бы общительному русскому характеру. Когда мы выздоровеем и устроим свой дом, мы несомненно еще сумеем и захотим помочь народам бедным и отсталым. Но — не по

политической корысти: не для того, чтоб они жили по-нашему или служили нам.»

Изгнанный из «Империи Зла» за правду, бесстрашно брошенную в лицо коммунистической власти и поработенному ею народу, он не перестал, и оказавшись на Западе, высказывать ее гражданскому обществу свободного мира. По этой причине кумиром левой западной интеллигенции он оставался сравнительно недолго. 8 июня 1978 года он был приглашен в качестве главного спикера на Ассамблею выпускников Гарварда. Актовая Речь Солженицына – и по глубинному смыслу и лингвистически – уникальна и ослепительна. Этот шедевр «страстной публицистики» безошибочно изобличает в нем истинного «гения века». Прочтите ее целиком просто for your reading pleasure, и вы увидите, что в ней он бесстрашно идет наперекор либеральному западному мейнстриму, подвергнув убийственному анализу все и каждый из казалось бы незыблемых его столпов:

Права человека, Пацифизм, Свобода прессы, Свобода слова, и прочее. В 1978 году Александр Исаевич был в зените своей планетарной славы. После гарвардской речи западная либеральная интеллигенция, справедливо заподозрив в нем чужака, сначала осторожно, а потом все смелее, стала, что называется, call him names, дойдя до «воинственного реакционера», «обскуранта» и даже до «будущего аятоллы». Возможно, не последнюю роль сыграл тут и полувоенный френч Солженицына, в который он, по ему одному известной причине, облачался в особо торжественных случаях. Так или иначе, но роман его с западной интеллигенцией закончился. Вместо того, чтобы прислушаться к его трудно оспариваемым доводам относительно природы демократии, пожирающей во все более левеющем либеральном обществе самое себя, его просто перестали звать на подобные мероприятия. Так что евангельские «изгнанные за правду» в эпитафии – это не просто о нем. Это о нем – дважды.

Нынче Гарвард такой ошибки не повторил бы. Приглашенных спикеров, из тех, что «пишут поперек линованной бумаги», здесь давно уже не случается. А все больше записные демагоги, хотя и со званиями, которые ничем, кроме трескучей псевдо-либеральной риторики с юношеством поделиться не могут. Беспечные западные люди, в особенности молодые из «поколения нулевых», чье сознание со школьных лет изувечено постулатами морального релятивизма вкупе с диктатом политкорректности, перестали отличать добро и зло. Не подозревая о сбывшемся пророчестве, что «фашисты будущего будут называть себя антифашистами», они видят (если сами не участвуют) в

членах Антифы, крушащих головы своих оппонентов велосипедными цепями, борцов с фашизмом (насаждаемого, разумеется, Трампом, кем же еще?).

Как нам не хватает сегодня его голоса, страстного, сурово-бескомпромиссного, как у библейских пророков.

Когда-то он учил нас как бороться с режимом, не выходя на площадь, а только неучастием во всеобщем обмане, на котором этот режим держался. Он писал – и слово его меняло сознание миллионов. Разящим своим словом он внушал действенное отвращение к существующему порядку вещей. Ко лжи, лицемерию, предательству, беспринципности. К миру узаконенного абсурда, в котором мы жили. Роль его в падении «Империи Зла» – огромна.

Власти ненавидели его люто и так же люто боялись. В КГБ был создан целый отдел по борьбе с Солженицыным. Несколько десятков упырей с подслушивающей аппаратурой, осведомителями, секретными инструкциями ЦК – и один, ничем, кроме правды, не защищенный, пятидесятилетний человек, у которого не было ни машины, ни стоящей за ним группы или организации, не было даже московской прописки. Кроме него, так ненавидели и так боялись только Герцена, чью великую традицию в жанре «страстной публицистики» довелось ему развить и продолжить в 20-ом веке.

За распространение и даже хранение «Архипелага» давали срока. Но был ли в вашем окружении хоть кто-то, кто не «хранил» и не «распространял» фотокопию этой взрывоопасной книги? Как величайшую драгоценность передавали ее из рук в руки, на одну-две бессонные ночи, с четким указанием, какому именно счастливчику передать ее утром следующего же дня.

Фотокопии делались с первого русского издания, вышедшего в 1973-ом году в парижском издательстве Ymca Press. Книгу открывали слова автора (которые во всех последующих изданиях уже не воспроизводились): «Со стеснением в сердце я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги: долг перед еще живыми перевешивал долг перед умершими. Но теперь, когда госбезопасность все равно взяла эту книгу, мне ничего не остается, как немедленно опубликовать ее. А. Солженицын Сентябрь 1973».

Не дожидаясь, пока отыщутся тайники с «Архипелагом», всесильное КГБ, арестовав в 1968-ом его архив и окончательно осознав с каким серьезным врагом имеет дело, начало активную и целенаправленную слежку, прослушку и травлю Солженицына. Только из утюга не неслись в то время гневные голоса трудящихся, клеймящих позором

«литературного власовца». Страшно сделалось открывать даже «Литературную Газету», не говоря о «Правде». Вручение ему Нобелевской Премии по литературе в 1970-ом подбросило дров в этот и без того пылающий ненавистью костер. В знаменитом своем письме «Прорыв немоты», самиздатом молниеносно разнесенным по обеим столицам, Лидия Корнеевна Чуковская писала:

«В наших газетах Солженицына объявили предателем. Он и в самом деле... предал гласности историю гибели миллионов, рассказал с конкретными фактами, свидетельствами и биографиями в руках историю, которую обязан знать наизусть каждый, но которую власть по непостижимым причинам изо всех сил пытается предать забвению... Солженицын — человек-предание, человек-легенда — снова прорвал блокаду немоты; вернул совершившемуся — реальность, множеству жертв и судеб — имя, и главное — событиям их истинный вес и поучительный смысл».

В конце 60-х, начале 70-х, все три поколения семьи Чуковских, чем могли, помогали Солженицыну. «Дед» – Корней Иванович, давал ему, гонимому и бездомному, уют и в своем переделкинском доме, и в квартире на Тверской. Дочь Лидия писала отрывки письма в его защиту, подвергая себя длительной опале. Внучка Люша, Елена Цезаревна Чуковская, будучи ученым-химиком, по вечерам, рискуя жизнью, становилась начальником его подпольного штаба «невидимок». Через ее верные руки бывшие зеки передавали «своему» писателю бесценные документальные свидетельства, положенные в основу его главной книги. Всем им он воздаст потом в прологе к ней:

«Эту книгу непосильно было бы создать одному человеку. Кроме всего, что я сам вынес с Архипелага... материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах [перечень из 227 имен]. Я не выражаю им здесь личной признательности: это наш общий дружный памятник всем замученным и убитым».

Сестры по несчастью, две великих печальницы, Лидия Корнеевна Чуковская и Анна Андреевна Ахматова, боготворили «Исаича» еще с начала 60-х, с момента прочтения в рукописи «Ивана Денисовича». Ахматова, встретившись тогда с Солженицыным накануне выхода твардовского «Нового Мира» с его повестью, расскажет потом об этом так:

«Вошел викинг. И что вовсе неожиданно, и молод, и хорош собой. Поразительные глаза. Я ему говорю: «Я хочу, чтобы вашу повесть прочитали двести миллионов человек». Кажется, он с этим согласился. Я ему сказала: «Вы выдержали такие испытания, но завтра на вас

обрушится огромная слава. Это тоже очень трудно. Готовы ли вы к этому? » Он отвечал, что готов. Дай Бог, чтобы так...»

...С 1974-го он изгнанником живет в Цюрихе, куда вся европейская политическая и художественно-интеллектуальная элита едет к нему на поклон. Гости, по 10-12 человек в день, изнуряют его силы, не дают остаться наедине с новым его детищем, «Красным Колесом», уже доведенным от замысла до первых глав книги. От предсказанной Ахматовой мировой славы, столь вожделенной человеками, он бежит на край земли, в вермонтские леса в предместье крошечного городка Кавендаш. Там всего полторы тысячи жителей, и по личной просьбе Солженицына они не должны давать его адрес никому из приезжих гостей.

За долгие 18 лет, что он прожил в этом медвежьем углу, эта его просьба ни разу не была нарушена, а сам он заслужил у мира прозвище «вермонтского затворника». Гостей, между тем, наезжало не мало, но дом его по наитию находили единицы. Он сам работал вне Кавендаша только однажды – в русском эмигрантском архиве Института Гувера. Это тут у нас неподалеку, в башне, рядом с главным корпусом Стэндфордского Университета. Когда мне приходится наезжать туда с экскурсией для наиболее продвинутых из моих гостей, я всегда говорю им, входя в башню, что эту дверь каждый день на протяжении долгих двух месяцев открывал Александр Исаевич Солженицын. В Кавендаше открыт музей Солженицына, так как событий большего масштаба, чем его пребывание там, у местных жителей не случилось, и, наверное, уже не случится...

Ненавистная моя родина!
Нет постыдней твоих ночей.
Как тебе везло
На юродивых,
На холопов и палачей!
Как плодила ты верноподданных,
Как усердна была, губя
Тех — некупленных
и непроданных,
Осуждённых любить тебя!

За эти стихи Ирина Ратушинская, кажется, единственная в мире поэт-каторжанка, пошла в 1977-ом в мордовские лагеря. О Солженицыне кто-то скажет, что в Америке, как и в Швейцарии, «благополучного

изгнания он снова чувствует покров». Скажет тот, кто не знает, как неизменно и мучительно был он «осужден любить ненавистную свою родину», вдали от которой пребывает не по своей воле, и на благо которой каторжно трудится за письменным столом, оставляя себе время только на еду и сон. Живя на чужбине, все громадные гонорары и роялти от продаж «Архипелага» писатель переводит в Фонд Солженицына, откуда потом они тайно передавались в СССР для оказания помощи политическим заключенным и их бедствующим семьям.

Здесь мне хочется взять короткую сентиментальную паузу. В 1990-ом я жила в Риме, запланированной остановке на пути эмиграции в Америку во время массового исхода евреев из России. Помню, как почтальон принес бандероль на мое имя в грубой коричневой обертке с печатями ленинградского Главпочтамта, и, как нетерпеливо разорвав ее, я извлекла наружу до боли знакомый журнал в блекло-голубой обложке, где на странице «Содержание» невыносимо ярко, как вспышкой, ударило в глаза строчкой: «Архипелаг ГУЛАГ», Александр Солженицын». Бандероль с «Новым Миром», зная, как долго я ждала этой публикации, прислал мне в Рим мой питерский друг. Тогда, 30 лет назад, мы с ним идиотически-наивно верили, что как только страна прочтет смертельный приговор советской власти, который мы безошибочно разглядели в Архипелаге, «истина дойдет до очагов» и Россия начнет свой победоносный путь к новой свободной жизни, к счастью и буржуазному благополучию. Получалось, что я разминулась с этим поворотнo-судьбоносным моментом всего на каких-то полгода....

А вот еще одно личное воспоминание, по касательной связанное с «Архипелагом». Уже живя в Сан-Франциско, я прочла у Елены Цезаревны Чуковской об известной мне по «Теленку» Елизавете Воронянской, что «...она была человеком восторженным, экзальтированным, очень немолодым, ей было уже за 70. Она тяжело болела, с трудом ходила, жила в коммунальной квартире в районе Лиговки в каком-то Достоевском тёмном доме. Там у неё была комнатка рядом с кухней...».

Эта женщина с 60-х годов была преданнейшей помощницей Солженицына, его личной машинисткой, и что еще более важно, – хранительницей одной из копий ею же перепечатанного «Архипелага». В «Теленке» Солженицын рассказывает поразительную историю о ней. Получив от него приказ уничтожить зарытый ею в лесу экземпляр

«Архипелага», она отчиталась ему в красочных деталях, как вырыла рукопись и сожгла ее на костре.

На самом деле у бедной женщины не поднялась на это рука, что немногим позже и погубило ее. В августе 1973-го, после пятидневного допроса в советском Гестапо, (читай – КГБ), не выдержав давления, которому ее, немощную, там подвергали, несчастная старуха сломалась и раскрыла упырям, где зарыта рукопись «Архипелага». Вернувшись домой, она, не простив себе предательства боготворимого ею человека, повесилась в той самой «комнатке, рядом с кухней», став через это последней жертвой системы Гулага. Именно и только после этого, понимая, что книга его попал в лапы ГБ, Солженицын дал разрешение печатать роман на Западе.

Я с трудом разыскала адрес коммуналки. Роменская, дом 4, кв. 42. Оказалось, что в поздних 80-х, ни о чем не подозревая, я каждый день ходила на работу мимо дома, хранившего страшную память об этой женщине и книге, из-за которой она погибла. Мне захотелось увидеть эту комнатку, а может быть и разузнать о Елизавете Денисовне у помнящих ее соседей, но, против ожидания, они обошлись со мной довольно бесцеремонно. Не выслушав до конца мою историю, просто выставили меня за дверь – «никакая Елизавета здесь не живет, и никаких гулагов мы не знаем». Несмотря на печальный итог моих поисков, продолжаю свято верить в вечную силу правдивого слова, в очищающую силу рукописей, которые «не горят».

В 1990 Солженицыну возвращают гражданство. Кстати, американского гражданства у него нет, поскольку, не теряя веру когда-нибудь вернуться в обновленную Россию, он за ним никогда не обращался. В том же году, еще в Вермонте, он пишет и публикует в России скандально знаменитое эссе «Как нам обустроить Россию», за которое его до сих пор на все лады клянут лжепророком, реакционером, русским государственным, шовинистом, монархистом... you name it. В коротком очерке его памяти не место обсуждать положения геополитической, экономической, религиозной и этической программы развития России, стоящей за этим грандиозным по замаху и притязаниям проекте. Придется ограничиться тем, что напомнить его прекрасный зачин:

«Часы коммунизма – свое отбили.

Но бетонная постройка его еще не рухнула.

И как бы нам, вместо освобождения,
не расплющиться под его обломками.»

В 1992-ом Ельцин впервые в качестве Президента России приезжает в Америку. Из гостиницы он немедленно звонит «вермонтскому затворнику» с вопросом остро стоящем тогда перед Россией. Нужно ли отдавать Японии Курильские острова? Ответ оказался довольно неожиданным для человека с репутацией «ярого монархиста и русского националиста»: «Я изучил всю историю островов с XII века. Не наши это, Борис Николаевич, острова. Нужно отдать. Но дорого...»

Весной 1994-го после триумфального проезда на поезде через всю Россию, от Владивостока до Москвы, он поселяется в Троице-Лыково, где ему от имени правительства безвозмездно и в вечное пользование даруется участок земли и дом.

Еженедельная передача, которую, он, вернувшись из 22-летнего изгнания, вел на московском телевидении, была отменена по причине низкого рейтинга. Народным массам в то время как раз было не до Солженицына, они смотрели «Поле чудес» и «За стеклом».

Облик его менялся с годами таким чудесным образом, что из бесстрашного викинга преобразился к глубокой старости в отмеченный высшей духовной красотой лик праведника. Доведись Ахматовой встретиться с ним в его последние годы, она сказала бы, что так Господь метит своих верных.

Он с молодых лет сознавал высокое свое предназначение и жил так, чтобы оправдать его. В лагере (Степлаге в Северном Казахстане), где его держали на общих работах, его прооперировали по поводу редчайшего и случайно обнаруженного вида рака. Он выжил. Через год, в 53-ом уже в ссылке у него обнаружили раковую опухоль в желудке. Врачи, тоже ссыльные, дали ему три недели. Дальше передаем слово самому Солженицыну: «Однако я не умер. При моей безнадежно запущенной остро-злокачественной опухоли это было Божье Чудо, я никак иначе это не понимал. Вся возвращенная мне жизнь с тех пор – не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель».

Окончательно уверившись в волю хранящего его провидения, он начал составлять, собирать по крупичкам свою главную книгу, которую, переведенную более чем на 40 языков, прочтет потом весь мир. Прочтет и содрогнется колоссальным масштабам советской лагерной системы, перемоловшей десятки миллионов жизней, которые, наконец-то, обрели голос на страницах Архипелага. Только этой книгой, не напиши он больше ни одной строки, он исполнил свое земное предназначение.

Место своего последнего успокоения, кладбище Донского Монастыря вблизи могилы историка Василия Ключевского, он выбрал сам, за пять лет до кончины. Как ветеран войны и великий гражданин он был похоронен с высшими воинскими почестями. А при жизни успел он дожить и до того, что книги его были включены в школьную программу российских школ. Однако, к гробу его на отпевание и похороны пришло не больше тысячи человек. Для 10-ти миллионного города это означает, что Москва не пришла проститься с Солженицыным, и похороны его не превратились, как он сполна заслужил это у своего народа, в массовую гражданскую панихиду, в общенародное паломничество, наподобие похорон Толстого. Не думаю, что это произошло от того, что в последние годы он не смог удержаться на головокружительной высоте прежних своих воззрений и книг. Скорее, это говорит о нравственном одичании общества.

Не будем же уподобляться неразумным соплеменникам Александра Исаевича, у которых никогда «нет пророка в своем отечестве». Забудем ему грех его последней книги. Помянем его, великого сына человечества, светло и благодарно за все, что он сделал для этого самого человечества, а значит – и для нас.

Михаил Синельников

Москва, Россия



В день столетия Солженицына

Рукопожатия в России – дело обыденное, и в наши времена от них редко уклоняются по принципиальным причинам (некогда такое уклонение подразумевало немедленный вызов на дуэль). Мы тут ко многому претерпевшись за годы строительства коммунизма и жизни при социализме уже развитом (идиотского слово: раньше слово «развитой» с ударением на последнем слоге относилось к какому-нибудь парню, выбившемуся из темных низов). Мне вот в долгой уже моей жизни случалось пожимать руку людям очень могущественным и ничтожным, знаменитым и безвестным(не столь редко, высокоодаренным и более талантливым, чем знаменитые), истинным святым и деятелям, прославленным своей подлостью. От иных рукопожатий, пожалуй, век не отмоешься(впрочем, и меня некоторые собратья по перу считают «нерукопожатным», отчего никакого не ощущаю урона и ущерба, ибо зависть и жажда отместки за литературные обиды всегда найдут повод для справедливого негодования и наветов, но, впрочем, это – другая повесть). В общем-то у меня в неизданных пока мемуарах есть глава «Рукопожатия», где довольно подробно описываю наиболее памятные мои опыты в этом жанре и изображаю трепетные свои ощущения от прикосновения к целому ряду ладоней, принадлежащих истории, отечественной и даже мировой...И, конечно, незабвенно рукопожатие с Александром Исаевичем.

Он принял меня по издательскому поводу – в ту пору я был главным редактором славного и поныне петербургского издательства «Лимбус Пресс». Конечно, я шел на эту встречу с глубоким волнением. Я понимал, с личностью какого масштаба мне предстоит говорить, перед кем я буду предстать, мысленно обращаясь к своей совести («побитой молью», по выражению одного крупного поэта). Притом далеко не всё в этой личности мне было по душе: казался и языковой пуризм чрезмерным, и раздражала некоторая тенденциозность и предвзятость и даже некоторые отступления от истины в исторических исследованиях. Кроме того я считал и считаю, что то, что казалось блистательным началом пути, равным дебютам самых великих писателей, оказалось, увы, и всем, окончательным итогом, если иметь в виду собственно литературную деятельность. Остальное – политика и публицистика. Остальное – трактаты и статьи, однако написанные не чернилами, а палящим огнем...

И всё же это была встреча с великим человеком. И попытки его поддеть и вызвать на диспут, свойственные самоуверенным интеллектуалам, честным литераторам средней руки, мне всегда виделись смехотворными. Не по рангу, знаете ли!

Великий человек был чрезвычайно прост в общении и вместе с тем очень зорок, приглядчив. В беседе о будущей книге точен и деловит... Все же я не смог удержаться в рамках темы и сказал, что с отрочества дорожил его первой, изменившей мир повестью. И сейчас берегу первоиздание, как зеницу ока... Он спросил:

– Она была у Вас и тогда, когда за хранение давали срок?

– Да.

Тут А.И. снял с полки том своих избранных статей, сделал надпись и подарил мне эту книгу. Ну, вот, она стала большим для меня подарком.

У него была большая широкая ладонь с мягкими буграми и ощущением некоторой влажности, но и силы. В возрасте уже и тогда преклонном, он определенно не был хилым. Рука у литератора, на протяжении десятилетий проводившего за письменным столом дни и ночи, была крепкая. Я думал о том, что этой рукой он запустил метательный снаряд, который проломил нерушимую стену.

Семен Резник
Вашингтон, США



Что значил Солженицын для меня и моего поколения

В 2008 году, когда пришло сообщение о кончине Александра Исаевича Солженицына, я написал небольшое эссе под названием «Что значил А.И. Солженицын для меня и моего поколения». Оно тогда же было опубликовано в сетевом журнале Евгения Берковича «Заметки по еврейской истории», позднее вошло в мою книгу «СКВОЗЬ ЧАД И ФИМИАМ: историко-документальная проза разных лет» (М., Academia, 2010).

В прошлом выпуске «Чайки» я прочитал интересную статью Сони Тучинской, посвященную десятилетию со дня смерти А.И. Солженицына. В статье ярко обрисован литературный талант Солженицына и его мужественная борьба против советского тоталитаризма. Я полностью согласен с автором в том, что произведения Солженицына и его геройское поведение значительно ускорили разложение коммунистической системы власти. Однако воздействие Солженицына на общественное сознание российского общества, в какой-то мере, привело и к тому, что, испустив дух коммунистического тоталитаризма, страна не смогла «присоединиться к человечеству», о чем столетиями мечтали ее лучшие умы и к чему стремились ведущие правозащитники, как академик Сахаров, генерал Григоренко и их последователи.

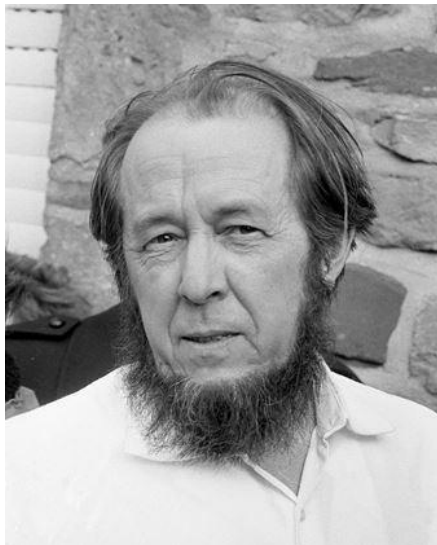
Так что А.И. Солженицын – фигура сложная, многоплановая и крайне противоречивая. Мне представляется полезным продолжить разговор о месте Солженицына в истории России и русской литературы. Хотя предлагаемое вниманию читателей эссе было написано десять лет назад, перечитав его, я не нашел нужным что-либо в нем изменить. Хочу только добавить концовку из другой моей работы того же времени – о книге Людмилы Сараскиной «Александр Солженицын» (ЖЗЛ, 2008):

«Искусственное освещение облика, поступков и произведений писателя – это лишь обратная сторона очернения. Тому и другому может противостоять только правда. Сейчас, когда Солженицына уже нет на нашей грешной земле, пришло время утихомириться тем, кто несет его имя как знамя или как пугало. Пора взглядеться в истинное лицо этого крупного писателя и многосложного человека, чтобы увидеть его сквозь чад и сквозь филмиам».

Весть о кончине Александра Исаевича Солженицына застала меня в момент интенсивных раздумий об этом великом человеке, вызванных чтением полученной на днях из Москвы его биографии (автор Людмила Сараскина), изданной под эгидой серии ЖЗЛ. Книга еще не прочитана, о ней я говорить не буду. Замечу только, что в том, что Александр Исаевич – человек замечательный, сомневаться не приходится. Но, согласно устоявшейся традиции, в серии ЖЗЛ не издавались книги о людях, не окончивших свой жизненный путь. Я более десяти лет работал в редакции ЖЗЛ. Изредка к нам поступали предложения написать о каком-то выдающемся современнике, но они отклонялись. Только в последние годы эту традицию стали нарушать: в серии иногда появляются «заказные» биографии, оплаченные тщеславными толстосумами, пожелавшими обзавестись таким прижизненным памятником. Менее всего это нужно было Солженицыну. Появление книги о нем в серии ЖЗЛ и последовавшая вскоре его кончина, воспринимается теперь как горький парадокс. Словно накликали на него беду...

Я на два десятилетия моложе А.И. Солженицына, и хотя в литературу мы входили в одно и то же время, но в существенно разных весовых категориях. Я был юнцом, заканчивающим институт, а у него за плечами была война, ГУЛАГ, ссылка плюс много лет литературной работы, по большей части подпольной, о которой никто не знал. Я начинал с научно-популярных очерков в «Комсомольской правде», «Науке и жизни» и других подобных изданиях, а он сразу ударил

«Одним днем Ивана Денисовича». Значение этого великолепно написанного произведения выходило далеко за рамки собственно литературы. Это было явление огромного общественно-политического накала. На меня, как и на многих, оно оказало неизгладимое нравственное воздействие. Оно знаменовало крупнейшую победу тех общественных сил, которые жаждали полного разрыва со сталинизмом и перевода страны на рельсы демократических преобразований. Оно же всколыхнуло силы «старого мира», не желавшего сдавать свои позиции.



Александр Солженицын, 1974

Солженицын оказался в эпицентре борьбы, и отношение к нему стало своего рода паролем, позволявшим отличать «наших» от «не наших». Когда Солженицына выдвинули на Ленинскую премию, это была бесспорная победа «наших», то есть либерально-демократических сил. Когда Ленинскую премию ему не дали, это был успешный контрудар сталинистов и ретроградов. Когда в «Новом мире» появлялся новый рассказ Солженицына (всякий раз не без борьбы, о чем доходили слухи), – это была еще одна безымянная высота, взятая «нашими».

Когда цензура бесповоротно зарубила «Раковый корпус», стало ясно, что оттепель кончилась и надо ждать новых крещенских морозов, тем более, что уже состоялось судилище над Синявским и Даниелем. Лишь самые отважные пытались протестовать против преследований

Синявского, Даниеля, Солженицына, но симпатизировала и сочувствовала им почти вся интеллигенция.

Однако, одно дело сочувствовать, что-то просовывать в печать эзоповым языком, обманув бдительность цензоров, а другое – идти во весь рост на бастионы, как шел Солженицын.

«Раковый корпус», затем роман «В круге первом» широко расходились в самиздате, производя потрясающее впечатление и преумножая славу Солженицына как большого писателя и негнимоемого борца против сталинизма, КГБизма и партийной ортодоксии. Грандиозное впечатление произвело на меня широко разошедшееся в самиздате письмо Солженицына съезду Союза Писателей, которое он – опытный конспиратор – разослал в триста адресов, заручившись алиби на случай обвинения в распространении антисоветских материалов.

Он требовал отмены цензуры, свободы дискуссий и творческих исканий. Требования были утопическими, но этим-то и было сильно их нравственное воздействие. Знаю от друзей из «Литгазеты» о таком эпизоде. Одним из адресатов солженицынского письма был член редколлегии ЛГ Смирнов-Черкесов, в прошлом узник ГУЛАГа. На письмо он ответил телеграммой с выражением полного согласия и солидарности.

Телеграмма была перехвачена КГБ, от главного редактора ЛГ Чаковского потребовали принять меры. Он собрал общее собрание редакции и стал публично отчитывать Смирнова-Черкесова, упрекая в том, что тот подводит газету. Выслушав все это, Смирнов спокойно ответил:

– Александр Борисович, за зарплату, которую я у вас получаю, я продаю вам свое время и профессиональные навыки. Совести своей я вам не продавал.

Отчетливо помню момент, когда в комнату, которую я делил с двумя другими редакторами ЖЗЛ, вошел наш заведующий Юрий Николаевич Коротков и молча положил каждому на стол, лицом виз, очень выразительный фотопортрет уже бесповоротно опального Солженицына. Я хранил его до самого отъезда из России. Откуда взялась у Короткова пачка этих фотографий, мы не спрашивали, но нетрудно было догадаться: скорее всего, ее принес тогдашний наш автор Лев Зиновьевич Копелев, лагерный друг Солженицына, благодаря которому рукопись «Ивана Денисовича» попала в «Новый мир».

Книга Копелева – о Бертольде Брехте – крамолы не содержала, но имя его (как «подписанта» петиций в защиту Синявского и Даниеля) попало в черные списки. Книгу его удалось выпустить, но с того момента начались гонения на Короткова, которые потом усилились и привели к его изгнанию из редакции ЖЗЛ. Незадолго до увольнения он подписал в печать мою книгу о затравленном лысенковцами и замученном сталинскими палачами академике Н.И. Вавилове.

После выхода она была «поймана на разноске», признана «идеологически вредной», не вывезенная из типографии часть тиража ее была арестована (90 тысяч экземпляров из отпечатанных 100 тысяч), около года решалась судьба книги. Ее удалось отстоять благодаря вмешательству крупных ученых, включая вице-президента Академии Наук Н.Н. Семенова.

Не только Солженицын, вся обстановка того времени заставляла каждого дать ответ – прежде всего самому себе – на сакраментальный вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» Но Солженицын был в числе тех, кто создавал такую обстановку. Присуждение ему в 1970-м году Нобелевской премии было воспринято «нашими» с ликованием, а отказ его ехать в Стокгольм на нобелевские торжества – с восхищением.

В то время власти, ведя борьбу с диссидентами, наиболее известных из них предпочитали не арестовывать, а «обезвреживать» другими способами. Некоторым «разрешали» выехать за границу, после чего лишали гражданства, то есть возможности вернуться. Чаще всего такой компромисс устраивал обе стороны: измотанный борьбой и гонениями диссидент считал, что на родине свою миссию выполнил, а на Западе сможет продолжать приносить пользу делу российской свободы, рассказывая правду о происходящем в стране. Того же ждали от Солженицына. Но он опять сыграл не по правилам. Он потребовал гарантий свободного возвращения и, не получив их, отказался ехать в Стокгольм.

Я был убежден в том, что по масштабу таланта и стойкости в борьбе против насилия и мракобесия Солженицын соизмерим с Львом Николаевичем Толстым, но действовать ему приходится в условиях куда более беспощадного (по сравнению с царским) режима.

Первое разочарование – не в его общественной и нравственной позиции, а в творческих возможностях – принесло мне чтение романа «Август 1914», первого «узла» многотомной эпопеи «Красное колесо». Приятель, давший мне тамиздасткую редкость на два дня, расхвалил ее до небес, и я приступал к чтению с тем предвкушением счастья,

которое мне всегда приносило общение с большой настоящей литературой. Но роман оказался непомерно затянутым, загроможденным множеством ненужных подробностей, населенным бледными бесплотными тенями вместо живых человеческих характеров, попросту говоря — скучным. Подчеркну, что это была первая редакция романа, в нем не было вставного сюжета об убийстве премьера Столыпина «Мордко» Богровым, так что ничего сомнительного в идейном или нравственном отношении я в книге не усмотрел. Это была очень слабая проза.

Возвращая книгу, я поделился с приятелем своим впечатлением, но получил самый решительный «отпор». Он заявил, что роман гениален, все характеры прорисованы блестяще, а я просто ничего не понял.

Приятель меня не переубедил, но заставил задуматься. Я понял, что имя Солженицына обладает магической властью над умами и душами многих отнюдь не глупых людей, из-за чего они теряют способность трезво оценивать его произведения. Вызывала удивление и политическая близорукость властей, запретивших публиковать этот роман на родине, хотя ничего «антисоветского» в нем не было. Появись он в том же «Новом мире» или другом подцензурном издании, и ореол преследуемого борца с режимом, окружавший Солженицына, изрядно бы поблек. Не иначе, как само его имя вызывало у представителей власти такую ярость, что и они теряли способность трезво оценивать то, что выходило из-под его пера.

Однако, эти размышления были вытеснены оглушительным взрывом «Архипелага ГУЛАГ». Создание этого грандиозного произведения было творческим подвигом большой силы, а публикация его на Западе — актом беспримерного гражданского мужества. Солженицын с потрясающей силой раскрыл механику тотального подавления личности, на которой базировалась коммунистическая система власти. Он — один — сказал за всех молчавших.

Удар, который эта книга нанесла советскому коммунизму, был сокрушительным, после него он уже не мог оправиться. Это не значит, что все в этой книге безупречно. Книга, объемом в три больших тома, не может быть во всем ровной. В ней есть затянутые места, есть пустая риторика; периферийно прорываются весьма странные, мягко говоря, высказывания и пассажи. Но общий пафос книги, ее художественная сила, публицистическая направленность были таковы, что она воспринималась как окончательный, не подлежащий обжалованию приговор.

Впрочем, непосредственному знакомству моему с «Архипелагом» предшествовали драматические события, вызванные появлением книги на Западе. Печать низвергала громы и молнии на голову «клеветника», «двuruшника», «провокаатора», «литературного врасовца», «врага России». Помню, с какой тревогой я принимал каждый вечер к моему ВЭФу, вслушиваясь в радиоголоса сквозь вой и треск глушилок.

Известие об аресте Солженицына повергло меня в состояние шока. Если они решились на такое, значит, никто теперь не защищен, неизбежен возврат к сталинизму! На следующий день – гора с плеч! Нет, они не посмели его снова упечь в лагерь! Только насильственно выдворили из страны, чем навлекли на себя еще больший позор. Неужели думают, что этим решили «проблему Солженицына»? Да ведь он теперь только и развернется во всю свою богатырскую силищу, теперь он покажет!

Увы, КГБ оказался прозорливее. Там, вероятно, был глубоко изучен его психологический портрет, определен и просчитан вектор его дальнейшей деятельности.

Вместо того чтобы стать объединяющим центром творческих сил эмиграции, Солженицын стал инструментом ее раскола. Вместо того, чтобы возглавить борьбу за права человека в СССР, выступать с протестами против преследования инакомыслящих, продолжать рассказывать миру об ужасах ГУЛАГа и о подавлении свободы в СССР и странах советского лагеря, он продолжал вертеть «Красное колесо», производя погонные километры неудобочитаемой прозы, посвященной событиям, весьма далеким от того, что происходило в СССР и что он сам пережил.

Пока я оставался в Союзе, я не имел возможности во все это вникать. Но после эмиграции сориентироваться было нетрудно. Вторая редакция «Августа 1914» окончательно прояснила политические и нравственные позиции Солженицына. Правда, прочитал я эту редакцию романа не сразу после выхода в свет, а после ее появления в английском переводе, когда газета «Вашингтон Таймс» заказала мне рецензию на нее. Ирония состояла в том, что добавленные главы о премьерe Столыпине и его убийце Богрове подавались примерно под таким же углом зрения, что и в романе Валентина Пикуля «У последней черты», опубликованном в «Нашем современнике» незадолго до моего выезда из Союза. Своим откровенным антисемитизмом роман Пикуля встревожил даже тогдашних советских

вождей, сделавших систематическую травлю евреев важной составной частью своей внутренней и внешней политики.

Новая редакция «Августа», последующие «узлы» «Красного колеса», как некоторые публицистические и общественные выступления Солженицына, показали, что для российской демократии он был лишь временным попутчиком. Мужественное противостояние большевистской диктатуре сделало его рупором всех недовольных большевистской системой, однако представление о том, что должно прийти ей на смену, у него было совершенно иным, нежели у А.Д. Сахарова, членов Московской Хельсинской группы, других ведущих диссидентов.

Они делали ставку на сближение с Западом, на плюрализм мнений, на защиту прав человека и другие ценности демократического общества. Солженицын же «патриотически» полагал, что демократия западного типа в России недостижима и даже ей противопоказана. Для него будущее России было в ее дореволюционном прошлом, которое он идеализировал. С этим он вернулся в постсоветскую Россию, пытался обратиться к ее вере, но понят не был. Вскоре после его триумфального возвращения от него отвернулись. Так называемые национал-патриоты, которым его идеи должны были импонировать, не могли простить ему его роли в подрыве коммунизма. Демократы же откровенно смеялись над его рецептами «обустройства» России.

Только после того, как усилиями Ельцина и его команды, поставивших страну на поток и разграбление, демократия была непоправимо дискредитирована в глазах населения, престиж Солженицына снова стал расти. Не найдя общего языка с Ельциным, он нашел его с Путиным. Награду, предложенную ему Ельциным, он гордо отверг; из рук Путина – принял. Главный чекист страны, сделавшийся ее президентом, явился на поклон к бывшему ээку, ставшему олицетворением ее «духовности», и они поладили.

Последняя крупная работа Солженицына – двухтомник «Двести лет вместе», в котором озвучиваются стереотипные мифы о вине евреев во всех бедах России, – печальное завершение долгого творческого пути одного из самых выдающихся деятелей русской литературы XX века. На меня этот труд тоже оказал больше влияние, но, так сказать, с обратным знаком.

Отдав тридцать лет развенчанию антисемитских мифов, я не мог не написать контркнигу: «Вместе или врозь?». Многие критики восприняли ее как «ответ Солженицыну». Однако Солженицын не задавал вопросов, а я не давал ответов. Мифологическому

повествованию о какой-то особой роли евреев в судьбах России я противопоставил рассказ о их подлинной судьбе.

Окидывая сегодня единым взором тернистый, ухабистый, полный падений и взлетов путь А.И. Солженицына, я не могу не прийти к выводу о его глубокой трагичности. Всю вторую половину своей долгой жизни он упорно разрушал то, что создал в первую половину. К счастью, довести до конца эту геростратову работу ему не удалось. Я уверен, что произведения гулаговского цикла, от «Ивана Денисовича» до «Архипелага», останутся вечным памятником великому русскому писателю Александру Солженицыну. Именно они сохранятся в благодарной памяти будущих поколений.

Часть 3.

Из дневников и архивов



Николай Акимов. Афиша к спектаклю «Что скажут завтра?», 1958 год

Ирина Роскина
Иерусалим, Израиль



Об Александре Галиче. К 100-летию со дня рождения А.А. Галича

Каждый поэт или пророк или ему хочется быть пророком. Поэты свои пророческие качества ценят. Галич очень ценил и каждое исполнение «Петербургского романа» всегда предварял пояснением: «Это было написано до (повторяю: до!) того, как несколько московских интеллигентов вышли на Красную площадь в знак протеста против оккупации Чехословакии». *И от этого «до (повторяю: до!)» строки*

Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!

приобретали иную (более высокую) степень значимости. Галич, и готова за границей свою книжку к печати (один только раз сам готовил к печати, а сколько раз мечтал корректуру в руках подержать...), проставил под текстом дату: 22 августа 1968.

До отъезда в эмиграцию Галич жил по адресу Москва, Черняховского 4, кв. 37. Это был жилищно-строительный кооператив «Московский писатель» – в просторечии «старый писательский» – у метро «Аэропорт», организованный в конце 1950-х, на первом этаже тогда помещалась поликлиника Литфонда (позже построили отдельное здание). Вокруг располагались и другие кооперативные дома творческой интеллигенции, более новые. Телефоны этой подстанции начинались на 151. У него был красивый номер – двадцать два два нуля (151-22-00). Про меня он написал (в «Телефонной песенке», она же «Номера»), иногда печатается с посвящением И. Б. – Ире Бориневич, по фамилии, которую я тогда носила), будто я называю ему по старому номеру (по-моему, вымышленному), пятизначному – 5-13-43. Тоже красиво.



Из этого дома он уезжал. У подъезда собрались провожающие – немного, но все-таки небольшая толпа. Только женщины (в аэропорту было по-другому много мужчин, совсем другие люди, больше ученых, чем писателей). Мужчины, говорят, из окон смотрели, боялись. Боялись на самом деле все, – то есть плевать, что боялись трусливые, страшно, что боялись храбрые, – если этого не сказать, то не будет правды о Галиче. Правда и в том, что все равно храбрые преодолевали страх, звали к себе, устраивали у себя на дому платные концерты Галича, благодаря которым он жил, лишившись официальных заработков. Собирали деньги, поили, кормили, давали ощущение нужности. И все-таки боялись. Мне в силу молодости и влюбленности

не до мыслей об опасности было, волновало только одно: почему не звонит, почему я не с ним. А когда я с ним – совсем другой безумный страх: ведь это не навсегда, отнимут – жена, красавицы, друзья, болезнь, смерть, КГБ. Все вместе отняли.

Однажды я шутила по поводу строчки Бродского, обращенной к Ахматовой: «Вы напишете о нас наискосок», – поэты, мол, будут писать о нас наискосок, своим изящным почерком нас обобщая и преображая, а мы потом сядем за пишущие машинки и отбрыцаем свое мнение о них впрямую, в лоб, наотмашь, без всякого «наискосок». Он вдруг изменился в лице – по-настоящему – ему пришло в голову, что я буду писать о нем мемуары: прошу тебя никогда не писать обо мне (имелось в виду о нем, о человеке, – о поэте я еще тогда писала – ему нравилось). Я обещала.

Тогда и помыслить нельзя было о временах таких: о нем писать, печатать или рассказывать публично. Какие там мемуары, когда за общение с ним ну, не посадить (не будем преувеличивать, хотя кого-то ведь за распространение его песен сажали), но уж вызвать-то в КГБ запросто каждую минуту могли. А кроме того, общаясь много и тесно – а мы виделись в последние пять лет до его отъезда (за исключением некоторых перерывов) каждый день и подолгу – трудно ощущать себя соглядатаем в целях будущей мемуаристики. Я как-то сказала ему, что уж очень мало я ему льщу, забываю о неравенстве между нами, разговариваю без должного подобострастия, часто зарываюсь так, будто мажу ему половой тряпкой по лицу. Он рассмеялся (ах, какой милый у него был смех, такой как бы для домашнего пользования, а не для эстрады): поэтому-то тебя тут и терпят, что половой тряпкой по лицу, а не на придыхании. На самом деле с моей стороны был расчет: я знала, сколько можно тряпкой, а сколько нужно на придыхании, – иначе бы не терпели. Я тогда обещала ему, что не буду писать о нем, и сейчас этого обещания не нарушаю, так как пишу не о нем, а о своей любви к нему. Только некоторые факты хочется попутно уточнить.

Вернувшись из аэропорта, я вошла в тот день с дочкой и матерью Ангелины Николаевны в опустевшую квартиру Галичей. Они должны были разбирать вещи, делить между родственниками. А меня Александр Аркадьевич перед отъездом при своих и Ангелины Николаевны родственниках назначил душеприказчиком по литературным делам. Естественно, не на тот момент (он был тогда полностью запрещен, даже из фильмов по его сценариям вырезали кадры с его фамилией – во всех копиях пленку резали и клеили, не

ленься), а на будущее. Когда будущее пришло, многих в живых уже не осталось, а возникли другие, а обо мне окончательно забыли. Обо мне-то ладно, но забыли о воле поэта, завещавшего мне свое литературное наследие. В этом была и моя вина. Мне хотелось быть вдали от схватки, ни в чем не участвовать, жить своей жизнью. То есть я, конечно, виновата. Но ведь в результате и без меня обошлись, хорошо справились.

То есть тогда я вошла в его квартиру, чтобы заняться разбором бумаг. Он мне предварительных указаний о том, что где лежит, не давал. Я взяла мало – по глупости – только тетради с автографами песен. Диван был не застелен, на кухонном столе осталась неубранная после завтрака (торопились на аэродром) посуда.

Через пару дней позвонила в Осло, – у меня ведь была записная книжка Галича с телефонами (потом сожгла), где я нашла номер Виктора Спарре, художника, деятеля комитета по делам беженцев, который через В. Максимова организовал Галичу Норвегию. Галич был весел, сообщил, что ест на балконе вафли, там солнечно. Вроде бы ничего не сказал, а было в этом что-то особенное.

Про него вообще-то трудно рассказывать интересно. Все время кажется, что ничего и не сказал, а было что-то особенное. Наши свидания большей частью состояли из того, что мы ходили на рынок, покупали капусту (он любил квашеную и щи из нее любил, «суточные», Ангелина Николаевна прекрасно варила). Ну, может, не капусту купили, а картошку, телятину, творог, огурцы, – варианты на этом исчерпывались, а счастье было именно в том, что вместе ходили по самым простым делам.



Он был молчалив. В нем не было интеллектуальной игры. Он не хохмил, он не высказывался афоризмами. Все, что он хотел сказать, он выговаривал в песнях. Нечто недосказанное он заливал водкой, чтобы

не мучиться думами. Глушил себя. Он редко рассказывал байки. Среди его любимых рассказов о себе была история о том, как он провалился при поступлении в актерское училище, где кто-то (не помню, кто-то очень крупный, Леонидов, что ли?) сказал ему «Актером ты не будешь, а знаменитым будешь». Он мог поддержать разговор на любую тему, но в основном это было за счет такта, а не эрудиции. И секрет его обаяния был чисто биологический. А обаяние его действовало на всех наповал, – во всяком случае, мне так казалось.

Как-то он, еще член Союза советских писателей, вернулся в Малеевку после однодневной отлучки в Москву. Отдыхающие столпились на веранде, ожидая автобуса, довозившего от станции в Дом творчества. Все были в восторге, что он возвращается, – он был главным украшением малеевской жизни. Его со всех сторон обступили, дали ему усесться в лучшее плетеное кресло и пристали с расспросами: «Ну, как там в Москве, что нового?» (Было лето 1971 года, эпоха застоя, и новостей ждать было неоткуда). Он пластично закурил и сказал своим милым голосом, чуть растяжно: «В Москве хорошо. Помидоры дают». И все. Больше от него никто ничего не услышал, а все были в восторге.

Помню, как я впервые услышала, как он поет. То есть песни его мы уже знали, но тут пел он сам. Четвертого декабря 1968 года Вера Давыдовна Острогорская – литератор, известная своим остроумием, общительностью, бесстрашием и добротой – пригласила нас с мамой к себе на Галича. Собралось очень много народа, я пришла с магнитофоном. Все умирали от хохота над «Климом Петровичем» и над «Футбольной» – Галич уморительно вращал глазами в роли спортивного комментатора. Грустно вздыхали при «Старой записи». Галич умело держал эмоции аудитории: программа, ее порядок, жесты и мимика исполнителя были профессионально отработаны, так что казалось, будто он поет специально для каждого из вас, получая от этого сам удовольствие. Он вообще любил петь. Потом, не вскоре, они с Нюшей, верней, главным образом Нюша, рассказывали мне, как у них весело бывало когда-то, когда он приезжал домой с компанией цыганских красавиц, садился за пианино, наигрывал и подпевал этому хору вращающихся стройных ног, а Нюша ревновала и мучилась. Теперь того загульного веселья не было: куда там веселиться под «Рвется и плачет сердце мое...», – но удовольствие от исполнения он

получал. Мы утирали слезы над «Вечным огнем», а потом моя смешливая мама снова начинала хохотать, а Верочка Острогорская сказала, оберегая магнитофонные записи: «Только не гогочите!» А Галич перебил: «Гогочите, а то ваши вонючие магнитофоны снимают мне реакцию», – и это у меня записалось, а не записалось продолжение его фразы: «А впрочем, может, вам это покажется просто не смешно», – чуть растерянным голосом, и дружный взрыв смеха ему в ответ, на этот раз не над текстом, а над нелепым его предположением, что нам может быть не смешно то, что он сочинил как смешное. Как обидно, что я тогда сэкономила магнитофонную пленку (ее купить было негде), отключала магнитофон во всех перерывах, записывала только песни и его предисловия, неизменно начинавшиеся с «А еще что надо знать...»

Конечно, значение его песен сразу стало мне ясно, но в обществе людей старше и умней меня я не вылезала. Не помню, что именно ему тогда говорили. Помню, что очень хвалили, старались. Но все равно самым любимым его на себя отзывом осталось высказывание одного из цыганских певцов, часто Галичем по разным поводам цитируемое: «Особенно у тебя текст слов хорош». (Галич как-то признался, что цыган на самом деле сказал так: «Гитара примитивная, а текст слов хороший», – но дальше чуть переиначилось.)

Кроме смешного выражения («текст слов»), Галича привлекала и суть этой формулировки. Ему хотелось, чтобы его считали поэтом. В первую очередь – поэтом, а потом уж песенником, бардом и т.д. Он даже спросил меня как-то в минуту предельной откровенности (он был человек застенчивый, воспитанный по-старому, считал, что на многие темы с женщинами не говорят, в обществе – кроме как от лица персонажей – не «выражался», никогда при мне не рассказывал неприличных анекдотов и испытал большие трудности, когда я, не зная, что такое «снохачество» – разговор шел о Горьком, – попросила его мне объяснить), так вот он спросил меня интимным тоном и даже несколько покраснев: «Кто лучше поэт: я или Заболоцкий?». Может быть, он спросил не «кто лучше», а «кто крупнее». Я оказалась не на высоте, – въедаются в нас стереотипные представления: Заболоцкий великий поэт, а Галич – я еще не знаю, меня не учили. Кроме того, мне этот вопрос не понравился по содержащейся в нем аналогии: у моей мамы был известный в обществе роман с Заболоцким, я влюблена в Галича. В общем, я ответила, что не знаю, и он был огорчен. А мама, которой я потом это рассказала, меня ругала: «Конечно, Галич более крупное явление. Уж во всяком случае ответить надо было так, да и по сути совсем не соврала бы».

Я много – и искренне – восхищалась его творчеством. Но если что-то не нравилось, не скрывала. Сочиненные им перед отъездом «Когда я вернусь» и «Песня об отчем доме» казались мне расплывчатыми, излишне «от себя». Я считала, что эта непосредственная открытость облика была вообще чужда ему. Он создал себе роль очень естественного человека, во всех своих проявлениях, и замечательно играл эту роль, пока не доходило до полного обнажения себя. Он не любил, чтобы его видели небритым, в вытянутых на коленях «трениках», хмуро озирающего больничные стены (он часто и серьезно болел). Считал, что на людях лучше появляться пижонем «с видом, что на всех плевать» (хотя был до крайности чувствителен и обидчив), гладко выбритым, с хорошо подстриженными усами, в идеально отутюженных брюках, с американской сигаретой Филип Моррис или Парламент. Отменно вежливый, высокий и высоколобый. Для воспевания своих героев – стоятелей в очередях – ему уже не требовалось общение с ними. Мне (до меня были другие, а после меня – заграница) давались деньги – стоимость бутылки водки плюс рубль. Я шла на угол (в нашем районном магазине «Комсомолец», называемом так по привычке, несмотря на переименование, был еще винно-водочный отдел), в хвост очереди не вставала, а давала какому-нибудь стоящему ближе к прилавку алкашу посимпатичнее деньги плюс рубль и получала бутылку, которую пили за обедом. (Галич по вечерам дома пил редко, а уж если в гостях, то обязательно.) Обед был ровно в два – привычка людей, много времени проводящих в Домах творчества и санаториях. Ели на каждодневном веджвудском синем-белом сервизе, непонятно почему продававшемся в Москве в каком-то из 1960-х («оттепель»?). Ньюша готовила замечательно, и водка «принималась» культурно под первое, ну, и капуста квашеная, якобы полезная для сердца, и соленые огурчики (обязательно нежинские – маленькие, твердые, с пупырышками, он замечательно умел их выбирать, как и муромские помидоры). После обеда он ложился спать – тоже от Домов творчества привычка, в пять был чай, а вечерами, если не было приглашений в гости, он томился. Заходившие к нему не спасали – надо было именно быть в гостях. Смотрел телевизор, страстно болел футболом, с некоторой иронией наслаждался детективными фильмами. И читал детективы. Не помню, когда научился читать по-английски, но свободно читал и Ле Карре, и вошедшего тогда в моду Марио Пьюзо, и т.д. – то есть мужские детективы, а не «уютные» дамские.

Ух, куда меня занесло от «Когда я вернусь», про которое я весной 1973 года промямлила, что мне не нравится. Вернусь хронологически. Следующее утро началось с нюшиного звонка. Строгим прокурорским тоном она сказала без обычного «Здравствуйте, Мурик» или еще более ласково «Муринька», как они меня называли вслед за моими самыми близкими: «Я не понимаю, вы кого любите: моего мужа или русскую поэзию? Если, как я думаю, моего мужа, то извольте подобных выходов больше не повторять, – ему от ваших слов стало плохо с сердцем». А меня, гадину, от этого «плохо с сердцем» ликование охватило: как ему важно мое мнение!

Но еще декабрь 1968 года, я уже без памяти влюблена, а он не только не знает об этом, но и имени-то моего вообще не знает. Если проторчать неизвестно сколько времени на улице, то можно увидеть, как он куда-то идет или откуда-то возвращается, часто с футляром с гитарой в руке – подойти неудобно. По вечерам он выгуливал собаку Чапочку – пекинеса – около своего подъезда, с неизменной сигаретой, которую он как-то особенно подносил ко рту, под другим, более изящным углом, чем все остальные люди, – или мне это казалось. Темный двор, всегда плохая погода, высокий мужчина в дубленке-курточке, – мои университетские тетради с конспектами повторяют этот набросок. Пекинес Чапа вскоре умерла, потом – уже при мне – они взяли другого пекинеса, назвали в честь Александра Аркадьевича Сандриком, но бывшей любви не возродили. Можно было дожидаться на улице наступления ночи и увидеть, как он открывает форточку, чтобы выкурить последнюю сигарету. Они жили на втором этаже (выбирали этаж, чтобы он, сердечник, не зависел от лифта, мог подняться домой даже по лестнице, если лифт сломается), и в окне он был виден отчетливо. Но он тогда часто уезжал из Москвы: то по делам, на разные студии, в Новосибирск, Свердловск, Дубну, то по домам отдыха, – форточка закрыта.

Летом 1969 года мы едем в Малеевку и – о счастье! – там Галич. Там еще Елена Сергеевна Вентцель (И. Грекова) – замечательная, в которую мы с мамой обе несколько влюблены, а она несколько влюблена в Галича, во всяком случае, давно с ним знакома (они любили вспоминать и о недавнем своем соавторстве по пьесе «Будни и праздники», сделанной по рассказу И. Грековой «За проходной»), и очень дружна, и тут можно примазаться. Нюша – женщина отнюдь не

глупая – быстро меня раскусила. Моя тогдашняя влюбленность была столь, что называется, светла, что я готова была переносить ее и на Ньюшу. Я охотно составляла ей компанию в ее недалеких, но частых прогулках до местного деревенского (глуховского) магазина за водкой и селедкой, которую она обожала, а он не выносил – его всегда мутило от селедочного запаха. А она в ответ на мою симпатию к ней не включила меня в объекты, достойные ревности и заслуживающие тем самым полного исключения из их жизни.

Нюша любила говорить о своей ревности, о том, что ревнует его даже к стулу, на котором он сидит. В трезвом виде она говорила забавно, очень остроумно, но в изрядном подпитии доходила до непристойностей, – а он, несчастный, подобных разговоров не терпел, и если не мог заткнуть ее, то просто выходил из комнаты. Со стороны – людям, которые их мало знали, казалось, что он тяготеет невыносимой женой. Конечно, бывало, что тяготился. Она не была тихой, милой, покорной. Но она была ему нужна. Она была как-то редко красиво. Мраморно красива. А главное в ней была своя личность. Не гениальная, но своя. И в целом они были парой, спутниками.

У меня есть случайный малеевский снимок, сделанный кем-то после завтрака с бокового балкона, так что виден главный корпус. Они идут по центральной аллее, она ему что-то втолковывает, он слушает. А по боковой аллее спиной в косыночке это вроде бы я куда-то поспешаю.

Галич тогда еще работал профессионально, то есть с десяти до двух сидел за письменным столом. До десяти он успевал жадно прочесть газету «Правда», – не верил ни слову, по ночам обязательно слушал вражеские голоса по приемнику, но ритуал чтения не менял. А после пятичасового чая он принадлежал обществу. Он прекрасно играл в бильярд: красивыми, точными ударами, – я сидела в бильярдной и любовалась им.

Он был азартен и удачлив с младенчества. Из его крайне малочисленных рассказов мне о своем детстве я навсегда облюбовала вкусно рассказанную историю о том, как они с приятелями в девятом классе вытащили зайцев из школьного зооуголка и устроили бега с тотализатором, за что и были исключены из школы. Ах, как светилось у него лицо при этом рассказе о заячьем беге, как умел он легким жестом, неуловимым изменением мимики передать наслаждение движеньем, скоростью! Я потом, после его отъезда, пыталась напомнить эту историю его матери, надеясь выведать какие-нибудь подробности, но она посмотрела на меня с недоумением: не помнила.

А ему несвойственно было подобные истории выдумывать. Он очень оскорбился, когда при его исключении из Союза писателей Арбузов и Сахнин упрекали его в использовании чужой биографии – мол, сам не сидел, а от первого лица муки сталинских лагерей описывает, нахал (приводился пример «...лед, что я кайлом ковырял»), – трудно представить, что подобные обвинения могут исходить от писателей, то есть людей, теоретически знакомых с природой творчества, но мало ли что в наше время бывало. Сам Галич, кстати, принял это обвинение так всерьез, будто его в школе не учили, что доказательство гениальности Льва Толстого в том, как он – мужчина – описывал женские роды. В оправдание себе Галич говорил о повлиявшей на него судьбе рано посаженного и погибшего в лагерях двоюродного брата Володи. Это дома он потом оправдывался, там-то – на исключении – он держался замечательно, не унижаясь. Только видно было, что от всей этой процедуры он очень устал. Я ждала его в вестибюле ЦДЛ. Когда он вышел, к нему сразу подошли Е.Г. Боннер и С.Э. Бабеньшева. У него не было сил разговаривать. Гардеробщик подал ему пальто – демисезонное, серое, а шарфик синий клетчатый, – он открыл кошелек, чтобы дать на чай гардеробщику, и неудачным движением (это он-то! с его пластикой!) просыпал всю мелочь на пол. Я машинально стала подбирать. Он резковато схватил меня за плечо: пошли отсюда. В такси по дороге домой он молчал. А потом сразу стали приходить разные люди. И от этого потока людей, и от необходимости проявлять радушие, и разводить несовместимых, и развлекать отчетом он оживился, повеселел. А назавтра (опять же без звонка) пошли другие люди – друзья-приятели старых лет, советовавшие протестовать, писать покаяние, бороться за права и привилегии (возможности заработка, поликлинику), стремиться выжить, чтобы в тунеядстве не обвинили. (Чтобы избежать обвинений в тунеядстве ему в апреле 1972 сделали инвалидность второй группы, но у него действительно было большое сердце, – в буквальном смысле, медицински.) Он помрачнел. Поначалу даже соглашался каяться – ему написали шпаргалку, – потом решил: не для него. А на исключение из Союза кинематографистов (через несколько месяцев, в начале 1972) он меня с собой не взял. Потом позвонил и сказал: исключили. Интересно, что в голосе его все-таки звучало удивление. Думал, что могло быть иначе. В дружей-кинематографистов верил больше, чем в писателей.

Так вот, к сочинению вранья из своей жизни склонности у него не было: ему хватало таланта, чтобы не прибегать к уловкам иного соблазнения.

P.S. Все, что я взяла в тот день дома у Галичей, и все, подаренные мне им автографы и фотографии, были переданы мной в 2006 г. в Исследовательский центр Восточной Европы Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen).

1990-2018

Полный вариант повести можно прочитать в журнале ЧАЙКА:
<https://www.chayka.org/node/9274>

Ольга Трифонова-Тангян

Дюссельдорф, Германия



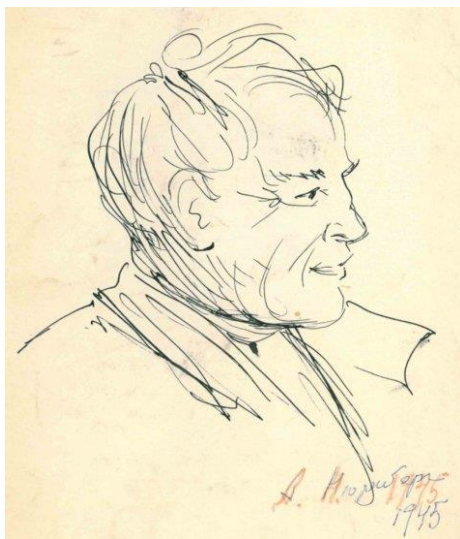
Как художники пережили войну. Дневники А.Нюренберга. 1941 год Ш

*Мое художественное ремесло часто в жизни меня спасало.
А.Нюренберг, Дневник, октябрь 1941 г.*

Жизнь художника Амшея Нюренберга (Елисаветград, 1887 – Москва, 1979) пришлась на эпоху главных российских потрясений двадцатого века — революций 1905 и 1917 гг., а также Японской, Гражданской и двух мировых войн. Когда началась Великая

Отечественная Война, ему было 54 года. Он не подлежал призыву, но все тяготы претерпевал вместе со всеми. В 1941 году он с соседями по Дому художников на Верхней Масловке в Москве рыл траншеи, а ночами дежурил на крыше дома, гася и сбрасывая вниз зажигательные бомбы. В октябре 1941 г. он был эвакуирован в Ташкент, но уже в 1943 г. вернулся обратно.

Художник обладал ярко выраженным общественным темпераментом. После двухлетней учебы в Париже в 1911–1913 гг., где он с М.Шагалом снимал ателье в фаланстере «Ля Рюш» (Улей), он приехал в Одессу и организовал авангардистскую группу «Независимые», которая сразу обратила на себя внимание. В 1918–1919 гг. он стал Комиссаром искусств Одессы, в начале 1920-е делал плакаты для Окна РОСТА и читал лекции во ВХУТЕМАСе, после восстановления дипломатических отношений с Францией в 1924 был командирован Луначарским в Париж «культурным послом», а в 1930-е являлся одним из создателей МОССХа. Он много публиковался, в т. ч., в газетах «Правда» и «Известия», и часто выступал с докладами и лекциями об искусстве. В эвакуации в Ташкенте Нюренберг, сотрудничал с Узбекским Союзом художников и выступал перед разной аудиторией, например, в госпитале перед ранеными красноармейцами со своими воспоминаниями о Владимире Маяковском и о работе с ним в Окнах РОСТА.



А.Нюренберг, 1945. Автопортрет

Нюренберг был не только живописцем, но и незаурядным литератором. Литературный талант проявился как в его многочисленных репортажах и искусствоведческих монографиях «Самарканд и Ташкент» (М. – Ташкент, «Рисоля», 1922) и «Полю Сезанн» (М., ВХУТЕМАС, 1924), так и в мемуарно-исторических книгах «Воспоминания, встречи, мысли об искусстве» (М., «Советский художник», 1969) и «Одесса – Париж – Москва» (М., «Мосты культуры», 2010).^[2] Кроме этого, Нюренберг всю жизнь вел дневниковые записи в форме литературных очерков. Они часто напоминали небольшие новеллы с выразительными сценками, диалогами и неожиданным концом.

В дневниках военного времени ясно выражена гражданская позиция Нюренберга — солидарность тыла с фронтом, личная стойкость, максимальное содействие победе. В эти трудные годы он много размышляет о долге художника перед своей страной. И отождествляет себя с Советским государством, которое рождалось у него на глазах, в создании и развитии которого он активно участвовал. В записях Нюренберга мало личного, почти нет упоминаний о собственных проблемах, о своей семье. Он поглощен делами фронтовыми, общественными. Кроме того, его по-прежнему волнуют идеи искусства, он задается вопросом, нужны ли вообще в войну художники и их творчество. И не без сожаления замечает, что пейзажи и натюрморты отошли в прошлое, а осталась лишь потребность в агитационных плакатах, героической и монументальной живописи. Его еще интересует, к каким новым методам и сюжетам обратятся художники после войны.

Дневники Нюренберга описывают как случайные встречи, так и беседы с известными личностями. Но если в московских дневниках речь идет преимущественно о друзьях и соседях по Дому художников на Верхней Масловке, то в ташкентских заметках рассказывается о деятелях культуры, эвакуированных со всей европейской части СССР, а также о тех, кто постоянно проживал в Азии.

В ташкентской эвакуации Нюренберг делил участь большинства. Тяготы усугублялись ответственностью за свою семью — жену Полину Мамичеву и дочь Нелю. У них был небольшой, но спаянный коллектив. Это заметно по запискам Нюренберга. Заметно и то, что на нем лежала главная нагрузка. Вот описание его типичного распорядка дня в тот период:

Творческий день: утром в очереди за хлебом. В обеденные часы беганье за обедом, пирожками. Керосинка-мангалка, в 4–5 часов — на базаре продажа барахла, и за вечерним чаем — грустные мысли об умерших и недостижимой Москве. *Дневник*, 9 марта 1942 г.

В годы войны Нюренберг непрерывно работал, надеясь своим трудом внести посильный вклад в общее дело, в будущую победу. В своей антифашистской серии он документировал страдания гражданского населения, бедственные условия, в которых оказались беженцы и эвакуированные. Герои его живописных и графических работ — матери с маленькими детьми, старые люди, инвалиды войны, сироты и бездомные. Все они куда-то ехали и шли с тюками и мелкой утварью. Невзирая на погоду, сидели на вокзалах в ожидании поездов. Один из тематических циклов — «Юдаика» — посвящен трагедии евреев при Гитлере.



Москва, Верхняя Масловка, 1946. Семья художника Амшея Нюренберга: жена Полина Мамичева, дочь Неля Нюренберг (солистка ГАБТа 1946–1957 Нина Нелина). *Из семейного альбома.*

Другая часть произведений Нюренберга военного периода продолжила начатую в 1920-е годы среднеазиатскую тему. В первый раз он отправился в Ташкент и Самарканд в составе группы реставраторов старинных памятников архитектуры. Азиатские работы военного периода включали как городские сценки, так и портреты, в основном стариков, которых художник предпочитал молодым моделям. В дневниках Нюренберг отмечал, что больше всего его впечатляли аксакалы с лицами Будды и королей. В городских пейзажах

представлены исчезающий старый Ташкент, низкие дома с плоскими крышами, чайханы, где подавали вкуснейший чай, дворики, арыки с перекинутыми через них мостиками, низкорослые деревья с переплетенными сучьями.

В конце 1945 года, вскоре после Победы над фашистской Германией, была организована персональная выставка «Антифашистской серии» Нюрнберга в Центральном Доме литераторов с 71 работами. Очерки для каталога написали известный художественный критик Александр Ромм и искусствовед Лев Варшавский. В своей статье Ромм писал:

Но самая блестящая страница биографии художника датирована годами Отечественной войны. Это страница, посвященная жертвам фашизма. Серия рисунков (сепия, сангина и гуашь), помеченных 1941–1944 гг., — быть может, — лучшее из всего, созданного А.М.Нюрнбергом. Знарок искусства увидит в них тонкость и гибкость приемов, почувствует, что так ценно в искусстве, — человечность и теплоту. Он также поймет, что внешнее качество этих работ проистекает из их идейной значимости. В фигурах изгнанников, узников и смертников столько затаенного невыразимого страдания, столько благородного спокойствия, столько веками накопленной народной мудрости! Драма показана здесь не в аспекте безволия и покорности, эта серия рисунков звучит как властная песнь о нерушимом человеческом достоинстве. Это — утверждение нравственной силы, превосмогающей все гонения и испытания. При взгляде на этих стариков и старух вспоминаешь многих из их сынов и внуков, сражавшихся в рядах Красной армии за свою Советскую Родину.^[3]

После победы в войне Нюрнберг ликовал и писал яркие и радостные работы. Во второй половине 1940-х–1950-х он создал серию праздничных картин «Карнавальные сценки». Нарядные девушки, воздушные шары, букеты цветов, народные гулянья — все было навеяно Днем Победы 9 мая. Бурные эмоции художника вырвались наружу. Никогда — ни до, ни после — не было у него такой творческой эйфории. А ведь он был уже далеко не молод. Но он искренне радовался. Тогда казалось, что жизнь наладилась, и все плохое осталось позади.

Москва, 1941 г.

15 июля 1941 г.

Жильцы нашего дома[4] разделились на бригады, во главе каждой бригады боевой бригадир. С раннего утра до глубоких сумерек он ходит по двору с озабоченным лицом. Жесты его скупы и полны целеустремленности. Говорит он тоном командира на боевых передовых позициях.

Копаем траншеи, так называемые «щели». О «щели» среди нас ходят самые восторженные слухи. Она и надежнее бомбоубежища, в ней, как у Христа за пазухой — легко и вольготно, снаряды в нее почти никогда не попадают и прочее. Я в бригаде молодого, но уже лысого художника, некоего Маркова. Парень с сухим, бесперспективным лицом и обиженными глазами. Работаем дружно, с повышенным тонусом, с тем тонусом, который сопровождает все наши общественные, ударные работы. Я копаю землю и отвожу ее на тачке. В моей бригаде много молодежи. Есть девушки. В 11 часов утра нас сменяет бригада Никонова. Он приходит в своей майке, широчайших штанах и в черном берете, лихо надвинутом на левое ухо. За ремнем, туго обтягивающим его сухопарый живот, лихо сияет топор. Никонов любит шутку. Он называет себя пиратом, главарем гангстеров, лидером неуловимой воровской шайки. Говорит глухим, простуженным голосом (след от недавней болезни).

Траншея растет медленно. Объясняется это большим количеством руководителей, имеющих различнейшие строительные концепции. Все сейчас захворали военно-инженерным искусством, и все они не согласны со старыми взглядами на строительство траншей. Они спорят между собой, меняют ход и форму траншеи, дают, разумеется, в беспепелляционной форме, директивы, зверски критикуют уже проделанную под их руководством работу и таинственно исчезают.

Копая и насвистываю для удержания бодрости старые еврейские и украинские песенки.

16 июля

С сегодняшнего дня в нашем Изодоме устанавливается дежурство. Круглосуточное. Дежурный обязан носить противогаз (нет собственного — бери в домоуправлении), обходить двор, оглядывать все уголки, тщательно прочесывая их палкой или дубиной. Найденного подозрительного человека дежурный обязан немедленно передать в близнаходящийся штаб. Во время воздушной тревоги дежурный обязан быть начеку, подавать пример храбрости и находчивости.

Сегодня дежурил от 12 до 2 часов ночи, вернее до 2 часов рассвета. Дом художников, обычно хмурый, сегодня особенно неприветливый, был пуст и темен. Окна — точно глазные провалы слепых. Деревья, стоящие вокруг дома, как бы заражены его хмуростью и глядят такими же неприветливыми, равнодушными массами. После 2-х часов начался рассвет. Бледно-желтая полоска. Сперва бледно-лиловая, потом блекло-оранжевая, а потом бледно-желтая. Это палитра Коро. Прозрачные, ласковые краски, приятные сердцу лирического пейзажиста, контрастировали с серыми домами нашего Изгородка. Какая мрачная мысль вселилась в холодные головы АХРРовцев, когда они решили построить этот «производственный корпус»?

Давно уже не приходилось так внимательно (почти вплотную) наблюдать восход солнца. Трудно было оторваться от чудесной и освежающей душу картины.

В четверть третьего я сдал дежурство скульптору К[НРЗБ].^[5] Он таинственно сообщил мне, что с крыши нашего дома виден мерцающий огонек, и что об этом он уже доложил в нашем штабе представителю милиции.

«Щель» похожа на военный окоп. Строительство подходит к концу. Сегодня моя лопата выбросила какую-то ржавую посудину. Остатки чугунного кувшина. Кто-то пошутил: «Предмет эпохи раннего Энгра и позднего сезаннизма».

«Щель» обшивается досками и столбами. На деревянные крыши кладем холсты (неудачные картины и этюды) и высыпаем на них густой слой земли. Мы шутим: «Наконец-то наша живопись приносит Советской власти реальную пользу!»

Приятно было видеть, как над входом в траншею улеглись натюрморты, пейзажи и то, как сыроватая земля их покрывала. Здесь сошлись и формализм, и соцреализм, и академизм, и натурализм.

Кстати, о живописи! Не засыпаем ли мы ее на несколько лет! Не кажется ли она нам сегодня ненужной, выцветшей романтикой. О ней принято сейчас говорить с подчеркнутой иронией. Может, и правы те, кто так говорят о ней. Может, правы те, которые утверждают, что сейчас только плакаты, карикатуры нужны!

Проектирую группу в стиле старых Окон РОСТА. Думаю воскресить старые традиции Маяковского, в создании которых я некогда принимал участие.

18 июля

Весь день провел в мастерской, прощаясь с начатыми и неоконченными работами. Я их долго разглядывал, точно их кто-то отнимал у меня. Закончу ли я их когда-нибудь? А как сейчас хочется придать им относительно окончанный характер! Дописать недописанные фигуры, замазать фон, наметить нужные детали. Легче стало бы!

Я поставил на мольберт большой холст «В день смерти Ленина» и глядел на него часа два. Сейчас мне картина показалась не такой уже неудачной. Мне даже самому понравились отдельные головы. Особенно голова плачущей женщины и скорбящего старика. Может быть, эта работа была одной из лучших в моем творчестве! Может быть!

Потом я поставил перед собою эскизы к картине: «Уход на фронт» и эскизы, особенно один из них, показались мне сегодня недурными. В них мне удалось передать какую-то теплоту. Что мне с ними делать? Кому они сейчас, когда страна переживает такое горе, такие тяжелые дни — нужны? До станковой ли живописи сейчас?! Что дадут мои картины армии, тылу?

Нужны только агитационные плакаты, героические лубки, сатира.

А что если и они сейчас не очень нужны? Мне почему-то кажется, что и они потеряли свой прежний смысл. В 1919–20 гг. я их делал с глубокой верой в то, что они нужны, что они действуют, бунтуют, зовут, толкают... Теперь я их буду рисовать (не могу не рисовать) без прежней веры! Что-то изменилось. Изменился красноармеец, изменился рабочий. Агитировать их, как некогда, сейчас уже не приходится. Они лучше художников знают, куда и зачем им идти. Выросла вся страна наша. Политически, морально и культурно. Роль художника-агитатора видоизменилась, она уменьшилась, значительно уменьшилась. В самом деле, что могут дать на фоне огромных, страшных потрясений, событий наших житейских агитплакатики выросшему и отлично политически оснащенному красноармейцу? Тылу, пожалуй, они еще нужны. Да. Только тылу. А может быть, все они нужны только нам, художникам и опекающим нас

политредакторам... Больше никому... Сейчас нужны мешки с песком, противогазы, инструкции, как всем этим пользоваться (вот здесь еще сможет художник быть актуален и полезен!). Нужны здоровые силы и не тут в Москве, а там, где решается участь всех наших двадцатипятилетних усилий, где решается участь Советской власти.

Я все сижу, прикованный к стулу. Сил нет оторваться от него и взяться за упаковку холстов. Что с ними делать?

21 июля

Первая воздушная тревога, настоящая, не учебная. Противный, тошнотворный вой сирен, паровозных и фабричных гудков тянется минут пять. Полина, Неля и я, захватив противогазы, висевшие на вешалке около входа, мешок с продуктами и захлопнув дверь, направились в бомбоубежище, находящееся в подвале, под нашим домом. На лестнице встречались испуганные фигуры наших соседей. В бомбоубежище пришло много народу. Все из соседних домов. Больше женщины с детьми, старики, старухи со скарбом. Были и наши художники, не знавшие еще, как себя держать в необычной обстановке.

Лица у всех, перекошенные и измятые испугом, говорят о пережитых новых волнениях. Набралось человек 170–180. Зажгли свет, пустили вентилятор. В подвале скамьи, стулья. Сухо. Народ долго не мог прийти в себя и потому оставался на тех местах, на которые он в первую минуту попал. К 12 ч. все уже как будто пообвыкли и в своих уголках себя неплохо чувствовали. Рядом с Полиной сидела старушка с маленькой, четко вылепленной головкой. Казалось, что это произведение готического скульптора. Руки, сухие и белые, старуха положила на колени. Глаза ее были закрыты. Платок длинными складками удлинял ее фигуру. Рядом со старухой с закрытыми глазами сидели и лежали женщины. Одна женщина в турецком платке с красивым лицом нежно прижимала своего ребенка, посекундно целуя его. Гудение вентилятора заглушало раскаты близко где-то стрелявших зениток, и люди могли спать.

Устроив своих, я ушел на лестницу, где стоял дежуривший пожарный. Лестница содрогалась и гудела. Поднялся на пятый этаж и через открытое окно общей мастерской поглядел на воздушный бой. Потрясающее, незабываемое зрелище! Точно грандиозный фейерверочный праздник. Вокруг центральной части Москвы сотни прожекторов, словно солнечные лучи, расчертившие темно-синее

небо. Пульсирующие пули — рубиновый пунктир, лениво направлявшийся в сторону вражеских аэропланов. Рубины плыли и гасли. В районе Белорусского вокзала долгое время висели три ракеты, брошенные парашютами немцев. Их свет — ярко-фосфорический, голубой — казался очень тревожным. Ракеты освещали подвергавшийся бомбежке район.

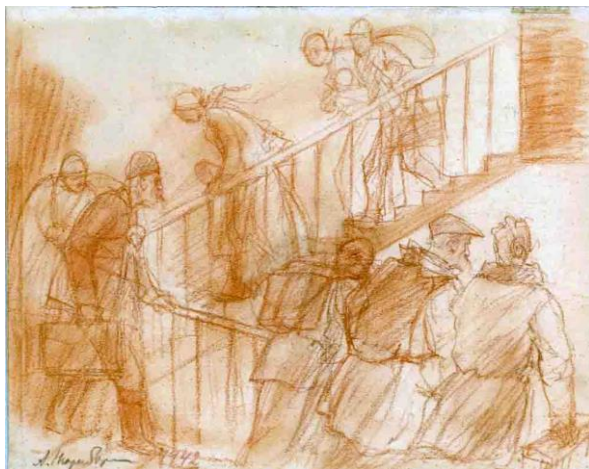
В 1 час ночи мы услышали ритмичное пение моторов немецких аэропланов. Они летели на высоте 2–3 тысяч метров. Нас поражали их наглость, напористость. С холодным равнодушием они сбрасывали свой страшный груз — тысячи зажигательных бомб и, покружившись над нами, уходили на юго-запад. Громоподобные раскаты наших зениток их мало смущали. В 2 часа в стороне Белорусского вокзала заалел горизонт, потом разгорелось большое пламя, охватившее огромный кусок юго-западного небосклона. Горели цистерны с бензином. Они со страшной силой взрывались, увеличивая пламя. В 3 ч. 15 минут был дан отбой. К этому времени пламя стало гаснуть и уменьшаться. Народ медленно вышел из бомбоубежища и устало поплелся домой в свои деревянные домишки, которые, как свечи, горят, когда на них падают бомбы. Люди тащили свой скарб и постель. Одна женщина, взвалив своего ребенка, потащила его точно мешок с вещами. Я проводил готическую старуху до ворот и сказал ей несколько приветливых слов.

Я поглядел на деревья и небо. Удивительно торжественно сияла природа. Особенно небо. Слепляющая голубизна. По-праздничному горели звезды.

Предутреннее небо, жарко горевшие звезды, первые тихо проехавшие трамваи, вздремнувший на уличной скамье милиционер — все это, наполненное мирной тишиной, было так далеко от всего пережитого ночью.

Восход был близок. Я посидел рядом с милиционером. Его опущенная на руки безмятежная голова, тихий храп меня успокоили. На востоке разгорелось ярко-золотое небо. Вышло утреннее солнце. Свежее, ласковое и доброжелательное. Точно ничего не было. Москва улеглась и досыпает. Мои тоже легли спать. ... «И равнодушная природа красую вечно сиять...»

Проблема сна становится все более ощутимой. Не хватает свежести головы, тела, ног. Движения таят в себе неуловимую усталость, падает трудоспособность. Результат недосыпания. Надо наладить свой быт так, чтобы днем можно было хоть минут 20–30 поспать. Только теперь, потеряв частицу того, что давал мне сон, я начинаю понимать его огромное значение. Проблема сна — это проблема труда и жизни.



А.Нюренберг, 1942. Спуск в бомбоубежище. Бумага, сангина. 28х36. Из частного собрания.

...Медленно течет время. Хочется, чтобы оно мчалось. Не задерживаясь, мчалось. Время на нашей стороне.

На улицах оживление. Идет эвакуация и разгрузка Москвы. Живописные, веселые группы юношей и девушек в летних пальто, с вещевыми мешками на спине. На ногах грубая обувь. Лица и ноги подобны жженой охре. Молодежь едет в колхозы и на окопные работы в прифронтовые районы. На вокзалах огромные очереди. Горы тюков (исчезли чемоданы и корзины). Вокруг них женщины и дети, одетые в зимнюю одежду.

Мужская фигура попадает все реже и реже. Всюду женщины. Вагоновожатые, кондукторы, шоферы — женщины. На стенах домов и заборах — плакаты: «Все на защиту Родины», «Раздавим фашистскую гадину».

Война принесла свой стиль. Люди одеваются скромнее, проще. Исчезли шляпы, яркие платья, галстуки. Появились кепки, платки, цветное и темное белье. В лицах видны озабоченность, печаль. Походка москвичей не та, что была до войны. В походке, движениях и жестах москвичей появилось что-то суровое, сдержанное. Стиль войны.

На главных улицах то и дело быстро проносятся колонны автоцистерн или санкарет. Они с фронта или на фронт. Зелень, которой они замаскированы, производит особое непередаваемое впечатление, это зелень безопасности, утешения.

23 июля

Зажигательные бомбы не такая уже страшная штука. Их быстро и ловко научились обезвреживать. Сегодня ночью фашисты опять сбросили огромное количество зажигалок. Они падали на Москву, как груши.

В соседнем доме некий гражданин бросил на упавшую кучку бомб свое зимнее пальто и сел на него. В городе много таких безвестных героев и героинь. Жертв немного. Готовимся к худшему. Рано утром во дворе я нашел выгоревшую бомбу. От нее шел острый, неприятный запах. Зенитки поднимают такой хай, столько треска и шуму от них, что фашисты не выдерживают и удирают. В окнах нашего дома полопались стекла окон, дворник метлой намел груды битого стекла.

Москва уже имеет свои раны. Есть глубокие. Особенно две. На углу Богоявленского пер. и Никитской, и на Садовой около Малой Бронной. Я был на второй день после бомбежки на Садовой. Половина четырехэтажного дома превращена в груды черного, дымившегося мусора. Пять пожарных поливали из кишок сохранившуюся половину дома, четверо раскапывали груды. На самой улице, чуть ли не посередине, на фанерном, обгорелом ящике сидела старуха с лимонным лицом. Она глядела в асфальт, на котором лежали истлевшие и обгоревшие тряпки. Люди, бежавшие вокруг нее автомобили, троллейбусы ничуть ее не беспокоили. Она сидела точно окаменевшая. У ее ног, обутых в высокие, зашнурованные туфли, лежали истертанный велосипед, две поломанные кастрюли и жалкие остатки венского стула. В стороне — куча обгорелых и залитых водой книг. Один какой-то мужчина, очевидно, любящий копошиться в баракле погорельцев, рылся в книгах. Я видел в его руках остатки

монографии о Левитане. Часть иллюстраций, среди них «Золотая осень», сохранилась.



А.Нюренберг, 1941. Вечер. Бумага, сангина, тушь. 26 x 39,7. Третьяковская Галерея.

Знакомая сцена. В 1919–20 гг. я ее уже видел. Первые еврейские погромы на Украине. Не хватает только еврейских профилей и желтого пуха.

Я подошел к другим спасшимся. Вид у них был такой, точно они перенесли удар. Один из них неохотно, голосом человека, близко видавшего смерть, рассказывал, как на их дом свалился сбитый нашими летчиками фашистский аэроплан со всеми бомбами. Сила взрыва неопишима. Пара громовых раскатов. Вокруг дома на расстоянии двух кварталов разбиты стекла. На асфальте толстым слоем лежало битое стекло. На нескольких, близко находящихся от места взрыва домах — тоже значительные разрушения. Снесены крыши, отвалились стены, глубокие трещины в стенах. Другой жилец взорванного дома рассказал о том, как он вернулся и что он узрел. Рассказ его, построенный на бесхитростном, эпическом материале, меня тронул до глубины души. «От смерти, — закончил он, — не уйдешь... но она от тебя может уйти».

Иду на Никитскую. По улицам бегут автобусы, набитые матерями, детьми и узлами. Здесь фугасная бомба, пробив потолок, прошла через железные балки, безжалостно исковеркав их. Поражает последняя

балка толщиной сантиметров в 40, разодранная точно сделана она не из железа, а из папье-маше. В этом рельсе, в рисунке и форме разодранного железа — символ фугасных взрывов.

Сегодня днем сбили два разведывательных аэроплана. Убитые летчики на фотографии производили очень жалкое впечатление. Руки и ноги, головы — все лежало в печальном беспорядке, в котором смерть, особенно в дни войны, большая мастерица. Радость, что наши летчики легко и быстро их сбивают. Для многих из фашистов Москва — могила.

Вся Москва живет фронтовой жизнью. Живет ею и Неля. Она рвется на фронт. Хочет быть связисткой, сестрой милосердия. Полина в отчаянии. Она делает невероятные усилия, чтобы сдержать ее буйные порывы и сохранить ее в тылу. Тыл, убеждает она Нелю, теперь тоже фронт, не менее важный и опасный. Работай здесь. Удалось убедить ее пока что поработать в колхозе.

Сегодня я ее взял с собою на пожарное дежурство. Она жадно глядела в окно на пятом этаже, как разгорался воздушный бой над столицей. Она то близко подходила к окну, то отскакивала от него:

— Папа, это замечательно!

Утомляющий грохот тяжелых зениток вынудил ее покинуть пятый этаж и спуститься в бомбоубежище. Но там она недолго сидела. Ее тянет во все опасные, богатые событиями уголки. Ей очень хочется поглядеть «хоть одним глазом» на то, что делается в нашем дворе, в нашем небе, в нашей Москве.

События изменили не только внешний, но и внутренний мир художников. Наблюдается стремление уйти в себя, в свою семью, в свой быт. Расцвел эгоцентризм. Наблюдаются скупость, жадность. Редко, кто позовет в гости и угостит. Чашки чаю жалко. Даже мои, так называемые, старые друзья захворали этой инфекцией. Ко мне не ходят с явным намеком на то, чтобы я не очень ходил к ним. Горе нуждающемуся сейчас художнику. Его обходят, как чесоточного. Какая противная среда!

7 авг.

Сегодня разговоры только о герое Талалихине,^[6] протаранившем фашистский бомбардировщик. Замечателен его рассказ о своем деле. Простой, глубокий, захватывающий своей душевностью рассказ. Такое же простое, душевное лицо. Расстреляв все патроны, Талалихин с горечью понял, что фашистский бомбардировщик стал для него неуловимым. И тогда он так рассудил: если я его даже неудачно протараню, тогда погибну я и мой ястребок, но зато погибнут четыре фашиста. И он решил протаранить фашистский бомбардировщик. Операцию эту он провел блестяще. Винтом своего «ястребка» он отрезал кусок хвостового оперения «стервятника». Четверо фашистов убиты, могила превращена в жалкую грудку обломков.

Пройдет война, поблекнут наши дни, многое забудется. Нам, художникам, нужно было бы зарисовать таких героев, как Талалихин, написать больше композиций и сохранить зрительно память о них. К слову сказать, черты Талалихина — обычные черты наших героев. Скромное, простое лицо. И покоряющие, излучающие теплоту серые глаза. Ничего внешнего, ни одного лишнего жеста, движения.

После ночного боя рядом с нашим домом пылали деревянные дома. Зарево разметало по земле черные тени деревьев. В свете пожара ясно вставали унылые силуэты крыш и деревьев.

Охрана города делается все сильнее. Рядом с нами в парке поставлены тяжелые зенитки. Их выстрелы громopodobны. Дом наш со всеми пятью этажами сотрясается, точно на него напала дрожь.

Ташкент, 1941 г.

Ноябрь 1941

Проснулись — Ташкент. Ночь, 4 часа. Выгрузка на вокзальную площадь. Морозно. Люди с горами багажа. Опять беженцы. Они сидят, лежат у своих тюков. Одна группа сидела на тюках, укрывшись одеялами и клеенкой. Спят на площади на камнях, постелив тряпки и одеяла. Вышли на площадь.

Начало рассвета. Город в голубом, серебряном тумане. Феерическое зрелище. Сдали вещи на хранение. Прощаемся со спутниками.

... Едем трамваем на базар, где имеются столовки и кафе. Ищем их, но на столовой обычная надпись: «Сегодня не работает». Чайханы

исчезли, точно их никогда не было. Говорят, в Старом городе еще есть рестораны.

Купили два кило вкуснейших яблок и чудесных орехов. Едим и радуемся. У Полины желтое, серое лицо. Неля худая и бледная



А.Нюренберг, 1940-е. Фашисты пришли. Бумага, сангина, пастель. 43,5 х 59,8. Третьяковская Галерея.

Зашли в молочную и купили простокваши. Встретили какую-то женщину. Разговорился. Она впустила нас до вечера. Полина и Неля уснули мертвым сном. Я пошел искать друзей.

Улицы залиты густым осенним солнцем. На тополях еще есть листья. Тепло. Это большая радость. Солнце. Не нужны шубы. Нами овладела неотвязчивая мысль — в баню и парикмахерскую.

22 ноября

Умылись, я побрился. Закусили. Блуждаем по улицам. Верблюды с хлопком, с мешками зерна. Поражают деревья и небо. Необычайные по форме, очертаниям и цвету. Я не встречал ни одного пошлого, скучного дерева. Стволы, ветви, общий тон их исключительно красивы и богаты. Что ни дерево — образ. Есть суровые, радостные, печальные. Они хорошо связаны между собой и вклеены в небо. Они заполняют пространство и в переулках создают необычайный уют и настроение. К ним тянет, они ласкают и утешают. На них остатки осеннего убора. Рыжая и золотисто-красная листва. Она подчеркивает серую гамму

благородного и тонкого колорита ташкентской зимы. Вторым утешением в этом городе служит небо. Оно богато и пышно, как весеннее море. Восходы и закаты делают город фантастическим. Сегодня я наблюдал облака с золотыми ободками на фоне бледно-зеленого небосклона. Это было чудовищно хорошо. После вагонной хмурой жизни это большая радость.

Стояли в очереди за коммерческим хлебом. Встали я и Полина в 5 ч. Когда вышли, шум дождя и знаменитая ташкентская липкая грязь. Пока добрались до магазина — обессилели. Насилу дотащились. Из подъезда, где мы спрятались от дождя, нас грубо вытолкнул какой-то усатый узбек.

— Иди-иди отсюда, — и толкнул меня в спину.

Пришлось стоять под дождем. Я укрылся пиджаком. На Полине был платок. Хлеб начали выдавать только в 8 ч. утра, когда небо просветлело, и очертания лиц, стоявших рядом, стали ясными. Издали очередь шумит, как пасака. Давка была жестокая. Несколько раз я бросался в атаку — безрезультатно. Меня мяти, как мнут тесто. Несколько раз, влекомый лавиной, я уносился к заветному окну и несколько раз, уносимый той же лавиной, относился в сторону. Окончательно выбитый и обессиленный я уходил в сторону, чтобы отдохнуть. Напоминало шум прибоя осеннего моря. Вопли драки, звуки, которые можно описать как символ отчаяния тонущего в непогоду корабля. Всюду валялись одежда, шапки. Один какой-то молодой парень со слезой в горле вопил:

— Шапку отдайте! Черти, шапку отдайте!

Наконец кто-то поднял какую-то массу, залитую густой грязью:

— Вот твоя шапка. На.

Он взял грязную шапку и пошел к водосточной трубе, обильно поливавшей улицу, и начал мыть свою загаженную шапку.

Нечеловеческий голос: — Ребенка задушили!!!

Подъехала карета. Санитары унесли бездыханное тело 12-летнего мальчика. Ему раздавили грудную клетку. Руки, голова висели.

Одну женщину я видел, как били за то, что она влезла в чужую очередь. С нее стаскивали клеенку, платок, пальто, кофту. Она даже не оглядывалась. И только, когда кто-то коленом дал ей в зад, она быстро подскочила к тому и впилась зубами в его руку. Тот закричал. Тогда вся толпа ринулась к женщине и начала ее нещадно бить.

Хлеба мы достали по 3 кило. Темный, кисловатый. Но и это счастье.

Картина, достойная Данте. Если бы он все это видел, его знаменитый труд обогатился бы еще одной славной главой.

А между тем, несколько часов внимания со стороны местных бюрократов, и вся эта мрачная картина растаяла бы, как дым в ветреную погоду.

13 дек.

Сегодня ночью была облава. В 3ч. ночи постучали в окно. Милиция. Два милиционера и узбек какой-то. Хозяин впустил. Они уже знали все обо мне. И мне ничего не оставалось, как соглашаться со всем тем, что соседи им передали. Держались грубо. Забрали документы и предложили сходить во 2-ое отделение. Там в отвратной форме начальник 2-ого отделения учинил мне допрос. Я ему в мягкой, почти заискивающей форме рассказал о себе, о больной Полине. Начальник выслушал. Глаза были подобны двум кусочкам льда.

— Итак. Ваша национальность?

— Еврей! Зачем это Вам?

— Распоряжение Союза, что Вам следует выехать из Ташкента в 24 часа.

И это в кабинете, где висели портреты Маркса и Ленина! Кто он — вредитель, антисоветский чиновник или просто мерзавец? На 25-ом году нашей власти! Получил документы и расписался, что в 24 часа должен покинуть этот лучезарный и гостеприимный город. Возвращаясь, думал о том, насколько все это напоминает мне дореволюционное время. Я в Москве блуждаю по знакомым и прячусь как еврей в блатных квартирах. Точь-в-точь. Но я решил не сдаваться. И завтра начну хлопотать с утроенной силой.

Самая большая проблема – это хлеб. Его трудно достать. Приходится придумывать всевозможные комбинации.

В Союзе писателей есть столовая. В столовой — буфетчик. Рыжий, толстый. Я ему подарил кусок мыла, нужный ему до зарезу. Он был счастлив:

— Приходите по вечерам, и я буду давать вам все, что можно.

И я хожу по вечерам и получаю хлеб с колбасой. Иногда, очень редко, конфеты. От него возвращаясь, я подобен летящей Нике — я не хожу, а лечу.

Среди местных художников следует выделить Волкова и Рейха.

Татевосян при ближайшем знакомстве разочаровывает. В нем живут два человека. Один для себя и очень близких, другой для — не очень близких.

Искусство местных нуждается в сильном ветре, сквозняке. От него пахнет несвежестью. Есть талантливые люди: Рождественский, Волков. Но провинция — это жестокий, неподдающийся лечению яд. Он съедает все. Любой мозг, любое сердце.

Опять радость, наполнившая до краев мое сердце. Фашистов отогнали от Москвы! Разгром нескольких дивизий, свыше тысячи танков, больше пятисот орудий, убитых много. Эту новость передал мне поэт Галицкий.^[7] За радость я его поцеловал в обе щеки. В такой день забываются все личные невзгоды, неудачи. Ну, что такое мои личные неприятности на фоне начала разгрома непобедимой, страшной немецкой армии!

Я бросился к газетной витрине. Да. Все это правда!

Последние победы вскружили нам головы. Мы только и говорим о Москве. Сейчас она кажется родной матерью.

Приехал скульптор Симонов. О нем рассказал старый общественник, бывший замдиректора Академии Художеств. У Симонова большое несчастье — по дороге умерла жена. Он ее привез в гробу и перевез в морг. Состояние Симонова — ужасно. Он в тягчайшей депрессии. Ему нужно помочь. У него нет угла, денег. С ним приемный сын, мальчик. На всех нас это произвело сильное впечатление. Я был уверен, что правление Союза расплатится. Но каково было мое удивление, когда я узнал, что никто ничего не может сделать, не может взять их на один-два дня. Все мрачно молчали. До чего дошла жестокость душевная художников и скульпторов здесь. Я был ошарашен. Чтобы помочь, я предложил пока что устроить его в общежитие художников. Симонов не мог сесть, так и остался стоять. И откуда такие мертвые сердца?

Вчера провел первый веселый, теплый вечер у художника Волкова. Это старожил, почти безвыездно проживший здесь свыше 25 лет. Он некогда ходил по улицам Ташкента в черной пелеринке, романтически драпируясь в нее. Население видело в нем большого оригинала. Писал он ультралевые вещи и защищал самые левые идеи и жил в пустой комнате. Сейчас это прекрасный семьянин (чудесные дети и милейшая жена!). У него большая мастерская, заставленная работами. Он устроил показ. Понравились его этюды и два портрета, написанные в ультра-реалистичной манере. Местная художественная власть его держит на отсеке и не подпускает его близко к пирогу. В нужных случаях, когда не хватает для баланса или концерта формалиста — вспоминают о нем. Они его считают большим чудачком, что дает им возможность обращаться с ним так, как им заблагорассудится. Сидели мы до 11 ч. Ели великолепную вареную картошку, пили замечательное белое вино и вспоминали прошлое. Я говорил о Париже 1911–12 годов. Варшавский о Москве времен Коровина, а Шварц о Ташкенте 1920-х. Вечер прошел тепло. Чувствовали себя отлично. Провожали нас Волков и его сын (очень талантливый мальчик!). Была лирическая лунная ночь!

20–21 дек.

Сегодня напечатано воззвание Гитлера истребить всех евреев.

Сегодня же статья наркома и партотдела на эту же тему.

Уничтожено уже около 2-х млн. евреев. И еще есть евреи-художники, помышляющие о закатах, о цветах сегодня.

Надо все силы отдать чувству мести, все силы мобилизовать на мечь. Только бесконечная, безграничная мечь.

Мне трудно и стыдно жать руку немцу. Мне кажется, что все они виновны. От них всех пахнет еврейской кровью.



А.Нюренберг, 1941. «За тарелкой супа». Набросок. Бумага, карандаш, гуашь. 21х33. Частное собрание.

Я взял с собою на вокзал художника Рывкина Вокзал — это моя мастерская. Нигде нет такого богатого типажа. Военные, штатские, красноармейцы, эвакуированные, раненые, больные, беженцы, беспризорные дети, эшелоны рабочих, отправляющиеся на Урал и в Сибирь. Проводы мобилизованных, чего только не увидишь здесь. Движение, крики, стоны, слезы. Есть приговоренные. Они не отправляются на фронт. Слезы, мрачные лица.

Я осторожно зарисовываю, чтобы милиция не заметила.

Мой Рывкин удивляется, что я столько внимания уделяю бедноте и страданиям:

«Это тяжело. Я вырос в бедной семье. Но нищету не могу видеть. Мне хочется радости, оптимизма. У них, ваших моделей, этого нет».

Но что ему можно было ответить на это? Отвернуться от всего и не глядеть на страдания, и слезы, и смерть? Писать закаты и восходы? А ведь у людей есть потребность в работе даже в эти тяжелые моменты.

С дровами драма. В городе нет уже дров. Счастье, что зима мягкая. Хотя сырость здесь страшная. В комнате по вечерам — туман. Ложимся и просыпаемся с ним.

Ядовито шутят, что весь лес ушел на костыли. Сжег все подрамники, табурет чужой и занялся ночными хищениями чужих заборов. Холод, пожалуй, злее голода. Ни работать, ни сидеть в комнате нельзя. Приходишь, сваришь чай на мангалке — и под одеяло, укрывшись пальто и старыми холстами.

Полный текст публикации О.Трифоновой-Тангян с комментариями и сносками см. на сайте журнала «Чайка»: <https://www.chayka.org/node/9485>

[1] Данная публикация стала возможной благодаря Генеральному директору Государственной Третьяковской Галереи Зельфире Трегуловой и сотрудникам музея: ученому секретарю Татьяне Юдкевич, заведующей Отделом рукописей Елене Теркель, ответственной за иллюстрации Марине Маршаковой, волонтерам Елене Глушковой и Татьяне Гришко.

[2] См. <http://www.amshey-nurenberg.com/biography.php?sprache=russisch>; <http://www.amshey-nurenberg.com/literature.php>

[3] А.Ромм. Вступление. Каталог выставки картин и рисунков Амшея Нюренберга. М., 1945. С. 5–6.

[4] Дом художников на Верхней Масловке, № 9 (первая постройка архитектурного комплекса «Городок художников»). Семья Нюренбергов въехала в дом художников в 1932 году и прожила до 1963 года. Они имели две комнаты и делили кухню с семьей Александра Тихонова на третьем этаже; Нюренбергу также принадлежала большая мастерская дальше по коридору. В доме жило много знаменитых художников, скульпторов и критиков: Татлин, Тышлер, Богородский, Иогансон, Грабарь, Чуйков, Ряжский и др. Теперь дом считается мемориальным и находится под охраной государства. См. сайт: <http://www.maslovka.org/>

[5] Во многих случаях фамилии в тексте, кроме первой буквы, написаны неразборчиво.

[6] Талалихин, Виктор Васильевич (1918–1941) — военный летчик. 7 августа 1941 г. тараном сбил над Москвой немецкий бомбардировщик. Позже сбил еще пять вражеских самолетов. Погиб в воздушном бою под Подольском.

[7] Галицкий (Гольденберг), Яков Маркович (1891–1963) — поэт, режиссер, драматург. Автор текста к песне «Синенький, скромный платочек» (1940). Брат поэта и драматурга Абрама Арго. Нюрнберг был знаком с обоими братьями по Елисаветграду, откуда они были родом. Сохранилось шутивное стихотворение Галицкого (1940), посвященное Нюрнбергу:

Прошли тома отживших дней,
Переплелись в года недели.
И вот — не только ты, Амшей —
Мы все немного обомшели.
И все ж, Амшей, любой народ
Таких ребят не забракует.
Искусство в нас живет, ликуя —
Живет в нас Елисаветград!

Ксения Кривошеина

Париж, Франция



«Портрет госпожи Т.»

В моих архивах хранится репродукция из журнала «Мир Искусства» 1913 года: «Портрет госпожи Т.» Б. М. Кустодиев. Рукой деда Ивана Ершова на этом листке бумаги написано «дочь моя Маруся Ершова». Бабушка стремилась всю жизнь хранить семейную память, в нашей квартире все стены были увешаны фотографиями: Ершов в жизни, на сцене, бабушка Софья Акимова, тоже на сцене и в жизни, огромный портрет маслом ее отца генерала (моего прадеда), армянско-тифлисская аристократия, гастроли в Германии и Италии, много красивых лиц и знаменитостей. Одно из главных мест занимали портреты деда, написанные Борисом Кустодиевым.

Они дружили, и Ершов много позировал ему. Кустодиевские «Ершovy» есть в Русском музее и в Бахрушинском – картины, рисунки и даже скульптура. Дед был очень красив в жизни, а на сцене в гриме и костюме его харизма действовала на зрителей и слушателей гипнотически. Необыкновенно тембр голоса, немного горловой, только ему присущая актерская трактовка образов – оставили среди знатоков оперы многочисленные воспоминания.

У меня много семейных фотографий, среди них и моя тетушка, красавица Мария Ершова, она умерла в 22 года от чахотки и, как говорит семейная легенда, от несчастной, неразделенной любви, к своему мужу, подпоручику Александру Торлецкому. Тем, кто сегодня ездит отдыхать на Терлецкие пруды в Новогиреево, неведомо, что это место было основано купцами Торлецкими. Со временем буква О в фамилии переделалась на Е, частенько пишут и А.



Ч/б листок с портретом Маруси из журнала 1913 года

Дед, свою дочь Марусю от первого брака с Любовью Всеволодной Баскаковой, ученицей Рубинштейна, – обожал. Я не знаю подробностей брака Ершова с Баскаковой, со слов моей бабушки, она была для него опорой и большим помощником. Был ли брак счастливым? Как знать? История личной жизни Ивана Ершова, знаменитого тенора Мариинского театра, вагнерианца, кумира Козимы Вагнер и, как ни покажется странным, в равной мере блестящего исполнителя партий столь исконно русского Римского-Корсакова, – до сих пор хранит свои тайны.

Небольшое отступление. Одна из интереснейших страниц Серебряного века, которая чуть-чуть приоткрыта, связана с яркой личностью Софии Александровны Свиридовой, более известной под псевдонимом Святослав Свириденко (1882-1928). Она была страстной

поклонницей Ершова, посвящала ему поэмы и присылала свои фотографии.

Эта мистическая поэтесса до сих пор ждет своих исследователей. Ее вклад в германскую литературу был высоко оценен А. Блоком и переведенные ею либретто «Кольца Нибелунгов» на сегодняшний день самые точные.

Умерла Свириденко в Ленинграде, в полной нищете, писала письма Блоку и Ершову. Они помогали ей чем могли.

Неудивительно, что начала я с Маруси и перешла на Свириденко. Их судьбы объединяет трагизм людей, сформировавшихся в просвещенном XIX-ом и сломленных русской революцией в XX-ом.



И.В. Ершов с дочерью Марусей

Много раз я спрашивала отца и бабушку, где же оригинал портрета Марии Ивановны? Ответа не было. Для знатоков Кустодиева: на протяжении 100 лет, никто не знал, кто скрывается под прекрасной незнакомкой «госпожой Т.» и где находится картина.

Внешне Маруся была похожа на Ершова (впрочем, как и ее брат Всеволод, и мой отец Игорь). Копна прекрасных волос, красивая шея, прямой нос с горбинкой, грациозная манера держаться... образ дополняли экзотические наряды, так странно одевалась и Свириденко. Маруся мечтала стать драматической актрисой, неплохо рисовала, этот дар от Ершова перешел и к Всеволоду, и к моему отцу Игорю, и ко мне. Иван Васильевич всячески поощрял таланты дочери, известно, что она брала уроки рисования у Кустодиева, а в 1912 году, за три года до ее смерти, он написал портрет Марии Ивановны.

Может показаться странным, но дед винил себя в скоротечной чахотке Маруси. Объяснял он это тем, что сам в юности тяжело болел «этой дрянью» и «генетически» передал туберкулез своим детям. Но в XIX-ом и до середины XX-го вакцина БЦЖ в России не была распространена. Да и во Франции несмотря, на открытие этой чудодейственной прививки Альбером Кальметтом и Луи Пастером, необязательная вакцинация началась только в 30-е годы. Чахотка была настоящим бедствием, не знающим границ и возрастов; наверное, по масштабам распространения и полного медицинского бессилия её можно сравнить с современным ВИЧ и СПИДом. «Слабые легкие» были и у моего отца, а дед, как он говорил, избавился от туберкулеза тем, что стал хорошо питаться в Петербурге, потом в Италии и «разработал легкие, благодаря дыханию, при занятиях пением».

Сергей Юрьевич Левик, музыкальный критик, вспоминает:

«Познакомились мы с Иваном Васильевичем при тяжелых обстоятельствах.

4 августа 1914 года я, после полудневного ареста в Берлине по случаю начала войны и после ряда злоключений по дороге с курорта Эмс, в дождливое утро добрался, наконец, до датской «ферри» (пароход-паром).

Беженцев было так много, что капитан не принял поезда на борт, а распорядился пассажирам перебраться на паром и разместиться с багажом. После неопишуемой свалки, чуть не ставшей второй «ходынкой», я взобрался на пароход и пошел разыскивать знакомых. В углу на груде ящиков, чемоданов, каких-то причудливых форм баулов и корзин я увидел лежащую молодую очень красивую девушку. Судя по всему, она была тяжело больна. Уставившись в смертельно бледное лицо, я не видел ничего, кроме него, и подошел совсем близко, чтобы спросить, не нужна ли помощь. И внезапно почувствовал укол в сердце: на меня гневно смотрели черные жгучие глаза.

Человек, которому принадлежали эти глаза, держал руку девушки, а второй рукой поддерживал ее изголовь. Это был Иван Васильевич Ершов.

Узнав его, я испугался и пролепетал:

– Простите, я хотел помочь... Я не разглядел, что барышня не одна...

– Не надо,— последовал в ответ почти львиный рык.

В эту же минуту за моей спиной раздался голос А. М. Давыдова:

— Вы что, незнакомы? Иван Васильевич, это Левик — артист Музыкальной драмы.

– Бекмессер! — воскликнул Ершов и стал горячо трясти мою руку. Лицо его просияло, глаза засветились.

– Видали? Вот что... наделали! Всё летит в пропасть, — через минуту гневно бросил он, обводя глазами место вокруг себя.

В ногах у девушки сидела жена Ершова — Любовь Всеволодовна Баскакова. Девушка была их единственной дочерью Марией, в скором времени умершей от туберкулеза. Рядом с ней на баулах сидела начинающая певица Софья Владимировна Акимова (его будущая вторая жена). Все они возвращались с вагнеровских торжеств из Мюнхена».

Мне не известна история знакомства Маруси с ее будущим мужем Александром Ивановичем Торлецким. Когда была свадьба и как она переехала к нему в подмосковье в Новое Гиреево? О том, как купцы Торлецкие за несколько веков преобразили леса и луга Новогиреево, написано довольно много. Последний из рода, Александр Торлецкий, продолжил дело и в 1905 году построил на собственных землях первый в истории отечественной урбанистики поселок с централизованным планом. (см. примечания)

Осталось несколько воспоминаний очевидцев её жизни в имении Торлецкого, которые описывают не самое счастливое пребывание в этом доме. Будто бы Т., «пил, гулял и веселился», а его молодая жена страдала, чахла и тенью бродила по саду, читая вслух монологи из разучиваемых ролей. А вечерами, когда собиралось много гостей, она рисовала на них карикатуры.

В мае месяце 2018 года, я получила письмо из России с пометкой «сенсация».



Портрет Маруси работа Б. Кустодиева

«17 февраля в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открылась крупная межмузейная выставка работ Бориса Кустодиева «Венец земного цвета», приуроченная к 140-летию великого художника. В экспозиции представлено 65 полотен из 13 российских музеев и частных коллекций. Жемчужиной экспозиции стала сенсационная находка – «Портрет М.И. Ершовой, в замужестве Тарлецкой», известный как «Портрет госпожи Т.». Эта работа мастера более века считалась утраченной и будет впервые представлена публике с 1913 года. Эта картина Кустодиева, обнаруженная при подготовке к выставке в 2018 году в одной из частных коллекций, является признанным образцом портретного графического искусства. Работа была показана на выставке «Мир искусства» в 1913 году под названием «Портрет госпожи Т.» и после этого надолго исчезла из поля

зрения искусствоведов, которые писали о ней, ссылаясь лишь на оставшиеся в дореволюционной печати воспроизведения».

И далее куратор выставки поясняет: «Когда мы готовили выставку, случилась одна из таких историй, которые нарочно невозможно придумать. К нам обратились нынешние владельцы картины с просьбой атрибуции. Эксперты немедленно признали в работе руку Кустодиева, тем более что на обратной стороне картины сохранилась старая этикетка с той самой выставки «Мир искусства» 1913 года. На расспросы о том, почему они раньше не обращались за экспертизой, владельцы отвечали в том духе, что не хотели разочаровываться, если бы это оказался не Кустодиев. Эксперты же немедленно уговорили показать работу на выставке».

Не буду описывать мое состояние! Все смешалось в голове – радость, волнение, недоумение... и конечно некоторая грусть, от того, что никто мне об этой находке не рассказал заранее. Найти меня не трудно, а узнала я об этом случайно. Я позвонила директору музея «Нового Иерусалима», представилась и, конечно, поздравила их. Послала им фотографии Маруси и деда (те что вы видите здесь), просила передать поклон владельцам «госпожи Т.»... Разделить радость обретения не получилось, ответа не последовало, хотя ежу понятно, что я ни на что не претендую.

Дорогая тетушка, прекрасная и несчастная Маруся, как я счастлива, что через 100 лет ты показала нам свое поистине прекрасное лицо!

Примечания:

Александр Иванович Торлецкий — считается первым девелопером в России, основателем Новогиреево и последним известным представителем этой ветви Торлецких (1885—1934), сын Ивана Александровича Торлецкого. В 1909 году подпоручик 18-го полевого саперного батальона, участник Белого движения, в 1920 г. офицер понтонного батальона, и 18-го саперного батальона, полковник, во ВСЮР, эмигрировал в Югославию в 1922 году. Умер А. И. Торлецкий после 1934, г. Цриквеница, Хорватия.

В 1905 году землевладелец Александр Торлецкий построил на собственных землях первый в истории отечественной урбанистики поселок с централизованным планом. Прямо в Новогиреевском лесу прорубили просеки и проспекты и на небольших земельных участках построили индивидуальные дома. Одни, деревянные, были предназначены для временного летнего проживания, другие, каменные, – для круглогодичного проживания. В поселке открылась

школа, телефонный узел, телеграф, почта, пожарное депо и железнодорожная станция, откуда можно было за 20 минут добраться до Курско-Нижегородского вокзала. От станции к особнякам и от особняков к станции жителей доставляли на конном трамвае. Вдоль проспектов, которые носили названия: Княжеский, Графский, Баронский и т. д. — установили скамейки, улицы осветили электрическим светом, а в дома подвели воду и телефон. Капиталовложения Торлецких даром не пропали. Все участки в поселке распродали всего за год.

«Лето 1907 года было последним моим привольным летом ... <...> Вместе с тем это было и последним летом в Гирееве. Старик Терлецкий выделил сыну часть своего имения, так называемое Новое Гиреево. Молодой хозяин прорубил в вековом лесу просеки, нагнал плотников и стал спешно воздвигать дачи, дабы поправить финансовые дела, в достаточной мере расшатанные беспечностью своего отца. Старинная барская усадьба стала быстро превращаться в подмосковную дачную местность. Девственный лес начал беспардонно оскверняться клочками грязной газетной бумаги, пустыми консервными банками, яичной скорлупой, битыми бутылками и прочими следами человеческой «культуры». Огромные задумчивые пруды, которые были некогда выкопаны пленными турками, захваченными Суворовым и Румянцевым, были разбужены беспрерывным визгом купающихся и пьяными песнями катающихся на лодках».

Из воспоминаний Бахрушина Ю. А

Александр Иванович был женат на дочери известного русского оперного певца Ивана Васильевича Ершова — Марии Ершовой. Детей у них не было. По другим данным, Александр был женат во второй раз, после чего имел детей. Александр знал Петра Ильича Чайковского, Александра Зилоти, Фелию Литвин. Был учеником известного композитора Николая Черепнина. Мария Ивановна Ершова обладала прелестной внешностью, большой общительностью и острой наблюдательностью. Её много рисовал Борис Кустодиев, а так как она с детства проявляла хорошие способности к рисунку, особенно к карикатуре, то бывало, что Кустодиев давал ей кое-какие советы. Получив среднее образование, она всеми помыслами устремилась к драматическому искусству, скончалась в возрасте 22 лет от туберкулеза лёгких в конце 1915 года. После 1917 года Александру удалось бежать в Хорватию вместе со своей матерью. По всей видимости, в 1914 году он был в Париже на балетных сезонах Дягилева, о чём говорит его переписка с Николаем Черепниным, с

упоминанием «Павильона Армиды». (По другой версии, встреча была в Москве).

Вот отрывок от 12 ноября 1922 года из переписки жены композитора Николая Черепнина с Марией Бенау:

«Старый ученик», как напоминает о себе А. И. Торлецкий из Загреба 12 ноября 1922 года, зять знаменитого певца (исполнителя героических теноровых партий в операх Вагнера на сцене Мариинского театра) И. В. Ершова, похоронивший жену: «Много воды утекло со времени нашего последнего свидания весной 1914... При перевороте я спасся, но потерял все... Передо мной страшная пропасть полной нищеты... мать угасает от голода и холода... работу найти не могу... Если Вы сами не можете мне помочь, попросите за меня других. М. б. Фелия Литвин захочет поддержать мужа «Зигфридовой дочки», м. б. Прокофьев (мамин родственник через Екатерину Григорьевну Раевскую), м. б. Саша Зилоти... В руки Ваши передаю жизнь бывшего Вашего ученика Шурика... Зная «Павильон Армиды», нельзя не верить в доброту, широту и чистоту его автора» (P.S.S). Судя по позднейшей переписке матери Торлецкого, баронессы фон Штепель, с М. А. Черепниной, последняя какую-то помощь организовала. Это только один из многих сюжетов, одна судьба.

Людмила Корабельникова «Александр Черепнин: Долгое странствие», тип. «Языки Русской культуры», Москва, 1999, стр. 77

Евсей Цейтлин

Чикаго, США



Эмиграция как сон. Из дневников этих лет

Еще толком не проснувшись, считаю дни. В августе – пять, в сентябре – тридцать... Перестая заниматься этой арифметикой в конце второго месяца. Теперь считаю неделями. Кажется, так считают детей – неродившихся или только появившихся на свет. Через четыре дня – «годовщина»: ровно три месяца, как мы в Чикаго. Пытаюсь понять: много это или мало? (Нояб., 1996)

Боль пронзает неутомимо. Возвращается – как схватки у рожениц, вгрызается, не делает перерыва. Иногда я хочу погрузиться в нее, приспособиться, отупеть – не могу. Разумеется, боль не покидает меня и ночью, только во сне я чувствую ее как бы издалека. С этой болью проходит месяц моего прощания с Литвой и полтора месяца в Чикаго. В Вильнюсе мне безрезультатно пробуют помочь врачи скорой помощи. Наконец, в США боль побеждают обычные пилюли, которые я покупаю в магазине Walgreens. Говорят мудрецы: языком боли нас о чем-то предупреждает Всевышний.

Есть распространенное измерение эмиграции. Английский язык. Наша жизнь с ним и – в нем.

Учитель английского – поляк. Приехал в Америку в детстве, сейчас ему тридцать семь. Откуда я знаю? Он сказал это сам. Еще рассказал:

о своей жене, которая младше его на пять лет, врач, зарабатывает в три раза больше, чем М., и это – предмет его гордости;

о своих любовницах, girlfriends, которые были до жены, хотя и она являлась таковой в течение нескольких лет;

о вкусах и антипатиях жены – больше всего она ненавидит дурной запах изо рта, а любит make love, «заниматься любовью»;

о причинах их ссор; вот постоянная: М., когда совершает в туалете пи-пи (это учитель произносит по-русски), поднимает, чтобы не забрызгать, крышку унитаза; возвращаясь с работы, жена торопливо садится прямо на холодную фаянсовую поверхность, испуганно вскакивает, кричит...

Думаю иногда: а есть ли у М. жена? Может, все это только прием – педагогический прием, чтобы активизировать восприятие его прекрасной английской речи.

Он сидит посреди комнаты, вытянув ноги. Может на виду у всей группы, не прерывая рассказ, завязать шнурок на ботинке или почесать любое место своего похожего на тюленья тела. Говорит, поглядывая незаметно на часы. Я много раз проверял: он не пропустил ни одной минуты – обрывает беседу едва ли не на полуслове, чтобы ровно в три часа сказать:

– Break. Перерыв.

Нет, он не халтурщик – виртуоз своего дела. И ему, как любому мастеру, доставляет удовольствие, когда я говорю ему об этом. «Is it true? Это правда?» – переспрашивает М.

Особенно виртуозен он был в самом начале занятий. Пел песенки, изображал то какого-нибудь зверя, то различные типы американцев... Очень виртуозно М. скрывает и то, что, по-видимому, прекрасно знает русский язык.

В классе обычно десять-двенадцать человек. Столы поставлены полукругом. Никаких учебников. Никакой грамматики. Каждый день М. раздает нам размноженные на ксероксе листочки. Это материал для размышлений. Надо представить себя банкиром, который решает, можно ли выделить кому-то заем. Или членом комиссии, делающей выбор – какие школьные программы сократить, а какие оставить. Или... На листочках – исходные данные. «Завтра мы все это и обсудим».

Ровно без пятнадцати пять М. закрывает рот и выходит из класса. В холодный день набрасывает себе на плечи яркий свитерок. Идти ему недалеко – до стоянки, где притулилась его белая тойота-камри.

Я так никогда и не узнаю, куда же он едет. (Янв., 1997)

«Промежуток». Название статьи Юрия Тынянова о русской поэзии начала двадцатых годов прошлого века. «Промежуток» – лучше об эмиграции не скажешь. А эмигрант – человек в промежутке.

Эмиграция или иммиграция? Ненужный спор. Любая энциклопедия объяснит: эмигрант – это тот, кто покидает родину; иммигрант – человек, уже приехавший в другую страну. Почему мне по-особому интересны эмигранты? Их судьбы неизменно таят в себе трагедию (или хотя бы драму). Они уехали из России (или из любого другого государства бывшего СССР), а в Америку так и не попали. Они – «в промежутке». Навсегда?

Оправданием эмиграции озабочены, конечно, сами эмигранты. Оправдания эти в разные годы разные. Сейчас они, как правило, ориентированы не на «верх» – на «низ» человека. Уже никто не только не скажет – даже не подумает: «Мы не в изгнании, мы в послании». Убедительнее то, что с простодушным цинизмом написал в начале двухтысячных один чикагский журналист. Возьмите кусок свежего бородинского хлеба, намажьте его вологодским маслом, положите сверху докторскую колбаску... Вы еще не забыли про свою ностальгию по родине? (2005, авг.)

Великий «искатель истины» Георгий Гурджиев не сомневался: человек – это машина. Существо, живущее механически и погруженное в дурман сна. Опыты Гурджиева, которые потрясали и притягивали интеллектуалов Европы, преследовали одну цель: пробуждение человека от «сна наяву».

Эмиграция, конечно, пробуждает наше спящее сознание. Еще бы! По словам Дины Рубиной, в которых нет преувеличения, эмиграция – это «харакири. И твои кишки шлепаются на асфальт».

Хотя сама по себе эмиграция тоже является сном.

Радостные рассуждения ученых: «Переезд улучшает память. В течение жизни человек в среднем переезжает около 5 раз. Исследования показали, что это очень тяжелое испытание (тяжелее, чем развод). Однако ученые из Университета Нью-Гэмпшира установили: у переезда есть, как минимум, один плюс. Он помогает запоминать то, что с нами происходит». (Сообщения информагенств в августе 2016 г.)

...Будто споря с этими доводами науки, неторопливо идет навстречу мне по Devon Avenue в Чикаго странная пара. Она – высокая, сухощавая, похожая на осеннее дерево с облетевшими листьями. Он – пухлый, неестественно краснощекий, едва достает ей до плеча. Заметив меня издалека, они улыбаются. Прошлой осенью в Хот-Спрингсе – горном курорте на юге Америки – мы часто гуляли по старому, как бы нависшему над городком, парку. Юрий, когда-то, как и я, преподававший в вузе (его лекции, случалось, приезжали послушать поклонники из других городов), был теперь застенчив и молчалив. Самую длинную фразу он произнес в начале знакомства: «Можете звать меня по имени, мы ведь встретились на Западе, где к отчеству не привыкли, не правда ли?».

Не сразу я понял: его уже давно сразил Альцгеймер. Но вместе с женой они умело скрывали это. На мои вопросы о кафедрах литературы в Молдавии отвечает Фира. А Юрий печально и ласково поддакивает.

Однажды, когда он задремал на лавочке, опьяненный резким горным воздухом, Фира шепотом поведала их историю. Альцгеймер напал на ее мужа внезапно и побеждает, не церемонясь. Слава Богу, мы уже здесь, в Чикаго, где будущее не так страшит. Слава Богу, он не стал агрессивным, хотя об этом предупреждал врач. Слава Богу, Юрочка не совсем растерял интеллект. И он даже придумал объяснение своего беспамьятства: «Большинство писателей, возвращая минувшее, оживляют его, смакуют свои воспоминания. А мне не хочется вспоминать. Мое прошлое пропитано тоской».

«Эмиграция – болезнь», – записываю в блокнот. И забываю подумать о главном: долго ли длится эта болезнь? Разумеется, вариантов несколько. Читая книгу знаменитого основателя гештальт-терапии Фредерика Перлза, встречаю его напоминание: болезнь – незаконченная ситуация; она «может завершиться выздоровлением, смертью или перестройкой организма».

Русскоязычные общины в городах США становятся приютами стариков. Массовая эмиграция из России давно закончилась. Утихли животрепещущие споры в газетах и на радио о том, сколько приехало с нами агентов КГБ; кто же все-таки написал «Тихий Дон»; кем был Георгий Жуков – спасителем России или «мясником», бездушно посылающим солдат на верную смерть. Вчерашние, не терпимые друг

к другу спорщики мирно встречаются сегодня у кабинета уролога, в круизе на Багамы или в «детском садике» для стариков. (дек. 2017)

Человеческие судьбы, в эмиграции едва погруженные в быт, обнажены. Эмиграция подчеркивает их изломанность, странность, часто – загадку.

На той же Devon Avenue, долгие годы дававшей приют русской эмиграции в Чикаго, прислонившись к стене продуктового магазина, стоит человек, вид которого отталкивает и – одновременно – притягивает прохожих. Сам о себе он говорит: работаю нищим. Сколько лет ему – решить непросто: от сорока до шестидесяти. Во всяком случае, в его сизой, клочками, бороде я не разглядел седины. Вместо левой ноги у него – протез, который не скрыт, как бывает, брюками. Самое примечательное на его лице – глаза: они большие или кажутся такими, потому что человек смотрит на вас твердо и пристально, почти не отводя взор.

За много лет мы не сказали друг другу и нескольких слов. Но я знаю его имя: Илюша. Мягкое, теплое имя это, кажется, неудачно взято им на прокат. Многие американские нищие протягивают за подающим банку или коробочку, где уже лежат, словно упрекая прохожих, доллары, звенят монеты. А этот безногий только смотрит на вас, просвечивая насквозь, и вы сами, без приглашения достаете кошелек.

Однажды зимой встретил Илюшу в приемной врача. Он уже выходил из дверей, однако, узнав меня, задержался. Уверенно спросил: «Не подбросите до работы?» Ехать всего минут пять, но, конечно, идти Илюше трудно: обжигающий зимний ветер в Чикаго сбивает с ног даже здоровых людей. Он молча сидит рядом со мной в машине, отвернувшись к окну – будто впервые увидел улицу, где прошли десятилетия его жизни. Разумеется, Илюшу несколько не смущает зловонный запах, исходящий от его неизменной, в любую погоду, серой куртки.

Мне говорили: когда-то он окончил философский факультет МГУ. Философский факультет? – мысленно, с усмешкой, переспрашиваю я. И сразу вспоминаю сентиментальные романы позапрошлого века. Я не сомневаюсь, что услышал одну из легенд эмиграции, которая любит творить мифы. Но потом Т., знающий всех и все, поклялся, что в самом деле видел у Илюши диплом МГУ.

Что привело его в Чикаго и заставило выбрать древнюю профессию? Часто я порывался поговорить с Илюшей. Но каждый раз меня

останавливал его жесткий, не пускающий к себе, как дверной засов, взгляд.

Анатолий Симонович Либерман, знаменитый лингвист, профессор Миннесотского университета говорит по телефону:

– Наша прошлая советская жизнь поразительно нас усредняла. Поколение, как горох из стручка. По выражению моей жены, все мы похожи, словно серые штаны пожарника. Встречаясь, сразу узнаем друг друга. Одни и те же цитаты, мысли, воспоминания.

В самом деле, узнаю своих всюду. Узнаю безошибочно страх: его большинство из нас старается скрыть. Это единственный багаж эмигранта, который, увы, нельзя потерять или оставить в камере хранения.

Страх – одна из главных тем моей книги «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти. Из дневников этих лет» (1996). Пять лет я слушаю исповедь умирающего литовско-еврейского драматурга и критика й. Пять лет «на самом краешке жизни» й мы вместе пытаемся реконструировать его многочисленные страхи. И разобраться, наконец, в них. Кстати, страхи закончились для й только вместе со смертью.

Позавчера, после работы, гуляю в парке около дома. Говорю по мобильному телефону. Вдруг слышу – голос с сильным акцентом: «Как это приятно – красивая русская речь...» Немолодая женщина. Спрашиваю: «Вы из России?» – «Нет, из Латвии. А здесь почти тридцать лет. И скучаю по русскому языку...» -?! – «Я вообще люблю изучать языки. Сейчас знаю пять, учу шестой – японский... Поеду скоро в Японию на стажировку». Она рассказывает о себе еще. Не слишком значительные подробности, не слишком ясна даже ее профессия (что-то связанное с нетрадиционной медициной)... Расстаемся через несколько минут. Она предлагает обменяться номерами телефонов.

И вскоре в самом деле звонит: «У меня к вам просьба. Если мы встретимся случайно в каком-то общественном месте, сделайте вид, что меня не знаете...» Повторяет это несколько раз. Успокаиваю ее. Даю слово молчать. И ни о чем не спрашиваю. Мне не хочется идти вглубь ее страхов.

Когда-то я стал записывать сны евреев. Начинался Исход из страны красных фараонов. Миллионы людей исчезали, словно растворялись в

истории и времени. Мне казалось: именно через сны, можно понять трагическую и запутанную историю советского еврейства. Сколько бы мы сегодня ни пытались прочесть ее, многое так и остается догадкой. Может быть, хотя бы сны, рассуждал я, способны что-нибудь прояснить. И то, о чем люди раньше не могли говорить. И то, что уже забыли. И то, что до сих пор прячут – даже от самих себя. (Некоторые записи вошли в мою книгу «Послевкусие сна. Из дневников этих лет», 2012 – Е.Ц.).

Ну а что же сны эмигрантов? Вот повторяющиеся, а значит – самые важные, по утверждению психологов: «Сидим в самолете, уже прилетев в Нью-Йорк. Однако нас не приглашают на выход. Кто-то говорит: поступила команда лететь назад. Возмущенные крики взрослых, плач детей. В конце концов, слава Богу, все разрешилось». Этот «страшный сон» – с небольшими вариациями – мне рассказывают человек десять.

Интервью с теми, кто мучается в эмиграции бессонницей: просыпается в три часа ночи и не спит до утра. Говорят, что в это время небеса хотят сообщить тебе нечто важное.

Тоже типичный ответ: «Люблю лежать в темноте с закрытыми глазами. Стараюсь увидеть себя со стороны. С годами стал относиться к себе как к постороннему. Спрашиваю: есть ли хоть какой-то смысл в жизни этого человека? И можно ли переменить его судьбу?»

Больше двадцати лет я редактирую русскоязычный ежемесячник в Чикаго. Изданий такого типа в Америке немало: что-то среднее между газетой и журналом. О том, «как я был редактором», можно написать книгу. Жаль, что такая книга давно написана. (См. записки Марка Твена или повести Дины Рубиной).

Электронные письма от Владлена Ф. таят в себе неожиданность. Он – тоже философ, один из многочисленных «философов» русскоязычной общины. Идеи В.Ф. всегда поражают меня. Вот и сегодняшнее его предложение, на которое он хочет обязательно получить ответ из редакции:

«Известно, что в обществе немало лесбиянок и гомосексуалистов. Как правило, у них нет детей. Однако нельзя бесхозяйственно относиться к этому биологическому материалу. Почему бы не способствовать тому, чтобы бисексуалы оплодотворяли лесбиянок? Эти женщины таким образом обретут жизненную гармонию. А мы

получим огромный прирост населения. Кстати, гомосексуалов надо постепенно – с помощью достижений науки – переводить в ряды бисексуалов». (6 ноябр, 2017)

В новом издании дневниковой книги Юрия Олеши, которая раньше называлась «Ни дня без строчки», а сейчас – пересоставленная и дополненная – вышла под названием «Книга прощания», читаю: «Человеческая судьба, одинокая судьба человека (...) наиболее необходимая поколениям тема. Мировые произведения построены на ней. Лучшее, что было написано за последние годы, – книга Ремарка. Чем-то перекликается она с другой книгой одинокой судьбы – с «Голодом» Гамсуна. Теперь обращаюсь я к своей судьбе и вижу: одиночество. Пусть в эпоху наибольшего движения масс возникнет книга об одиночестве» .

Одиночество, как и пошлость, – символ эмиграции. (Авг., 2000)

Прихожу в редакцию в разное время – в девять, в десять, одиннадцать утра. Мне некуда спешить: могу работать из дома. А Борис неприкаянно сидит в приемной, ждет. Мне стыдно, каждый раз извиняюсь перед ним. Хотя ни в чем не виноват: в Америке полагается заранее договариваться о встрече, никто здесь, как в России, не заходит «на огонек».

«Что нового?» – говорю я. И заранее знаю ответ: «Простите, мне не хватает общения». Борис – неплохой поэт. Прошу его почитать старые стихи, расспрашиваю о Таджикистане, где он когда-то жил и печатался. Что еще я могу сделать для него?

Старики-эмигранты (те, кому восемьдесят и больше) – типичные советские люди. Совсем редки их прозренья, как у Бориса З., который со вздохом заключает свое письмо: «Коммунистическая идея прекрасна! Надо только стараться, чтобы она никогда не осуществилась».

Еще одна дискуссия об эмиграции: «Счастливы ли вы в США?». Светлана П. возмущается: «Я приехала сюда и выучила английский не для того, чтобы мыть чужие дома...» Ей отвечает Инна М.: «Светлана была бы, конечно, права, если бы не говорила по-английски, как большинство наших стариков: Твоя моя вчера придет...»

Самоценки наших всегда прекрасно завышены.

Потоком идут в редакцию книги. Привычно недоумеваю: почему, едва попав в эмиграцию, многие хотят стать писателями? И – немедленно «берутся за перо», то есть осваивают компьютер.

Человек здесь теряет профессию (она часто уже никому не нужна). А в душе между тем – безошибочное ощущение: у тебя есть уникальный опыт жизни, о котором надо обязательно рассказать.

Увы, писать книги – тоже профессия. 99,9 процентов книг, выпущенных в эмиграции, – бесцветная продукция графоманов.

Эмиграция как идея и как реальность – разные вещи.

Как идея эмиграция замечательна: она выявляет для литератора суть многих вещей – в частности, его подлинное призвание.

Увы, реальность эмиграции – нечто иное. Грубое. Циничное. Резкое. Подчеркивающее ненужность творчества.

Русский литератор, конечно, попадает в число эмигрантов. Не имеет значения то, знает ли он английский. Он думает и пишет по-русски.

Он – в промежутке. Не поэтому ли многие литераторы в эмиграции переполнены тревогой и раздражением? На кого? На Россию, где их когда-то не оценили, а сейчас все так же не замечает критика. На антисемитов (в той же России, хотя государственного антисемитизма там давно нет). На американских бюрократов. В конце концов, на себя. На свою судьбу. Рано или поздно понимают бессмысленность этого чувства. Смиряются или только делают вид?

Суть такого состояния сформулировал Ф. Перлз: тревога — разрыв, напряжение между «сейчас» и «тогда».

Умерла талантливая поэтесса Алла Б. Ее статьи о писателях эмиграции пропитаны злобой. Бумеранг? Как она не понимала этого? Конечно, поняла. Но поздно. Смертельно больная, звонила людям, на которых недавно выливали ушаты грязи. Просила простить.

«Здравствуй, брат, писать очень трудно!» – говорили друг другу Серапионовы братья. В эмиграции это приветствие звучит насмешливо: ну кто расслышит одинокий голос автора, пытающегося что-то сказать на чужом языке?

Тем не менее эмиграция – лучшее место для творчества. Если, конечно, ты сумел обуздать неуемность тщеславия.

В ноябре 2013-го в Чикаго скончался старый врач, эмигрант из Украины Роман Вершгуб. Многие люди, умирая, уносят с собой тайну. Мне всегда казалось, что ее совсем необязательно разгадывать – человек имеет право недосказать сюжет собственной жизни. И все же тут был особый случай.

Впервые о том, что Роман Вершгуб пишет рассказы, я услышал от Ефима Петровича Чеповецкого, знаменитого детского поэта, в свои последние годы жившего в Чикаго. «Прекрасная проза, – воскликнул Е.П. – Но загвоздка в том, что Роман не хочет ее публиковать».

Он печатал свои рассказы на машинке: два-три экземпляра. И давал читать двум-трем людям. Когда мы познакомились, Роман оказал эту честь мне. Чем сразу поразили меня его рассказы? Они явно были написаны профессионалом.

Я совершил ту же ошибку, что и другие. Спросил: хотите, предложу ваши работы в один из эмигрантских журналов, с которыми связан? И получил такой же категоричный отказ.

Тогда он был уже безнадежно болен. И знал это. И поддался на уговоры друзей: стал иногда читать свои вещи в литературной студии Чеповецкого. Однако еще тверже говорил о ненужности публикаций.

Майя, вдова Романа, нарушила его волю. Не мне ее упрекать. В былые дни легенды о Майе, враче-гомеопате, гуляли по Киеву. А сейчас, через несколько десятилетий, она занималась восточной гимнастикой, водила машину. Она не раз приезжала ко мне в редакцию. За советом: как составить сборник? Как назвать книгу? Но главное – спросить: как я понимаю подтекст того или иного рассказа?

Ее тоже волновала тайна мужа. Жене Роман никогда не давал читать свою прозу. Робел, зная ее хороший вкус и категоричность оценок? Может быть. В чем-то не доверял? Вряд ли. Многие детали безоговочно твердили: он любил Майю, долгие годы их брака был предан ей.

У меня собралась большая папка рассказов Вершгуба. Иногда я перечитываю их. Рассказы эти печальны, а на первый взгляд – безотрадны. К одному из них автор поставил эпитафию: «Успехи мнимы, беды истинны». Герой этой новеллы молодой ученый Виталий, которого справедливо считают гением, отказывается вдруг от защиты диссертации, уходит из родительского дома – уходит к некрасивой женщине, гораздо старше себя («Маменькин сын»). Хирург Саша, делающий уникальные операции, неожиданно теряет свой дар и мучительно пытается понять, кто виноват в этом, – нежели он сам? («Кузнец своего счастья».) «Я узнаю в рассказах реальные события и

реальных людей», – говорит Майя. И наконец я догадываюсь: пространство рассказов было для Р.В. своеобразной лабораторией психоаналитика. Здесь он, не верящий в Бога, но доверяющий судьбе, стремился проникнуть в логику и смысл, а скорее – в алогизм и бессмыслицу бытия.

В начале апреля мы столкнулись с Майей все на той же Devon Avenue. Торопливо обменялись новостями. «Вам передали книгу?» – «Пока нет. Уже вышла? Поздравляю! А какой тираж сборника?» – «Пятьдесят экземпляров». – «Так мало...» – «Так много. Тридцать книг валяются у меня в шкафу – никому не нужны».

Майя вздохнула: «Там, на небе, Роман, конечно, осуждает меня...»

В США зарегистрировано более двух миллионов авторов. Иногда, вспомнив об этом, я не хочу писать. Представляю соревнование огромного количества муравьев.

Но все же, в оправдание творчества. Человек сотворен по образу и подобию Божьему. О чем это? Человек – прежде всего – создан демиургом. Творчество помогает эмигранту сохранить в себе тонкий, все уменьшающийся слой духовности.

Трагедия эмиграции: она дает свободу; однако часто не открывает, но закрывает мир.

«Что делать мне со своей свободой?». Это спрашивает меня тот же Ефим Петрович Чеповецкий. Ему за девяносто. Но он еще пишет, еще любит застолья. Когда-то о его стихах с восторгом отзывались Самуил Маршак, Лев Кассиль, Михаил Светлов. Когда-то миллионы малышей читали его книжки – их названия на слуху: «Мышонок Мыщик», «Непоседа, Мякиш и Нетак», «Про славную коровну Настурцию Петровну», «Солдат Пешкин и компания»... А мы познакомились с Чеповецким больше сорока лет назад, когда я писал свою первую книгу о «школе Всеволода Иванова». Этот первопроходец русского авангарда 1920-х, оппозиционный классик советской литературы учил молодых писателей прежде всего художественному поиску, вечному сомнению, которое так важно в искусстве. В феврале 1972-го я опубликовал в «Литературной газете» неизвестные отзывы Иванова о «молодых». Одна из самых интересных рецензий была посвящена творчеству Ефима Чеповецкого. А теперь, сорок пять лет спустя, Е.П. уже не в первый раз настойчиво переспрашивает меня: «Что же делать мне со своей свободой?»

Умер Михаил К. – мрачный человек, который помогал многим и многим людям, ни от кого не ожидая благодарности. И, кажется, не получая ее. Никто толком не знал его биографию. Сам М. рассказывал мне: в войну был разведчиком, оказался в лагере (сталинском), после освобождения, стремительно наверстывая упущенное, окончил институт, быстро защитил диссертацию, прославился изобретениями, из-за которых его долго не выпускали на Запад. В его рассказе меня смущала одна деталь: в начале войны М. был совсем молодым, едва ли не юным человеком, однако – тоже стремительно? – получил звание полковника, которое после реабилитации ему не вернули. Американская же судьба М.К. очевидна: он стал университетским профессором, имел аспирантов, создал собственную фирму.

В своей огромной квартире, переполненной антиквариатом, М. кажется мне уставшим путником, случайно попавшим в дорожную гостиницу. Будто между прочим, не придавая значения своему признанию, он замечает: «Мне не с кем разговаривать. Я не смотрю телевизор. В газетах читаю только новости. Мне все и так ясно».

Три раза в неделю М. неизменно посещал дома престарелых, в один из дней – онкологическое отделение Лютеран Джeneral госпиталя. Он рассказывал мне о своих визитах туда, как всегда, невозмутимо и четко: «Лежат, никому не нужные, брошенные детьми. Одно утешение: в России им было бы еще хуже»; «Когда надо, становлюсь переводчиком – с английского, русского, идиша...»; «Обязательно читаю им Священное писание. Слушают с трепетом, а ведь, как правило, ничего не понимают».

Впрочем, к Библии у М. было свое, особое отношение. Он говорил безбоязненно и безапелляционно:

– Тора дана нам инопланетянами. Это известно всем здравомыслящим людям. Инопланетяне – представители Высшего разума. Они и принесли на Землю нравственные законы, по которым должно жить человечество. А как иначе?

Он пылливо, с хитринкой смотрел на меня, как бы призывая к дискуссии о Синайском Откровении. Спорить с М.К. я, разумеется, не стал.

Мой старший друг, прекрасный писатель Владимир Ильич Порудоминский говорит о Кельне, где живет уже одиннадцать лет: «Мне здесь неплохо, но этот город никогда не станет моим прошлым. Он не растет во мне в глубину, только – вширь». В.И. уехал из Москвы

в Германию вслед за семьями двух своих дочерей. Уехал из той же комнаты, где родился семьдесят семь лет назад. (15 мая 2005 г.)

11 сентября 2001-го. Лас Вегас. Мы решили встретиться здесь с моим университетским другом Эмилем Горештером и его женой Диной. Накануне, десятого сентября, – чудесный вечер вчетвером. Утром – звонок Эмиля: «Включите телевизор».

Смотрю, как рушатся в Нью-Йорке башни-близнецы, думаю: что это? Неужели конец цивилизации?

Выйдя из своего гостиничного номера, проходим через зал казино. Там – всюду – огромные экраны телевизоров, на которые никто не обращает внимания. Там по-прежнему идет игра. (18 сент., 2001)

...Так значит, сны наяву, – переспрашиваю я, радуясь тому, что, кажется, нашел разгадку эмиграции. – Что это такое?

Эфраим Б. произносит вдохновенную речь о галуте. Изгнании, в котором евреи пребывают уже тысячелетия и которое наши мудрецы считали сном.

«Когда возвратит Господь из плена детей Сиона, [все пережитое] покажется нам сном». Эту песню пели левииим, стоя на ступенях в Храме.

Почему же галут – сон? Здесь соединяются вдруг противоположные явления. Ложь неожиданно принимает вид правды. Происходят затмения разума (хасиды и это считают сном).

О том же долгие годы размышлял, настойчиво убеждая учеников в очевидной для него истине, Георгий Гурджиев.

Оказалось, в мои блокноты уже давно входят сны наяву, точнее – люди из снов.

Профессии эмигрантов неожиданны. Моти Ш. рассказывает о своем друге Боре (тоже нелегал, уехал сейчас из Чикаго в Нью-Йорк):

-Как вы думаете, что предложили Боре? Продавать тапочки для собак! Причем, не в какой-нибудь маленькой лавочке, а на огромной плазе...

Моти – израильтянин. Бритая голова, голубые лукавые глаза. Помоему, его невозможно смутить, зато сам Моти часто старается смутить собеседника своим нагловатым взглядом. Родился и окончил

школу в Москве, репатриировался в Израиль, получил в Иерусалимском университете степень бакалавра политологии, говорит на трех языках – русском, иврите, английском. Стал нелегалом в Чикаго – после того, как ему отказали в учебной визе. Жизнь: запущенная квартира с несколькими соседями, румейтами, случайные подработки. Почему не уезжает в Израиль или Россию? Моти не ответит на этот вопрос. Понимает: жизнь ускользает, течет мимо. Но он и не пытается ничего исправить. Ему нравится это состояние вечной неопределенности, открытости судьбе. С восторгом Моти рассказывает о своей последней работе. Он возит на машине врача, который навещает больных стариков на дому (кстати, таких врачей в США встретишь почему-то редко). Пока доктор беседует с пациентом, Моти, развалившись в машине и улыбаясь на этот раз собственным мыслям, перебирает в уме варианты будущей жизни.

Я звоню ему и – он приезжает. Деловитый, спокойный. С рулеткой и калькулятором вышагивает по квартире. Его не смущают особые обстоятельства нашего ремонта: мы с женой хотим покрасить стены и потолки, но, придавленные усталостью, решаем не отодвигать шкафы, не снимать полки с книгами, не перекладывать в коробки посуду и бумаги. «Назовем это косметическим ремонтом», – сразу все поняв, с улыбкой говорит Сергей. Он обращается ко мне без заискивания, но и без едва скрытого самоуверенного хамства, чем грешат русские мастера. Называет цену чуть выше той, что я собирался заплатить. А я и не спорю, уже знаю: надо взять его, он – свой.

Работает Сергей тихо, почти не отвлекая меня вопросами. Я сижу с ноутбуком на кухне, уже покрашенной в прошлом году, делаю очередной номер журнала. В полдень нахожу в холодильнике приготовленный женой обед, приглашаю Сергея к столу. Он отказывается, достает из синей сумки что-то свое. Однако соглашается выпить чаю с конфетами. За чаем, отвечая на мои вопросы, спокойно сообщает, что находится в стране нелегально. Конечно, я понимаю логику его смелости: в Америке тебя пока еще никто не арестует за такое признание, зато – кто знает – может, я чем-нибудь помогу ему.

Незаметно разглядываю Сергея, невольно подсчитываю: ему лет тридцать пять, из них восемь – он в Чикаго. Пшеничные, аккуратно подстриженные волосы, маленькие, но всегда какие-то теплые, тигриного цвета глаза, прямой нос, большие руки, которым, я уже убедился, все под силу. Одет не совсем по-рабочему, словно в расчете, что его увидит кто-то, чье мнение дорого ему: подогнанные в ателье по

фигуре джинсы, серая фланелевая рубашка. Удивительно: в конце дня Сергей выглядит столь же опрятно, почти элегантно.

Чем он притягивает меня? Именно этим своим спокойствием, которое лучше назвать ощущением свободы и которое я никак не могу понять. Вроде бы, Сергею надо спешить обратно в Россию, надо торопиться жить, а не готовиться к жизни. Под Тамбовом осталась Аня, жена, дети – мальчик и девочка. Перспектив в Америке никаких, а ему так легко здесь дышится. Отсылает раз в месяц деньги через Western Union, показывает мне фотографию двухэтажного дома, построенного по его проекту. И молчит об отъезде.

Мне хочется иногда видется с Сергеем. И причины находятся. То поломается дверка шкафа в прихожей, то рассыпется на отдельные части кресло-качалка китайского производства. Он исправляет все умело, быстро, а потом мы завтракаем (или обедаем) и говорим за жизнь. Сергей не хочет брать с меня деньги. Мы ведь теперь, если не друзья, то приятели. Но, прощаясь, неизменно вкладываю купюры в карман его куртки. И он смиряется, побежденный доводом: «Если не возьмете, я не смогу обратиться к вам в следующий раз».

Конечно, я вскоре узнаю причину его нелогичного оптимизма. «Надо как-нибудь познакомить вас Ритой», – говорит Сергей. Они оба живут в так называемой украинской деревне, в четырехквартирном доме. У каждого, разумеется, своя комната, но они – вместе. Уже шесть лет. О Рите больше ни слова. Зато рассказывает Сергей об их коммуне нелегалов. «Я там как бы за старосту». Легко представляю их нередкие застолья по праздникам и дням («Нас как никак пятнадцать человек»), их несентиментальную заботу друг о друге, без которой не прожить: нелегалам, к примеру, не так просто лечиться, найти бесплатный госпиталь. Их печальные проводы: время от времени кто-нибудь берет билет в один конец, хотя часто уже не представляет себе другой жизни, кроме этой странной вольницы.

«Что вы делаете по воскресеньям?» – спрашиваю однажды, когда Сергей приходит ко мне в понедельник. Почему-то мне кажется: он хочет, чтобы я спросил его об этом.

Он тем не менее смущается, даже краснеет: «Целый день мы в постели. И не устаем нисколько». Глаза его загораются – обычная, немного смешная мужская гордость. «И знаете, иногда, просыпаясь, забываю, где я. Тогда мне кажется: я все еще в своем поселке, в первый сладкий год после нашей свадьбы с женой».

С Ритой мы так и не познакомимся. Только увижу ее в августе – на видео, в телефоне Сергея. Она скажет ему об отъезде за день до вылета. «Раньше не смогла. Не решилась. И я не виню ее. В Калининграде у старшего сына Риты – свадьба». На посадку она идет, ни разу не оглянувшись. Маленькая, будто замороженная, в модном летнем костюме, очень привлекательная даже в безысходном своем отчаянии. (2016, дек.)

Радость забвения. Тема эссе, которое уже несколько лет хочу написать, а потом вдруг понимаю: мысль эта стала почти очевидной для многих.

Как известно, принятие смерти, согласие с ней – один из этапов на последнем пути человека. Но, оказывается, можно смиренно принять и свое беспamięтство. И даже – обрести в этом состоянии радость.

...В четверг ко мне приходят Юра и Фира. Смущены и безмятежны – одновременно. Они хотят рассказать о своем недавнем, таком необычном для них выборе. «Вы знаете, – говорит Фира, – в конце семидесятых Юрочку таскали на допросы в КГБ. Да, как антисоветчика и диссидента. Потом все, вроде бы, утихло, утряслось. Но многие юрочкины рукописи, арестованные органами, так и остались у них. И вот, представьте, недавно нас отыскал один молодой исследователь из Молдовы. И – ошарашил новостью! Он обнаружил в архиве КГБ пьесу Юры. Что за пьеса? Из жизни Древнего Рима. Но пронизана, как было принято в ту пору в либеральной литературе, современными аллюзиями. Пьеса – гениальная! – твердит нам по телефону молодой человек. – Надо ее публиковать. И он будто бы уже договорился с редакцией какого-то сборника. А мы – в растерянности. Юрочка утверждает, что он вообще никогда не писал пьес. Меня же в те годы еще не было рядом с ним. Может быть, это путаница, какая-то гэбэшная подстава? Словом, мы решили отказаться от этой публикации. Зачем? Что изменит она в нашей жизни?»

Из окна вижу: они идут по Devon Avenue, как всегда, неторопливо. Юра, словно вернувшись в детство, боится отпустить руку жены. И великая радость забвения, впервые сознательно выбранная и принятая их душами, делает их счастливыми.

Многие возмущаются пошлостью, она пронизывает в эмиграции все. Но пошлость – единственная, неизменная почва эмиграции.

Русский ресторан с характерным для эмиграции претенциозным названием – «Живаго» – поставили возле кладбища. В ресторане всегда есть посетители: после похорон сюда идут люди – помянуть. Мне это нравится. Вспоминая покойного, человек думает, конечно же, о себе. Мол, ты и сам, дорогой, не вечен. А что сделал, что успел? Приспосабливался, лгал. Закопал свой талант – так глубоко, что и не отыскать. Впереди же, как у всех, – земляная яма, обложенная цементными плитами. Но побеждает в этих размышлениях под рюмку водки все же подлая радость: ты еще жив, жив!

Мне всегда очень жаль русских врачей в Америке. Путь их предопределен и труден. Приезжают с дипломами российских мединститутков, когда им уже за сорок. Сдают – естественно, на английском – экзамены, подтверждающие диплом. Учатся несколько лет в резидентуре (но попробуй туда попасть!). А ведь им надо еще успеть стать миллионерами.

«И твои кишки шлепаются на асфальт», – пишет о первых днях эмиграции Дина Рубина. В конце августа и в сентябре 1996-го асфальт в Чикаго плавится от жары. Наша прошлая жизнь куда-то бесследно проваливается – будто и не было. А новая жизнь никак не начнется...

Все, как у всех. «Депрессия наползает постепенно. Мир становится темным». Это Ольга Г. Хотя сейчас она делится со мной радостью: «...я сейчас – будто заново родилась. Будто кто-то снял с головы темный мешок». (1 мая 2007 г.). Надолго ли?

Саша Г. признается: «А за рулем машины я пою. Как ни странно, это всего две песни. «Окурочек» Юза Алешковского и «А ну-ка, парень, подними повыше ворот... » Часто пою даже тогда, когда мы едем вдвоем с женой. Ее это раздражает: годами – одно и то же». Задумывался ли кто-нибудь о том, что произведения на тюремно-лагерную тему важны для эмигрантов как своеобразная психотерапия? В пору глухой тоски я перечитываю самые безотрадные рассказы Варлама Шаламова.

Эмиграция – сон? Откроешь глаза и – ничего уже нет. Как, в сущности, мало осталось от русской литературной эмиграции 20-30 годов прошлого века. До нас дошли самые яркие имена, многие из которых были известны еще в дореволюционной России. А сколько молодых талантливых голосов мы так и не расслышали. Их творчество

осталось горьким упоминанием – в чужих письмах и дневниках. Говорю об этом с литературоведом Олегом Коростелевым. Он сотворил чудо: реконструируя жизнь литературной эмиграции 20-годов, сделал не меньше, чем целый научный институт. И все-таки провалы литературной памяти огромны. Часто – необратимы. Один из наивных вопросов, который задаю Коростелеву: как сделать, чтобы подобное не повторилось? (См. нашу беседу: журнал «Чайка», 2016, 10 июня)

За пятнадцать минут до закрытия русского книжного магазина на пороге появляется старуха. На голове у нее – белая панاما (привет из далекого пионерского детства). В руке – большая соломенная кошелка: с такой моя бабушка отправлялась на рынок. Старуха, видно, здесь не впервые: сразу проходит к полке, где стоят книги по эзотерике. Что-то напряженно ищет, торопливо проглядывая оглавления книг.

-Могу ли я вам помочь? – обращается к ней продавщица.

-Нет, я сама, – решительно выговаривает старуха. Однако смотрит на часы и, поняв, что приехала слишком поздно, вынуждена и впрямь обратиться за помощью: «Мне нужна книга о том, как изменить судьбу».

Смешно? Вряд ли. Опять та же, характерная для эмиграции тема – перемена судьбы. (2008, апр.)

Отвечая на вопросы издающегося в Германии журнала «Крещатик. Перекресток», который в 2017-м отмечал юбилей, вспоминаю вдруг о том, как после переезда в Чикаго с удивлением и радостью насчитал в городе 21 магазин русской книги. Пять из них располагались совсем близко от моего дома. Как ни странно, у каждого магазина было свое лицо. В одном продавались последние новинки, доставленные из Москвы самолетом. Хозяйка другого, выпускница Литинститута, не думая о прибыли, заказывала российские и переводные издания, пронизанные духом эксперимента. В третий меня притягивали монографии по искусству, альбомы репродукций художников. Однако уверен: самым удивительным был Дом русской книги. Здесь среди картин и гравюр, собраний сочинений, множества редких изданий меня всегда ждали неожиданные находки. И почти о каждой книге вдохновенно, словно читая стихи, рассказывал, если у вас было настроение спросить, гостеприимный владелец этого праздничного царства, писатель и режиссер из Одессы Илья Рудяк. Я часто приходил «на огонек» Ильи Эзравича: поговорить, подышать особым воздухом –

нет, не книжной пыли, воздухом русской культуры. Кстати, сюда так любил приезжать великий книголюб Евгений Евтушенко.

...Все эти магазины давно вышли из бизнеса. Их хозяева, в основном наивные идеалисты, разорились. Сейчас книги на русском продаются в Чикаго в трех киосках: один примостился в «русском гастрономе», два – в «русских аптеках».

Конечно, постоянно закрываются и американские книжные магазины. Дворцы в несколько этажей, куда человек нередко приходит на целый день. Книги и журналы здесь можно не только смотреть, но и читать. Здесь можно выпить с друзьями кофе, даже перекусить. И снова отважно путешествовать по книжному морю. Только вот путешественников – все меньше.

Уезжая в Америку, я с болью прощался со своей библиотекой, которую с не понятной мне самому страстью собирал с двенадцати лет. Разумеется, эти чувства испытали многие. А сейчас мы прощаемся с Читателем книги. Он уходит с пугающей быстротой. Мне все чаще кажется: эмигрантские издания читают только их авторы. (2017, дек.)

Нашествие гадалок, ясновидящих, потомственных колдунов. Сибирский шаман Аюн-батыр излечивает от бесплодия во время индивидуальных сеансов. Контактер с космосом Бонифатий меняет вашу судьбу... Моя приятельница М.К. была у контактера на приеме. «Он вам помог?» – «Очень! И мне повело: я купила право обращаться к Бонифатию в любое время, без очереди. Могу звонить ему, получать его советы в любой трудной для себя ситуации.»

«Сколько это стоило вам?» М.К. мнется, не очень-то хочет говорить, да и не принято это на Западе. Но она вспоминает о нашей дружбе. Потому все же роняет: «Пять тысяч».

Деньги достались М.К. не по наследству. Моя искренняя симпатия к этой грузной, уже состарившейся, все еще красивой женщине связана ее мужественным сопротивлением эмиграции. Приехала в Америку в пятьдесят. Без английского. С тяжело больным мужем и двумя девочками-подростками. Объясняла мне когда-то: «Одна – дочь мужа от первого брака, вторая – общая; муж через год умер, надо было быстро решаться на что-то...» Решилась, как многие – убирать чужие квартиры. Одновременно учила английский, стала водить машину, сдала экзамен, подтверждающий ее квалификацию химика-лаборанта (правда, в прошлой жизни она была химиком-исследователем, заведующей большой лабораторией), считала каждый доллар, выучила дочек, купила хорошую квартиру.

М.К. не идиотка. Но она одинока: у дочек – своя жизнь. А у нее обнаружили рак. И она перед выбором: делать операцию или пока подождать. Контактер – сладкий молодой мужчина с решительным взглядом – советует то, что М.К. хочет услышать: ждать. После консилиума врачей операцию М.К. все-таки делает. «Общаетесь ли вы с Бонифатием?» – спрашиваю несколько месяцев спустя. «С ним стало трудно связываться», – говорит М.К. без осуждения. Может быть, думая при этом о высших силах, которые еще вмешаются в ее жизнь.

На обложке русскоязычного чикагского еженедельника – портрет священника в церковном облачении. А в кавычках бьются его слова: «Прошу прощенья у всех!» Михаил Ц., священник Апостольской православной церкви, дает интервью журналисту. И горячо кается в грехах. В 1978-м, в Киеве, он только мечтал стать священником, но зато стал агентом КГБ. М.Ц. сам предложил свой псевдоним – Атос. (Псевдоним не случаен: будущий батюшка был фехтовальщиком, мастером спорта). Расставшись с КГБ и попав в США, М.Ц. ощутил в себе другое призвание. Он начал изготавливать международные водительские права для нелегалов-мексиканцев. Но однажды «нагрянул спецназ и меня объявили чуть ли не крестным отцом русской мафии в Чикаго... Вышел из тюрьмы под залог, а затем был условный срок». Все это – уже давно, двадцать лет назад. Теперь его голос дрожит: «...я хотел бы сегодня попросить прощения у всех за свои грехи и ошибки». Но нет, это еще не все. М.Ц. напоследок сделает подарок читателям: «В Чикаго я единственный священник, который, учитывая наши «военно-полевые условия», может принять исповедь по телефону... конечно же, совершенно бесплатно». (Апр., 2018)

Предчувствует ли человек свою смерть? Ответ очевиден. Сразу вспоминаю множество историй. Но расскажу только одну, собственную.

Как и все, не раз слышу о нападениях грабителей в «неблагополучных» районах Чикаго. Советы бывалых людей: ни в коем случае нельзя спорить, убегать, сопротивляться, звать на помощь... Надо отдать все, что можешь и что потребуют. А лучше всего – имей в кармане небольшую сумму денег (вдруг перед тобой наркоман с помутненным рассудком? Он, не задумываясь, выстрелит или ударит).

Минувшей субботой иду из синагоги домой. Около часа дня. С утра был дождь, а теперь – сухо и чуть морозно. Иду, думаю: «Вот и прошла

жизнь... Нет, не так... Это ушла неопределенность юности и молодости. Теперь все впереди ясно. Не ясно одно: каким будет конец и когда он наступит...»

Говорят, когда души спускаются в этот мир для того, чтобы облечься в плоть, точная дата нашего ухода отсюда уже определена. Как определена и миссия, с которой мы приходим. Конечно, Всевышний дает человеку выбор: маршрут нашего земного пути во многом зависит от нас самих. Но последняя дата неизменна.

Такие вот банальные мысли...

Идти мне минут пятнадцать. Неожиданно в одном из переулков (около стройки, где возводятся скромные двухмиллионные особняки) догоняют меня два афроамериканца. Лет восемнадцати. Прилично одеты. Один забегает вперед, протягивает мне руку: «Гуд шабес!»

И тут же, с другой – угрожающей – интонацией: «Давай деньги... Быстро... Иначе буду стрелять».

Опускает руку в карман куртки, вынимает оттуда револьвер, снова прячет его, наставляя на меня дуло через куртку.

Почему я спокоен? Может, потому что тут же вспоминаю свои размышления – всего несколько минут назад. Неужели Всевышний именно так готовил меня к смерти?

«У меня нет денег». Это правда. В шаббат евреям не полагается брать в руки денежные купюры.

Парни оглядываются. На улице по-прежнему – ни души.

-Я считаю до трех и буду стрелять... Раз... два...

Он считает до восьми. А я жду выстрела. Неужели это, действительно, все?

Словно по чей-то подсказке, вдруг снимаю с себя новое итальянское пальто:

-Это вам!

Поняв, что денег у меня действительно нет и проигнорировав мое пальто, они разворачиваются и – уходят.

Четыре дня спустя все это по-прежнему выглядит странно.

Странно: в шаббат в нашем районе, где живут в основном ортодоксальные евреи, на улице не было прохожих (а в синагогах как раз закончились службы). Странно то, что они появились здесь. И то, что безмолвно ушли.

Это была репетиция ухода или только сон наяву?

Часть 4.

Россия,

Америка и мир



Николай Акимов. Эскиз занавеса к спектаклю «Свадьба Кречинского» А. В. Сухова-Кобылина

Евгений Терновский

Париж, Франция



Русский барин. Николай Иванович Раевский

..Где бы он ни появлялся, он сразу же привлекал восторженное внимание, – в обществе, в редакции эмигрантской газеты, в простецком кафе или в университете Лилля. «Il m'a beaucoup impressionné!» сказал мне коллега, профессор из Страсбурга, который встречался с Раевским в Вене. «Какой удивительный человек!» восторгалась жена профессора-германиста Андре Бийаза. «Такие люди рождаются раз в сто лет!», по словам одной франко-венгерской журналистки, писавшей книгу о русской эмиграции.

Высокого роста, прям как юноша, несмотря на преклонный возраст, с обликом, сошедшим с парадных портретов николаевской эпохи: небольшая породистая голова, безукоризненно правильные и одухотворенные черты лица, сдержанность и гармония жестов и движений. Когда я пишу о нем, как о русском барине, я далек от холопского воодушевления или плебейского восхищения титулами и аристократическим происхождением. Он был русским баринком в более глубоком отношении, – в эстетическом и нравственном.

Николая Ивановича Раевского (1909-1989) хорошо знали в русских кругах Парижа. Отпрыск знаменитой семьи (его отец, Иван Иванович Раевский, был другом Льва Толстого и его помощником в борьбе с голодом в конце 19 века), он пятнадцатилетним мальчиком покинул «Ссер» в 1924 году с помощью Пешковой, одной из жен Горького. Он

любил вспоминать слова отца, сказанные на прощание: « Береги мое имя. Это единственное, что может сейчас тебе завещать русский отец». Он никогда больше не увидел своего сына.

Несмотря на поддержку князя Львова, известного деятеля русской эмиграции, Николай Иванович извдал все тяготы эмигрантской жизни, пока не вступил добровольцем в Иностраннный легион. Он оставался в нем более двадцати лет (знатоки утверждают, что это сущий подвиг!), был несколько раз ранен в Алжире и чуть не отравлен в Индокитае. Мне он рассказывал об этом со свойственной ему скромностью и ничуть не облакаясь в героические одежды. Во время войны он попал в плен и провел в Германии четыре года. Дважды – из-за болезни легких и какого-то свирепого тюремщика – был на волосок от смерти. Любопытно, что для немцев он был французом, и его русское происхождение не сыграло роковой роли. После немецких и алжирских перипетий, по истечении контракта Иностранного легиона, ему предложили место администратора в известном Institut Français в Вене, кем он и оставался до отставки. Уже получив французское гражданство, несколько раз посетил Москву, где жили уцелевшие члены его семейства. Увиденное вызвало у него такой ужас, что, по его словам, он кроме своих родственников и церкви, никуда не ходил. С иронией рассказал мне, что в один из приездов он отправился в церковь Ильи Обыденского. На паперти пожилой человек, который, вероятно, еще помнил быт старого режима, изумленно воскликнул, указав на Раевского: «Смотри, Нина, барин приехал!»

Мы познакомились с ним в гостеприимном доме семейства Разумовских, известном многим экс-советским беженцам и выбежанцам. После обеда мы с Марией Разумовской уединились в углу гостиной; она намеревалась перевести один из моих романов и сидела с тетрадью на коленях, выписывая непонятные ей слова. Недалеко от нее сидел в кресле пожилой господин, величественный облик которого меня сразу же поразил, до такой степени он напомнил русских вельмож 19 века. Он слушал нас с большим вниманием, хотя и дискретно, не вмешиваясь в разговор. Лишь по истечении некоторого времени Мария Разумовская представила меня.

«Прощу прощения, я слушал вас – или подслушивал, – сказал Н.И. с большим юмором, – и удивлялся. Вы совсем не говорите так, как говорят советские». (Между прочим, позднее такого же комплимента я удостоился в разговоре с З.А. Шаховской и С.Н. Милорадовичем). В тот же вечер он пригласил меня на обед в свою прекрасную квартиру

на Капитан-гассе. Я неоднократно посещал ее в течение трех венских месяцев до отъезда в Париж.

Так начались наши дружеские встречи, которые продлились до его кончины. Он часто приходил ко мне в «Русскую Мысль» в конце рабочего дня, после которого мы шли в соседнее кафе. Иногда наши беседы длились часами. Не прервал эти дружеские связи и мой отъезд на несколько лет в Кельн. У меня сохранились его многочисленные письма. Когда я возвращался на несколько дней в Париж, я часто пользовался его гостеприимством, о чем вспоминаю с большой благодарностью. Раевскому я также был обязан переводом из Страсбургского университета в Лилльский, где я проработал почти четверть века.

Я любил беседовать с ним. Его русский язык был безупречен, мысли оригинальны. Французским он владел в совершенстве (после войны он некоторое время работал переводчиком Верховного комиссара), галлицизмы никогда не врываются в русские фразы, как это часто случается у претенциозных галломанов. Но более всего меня восхищала его скромная и в то же время проникновенная мудрость. Скромность – не как психологическая черта, но своего рода жизненная программа. Раевский был незаурядным франкоязычным поэтом, его стихи ценил Пьер Эммануэль, известный поэт, который дважды предлагал издать сборник его стихов со своим предисловием. Раевский поблагодарил, но отказался. Его рисунки с русскими мотивами также имели успех, но когда его старинный друг, Николай Вырубов, предложил устроить выставку, он решительно отказался.

– Почему, Николай Иванович?

Всякий раз, когда речь шла о том, что его глубоко трогало, Н.И. погружался в недолгое молчание, и затем:

– Может быть, потому, что я знаю о себе больше, чем Пьер или Николай, – я знаю, что я не поэт и не художник.

Нужно обладать большой мудростью, чтобы изгнать самолюбие, этого вечного спрута литературной братии, и критическим оком взглянуть на свои творения!

Другая особенность личности Раевского заключалась в большой моральной силе. Сначала Иностраннный легион, где можно было встретить раскаявшихся бандитов всех континентов, затем немецкий лагерь предоставили ему, вероятно, возможность глубоко изучить человеческую психологию. Он мгновенно замечал фальшь, неискренность, гениальничание, ломание, уловки. И реакция его была молчаливой, но безжалостной.

Я помню, как однажды мы встретились в «нашем» кафе, куда я пришел после работы в «Русской Мысли». Случайно там же оказался священник Александр Шмеман. С сигаретой в зубах, неестественно возбужденный, он присел к нашему столику (мы были с ним знакомы) и не совсем кстати принялся рассказывать о том, что советские эмигранты, среди них Борис Шрагин, не дают ему покоя, звонят и приходят в невозможные часы, и т.д. Тон рассказа был шутливым, но в нем проскальзывали хвастовство и раздражение. Лицо Николая Ивановича каменело; он молча допивал свое кофе, время от времени бросая на Шмемана взгляд, полный неприязни. Шмеман смутился и вскоре ушел. Я осмелился спросить Раевского, почему он так неприятливо обошелся со священником. «Он не знает, что священник создан для паствы, а не наоборот», – ответил он.

Разумеется, мы много говорили о русских судьбах. И теперь, почти через тридцать лет после его исчезновения, я отмечаю, насколько он был дальновиден в своих прогнозах. В те времена – начало восьмидесятых годов – мысль об исчезновении коммунистической империи казалась утопией. В «Русской Мысли» мы часто цитировали слова Сергея Сергеевича Оболенского: «Эта история с большевиками еще на двести лет!» Но Раевский полагал, что крах СССР близок, и наступит он в результате не национальных или военных конфликтов, но от экономического истощения (что и произошло). А затем...

Я, надо сказать, довольно смутно представлял себе продолжение. Если корень зла – коммунистическая идеология – рухнет обвалом на дно истории, что же тогда может помешать восстановлению свободы, правового и демократического режима?

Николай Иванович поднял вверх свой прекрасно вылепленный палец и шутливо им погрозил.

По его мнению, падение коммунистической идеологии совсем не означает приход к государственному возрождению, тем более, что сами правители в последние годы относились к этой идеологии с большим цинизмом. Переходной период всегда сопровождается социальными потрясениями, но власть остается у тех, кто располагает экономическими и финансовыми рычагами, устойчивыми государственными структурами (КГБ, армия, администрация). Они совсем не намерены расставаться со своими привилегиями и властью. Есть два варианта: более реалистический, когда возникнет борьба за власть среди различных группировок, и второй, менее вероятный, – народное восстание. Во второй вариант, кажется, он почти не верил.

Я думаю, что в целом его предсказание оказалось справедливым.

Столь же точен был его анализ крестьянского положения. Да, говорил он, колхозы могут исчезнуть, но в ближайшие полвека эти правители никогда не предоставят землю крестьянам в личное пользование, и в этом вся проблема. Страна без зажиточного крестьянства – обреченная страна. По этой причине США и западные демократии предоставляют фермерам многочисленные льготы.

– Но почему, уничтожив колхозы, они не отдадут крестьянам то, что, в сущности, им должно принадлежать от рождения?

По мысли Раевского, даже самый бедный крестьянин в тысячу раз независимее от власти, чем любой чиновник. Это издревле было известно всем тиранам. Не допустить этой независимости, – такова будет задача новой власти. Даже без коммунистической идеологии инстинкт правителей подсказывает им, что любой независимый человек представляет опасность. Поэтому они предпочитают расходовать тонны золотых слитков, которые добываются каторжным трудом, а не иметь потенциальных бунтарей, в которых превращаются независимые люди.

«Может быть, через пятьдесят или сто лет менталитет этих властителей изменится. Но пока...»

И этот прогноз Раевского оказался верным...

В одном из своих французских стихотворений Николай Иванович писал о смерти, которую, он, глубоко православный человек, ощущал как путешествие. Когда он прочитал его мне, он дополнил с улыбкой:

«Смерть как путешествие. Или плаванье. Как у Бодлера. Представьте себе, ваш тримаран идет ко дну, но вы продолжаете плыть. Вот такой мне видится смерть».

В день его похорон, когда траурный кортеж приближался к кладбищу вблизи Марны, навстречу выехал грузовик чудовищных размеров, перевозивший спортивный тримаран. Моряк (или спортсмен), выйдя из кабины, снял фуражку, молчаливо и почтительно приветствуя неизвестного ему Николая Ивановича Раевского, уходившего в последнее плаванье.

Ренэ Герра

Париж, Франция



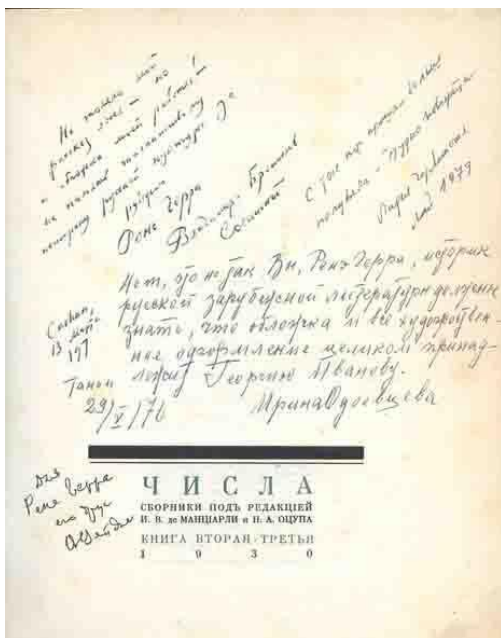
Русский Монпарнас. Русские художники и писатели-эмигранты в Париже

После октябрьского переворота и по окончании гражданской войны, русская культура Серебряного века оказалась выброшенной за пределы России, и с 1924 года Париж стал, по меткому выражению Д.С.Лихачева, столицей «второй русской культуры»[1]. Итак, две великие культуры, русская и французская волею судеб стали сосуществовать на французской земле. Отсюда сразу возникает целый ряд вопросов об их взаимоотношениях, взаимопонимании, взаимопроникновении, о восприятии и вкладе русских во французскую культуру...

И здесь главный, на мой взгляд, вопрос, требующий ответа, – установился ли в новых исторических условиях диалог на равных между этими культурами с учетом того, что они веками имели много общего? Если нет, то, что помешало такому естественному, казалось бы, диалогу? Ведь диалог (и это вряд ли оспоримо) вообще возможен лишь «на равных». И при этом диалог культур предполагает, что у сторон, которые в него вступают, имеются некие общие принципы, общие культурные ценности и жизненные цели. Увы, русско-французский культурный диалог в исторически сложившихся условиях по-настоящему в XX веке не состоялся. Точки соприкосновения так и не были найдены: ведь с русской стороны

участниками несостоявшегося диалога оказались изгнанники, вроде бы потерпевшие историческое поражение, то есть для «левой» французской элиты – изгои и отщепенцы, не принявшие Великую Октябрьскую... Хотели ли те и другие этого диалога? Были ли готовы к нему? Вот в чем вопрос.

А между тем подобный диалог был вполне естественным явлением в XIX веке. Тютчев, Тургенев, Толстой и Чехов – блестящие тому примеры. А вот в межвоенный период 1920-1930-х годов настоящий, плодотворный диалог состояться, в контексте идеологических реалий той сложной эпохи, уже не мог. Тому причина, в первую очередь, – отсутствие толерантности французских левых по отношению к русским писателям и художникам в изгнании, испытывавшим на себе все «прелести» «великого Октября» ...



Числа №10. Надписи С.Шаршуна, С.Лифаря, Ю.Терапиано, .Варшавского, В.Вейдле, И.Одоевцевой, Л.Зака, Л.Червинской, А.Бахраха, И.Чиннова, Ф.Гозиассона, Б.Заковича, Н.Татищева. © Р.Герра

О чем могла заявить Западу зарубежная Россия в то время? Прежде всего, об опасности, грозящей западной цивилизации и всему цивилизованному миру. Зинаида Гиппиус провидчески заявила: «Мы

не в изгнании, мы – в послании», в сжатой форме сформулировав изначальную миссию послереволюционной русской эмиграции – сохранение и преумножение русской культурной традиции. Но хотели ли тогда слышать это французские деятели культуры? Нет, для них этот «глас вопиющего в пустыне» был звук пустой.

Что касается русских культурных деятелей Рассеяния, эти писатели и художники старшего поколения поистине совершали подвиг: в чужой языковой среде, в чужом быте, в отрыве от родной почвы они всячески стремились сохранить себя, свои культурные традиции, чистоту русского языка, дух и ценности исконно русской культуры, попираемой на родине большевиками. Ведь каждый из них унес с собой Россию, свою Россию, и преданность ей. Однако все имеет свою оборотную сторону: эти изгнанники сохранили свою русскость, не переставали думать о России и мучиться ее несчастьями – и чувствовали себя чужими во Франции.

Вслед за Марком Шагалом, многие художники и писатели-эмигранты могли повторить, что вдали от родины они были более близки к ней. В этом признавался в биографическом очерке Борис Зайцев: «Вообще годы оторванности от России оказались годами особенно тесной с ней связи в писании. За ничтожными исключениями все написанное здесь мною выросло из России, лишь Россией дышит»[2]. И это верно и для Бунина, Куприна, Шмелева, Ремизова, Гиппиус, Тэффи...

Писатели-эмигранты старшего поколения испытывали потребность путешествовать по своей «внутренней» России. Во всех их произведениях, написанных в изгнании, читатель угадывает непрекращающийся диалог с Россией, «отсутствующей», но всегда незримо «присутствующей». Они все находились в постоянном поиске этой утраченной России.

В самом первом номере парижской эмигрантской газеты «Последние новости»[3] был напечатан фельетон Н.Тэффи, начинающийся с анекдота про русского генерала, который выходит на «пляс де ля Конкорд», озадаченно смотрит вокруг и говорит: «Все это хорошо... очень хорошо... но ке фер? Фер то ке! Все прекрасно в этом замечательном городе, но что делать, как жить среди этой красоты, без денег, без надежды на будущее». Эта крылатая фраза, если верить Дон-Аминадо (известному писателю-сатирику), превратилась в некий рефрен всей эмигрантской жизни. Она едко и точно выразила самую суть тупиковой ситуации русского эмигранта, его беспомощную, да и бесплодную попытку соединить свою русскость с чужеродным

контекстом. В этой забавной фразочке на самом деле сублимируется вся боль изгнания, вызванная не только разлукой с родиной, родным домом, утратой всего, что было дорого, но и исключением из реальности, подлинным отлучением от действительности. Уместно здесь вспомнить и еще две вещие строки о России того же Дон-Аминадо: «Ты была и будешь вновь / Только мы уже не будем».

Эмигрантская среда русского Парижа – изначально хаотичная, не устоявшаяся, вне быта, отяжелявшего жизнь. Однако к концу 20-х все же завершился период адаптации эмигрантов, переживших шок вынужденного отрыва от Родины. Большинство решило житейские проблемы, нашлись и источники существования, как-то обустроился быт. И одновременно развеялись иллюзии о непрочности советской власти и о возможности скорого возвращения на Родину.

О чем теперь они мечтали? Об интеграции? Нет. О возвращении? Куда? В советскую Россию? Нет. Россия стала для них «градом Китежем». Так и случилось, что русские деятели культуры уважали Францию, принявшую их, принимали и перенимали ее обычаи. И если налицо была адаптация – то ассимиляции так и не произошло: всем своим существом они оставались русскими, связанными с родной страной бесчисленными незримыми нитями. Все представители творческой интеллигенции мучительно переживали трагедию расставания, бесконечно ностальгировали по далекой России, тосковали по Петербургу, по Москве.

Что и говорить, можно смело утверждать, что ностальгия – русская болезнь XX века. Ностальгия по России – удел русских изгнанников в Париже, была горькой и открытой; а ностальгия по Парижу в советской России – удел репатриантов – была горькой и потаенной (для Фалька, Альтмана, Штеренберга, Редько, Глущенко).

В связи с этим интересен и весьма любопытен парижский контекст в произведениях писателей старшего поколения, Бунина, Зайцева, Куприна, Ремизова и, конечно, Тэффи. У Бунина в рассказах из цикла «Темные аллеи»[4] например «Галя Ганская» (1940): «Художник и бывший моряк сидели на террасе парижского кафе. Был апрель, и художник восхищался: как прекрасен Париж весной и как очаровательны парижанки в первых весенних костюмах»; или в другом его рассказе «В одной знакомой улице» (1944): «Весенней парижской ночью шел по бульвару в сумраке от густой свежей зелени, по которому металлически блестели фонари... И как удивительно, что все это было когда-то и у меня! Москва, Пресня, глухие снежные улицы, деревянный мещанский домишко – и я студент, какой-то тот я,

в существование которого теперь уже не верится». Гуляя по Парижу, герой рассказа вспоминает Москву, молодость. А вот пассаж из романа Зайцева «Дом в Пасси»[5]: «Сам изящно-серый Париж ведет вечный свой круговорот – в непрерывном потоке прохожих, скользящей волне машин, в запахе сырости, бензинового дымка, дамских духов». И далее: «Над Парижем черная августовская ночь. Эйфелева башня давно мигать перестала. На облаках розоватые отражения огней...». При этом в дневнике Б.К.Зайцева «Дни» за 1939 год мы читаем: «В этом Париже мы жили и живем, но мы не дома. Прекрасен город Париж, многое от красоты и изящества его – общечеловеческое, все должны защищать Нотр-Дам, Лувр и многое другое... Город всемирный – что и говорить. Но Москва была наша, Кремль наш и любой извозчик-ванька, почесывавший в затылке, так же наш, как могилы собирателей Земли Русской в Соборе Кремля. Что же поделать, мы не у себя»[6].



Портрет С. Шаршуна работы Юрия Анненкова. 1952. © Р.Герра

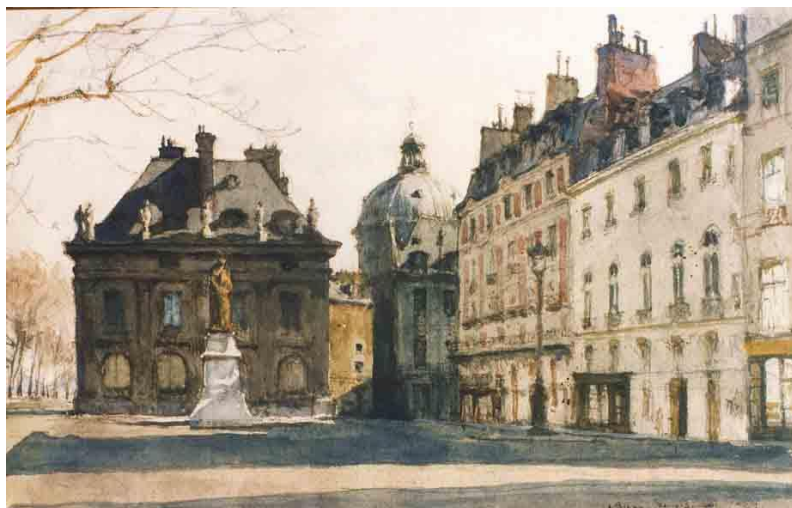
Что касается «младшего» поколения, оно, в отличие от старшего, не могло не испытать влияния современной европейской культуры в Париже, где даже воздух был пропитан ей. Несомненно, это обогатило их внутренний мир и способствовало возникновению «Парижской ноты». Это выражение придумал Борис Поплавский. На самом деле,

«Парижская нота» – это вовсе не литературная школа с определенной программой, как например, символизм или акмеизм. Просто эта «нота» была в самом воздухе, в самой атмосфере 30-х годов; то было некое верное звучание, стремление к ясности, простоте, отказу от всяких формальных эффектов и трюков, и, одновременно, – трезвость, даже скептицизм вне всевозможных обманов, символики, метафизики. Центральной фигурой для поэтов «Парижской ноты» был современный человек, с его внутренним состоянием, его отношением к различным событиям и духовным запросам. Оттого стихи Б. Поплавского, Л.Червинской, Б. Заковича, А. Штейгера, И. Чиннова оставляли ощущение чего-то действительно нового, щемящего, неповторимо личного.

Подобное новое звучание, несомненно, было эхом творчества Марселя Пруста. Здесь, кстати, возникает вопрос: испытывал ли Бунин влияние автора романа «В поисках утраченного времени»? Писатель это отрицал, но уже сам факт такого отрицания о многом говорит и заставляет задуматься. Ведь то, что Бунин говорит о Прусте, словно оправдываясь, позволяет сомневаться в однозначности ответа. С другой стороны, в современной европейской литературе царили и такие писатели нового типа, как Джеймс Джойс, автор знаменитого «Улисса». А в тени этих титанов, был целый ряд других, менее известных писателей, тем не менее, в той или иной степени оказавших влияние на русских писателей-эмигрантов, особенно на младшее поколение, которое металось в поисках новых веяний.

В этом ряду можно назвать Эдмона Жалу с его «магическим реализмом», чья роль «состоит в отыскании в реальности того, что есть в ней странного, лирического и даже фантастического – тех элементов, благодаря которым, повседневная жизнь становится доступной поэтическим, сюрреалистическим и даже символическим преобразованиям» («Нувэль литерэр», 7 ноября 1931 г.). Нельзя отрицать влияния Жоржа Бернаноса, автора «Дневника сельского священника», либо Франсуа Мориака и его роман «Женитрикс», и мн. других. Не будем утверждать, что влияние этих европейских авторов на русских писателей-эмигрантов младшего поколения было довлеющим, но они, несомненно, их читали. Доказательство тому – наличие в моей библиотеке книг французских авторов с пометками Б. Поплавского и С. Шаршуна. Так что писатели-эмигранты прекрасно понимали, что могут обогатить русскую литературу за счет опыта французской культуры.

Младшее поколение литераторов по-настоящему вышло на авансцену с появлением «Чисел», литературно-художественного журнала (Париж, 1930-1934), ставшего для них трибуной триумфального самоутверждения. Философ-эссеист Георгий Федотов назвал появление первого номера «Чисел» «значительным литературным событием». По выражению Н.Тэффи, «Числа» стали «цитаделью молодой литературы». Наряду с литературой, «Числа» уделяли внимание искусству, скульптуре, музыке, танцу, современным течениям в искусстве Запада, балету, живописи известных французских художников. Воспроизводились произведения русских мастеров «Парижской школы»: М.Шагала, К.Терешковича, Н.Гончаровой, М.Ларионова, М.Блюма, Р.Пикельного...



Александр Бенуа. Париж. Набережная Малаке. 1929. © Р.Герра

Своим существованием «Числа» обязаны, прежде всего Н.А. Оцупу, представителю Петербурга и «Цеха поэтов», редактору, издателю и администратору. Секретарем редакции был сначала писатель Ю.Фельзен, затем поэт и прозаик Е.Бакунина. Отсутствие средств повлекло за собой нерегулярность выпуска журнала, который должен был выходить четыре раза в год. В 1930 вышли №1,2-3,4; в июне 1931 №5; в июне 1932 №6; в январе 1933 №7-8; в мае 1933 №9, а в июне 1934 №10. «Числа» сгруппировали вокруг себя почти всю русскую элиту, в них печатали стихи Г.В.Адамович, Г.В.Иванов, Б.Ю.Поплавский, Б.Б.Божнев, И.В.Одоевцева, М.И.Цветаева,

Ю.К.Терапиано, Г.А.Раевский, В.А.Смоленский, А.С.Гингер, А.П.Ладинский, В.А.Мамченко, Л.Д.Червинская, Б.К.Закович, В.Ф.Дряхлов, Ю.П.Иваск, И.В.Чиннов, Ю.Б.Софиев, Н.А.Оцуп; а прозу З.Н.Гиппиус, М.Агеев, В.С.Варшавский, Г.И.Газданов, Г.В.Иванов, Б.Ю.Поплавский, Ю.Фельзен, С.И.Шаршун, В.С.Яновский, А.П.Буров, Б.Б.Сосинский и др.

Десять выпущенных номеров «Чисел», на самом деле, были книгами. Эти выпуски были толстыми, сдвоенными, и были посвящены не только литературе. На их страницах был представлен очень богатый и разнообразный материал. Продолжая традиции знаменитых изданий «Серебряного века» – таких как «Аполлон» или «Золотое руно», этот парижский эмигрантский журнал отличался изящным дизайном, высоким качеством полиграфического исполнения, своей изысканностью, качеством верстки, печатью на бумаге альфа. Выпускалась небольшая часть пронумерованных экземпляров – на голландской бумаге – и даже на императорской японской! (Все это было бы сегодня немыслимо!..)

Как уже говорилось, выход первой книги «Чисел» стал «звездным часом» младшего поколения. И если формально главным редактором «Чисел» был Николай Оцуп, то подлинными, негласными хозяевами издания были Г. Адамович, Г. Иванов и З. Гиппиус – блистательный эмигрантский Петербург на блистательном Монпарнасе. Во многом журнал находился под влиянием антропософов (его соредактором был теософ И.В.Манциарли), но после выхода четвертого номера они отошли от журнала.

Тираж в 1000 экземпляров обеспечивал «Числам» довольно широкую аудиторию. Разумеется, не обходилось и без конфронтаций и даже сведения счетов. Стоит вспомнить «нападение» Г. Адамовича на М. Цветаеву, «войну» между Г. Ивановым и В. Ходасевичем и т. п. Но журнал на то и журнал, чтобы на его страницах было возможно высказывать разнообразные мнения и воззрения, превращая эти страницы, порой, в настоящие поля сражения! Журнал был не только дорогой, но и боевой, поэтому и смог «выжить» в тех непростых условиях.

Одной из главных задач «Чисел», конечно, был диалог с Западом – диалог культур, чтобы вытащить русских из эмигрантского «гетто», из состояния одиночества. Ведущая идея издания: мы – дети великой страны, великой культуры и должны на равных беседовать с французской и европейской культурами. В рамках этого диалога была также предпринята едва ли не единственная попытка создать франко-

русскую литературную студию[7]. У ее истоков стоял молодой поэт и журналист В.Б.Фохт и некоторые представители передовой французской литературы.

Большинство писателей-эмигрантов говорили и читали по-французски и безусловно в огромной степени испытали влияние французской литературы того времени, особенно Б.Поплавский, Г.Газданов, Ю.Фельзен, С.Шаршун, В.Варшавский, Н.Берберова, И.Одоевцева, Г.Песков. Даже у Бунина, Ремизова, Зайцева, Газданова, Шаршуна шла двуязычная игра. Двуязычие как характерный феномен диаспоры.

Это не что иное, как игра с языком чужой страны, позволяющая иностранцу, живущему в ней, открывать новые возможности родного языка, обогащая его чужой речью. И тем самым происходит не только смешение языков, но и самих реалий. В условиях иноязычной среды иностранное влияние, как считал литературный критик М.Слоним, чувствовалось у многих молодых эмигрантских писателей даже в построении фразы, которое он наблюдает у В.Сирина, Г.Газданова, С.Шаршуна и др[8]. А Ю.Фельзену принадлежит крылатая фраза: «Кто-то из французов когда-то сказал: теперь нельзя так писать, словно не было Толстого и Достоевского. В наше время эти слова надо повторить о Марселе Прусте»[9]. А некоторые – такие как В.Вейдле, Г.Адамович, М.Цветаева, Ю.Анненков, П.Сувчинский, Б.Шлецер, Г.Лозинский, А.Левинсон, Н.Городецкая, З.Шаховская – писали по-французски столь же естественно и просто, как по-русски и печатались в парижских газетах и престижных «толстых» журналах.

Согласно ведущей идее «Чисел», представители молодого поколения – писатели, поэты и художники должны были смотреть вперед и удивляться, восхищаться и учиться у западной современной литературы и живописи, ибо они этого были достойны. Это был призыв поучиться не только у французских художников, как делали Серж Шаршун, Серж Поляков, Никола де Сталь, Костя Терешкович... Они общались не только между собой, но и с западными художниками и писателями, главным образом, французскими. Впервые эмигрантский журнал предоставил свои страницы французским художникам и критикам – так завязался диалог. Мосты были переброшены.

Французские критики, публикуя статьи о современном западном искусстве, говорили, что создатели и сотрудники «Чисел» – «потерянные дети» русского искусства – ищут точки соприкосновения с западными коллегами.

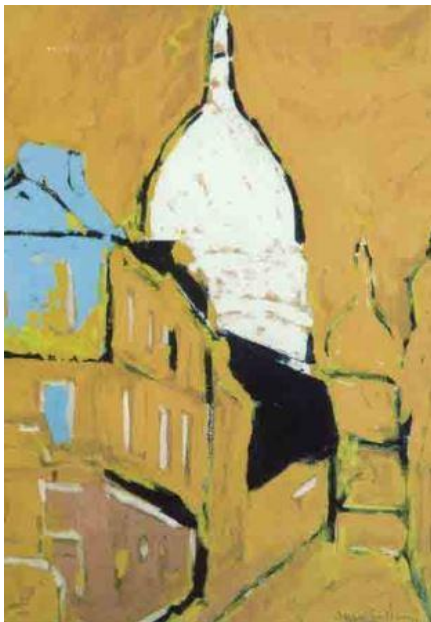


А. Серебряков. Монпарнас. 1920-е гг. © Р.Герра

Русские представители «Парижской школы», приехав на Запад уже состоявшимися художниками, прославились на чужбине отчасти благодаря «Числам». Это Сергей Шаршун, Марк Шагал, Николя де Сталь, которого многие на Западе почитают одним из первых художников XX века; Леопольд Сюрваж (Штюцваге) – обрусевший финн. Здесь же уместно вспомнить и Сержа Полякова, игравшего в цыганском кабаре на гитаре и одновременно писавшего свои светоносные картины; а еще – замечательного художника, графа Андрея Михайловича Ланского, Михаила Федоровича Андреевко, Константина Терешковича, Наталью Гончарову, Михаила Ларионова, Василия Кандинского, Хаима Сутина, Осипа Цадкина, Александра Архипенко, Ханну Орлову, Ивана Пуни и др. В западной живописи больше десяти художников первого ряда – русского происхождения. И все эти великие французы – были и оставались русскими, думали по-русски, часто встречались, веселились на Монпарнасе в кафе «Дом», «Ротонд», «Куполь», «Селект», «Клозери де лила», дружили.

Эти мастера были обязаны «Числам» не только тем, что там печатались превосходные репродукции их работ, публиковались статьи об их творчестве, но и тем, что с помощью журнала организовались их выставки. Назову несколько имен, чьи работы были опубликованы и о ком писали в «Числах»: Михаил Ларионов, Наталья

Гончарова, Марк Шагал, Хаим Сутин, Осип Цадкин, Сергей Шаршун, Андрей Ланской, Константин Терешкович, Лев Зак, Филипп Гозиассон, Абрам Минчин, Борис Поплавский, Роберт Пикельный, Морис Блум (Блонд), Александр Яковлев...



С.Поляков. Париж. Сакре Кер. 1941. © Р.Герра

В Париже оказались почти все художники «Мира искусства» первого (А.Бенуа, К.Сомов, Л.Бакст, К.Коровин, М.Добужинский, И.Билибин, Д.Стеллецкий, Н.Рерих, Н.Калмаков, С.Чехонин, Н.Гончарова) и второго поколения (Б.Григорьев, А.Яковлев, В.Шухаев, Ю.Анненков, Д.Бушен). Благодаря славе довоенных «Русских сезонов» и своим качествам – мастерству, опыту, тонкости вкуса, изобретательности, пониманию стиля эпохи и умению создать эскизы декораций и костюмов, они быстро и по заслугам заняли свое место в театрально-музыкальном Париже. При этом, кроме «мирискусников», для сцены работали: П.Челищев, А.Шервашидзе, С.Судейкин, Р.Эрте (Тыртов), Л.Зак, Е.Берман, Ф.Гозиассон, Б.Билинский, Н.Исаев, В.Жедринский, Г.Шильтян, А.Зиновьев, С.Лиссим, М.Андреев, Г.Пожедаев, Н.Миллиоти...

Кроме оформительского искусства, десятки русских художников-эмигрантов занимались книжной графикой – делали иллюстрации и обложки для книг, как русских, так и французских. Самые известные французские издательства сотрудничали с ними.

Для всех русских художников в изгнании Париж стал не только местом изгнания, но и подмостками для подлинно мировой славы. В Париж они стремились еще в юности и полюбили его как осуществившуюся мечту. Но не только Париж привлекал их. Одно из многочисленных свидетельств тому – организованная в 2006 году в городе Кемпер выставка «Русские художники в Бретани», на которой были показаны картины Ю.Анненкова, А.Бенуа, Б.Григорьева, К.Кузнецова, З.Серебряковой и др[10]. С таким же успехом можно было бы устроить выставку «Русские художники в Провансе». А в 2010 году очень актуальной оказалась московская выставка «Парижачьи» в галерее «Наши художники», посвященная теме Парижа глазами русских художников первой половины XX века с работами А.Бенуа, М.Добужинского, К.Сомова, К.Коровина, Ю.Анненкова, И.Пуни, Г.Лукомского, А.Ланского, С.Шаршуна, М.Андрееенко, Л.Зака, Ю.Черкесова, С.Иванова, А.Серебрякова... Эта выставка была для многих настоящим откровением.

Язык изобразительного искусства, как известно, в переводе не нуждается. Поэтому, в отличие от литераторов, по счастью, художникам-эмигрантам оказалось легче наладить творческие связи, правда, не без усилий с их стороны. Они сумели не только влиться в художественную жизнь Запада, но и положить начало новым направлениям живописи. Достаточно упомянуть В.Кандинского, О.Цадкина, Н. де Сталя, С.Делоне, И.Пуни, Л.Сюрважа. Этому, безусловно, способствовало то, что многие приезжали в Париж задолго до революции и Первой мировой, полноправно вписавшись в артистическое «панно» этого довоенного Парижа.

Художественный Париж невозможно представить без русских художников и писателей-эмигрантов, которые именно здесь добились блистательных побед и достижений. Не было бы эмиграции, не было бы ни Бунина, ни Цветаевой, ни Шмелева, ни Зайцева, ни Ремизова, ни Г.Иванова, ни Ходасевича, ни Адамовича, ни Набокова, ни Газданова, ни Поплавского, ни Бердяева, ни Булгакова, ни Карсавина, ни Лосского, ни Кандинского, ни Шагала, ни Ланского, ни де Сталя, ни Шаршуна, ни Полякова... Список можно продолжать бесконечно.

Триумфальное возвращение в Россию творческого наследия великих изгнанников, начиная с конца 80-х годов XX века, будучи вполне закономерным, тем не менее, поражает своим масштабом. Печатают книги, выставляют картины, пишут статьи, рефераты, монографии, защищают диссертации, устраивают международные конференции – после десятилетий замалчивания и забвения. Кто бы мог подумать в эпоху тоталитаризма о столь блестящей победе!

Поэт и критик Юрий Иваск как-то написал: «Эмиграция всегда несчастье. Ведь изгнанники обречены на тоску по родине и обычно на нищету. Но эмиграция не всегда неудача – творчество, творческие успехи возможны и на чужбине»[11]. Эта трагическая страница русской истории XX века оказалась, волей судеб, великой удачей ее жертв, и в конечном итоге – всей русской культуры. И тому лучшее доказательство – всемирный успех представителей русской элиты в Рассеянии, ставшей сегодня национальной гордостью не только Франции, но и России. Своим творчеством, своей жизнью они доказали: в свое время ими был сделан трудный, но правильный выбор.

Литература:

[1] Дмитрий Лихачев. «Зарубежная русская культура XX века в собрании профессора Ренэ Герра». «Они унесли с собой Россию...» Русские художники-эмигранты во Франции 1920-е – 1970-е. Каталог выставки в ГТГ, (с.6-7), изд. Авангард, Москва, 1995.

[2] Б.К.Зайцев. «О себе», «Возрождение» №70, с.24-29, Париж, октябрь 1957.

[3] «Последние новости» №1, Париж, 27 апреля 1920.

[4] И.А.Бунин. «Темные аллеи», изд. О.Зелюк, Париж, 1946.

[5] Борис Зайцев. «Дом в Пасси», с.33, 213, изд.Парабола, Берлин, 1935.

[6] Борис Зайцев. «Дни», с.19, изд. Умса-Press-Русский путь, Москва-Париж, 1995.

[7] Владимир Вейдле. «Франко-русские встречи». Русский Альманах, с.397-400, Париж, 1981.

[8] Марк Слоним. «Заметки об эмигрантской литературе». Воля России, кн. XII, Прага, 1931.

[9] Юрий Фельзен. «Разрозненные мысли». Альманах «Круг», кн. II, с.129, Берлин-Париж, 1937.

[10] «Peintres Russes en Bretagne», éd. Palantines, Musée départemental breton – Quimper, 2006.

[11] Ю.П.Иваск. «На Западе». Антология русской зарубежной поэзии. с.5, изд-во имени Чехова, Нью-Йорк, 1953.

Ирина и Жиль Марк Фужерон

Париж, Франция



Неизвестные деятели русской культуры: Сергей Карцевский

С.И. Карцевский – известный лингвист первой половины XX века, один из создателей Пражского лингвистического кружка, родился 28 августа (9 сентября) 1884 года в Тобольске. В 1903 году он получил диплом учителя и два года работал в школе в селе Нахрачи (теперь поселок Кондинское).

Карцевский становится членом партии эсэров, и в 1906 году он арестован за революционную деятельность. Через год ему удается бежать из тюрьмы, и он уезжает за границу, в Женеву, где поступает в Женевский университет и посещает лекции по языкознанию известных профессоров того времени. Работая в области лингвистики, Карцевский пробует себя и на литературном поприще: публикует рассказ «Ямкарка», получивший высокую оценку А.М. Горького, и рассказ «Колька», который был премирован на конкурсе, организованном газетой «Биржевые новости» и журналом «Новое слово».

После защиты докторской диссертации с 1927 года Карцевский обосновывается в Женеве, где преподает в университете. Карцевский умер в 1955 г.



В 1957 году его жена и сын передали в АН СССР часть архива ученого. Это были рукописи на французском языке. Как стало ясно после систематизации материала эта часть представляла собой научную Грамматику русского языка для франкоязычных. Эти материалы пролежали в Институте русского языка почти нетронутыми до 1998 г.: имя эмигранта Карцевского было фактически вычекнуто из советской науки.

Учитывая, что опубликованные работы ученого никогда (!) не переиздавались и что последнее издание работ Карцевского относилось к 1956 году, когда вышел сборник *Cahiers de Ferdinand de Saussure* №14, посвященный памяти Карцевского, Институтом русского языка РАН в Москве и Парижским лингвистическим обществом во Франции было решено переиздать лингвистические работы Карцевского и, на основе архивных материалов, издать до сих пор не изданное.

С 2000 по 2004 год вышло четыре сборника работ Карцевского. Два вышли в Москве, в издательстве «Языки русской культуры»: С.И. Карцевский Из лингвистического наследия — работы, написанные по-русски, и «Из лингвистического наследия» — перевод работ, написанных по-французски. В Париже вышел сборник статей (с

широким привлечением архивных материалов) Inédits et introuvables (Неизданное и труднодоступное), и Парижским Институтом Славяноведения была переиздана книга «Система русского глагола» (с использованием архивных материалов).

В 2012 году после смерти сына Карцевского семья передала хранившиеся у него документы в Архив Женевского университета. Здесь, среди прочих ценнейших материалов хранятся рукописи и первых литературных опытов ученого.

При поддержке компании ПЛАНЕТА издательство RIDERO выпустило в июле 2018 г. книгу рассказов С.И. Карцевского «Из прошлого, из далекого», в которую вошли материалы архива.

Эти неизданные литературные опыты Карцевского, скорее всего, относятся к периоду его первой эмиграции (1906 – 1917 гг.) Они так или иначе связаны с его жизнью, с его биографией. Эти немногочисленные, короткие зарисовки показывают автора как человека широких интересов, реагирующего на окружающие события.

Об этом свидетельствует и экономико-этнографическое исследование «Среди вогул», написанное, вероятно, в 1903-1904 годах, когда он работал в Нахречах учителем. Приехав в край вогул, Карцевский в первую очередь заинтересовался их бытом, их социальным положением. За сдержанным, почти бесстрастным повествованием скрывается взволнованный рассказ об эксплуатации русскими кулаками местного вогульского и остяцкого населения.

«Село Туман» рассказывает о первых днях его пребывания в Нахречах, о встречах с «хозяевами», о тяжелой атмосфере в их доме, о детях, учившихся в этой школе, о людях, с которыми жизнь столкнула здесь автора. Повесть написана удивительно просто, лаконично. Интересно прочитать следом незаконченную повесть «Больная ночь», где воспоминания о событиях, описанных в «Селе Туман», частично вложены в уста третьего лица. Эта работа не датирована, но некоторые детали позволяют предположить, что во время своего короткого пребывания в России в 1917-1919 гг. Карцевский побывал в родных краях. Этот факт, может быть, открывает новую страницу в его биографии.

В рассказе «Эпизод» находит отражение, вероятно, один из фрагментов революционной деятельности автора.

Два очерка «Из Финляндии» и «Оттуда» свидетельствуют о журналистской деятельности Карцевского. С горечью рассказывает он о том, как советские самолеты бомбят финские города.

Как мы уже упоминали, из всех литературных опытов только два были опубликованы: рассказ «Ямкарка» (1910 г.) и «Колька» (1911 г.)

Одной из сторон деятельности Карцевского было издательское дело.

Он организовал издание журнала «Русская школа за рубежом», где публиковал на русском языке статьи как методологического, так и лингвистического плана. Одна публикация 1924 года выходит за рамки методико-лингвистического плана. Это свидетельство того интереса, который Карцевский проявлял к детской психологии. Речь идет о «Воспоминаниях детей-беженцев из России». После публикации в 10-11 номерах журнала, этот материал никогда больше не печатался. Мы посчитали интересным воспроизвести его в том виде, как он был составлен и обработан Карцевским.

ИЗ КНИГИ С. КАРЦЕВСКОГО
«Воспоминания детей беженцев из России»



В декабре 1923 г. по инициативе бывшего директора Русской гимназии в Моравской Тржебове (Чехословакия) А. П. Петрова среди учащихся была произведена своеобразная анкета: было предложено в течение двух часов написать «Мои воспоминания с 1917 года».

Результаты получились настолько интересные, что Педагогическое Бюро обратилось ко всем русским школам за границей с предложением произвести на местах подобные же анкеты. В настоящее время материалы уже поступают в Бюро, и вскоре будут обработаны для печати проф. Б. Б. Зеньковским.

Помещаемые здесь страницы представляют собою извлечения из материалов, собранных среди учащихся Русской гимназии в Праге. 18 марта с. г. учащимся было предложено двухчасовое классное сочинение на тему «Мои воспоминания с 1917 г.». Учащимся не давалось никаких разъяснений, чтобы каким-нибудь образом не повлиять на направление их мыслей. Всего поступило к нам 134 «сочинения». Воспоминания, избранные нами для опубликования, представлялись нам наиболее характерными.

Двухчасовой срок оказался недостаточным. Почти никто не успел закончить своих воспоминаний, и авторы ограничились одним-двумя эпизодами из своей жизни. В тех редчайших случаях, когда воспоминания были доведены до конца, их последние строки обыкновенно дышат чувством удовлетворения, что, наконец, все испытания и странствования кончились и что благодаря гостеприимной Чехословакии, возможно принятая за учение и жить сколько-нибудь нормальной жизнью.

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ

Точнее — те, кому в 1917—1918 гг. было 3—4—5 лет.

1. — Я помню, когда-то была война с немцами, а потом революция между собой.

6. — Я помню, как к нам в город пришли большевики. Большевики стали бить евреев и разграблять их имущество. Мне было очень жаль евреев.

11. — Мне приходилось спекулировать (спекуляцией называется товарообмен), так как был большой голод и заработанных денег отца не хватало, чтобы прокормить всю семью.

II. СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ

В 1917—1918 гг. авторам воспоминаний было 7—8 лет.

27. — 16 ноября 1917 г. вечером к нам прибежала одна знакомая и сказала, что большевики уже были у неё, и, наверное, скоро будут у нас. Мама уговорила папу уйти ночевать к одним знакомым. Ночью, в

2 часа, пришли чрезвычайщики с обыском. Ничего особенного они у нас не нашли, к утру ушли, оставив засаду, чтобы, если папа придёт, арестовать его. Никого из нас они не выпускали из квартиры, когда, маме нужно было идти за покупками, ее провожали солдата. Брату всё-таки удалось уйти через чёрный ход, чтобы предупредить папу, что у нас сидит засада... Осенью папа уехал за границу ... В 1920 г. мы поехали за границу.

31. — В 1917 г. наша семья жила, в Р*. Нас, детей, воспитывала тогда мама с двумя бабушками. Папы с нами не было... Наш город... переходил из руки в руки... При грохоте пушек, непрерывной стрельбе... весь наш дом трясся всем своим телом. По улицам то и дело можно было видеть огромные тяжеловесные грузовики, нагруженные солдатами в полном вооружении, с ружьями, пулемётами, различными бомбами. Кучки таких вооружённых солдат врывались в квартиры мирных жителей, грабя и отнимая все, что им попадалось на глаза. Эти люди не были похожи на обыкновенных людей. Они были до того разъярены, свирепы и жестоки, что никакое хищное животное не в состоянии сравниться с ними... Один раз, одна из таких диких шаек ворвалась к нам в квартиру...

32. Мы отступали с Деникинской армией. И вот тут я впервые увидела грубых жестоких людей, которые заботились только о себе и готовы были убить вас, если только им это было нужно.

III. СТАРШИЙ ВОЗРАСТ

Это те, которым теперь от 16—17 до 20 лет, а в некоторых отдельных случаях и выше.

37. — В настоящее время я делю свою жизнь на два периода. Первый период – это до 1917 г., золотая невозвратная пора детства. До 1917 г. я жил дома, в семье, под крылышком у матери. Я жил беззаботно, ни о чём не думал, ни о чём не заботясь и не сталкиваясь с жизнью и людьми. В 1917 г. произошёл великий акт в стране, который сильно отразился на строе всей моей жизни. 1917 год произвёл ужаснейший переворот и полную разруху нашего гнёздышка, о котором я вспоминаю с болью в сердце.

40. — Я помню первый день революции . С утра в городе было заметно волнение. Люди стремились к площадям, где предполагались митинги. Я тогда смутно понимала значение этого дня, но вокруг чувствовалось что-то новое, радостное и невольно сам заражался этой радостью и ожиданием чего-то большого, светлого в будущем. В доме

у нас беспрерывно велись споры. Одни с иронией говорили, что все эта детская игрушка и долго не продержится, другие горячо защищали великое дело и верили, что простой игрушкой оно не было и не будет. Потом начались погромы... Затем как-то незаметно подошли большевики, и тут уж пошли всякие Продкомы, Совнаркомы и т. д.

Едва ли эти человеческие документы нуждаются в каких-либо комментариях. Они достаточно громко и вразумительно говорят сами за себя. Тут есть над чем подумать и психологу, и педагогу. Учителю-словесник найдёт в этих воспоминаниях не мало интересного для наблюдения над детским языком, а также над отражением литературных влияний; наконец, он не сможет не обратить внимания на прекрасную передачу своих воспоминаний большинством молодых авторов и невольно сравнит их с обычными казёнными «сочинениями»...

Но что ждёт эту молодёжь в будущем?

Лев Бердников

Лос-Анджелес, США



Несостоявшаяся Лилипутия

Известный современный художник и скульптор Михаил Шемякин изваял сразу два памятника Петру I – один в Гринвиче, что на туманном Альбионе, другой в пригороде Петербурга Стрельне. И на

каждом из монументов фигуру великого реформатора неизменно сопровождает карлик.

Сколь ни курьезно выглядит это соседство двухметрового царя с коротышкой, оно обладает известной исторической точностью. Ведь Петр сызмальства проявлял к маленьким человечкам живой и постоянный интерес. Державному отроку не было еще и 10 лет, когда его старший брат, Федор Алексеевич, подарил ему двух низкорослых шутов. Одного звали Комар, другого – Сверчок, причем первый благополучно пережил Петра и развлекал монарха вплоть до самой его смерти. А с другим своим любимым «карлом», Якимом Волковым, царь вообще не расставался – возил его и по заграницам, и по военным бивуакам.

В этом своем пристрастии Петр не был одинок. История придворных карликов ведет свой отсчет с глубокой древности – их держали для потехи египетские фараоны, древнегреческие цари и императоры Рима. Затем мода на них перекинулась в Византию, и, наконец, в Западную Европу, где без таких забавников (часто выполнявших роль шутов) не обходился ни один уважающий себя королевский двор.

Петр, как известно, называл себя учеником Запада и обустроивал Россию по европейскому образцу. Однако его внимание к карликам отнюдь не было вызвано рабским подражанием дворам «политичной Европы», а коренилось в психологическом складе самого царя, проявлявшего особое любопытство к явлениям аномальным, ко всякого рода уродам и монстрам (свидетельство тому – его знаменитая Кунсткамера). Историки говорят в связи с этим о свойственном Петру стремлении к «барочной сенсационности» с ее отклонением от привычного устоявшегося шаблона, ориентацией на неожиданное и удивительное. Именно феноменальный, патологический характер лилипутства оказался притягательным для царя. К слову, Петра занимала и аномалия обратного свойства, а именно люди непомерно высокого роста. Известно, что царь «преподнес» прусскому королю Фридриху-Вильгельму 80 солдат-великанов, которых собрал по городам и весям России.

В силу своей диковинной природы карлики как будто спровоцировали Петра смоделировать для них миниатюрный, но схожий с обыденным мир. Любитель увеселений и всякого рода кощунств, царь задействует в них и «карлов», тщательно продумывая мельчайшие детали их наряда, поведения, а также сценарии зрелищ с их участием. То была карикатурная имитация всамделишных обрядов и церемоний русской придворной жизни. Она носила ярко

выраженный пародийный характер, ибо эстетически снижала эти вполне реальные действия.

Карлики часто сопровождали его. В 1693 году, отправляясь в порт Архангельск, он взял с собой двух лилипутов. А в потешных Кожуховских маневрах 1694 года принимала участие целая рота карликов – 25 человек. Примечательно, что на свадьбе племянницы Петра Анны Иоанновны и герцога Курляндского в залу гостям внесли два огромных пирога. Когда их разрезали, то из каждого выскочила обнаженная карлица, станцевала на столе минуэт и произнесла приветственную речь в стихах.

Более того, он возжелал развести в России целую колонию лилипутов. Если учесть, что карлики, как утверждают современные врачи, к деторождению не способны, такой замысел монарха был ничем иным, как утопией. Но Петр таких медицинских тонкостей не знал, а потому не думал сдаваться!

19 августа 1710 года последовал монарший указ: «Карл мужского и женского пола..., собрав всех, выслать из Москвы в Петербург сего августа 25-го дня, а в тот отпуск, в тех домах, в которых те карлы живут, сделать к тому дню для них, карл, платье: на мужской пол кафтаны и камзолы нарядные, цветные, с позументами золотыми и с пуговицами медными золочеными, и шпаги, и портупей, и шляпы; и чулки и башмаки немецкие; на женский пол верхнее и исподнее немецкое платье, и фантажи, и всякий приличный добрый убор..» В результате в Петербург съехалось свыше 80 маленьких щеголей и щеголих. Все они должны были гулять на устроенной Петром пышной свадьбе Якима Волкова, сочетавшегося браком с любимой карлицей царицы Прасковьи Федоровны.

Согласия молодых никто не спрашивал – они шли под венец не по сердечной склонности, а по приказу авторитарного Петра. Причем до самого наступления торжеств с «малютками» особо не церемонились: «Их заперли, как скотов, в большую залу на кружале, так они пробыли несколько дней, страдая от холода и голода, так как для них ничего не приготовили, питались они только подаванием, которое посылали им из жалости частные лица». Вспомнили о них только за день до свадьбы. Тогда отрядили двух карлов-шаферов, которые зывали гостей на торжество, колеся по Петербургу в карете, запряженной маленькой лошадей, убранной яркими разноцветными лентами.

Присутствовавший на церемонии датский посланник Юст Юль разделил всех карликов на три разряда: «Одни напоминали двухлетних детей, были красивы и имели соразмерные члены, к их числу

принадлежал жених. Других можно было сравнить с четырехлетними детьми. Если не принимать в расчет их голову, по большей части огромную и безобразную, то и они сложены хорошо, к числу их принадлежала невеста. Наконец, третьи похожи лицом на дряхлых стариков и старух, и если смотреть на одно их туловище, от головы и примерно до пояса, то можно с первого взгляда принять их за обыкновенных стариков, нормального роста, но когда взглянешь на их руки и ноги, то видишь, что они так коротки, кривы и косы, что иные карлики едва могут ходить». Свадебное шествие открывали карлики с презентабельной внешностью, а замыкали те, которые были старше, уродливее и рослее.

Впереди рядом с царем шел виновник торжества – разодетый в пух и прах жених. За ними выступал маленький свадебный маршал с жезлом в руке. Далее следовали попарно восемь карликов-шаферов, потом – невеста, и, наконец, чета за четой, еще 35 пар. Большинство коротышек были из сословия крестьянского и имели мужицкие ухватки, потому их потуги на европейский политес выглядели весьма комично – шли они неуклюже и нестройно. Сию забавную процессию торжественно встретил поставленный в ружье полк с распущенными знаменами, исполнивший ради такого случая военный марш.

Затем молодых повели в церковь, где их и обвенчали по всем православным канонам. Обряд этот, однако, превратился в самый настоящий балаган – сам священник из-за душившего его смеха насилу мог выговаривать слова. На вопрос жениху, хочет ли он жениться на своей невесте, тот громко произнес: «На ней и ни на какой другой». Невеста же на вопрос, хочет ли она выйти замуж за своего жениха и не обещалась ли уже другому, ответила: «Вот была бы штука!». Но ответ этот утонул во всеобщем гомерическом хохоте..

После церемонии все отправились в дом А.Д.Меншикова, на Васильевский остров, где гостей ждал званый обед. «Карлы сидели в середине; над местами жениха и невесты были сделаны шелковые балдахины, убранные по тогдашнему обычаю венками...Кругом, по стенам залы, сидела царская фамилия и прочие гости». Петр усердно спаивал и новобрачных, и их маленьких гостей. А когда объявили танцы, вот уж началась настоящая потеха! Захмелевшие карлики то и дело падали, а, упав, были не в силах подняться и долго ползали по полу. Распоясавшись, они хватали друг друга за волосы, бранились, а если карлицы танцевали не по их вкусу, давали им увесистые пощечины. Свадьба кончилась тем, что Петр отвез новобрачных во дворец и присутствовал при их брачных играх. Им выделили в

Петербурге дом, что находился на углу Б.Левшинского и Штатного (ныне Кропоткинского) переулков.

Увы! Забеременевшая карлица не смогла разрешиться от бремени и умерла вместе с ребенком. А вдовец Яким Волков после смерти жены начал, как говорили тогда, знаться с Ивашкой Хмельницким (пить горькую) и Еремкой (то есть распутничать). Есть свидетельства, что Петр тешил себя тем, что заставлял своих крошек прилюдно заниматься групповым сексом. Не Яким ли был здесь заводилой? Поняв, что план разведения карликов в России не удастся, Петр даже запретил им на время вступать в брак.

Когда в январе 1724 года Волков умер, ему устроили беспрецедентные похороны на кладбище Ямской слободы. Как ни дико это звучит, но то были пародийные, «шутовские похороны» (простите за оксюморон!), возможные только при Петре. «Едва ли где-нибудь в другом государстве, кроме России, можно увидеть такую странную процессию!» – в сердцах воскликнул наблюдавший ее заезжий иноземец. В самом деле, зрелище было презабавное. Шли впереди 30 мальчиков-певчих; вышагивал за ними в полном облачении поп-карлик; ехали сани, запряженные шестью крошечными пони в черных пополах. На санях стоял гроб усопшего, обитый малиновым бархатом с серебряными позументами. На спинке саней сидел пятидесятилетний карлик, брат покойного. Позади гроба следовал лилипут с большим маршальским жезлом, обтянутым флером. Все были в длинных черных мантиях. Потом выступали карлицы, самую крошечную из которых в глубоком трауре вели под руку двое наиболее рослых карл. А по обеим сторонам процессии выступали рослые гвардейцы и верзилы-гайдуки с зажженными факелами. По окончании погребения состоялся поминальный обед.

Подобная же церемония сопровождала кончину другого крошки его величества, Фрола Сидорова, ушедшего в мир иной в феврале того же 1724 года. В ней также приняли участие все наличествовавшие тогда в Петербурге «малютки». И опять все сопровождали гроб в черных одеяниях и были выстроены по росту – поменьше впереди, чуть побольше сзади. И снова гроб везли пони, и снова витийствовал крошечный поп, а по бокам процессии стояли и жгли факелы высоченные солдаты.

Завершая разговор, остановимся на одной параллели, которую историк Д.И. Белозерова провела в статье «Карлики в России XVII – начала XVIII века». Она обратила внимание на то, что Джонатан Свифт опубликовал свою прославленную книгу «Путешествие Гулливера в

страну лилипутов» в 1726 году, то есть всего через год после смерти Петра. Она высказала дерзкое предположение о том, что карлики Петра I были прототипом свифтовских лилипутов. Это весьма сомнительно, ибо данных о каком-либо влиянии опыта Петра на английского сатирика нет. Тем не менее, своим почином создать в Россию колонию карликов – своего рода Лилипутию в миниатюре, Петр, так же как и Свифт, намеревался едко пародировать вкусы, черты и обычаи современного ему общества. И то, что не удалось великому реформатору, обрело свою жизнь в бессмертном творении классика.

Есть искус распространить метафору английского сатирика шире – на всю эпоху петровских преобразований. Напомним, что русский царь часто сравнивал своих подданных с малыми детьми, не знающими своей пользы, а потому обязанными подчиняться воле мудрого монарха. Россияне и были для реформатора своего рода лилипутами, коими повелевал и над которыми высился он, венценосный Гулливер – Петр по имени Великий.

Ольга Соловьева

С.-Петербург, Россия



О начале «модной» питерской зимы. Из заметок на коленке

Первый день зимы пришелся на субботу. День был безветренный, слегка морозный. Идеальная погода для этого времени года в Санкт-

Петербурге. Ознаменовалось начало зимы открытием Neva Fashion Week. Об этом примечательном модным событии я узнала одним ноябрьским, опять же – субботним – вечером. Следуя мудрому совету чеховского героя («В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли»), я, по возможности, не пренебрегаю всякими модными мероприятиями и заглядываю в разнообразные «модные» места.



Коллекция Аси Акиншиной. Модель Ирина Васильева

Вышеупомянутым вечером на Петроградской стороне в шоу руме Korsakov проходил мастер-класс красивой (подиумной) походки. В этот шоу рум, он же – ателье, я люблю периодически заглядывать. Собственно, Korsakov – это семейное дело. Младший Корсаков – Александр – отвечает за шоу рум, с ним приятно поболтать, он открытый и легкий в общении человек. Приобрести там можно вещи и иных питерских дизайнеров, носибельные и по вполне-таки лояльной цене, поскольку авторы их не «раскручены». Лишним поводом посетить мастер-класс лично для меня было и имя педагога, проводившего занятие. Это героиня моей статьи о Неоновом Демоне Ирина Васильева. Уж очень было любопытно увидеть девушку в иной

ипостаси. Собственно, в разговоре с Сашей и Ирой о такой животрепещущей теме, как погода и предстоящая зима, я и узнала, что первый день зимы придется на открытие Neva Fashion Week, которая будет проводиться на Гороховой улице во «Дворце Сюзора».

Первого декабря я открыла дворцовые двери на Гороховой. Дворец этот таковым является не только по названию. Роскошные интерьеры имперской столицы, широкая лестница, белый мрамор, позолота, хрусталь огромных люстр. Вполне-таки подходящее место для демонстрации модных нарядов. Огромные зеркала в затейливых завитушках просто требуют, чтоб в них отражались дамы с обнаженными плечами в шикарных длинных вечерних платьях, само собой, с поправкой на современность.



Была я на показах Аси Акиншиной, George Black и, как вы уже догадались, Korsakov. Мода — дело тонкое, как ажурные колготки. А высокая мода — тем более. Поклонники высокой моды разделились на два лагеря. Одни придерживаются мнения, что она должна быть ближе к людям, что в одежде с подиума можно шагнуть в толпу, особенно в условиях экономического кризиса. Вещи должны продаваться. Люди должны их носить, а не только на них смотреть.

Другие же считают, что подиумная мода – это некий гибрид шоу и искусства. И гибрид этот может позволить себе любое безумие, может быть странным, пугающим, диким или очень смешным, наплевав на объемы продаж и экономические последствия политики ныне действующего главы государства.

Дизайнеры, продемонстрировавшие свои коллекции на «Неве», в основном, разделяли первую точку зрения, сделав реверанс в сторону второй использованием экстравагантных аксессуаров, принтов на сумках в виде компьютерного кода одного из диалектов языка программирования С и тому подобного. Но в целом в их творениях можно, если не шагнуть на улицу, то явиться на праздничный новогодний вечер, что не за горами, запросто.

Ася Акиншина использовала в качестве объединяющего мотива своей коллекции красный цвет, цвет, который просто не может не привлечь внимание. Если же платье или пальто были иного цвета, то наряд дополнялся красными туфлями или поясом. Что ж, хороший ход, хоть и не отличающийся оригинальностью.

Коллекция дизайнера George Black была выполнена в серебристых, красных и черных тонах. Шикарная и вполне современная коллекция, эффектно поданная. В этот раз кутюрье уделил большое внимание детской моде. Правильный ход, с ориентацией на будущее.

Взращивает George будущих приверженцев своей марки, а также потенциальных клиентов. Совсем юные модели демонстрировали платья для маленьких леди, их сопровождали кавалеры, одетые в костюмы в стиле Майкла Джексона. Их сменяли на подиуме взрослые модели в нарядах, достойных отражаться в дворцовых зеркалах. Особенно мне понравилось платье, которое демонстрировала Ирина Васильева. Серебристого цвета, плавно переходящего в черный.

С эффектным легким черным верхом, настолько прозрачным, что создается впечатление, что платье, поблескивающее серебром, как россыпи звезд, слегка прикрывает легкая дымка.

После показа мне удалось пофотографироваться с дизайнером. Оказалось, это молодой человек, приятной наружности, скромный, интеллигентный. Недаром говорят: чем больше талант, тем меньше «корона».

Korsakov решил свою коллекцию в ином стиле. В этот раз, в отличие от большинства дизайнеров, он не стремился к экстравагантности, не пытался привлечь к себе внимание необычными аксессуарами. Я бы охарактеризовала стиль представленных дизайнером нарядов как стиль, которому придерживается ныне царствующий английский

королевский дом. Элегантность, безупречность вкуса и кроя, роскошь кажущейся простоты, отсутствие вычурности. Кстати, демонстрация коллекции проходила под музыку группы Queen.

Вот так началась «модная» зима в русской Северной столице.

Сергей Бычков

Подмосковье, Россия



Объединительный, но не примиривший. Киев – Париж

В Объединительном соборе, который завершил свою работу 15 декабря в Киеве, принимало участие 170 делегатов. Из них – 42 архиерея Киевского патриархата (УПЦ КП), 12 архиереев Украинской автокефальной церкви (УАПЦ) и два архиерея УПЦ МП. Каждого архиерея сопровождал один священнослужитель, а также один мирянин или монах. Такую квоту определил Вселенский патриарх Варфоломей в конце ноября. Каждый делегат имел равное право голоса. Голосование за предстоятеля происходило тайно и в два тура. Председательствующий митрополит Эммануил не объявлял перерыва до тех пор, пока голосование и подсчет голосов не завершатся.

Видимо, подчеркивая преемственность с Византией, в президиуме наравне с епископами восседал президент Украины Петр Порошенко.

Непризнанный патриарх Филарет (Денисенко) явился на собор не в патриаршем куколе, а в митрополичьей шапочке. Он также восседал в президиуме. Там же находились экзархи Вселенского патриарха — митрополит Галльский Эммануил, а также епископы Даниил и Иларион. В президиум были приглашены украинские митрополиты Епифаний (УПЦ КП) и Винницкий Симеон (УПЦ МП), а также Луцкий Михаил (УПЦ КП). Под видом мирян на Собор были кооптированы сотрудники СБУ, которые проявляли по свидетельству соборян неумеренную активность. В то же время на Собор не был пропущен известный богослов архимандрит Кирилл (Говорун). Его чья-то злонамеренная рука вычеркнула из списка приглашенных.

Несмотря на демократическую атмосферу Собора, не всё вокруг него и на нем самом проходило гладко. В Киев планировали прибыть больше епископов Московского патриархата. Пока непонятно, что помешало им принять участие в работе Собора. Загадочна история с митрополитом Могилев-Подольским Агапитом, который отправился в Киев в сопровождении охранника. Вечером 14 декабря Агапита увез главный спонсор УПЦ МП, украинский олигарх российского происхождения Вадим Новинский. По слухам, митрополит Агапит был привезен в Киево-Печерскую лавру. Непонятна история с известным автокефалистскими взглядами митрополитом Полесским и Сарненским Анатолием. В предсоборную ночь в Сети распространилось его обращение в поддержку объединительного собора, однако пресс-служба епархии его опровергла. Не прибыл на собор и «радикальный националист» митрополит Черкасский Софроний, которому в последний момент будто бы не понравился Устав новой Церкви, дарованный Константинополем.

На кафедру предстоятеля новообразованной Церкви претендовали три кандидата — митрополиты Винницкий и Барский Симеон, Луцкий Михаил и Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский Епифаний. Заседания Собора забуксовали уже в первые часы, когда митрополит Галльский Эммануил потребовал от патриарха Филарета, чтобы он подписал акт о самороспуске УПЦ КП. Непризнанный патриарх и на этот раз проявил крайнюю несговорчивость. Как и в 1992 году, когда Архиерейский Собор РПЦ принудил его сложить полномочия предстоятеля Украинской Церкви, Филарет начал долгий торг. Он длился четыре часа! В результате патриарх Филарет настоял на том, чтобы кандидатура митрополита Михаила была снята. Владыка Михаил известен как самый последовательный критик Филарета. И

лишь после того, как владыка Михаил снял свою кандидатуру, Филарет подписал акт о самороспуске УПЦ КП.

В первом туре можно было голосовать за любого архиерея, а три владыки, набравшие наибольшее число голосов, вышли во второй тур. Таковыми стали митрополиты УПЦ КП Епифаний и Михаил и митрополит УПЦ МП Симеон. С небольшим отрывом победил митрополит Епифаний, ставленник Филарета. Он молод — ему 39 лет. 10 лет назад Филарет сделал вернувшегося со стажировки в Греции Епифания своим секретарем. Карьера Епифания была стремительной: в 2009-м он уже викарный епископ, в 2012-м — архиепископ, в 2013-м — митрополит, управляющий крупнейшей епархией УПЦ КП (Киевская область). Детство и школьные годы митрополита Епифания (Сергея Думенко) прошли в селе Старая Жадова Сторожинецкого района Черновицкой области. Это родина его духовного наставника и близкого родственника, ныне покойного митрополита Даниила (Чокалюка), который немало способствовал продвижению своего родственника.

Кафедральным собором новый предстоятель избрал Михайловский Златоверхий собор, а в Князь-Владимирском соборе будет и впредь совершать богослужения патриарх Филарет, который отныне является лишь почетным духовным наставником УПЦ. На Украине Филарет по-прежнему будет титуловаться патриархом, а Константинополь и остальное мировое православие будут считать его митрополитом. Митрополит Епифаний сказал, что до получения томоса, который узаконит Автокефальную Украинскую православную церковь, никаких весомых решений приниматься не будет. Этот документ позволит формировать соответствующие органы, которые будут руководить и развивать церковь.

Резкого перехода монастырей и приходов Московского патриархата в «каноническую» Автокефалию на первых порах не ожидается, но со временем этот процесс приобретет устойчивость. Важно, чтобы улеглись страсти, кипевшие накануне Собора. Напомним, что президентские выборы назначены на март 2019 года. Выиграл ли президент Порошенко и стоит ли ему ожидать поддержки со стороны митрополита Епифания? Сомнительно! Известны симпатии молодого митрополита к Юлии Тимошенко, которая собирается идти на выборы президента.

ПАРИЖ

В этот же день в Париже прошло пастырское совещание Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе на Свято-Сергиевском подворье под председательством архиепископа Хариопольского Иоанна. На совещании присутствовало около ста клириков Архиепископии. Половина из них выступила со своими соображениями относительно канонического будущего этой структуры. Его неопределенность связана с решением Синода Константинопольского патриархата, в состав которого входит Архиепископия, об упразднении ее особого статуса. Синод решил, чтобы приходы Архиепископии распределились по местным епархиям Константинопольского патриархата. За свою почти вековую историю Архиепископия побывала в составе Константинопольского патриархата и в самостоятельном статусе. Она по праву считается продолжательницей традиций русского религиозного возрождения начала XX века и строит свою жизнь на основе демократических правил, принятых Поместным Собором 1917-18 годов. В настоящее время Архиепископия объединяет 65 приходов в нескольких западноевропейских странах.

На встрече прозвучали различные предложения относительно будущего Архиепископии: исполнение решения Константинопольского патриархата, присоединение к РПЦ МП, к РПЦЗ МП, либо к Румынскому патриархату. Участники собрания поддержали предложение архиепископа Иоанна провести в феврале 2019 года Епархиальное собрание (Генеральную ассамблею) Архиепископии для принятия окончательного решения. Было также принято решение обратиться с письмом на имя Вселенского патриарха Варфоломея, в котором будет содержаться просьба о пересмотре скоропалительного решения Синода.

Консультации с архиепископом Иоанном относительно будущего Архиепископии проводит прибывший в Париж спецпредставитель патриарха Кирилла архиепископ РПЦ МП Антоний (Севрюк).

Роман Солодов

Нью-Джерси, США



Лавочник в мировой политике

Ничего против лавочников не имею. Нормальные люди, принадлежащие к классу мелкой буржуазии. Занимаются своим делом, приносят пользу обществу. Отличительная особенность при ведении дел это прежде всего мысли о прибылях. Лавочник хочет, чтобы приток денег в его бизнес был постоянным. Это тоже нормально – деньги нужны для ведения бизнеса и благосостояния семьи. Исключаю моральные и семейные ценности из моего анализа – у всех нормальных людей они одни и те же. Отмечу только, что, как и у любого представителя своего класса, у лавочника существует набор ценностей, относящийся именно к этому классу. Этих ценностей может не быть у рабочего, фермера, банкира, промышленника, адвоката...

Лавочник может быть очень богат с точки зрения людей среднего класса. Он может быть даже миллиардером. Но суть его природы остается такой же, как и у лавочника, торгующего на улице небогатого района. Как такое может быть, спросит читатель. А очень просто: Трамп в гостиничном деле является мелким лавочником. Сколько у него башен в мире? Разве их количество можно поставить в один ряд с такими гигантами, как «Marriott» или «Day In», отели которых стоят в любом мало-мальски большом городе не только в США, но и по всему миру? Бизнес Трампа по сравнению с бизнесами гостиничных гигантов – это все равно, что лавка торговца овощами по сравнению с универсамом «Shop Rite», «Wall Mart» и прочими... То же самое можно сказать и о казино. Это огромная индустрия, в которой Трампу отведено весьма и весьма скромное место. Да, он богат, но его

ментальные проблемы остались на уровне проблем мелкого торговца, который больше всего боится, что приток денег в его бизнес иссякнет. И потому такой человек пользуется любой возможностью, чтобы хоть как-то урвать еще денег, любыми способами. Совсем недавно нью-йоркский судья постановила закрыть благотворительный фонд Трампа, написав в своем решении, что Трамп и его родственники используют фонд как свою чековую книжку. В качестве примера она сослалась на недавнюю покупку портрета нашего президента за 20 тысяч долларов. Заплатил за это фонд! Что? У миллиардера Трампа не было этой суммы, и потому он залез в карман фонда? Эти деньги были пожертвованы на благотворительность. Для миллиардера это не должно быть большим расходом. Но в Трампе разыграл лавочник, как в романе «Двенадцать стульев» в Кисе Воробьянинове разыграл делопроизводитель ЗАГСа, когда он привел девушку в ресторан.

Сегодняшний Трамп, все время утверждающий, что нашу страну грабят все, кому не лень, не напоминает тебе, читатель, такого среднего лавочника? Все время он подсчитывает, кто сколько заплатил за участие в НАТО, во сколько обходится содержание наших войск в Афганистане, Сирии, Южной Корее... Дошло уже до того, что он заявил о прекращении наших функций как функций мирового полицейского. Мотивировка? Все та же! Деньги! Мол, из нас их вытягивают даже те государства, о существовании которых наш народ даже не подозревает.

Прежде чем поразмышлять над тем, к чему может привести такой подход, предлагаю совершить небольшой экскурс в историю второй половины XX века, когда наша страна, наученная горьким опытом самоизоляции (к чему ведет сегодня Америку Трамп), добровольно взвалила на себя обязанности мирового полицейского. (В советской прессе США обзывали «мировым жандармом», косвенно признавая тем самым огромное значение США в сложившемся мировом порядке).

Остановка танковой колонны, направляющейся к границе Ирана. Это произошло в конце сороковых, когда Сталин решил, что Иран может быть легкой добычей. По дипломатическим каналам диктатору дали понять, что Америка не остановится перед применением атомной бомбы, если в этом возникнет необходимость. Эпизод не получил достаточного освещения. О нем известно совсем немного.

Но второй пример был у всех на слуху. Блокада Берлина в 1948 году. Сталин решил задуть голодом этот анклав свободного мира и заблокировал «дорогу жизни», по которой из Западной Германии

поступали жизненно необходимые для города материалы и продовольствие. Но Трумэн не уступил. Был организован воздушный мост, и Сталин не осмелился напасть на «Летающие крепости», непрерывным потоком летящие в Берлин. Советские асы времен Второй Мировой выдвигали вокруг этих самолетов немислимые фигуры высшего пилотажа буквально на расстоянии вытянутой руки, но не оставили на них ни одной царапины. Блокада не состоялась. Мы были настоящими полицейскими – предотвратили преступление. Кстати, американский народ по достоинству оценил смелость своего президента. Трумэн победил на выборах 1948 года!

В 1949 году был подписан Североатлантический пакт (НАТО), в котором США играли главную роль. Какой вклад в эту организацию тогда могла сделать Европа, только-только встающая на ноги? США приняли на себя главную ношу, они спасали свободный мир от ужасов коммунизма. Именно благодаря НАТО Европа на отдала ни пяди земли свободного мира. 20 тысяч советских танков стояли на общей границе между Варшавским договором и НАТО! Ни один из них не пересек границу. Вот что значила Америка! Вот что значили договоры с малыми европейскими странами. Попробуйте сломать веник, состоящий из отдельных прутьев.

В начале пятидесятых США и вся организация ООН начали войну за спасение Кореи от поглощения ее коммунистами. Главную роль в той войне играла наша страна. Это мы не допустили полного поглощения полуострова коммунистами. Взгляните на последствия этого шага. Ведь начинали обе страны практически с нуля. И к чему пришли? Южная Корея сегодня – один из гигантов мировой экономики, а Северная – крупнейший работорговец, продающий своих граждан той же России.

Мы не стали принимать участие в помощи Чан Кай Ши главным образом из-за агента влияния – Китая, который убедил Трумэна, что режим генералиссимуса не стоит нашей поддержки из-за его коррумпированности. Америка отказалась от поддержки Чан Кай Ши. Этому негодню посвящен целый стенд в Музее Китайской революции. Невозможно переоценить его роль в китайской катастрофе. А мы не были полицейскими в Китае. Однако, не будем забывать, что вмешайся мы в суть событий, могла бы начаться большая война с СССР.

И сравнительно недавний случай нашего благотворного вмешательства – события на Балканах. При Буше наша страна держала нейтралитет и настоящий геноцид царил в Югославии. Вдаваться в подробности не стану, но именно после нашего вмешательства война

там закончилась и народы, резавшие друг друга, сегодня живут в мире. Образовались новые государства, и отношения между ними, можно сказать, налаживаются. Классический пример работы мирового полицейского.

И какую же перспективу нам готовит наш президент? Уйти с мировой арены? Свято место пусто не бывает. И враги наши, та же Россия или Китай, никуда не денутся. Наоборот, они станут более агрессивны. Ведь полицейского больше не будет. Некому будет дать отпор Китаю, когда он начнет атаку Формозы. А спроси американцев, что это такое? Больше половины не ответят. Не знает наш народ слово Формоза. Потому, по Трампу, это место и защищать на надо. А ведь это Тайвань. Наш союзник, который независим благодаря нам. Что остановит Китай, уже превративший Южно-Китайское море в свое озеро, от атаки острова, если мы откажемся от функций полицейского? Отдадим его на откуп коммунистам? А потом еще откажемся принимать беженцев, как мы это делаем сегодня, когда граждане той же Гватемалы бегут в прямом смысле от смерти? Разделять будем семьи китайцев? Зато сколько денег сэкономим!

Уйдем из Сирии – сколько можно тратить денег на эту страну! О наших погибших лучше не говорить. Их всего четыре человека за два последних года. Если считать по убитым американцам, то более безопасного места не найти на всей планете. В нашей стране только от огнестрела гибнет порядка сорока человек в день. Но этот уход превратит наших союзников-курдов в мишень для турецких танков. Эрдоган, а вместе с ним Хамени – верховный лидер Ирана, и Путин, спят и видят, как мы уходим оттуда. А как быть с коалицией из семидесяти государств – плевать на них? Кому на руку играет наш президент? Что в итоге получим? Невыполнимые обещания саудовцев принять участие в восстановлении Сирии? Так они и станут вкладывать деньги в Сирию, во главе которой будет стоять алавит (читай, шиит) Асад, ближайший союзник Ирана. Кому вообще могла прийти в голову эта идея?

А, может, и из Южной Кореи выведем войска? Почему бы и нет! Если Ким будет настаивать и даст словесные гарантии о ненападении на южного соседа, а Трамп, по его же словам, буквально полюбил северокорейского убийцу, то «как не порадовать родному человечку»? Мы уже не полицейские! И из Японии можно уйти – пусть сами вооружаются, меняют свою конституцию. Хорошо еще, что наши генералы и европейцы НАТО отстояли. Тоже ведь хотел развалить – опять же, все упиралось в деньги.

И начинаешь понимать, что лавочников история ничему не учит. Да они ее просто не помнят, азов не знают. Или думают, что она не повторится. А она повторится, если лавочники будут по-прежнему вести страну к изоляции под фальшивым обещанием сделать Америку «снова великой». Люди должны понять, что путь, предложенный мелким буржуа, попавшим в Белый дом, не есть дорога к величию, это путь к поражению.

Виктор Родионов

Луисвилл, Кентукки, США



Жизнь в розовом цвете. Мона Бисмарк

Амур-гламур светской львицы XX века

Штат Кентукки славен двумя брендами – лучшими в мире рысаками и виски-бурбоном. Но есть еще третий – амбициозные, умные, успешные и красивые женщины. Среди них звезды Голливуда Розмари Клуни, Шин Янг, Ирена Данн, Дженифер Лоуренс, певицы мать и дочери Джадд, Джоан Осборн, Пэтти Лавлесс, Лоретта Линн, «Роден в юбке» Энид Янделл и теледива Дайана Сойер. Для красного словца можно вспомнить Мэрилин Монро, ее родители из Кентукки.

Особняком еще одна женщина, чье имя сейчас не на слуху, но которая почти сорок лет (1920-1960-е) считалась самой стильной леди XX века, первая американка, получившая в 1933 году титул самой элегантной женщины мира. Это решение было принято ведущими модельерами того времени, включая Коко Шанель. Ее полное имя – Мона Трэвис Стредер Шлессинджер Буш Уильямс фон Бисмарк де

Мартини, включая девичью фамилию и фамилии ее пяти мужей. Наверное, чтобы не запутаться, мужья шли в строгой последовательности.

Этим летом в музее Frazier Луисвилла состоялась выставка «Несравненная Мона Бисмарк – икона стиля из Кентукки». Специально приглашенный куратор Скотт Роджерс (работает с Prada, Dior, Chanel и Louis Vuitton) особо подчеркнул на открытии. «Конечно же, визуально на выставке доминируют одежда, вещи, украшения, принадлежавшие Моне Бисмарк. Без этого невозможно представить себе женщину-эталон высокой моды. Но у нас есть и вторая цель, неразрывно связанная с первой – рассказать о Моне как о человеке, со всеми взлетами и падениями, страстями и разочарованиями, грехами и раскаяниями. Удивляюсь, почему до сих пор история Моны Бисмарк не снята в Голливуде. Не нужно ничего придумывать, готовый блокбастер».



Начало жизни Моны не предвещало неба в алмазах. Родилась в кентуккийском Луисвилле в 1897 году в семье мелкого торговца Роберта и Бёрд (Птичка) Стредер, едва сводившей концы с концами. Когда девочке было пять лет, родители развелись, Бёрд упорхнула

неизвестно куда, бросив детей на попечение мужа. Десять лет Мона вместе с братом жила на грани нищеты попеременно у бабушки и тетки. Бабушка за подпольную торговлю алкоголем была отлучена от церкви. Умерла на глазах у Моны. Один из дядьев обитал в приюте, второй погиб в результате несчастного случая. После развода с мужем тетка-опекушка покончила с собой.

Рассвет забрезжил, когда Моне исполнилось пятнадцать. После затянувшегося холостячества ее отец, наконец, нашел богатую жену, чем особенно гордился. Молодожены купили конную ферму под Лексингтоном, в 80 милях от Луисвилла, вместе с добротным домом-усадьбой. Словно по взмаху волшебной палочки, Роберт Стредер в одночасье стал состоятельным и уважаемым человеком в городе. С согласия жены он взял дочь к себе, не обременяя ее науками, зато при каждом удобном случае поучал дочь, как важно в жизни сделать правильную матримониальную партию. Наставления подкреплялись делом. Отец и мачеха вели активную светскую жизнь, вращались среди богатых и именитых. Исторически Лексингтон был культурной и финансовой столицей Кентукки, таковым оставался в начале XX века. Званные вечера, парти, общественные и частные мероприятия, концерты проходили чуть ли не каждый день, и Мона не брезговала любой возможностью людей посмотреть и себя показать. Заодно набиралась опыта.

Девушка оказалась неглупой, к тому же писаной красавицей с идеальной фигурой, копной светлых волос и зелеными глазами. Плюс прекрасные манеры, южный шарм и природный аристократизм. От ухажеров не было отбоя, но Мона не торопилась, тщательно взвешивая варианты. И не прогадала. В двадцать лет она вышла замуж за Гарри Шлессинджера, крупного бизнесмена из штата Висконсин. «Пробный» брак длился всего три года.

Стабильный стартовый капитал от мужа и развод развязывают руки молодой женщине. Свободна и материально независима. Можно заняться чем угодно. У Моны нет ни образования, ни какой-либо профессии, зато есть природное чувство прекрасного, талант увидеть, найти и оценить самое то, лучшее, что предлагает высокая мода. Не только в одежде и украшениях, но и в живописи, мебели, архитектуре, дизайне. На первом месте для Моны всегда были одежда и драгоценности. С ростом ее богатства растут аппетиты. Мона путешествует и шопингует по всему миру. Каждый сезон ее гардероб пополняется обновками от лучших дизайнеров планеты. Каждая в

трех-пяти вариантах. Притом редкая вещь использовалась более одного раза.

Второй брак Моны с банкиром Джеймсом Бушем тоже был недолгим. Красавец Джеймс в юности увлекался спортом, но в зрелости грешил алкоголем. Усилия Моны исправить мужа оказались тщетными, последовал развод, но соломенная вдовушка не оказалась в накладе. По брачному контракту ей полагалась солидная сумма за понесенный моральный ущерб и бесцельно прожитые в браке годы.

Биографы Моны не идеализируют портрет своей героини. С одной стороны, она, безусловно, одаренная женщина с утонченным вкусом, но один вкус ничего не значит без денег. И в этом Мона невероятно преуспела. Ее интересовали мужчины не просто богатые, а очень богатые. Все остальное было второстепенным. Первый муж старше на 18 лет, второй на 14, третий на 24 года. За глаза Мону звали «охотницей за сокровищами», и, наверное, эта оценка была недалека от истины. Похоже, она унаследовала от отца прагматизм, трезвый расчет и любовь к деньгам. От матери-кукушки безразличие к собственным детям. У Моны был единственный сын от первого брака. При разводе она соглашается отдать малыша мужу взамен на полмиллиона долларов отступных. Отношения с сыном остались холодными на протяжении всей ее жизни. Роберт вырос плэйбоем, кутилой и мотом. Нерастраченные материнские чувства Мона отдала собакам.

Самым удачным, звездным, стал третий брак Моны. После развода с Бушем Мона открывает в Нью-Йорке магазин одежды совместно со своей подругой Лорой Кёртис, дочерью губернатора Висконсина. На тот момент Лора была помолвлена с Харрисоном Уильямсом, самым богатым американцем того времени. Его состояние оценивалось в 600 миллионов долларов (свыше восьми миллиардов в современных деньгах). Естественно, Мона не могла упустить такой шанс и вместо подруги пошла под венец с магнатом.

Медовый месяц Мона проводит в кругосветном путешествии на роскошной яхте мужа. Молодоженов обслуживают 45 членов экипажа. По возвращении супруги начинают вить гнездышки на двух континентах. Помпезный дом на Пятой авеню в Нью-Йорке. Поместье в Лонг-Айленде. Летний «домик» в Палм-Бич. Вилла Fortino на Капри, на земельном участке некогда принадлежавшем сначала Цезарю, потом Тиберию. Щедрый муж дает молодой жене карт-бланш, открытый счет на любые покупки и суммы. Для своих домов Мона нанимает самых престижных дизайнеров, скупает самый дорогой

антиквариат Европы, мебель Наполеона, картины Гойи, Тьеполо и Фрагонара. Но не это главное. Деньги мужа катапультируют Мону в высший свет.



Она *socialite*, светская львица, покровительница искусств, желанный гость в самых лучших домах Европы и Америки. Со временем в число ее друзей и близких знакомых войдут президенты Рузвельт и Эйзенхауэр, герцог Виндзор с супругой, принцесса Монако Грейс, писатели Капоте и Ремарк, актеры Дитрих, Гарбо и Ньюман, кутюрье Баленсиага и Живанши, художник Сальвадор Дали. Теперь не Мона добивается расположения сильных мира сего, сегодня она с ними на равных. Нередко наоборот. Как иронизировала одна итальянская газета, монархи Европы не могут соперничать с Уильямсами, им это не по карману.

Но грянула Великая депрессия. Уильямсы не встали в очередь за благотворительным супом, но кризис основательно прошелся и по ним. Когда-то Харрисон планировал стать первым долларовым миллиардером США, с мечтой пришлось распрощаться. От шестисот миллионов осталось всего пять. Из недвижимости только вилла на Капри, остальное продано *for nothing*, почти за бесценок, включая яхту. Случилось непредвиденное – впервые в жизни Мона начала работать. Ее главным работодателем стал знаменитый журнал моды *Vogue*. На его обложках Мона появлялась свыше 60 раз, абсолютный рекорд для модели, притом не «первой свежести». Мона поседела в 30 лет и не красила волосы, в сочетании с аквамашиновыми глазами получился потрясающий образ, который Мона и *Vogue* эксплуатировали десятки лет. Современным ценителям моды он может быть не по вкусу –

холодная Брунгильда с бесстрастным лицом – но тогда были другие представления о женской красоте.

Третий муж Моны умер в 1953 году. Наверное, он был финансовым гением. После Великой депрессии миллиардером не стал, но сумел оставить любимой женошке 90 миллионов долларов. Мона горевала недолго и через два года вышла замуж за своего секретаря Альбрехта (Эдди) фон Бисмарка, внука железного канцлера Германии графа Отто фон Бисмарка. Брак был примечательным во всех отношениях. Во-первых, «охотница за сокровищами» сама стала объектом охоты. За графом фон Бисмарком слыла репутация «немецкого жиголо». Во-вторых, первые мужья были намного старше Моны, Бисмарк на шесть лет моложе. В-третьих, он был геем, что жену, тоже не чуравшуюся однополрой любви, вполне устраивало. Какие претензии? Их не было. 15-летний брак был безоблачным. И главное, Мона стала не только одной из самых богатых женщин мира, но и аристократкой высшей пробы – графиней фон Бисмарк.

После кончины Альбрехта Бисмарка его преемником на брачном ложе стал личный врач Моны итальянец Умберто Мартини, на 14 лет моложе своей супруги. Истории начинаются как трагедии, заканчиваются фарсом. Мона привыкла к аристократическому титулу, и фамилия просто «Мартини» ее не устраивала. Что нельзя сделать за деньги, можно сделать за большие деньги. Графиня фон Бисмарк элементарно подкупает короля Италии в изгнании Умберто II-го, и тот дарует простолюдину Мартини титул графа с приставкой «де». Мона становится дважды графиней.

Однако Умберто де Мартини не оправдал монаршего доверия. После гибели Умберто в автокатастрофе близ Неаполя всплыли некрасивые детали. «Граф» зажил три миллиона долларов из денег супруги, перевел на свой счет в Швейцарии, и, «по мелочи», своим детям от первого брака.

В шестой раз выходить замуж Мона не решилась. По свидетельству Сесила Китона, многолетнего друга и личного фотографа, навестившего ее на вилле Капри, дважды графиня и трижды вдова выглядела гротеском на прежнюю Мону. Полуслепая, дряблые щеки, сеть глубоких морщин, брови под слоем грязного цвета краски, накаченные силиконом клоунские губы, вислые ягодицы. Мона умерла в 1983 году в возрасте 86 лет в Париже, похоронена на Лонг-Айленде рядом с третьим и четвертым мужьями – Уильямсом и фон Бисмарком.

Личный архив с фотографиями и письмами четы Виндзоров, Черчилля, Онассиса, Каллас, Гора Видала Мона завещала родному

городу Луисвиллу. Личные драгоценности Смитсоновскому институту. Все остальное, включая особняк на набережной Сены напротив Эйфелевой башни, Американскому центру ее имени.

Так проходит мирская слава.

Александр Сиротин

Нью-Йорк, США



Одиннадцатая заповедь

Когда воскресным днём в каком-нибудь храме Нью-Йорка раз в году проходит церемония благословения животных, я стараюсь не пропустить такое событие.

В этом году благословение проводилось в манхеттенском храме протестатской Объединённой методистской Церкви Христа, причём проводилось двумя пасторами вместе с раввином из соседней реформистской Центральной синагоги.

В очереди на благословение выстроилась огромная очередь. Люди держали в руках или на поводке собак. Кто-то принёс кошек, кроликов, маленьких грызунов. Я помню времена, когда приводили лам, коз, верблюда, питона...

Среди собак было немало старых, больных. Возможно, владельцы надеялись, что благословение поможет их четвероногим компаньонам

почувствовать себя лучше и прожить дольше. Одни обращались к пастору, другие к раввину, третьи, на всякий случай, к обоим.

На скамью присел Кёртис Слива, популярный нью-йоркский радиокомментатор, основатель и лидер движения «Ангелы-хранители» по борьбе с уличной преступностью в Америке. Членов этого движения легко узнать по красным беретам и красным курткам. Кёртис Слива держал в руках чёрного кота.

– Я взял его из приюта для бездомных животных, – сказал он.

Рядом с ним был Джон Кациматидис, миллиардер, владелец зданий, авиакомпании, сети продовольственных магазинов «Гристедес», ведущий своего радишоу и бывший кандидат в мэры Нью-Йорка от Республиканской партии.



Очередь за благословением

Синди Адамс, старейшая колумнистка газеты «Нью-Йорк Пост», пришла со своей маленькой собачкой.

Многие из тех, кто стоял в очереди, говорили, что они вегетарианцы, не употребляющие пищу животного происхождения. Одни отказываются лишь от мяса. Другие от мяса и птицы. Третьи – ещё и от рыбы. Четвёртые – даже от яиц и молока.

Одну из самых эмоциональных и спорных книг в защиту вегетарианства написал американский историк Холокоста Чарльз

Паттерсон. Его книга «Вечная Треблинка» долгое время была бестселлером. Её перевели на многие языки.

В ней автор сравнивает массовое уничтожение людей в концлагерях в период правления Гитлера с убийством животных на скотобойнях в наши дни. Более того, Чарльз Паттерсон видит в бесчеловечном отношении к животным истоки бесчеловечного отношения нацистов к людям.

В бытность корреспондентом Радио «Свобода» я интервьюировал автора книги.



Кёртис Слива с котом из приюта для бездомных животных

– Почему вы дали столь провокационное название своей книге – «Вечная Треблинка»? – спросил я.

Чарльз Паттерсон ответил:

– Название взято из рассказа Исаака Башевиса-Зингера, еврейского писателя, эмигрировавшего из Польши. Я посвятил ему свою книгу.

Главной идеей своей книги я обязан ему. Так вот, в его рассказе старик, переживший Холокост, подкармливает сыром и молоком мышь, которая гуляет по его квартире по ночам. Потом старик заболел, а когда вернулся домой, мышки не было. Он решил, что она умерла, потому что ее никто не кормил. И тогда старик сказал: «По отношению к животным все люди нацисты. Для животных это вечная Трешлинка». Вот откуда название моей книги. Мы относимся к животным, как нацисты относились к людям. Для животных же это не просто Трешлинка, которая как лагерь прекратила свое существование в 1943-м году, а вечная Трешлинка.

– И все-таки, наверное, многие против такого сравнения и забрасывают вас возмущенными письмами....

– Да-да, конечно, очень многие против такой аналогии. Но все они не читали моей книги. Их возмущает только само название. Но еврейские организации, различные еврейские и нееврейские группы, прочитавшие книгу, очень хорошо отзываются о ней. Положительные рецензии дали сразу две израильские газеты, и благодарные письма прислали американские еврейские организации. Тем, кто услышал или прочитал название, может показаться, что автор пытается оскорбить память жертв Холокоста и чувства тех, кто прошел через нацистские лагеря, и спешат с выводами, даже не потрудясь заглянуть в книгу.

– Вы призываете в своей книге вообще отказаться от убийства животных, но одновременно утверждаете, что с огромным уважением относитесь к еврейскому народу и его традициям. Но в еврейской традиции при всей ее кулинарной строгости животная пища занимает очень важное место. Отсюда кошерность мяса, фаршированная рыба, знаменитый так называемый «еврейский пенициллин» – куриный бульон...

– Интересно, что еврейский народ, как и любой другой, как все человечество, питается убитыми животными на протяжении всего своего существования, – ответил Паттерсон. – Но евреи выработали наиболее гуманный способ убийства животного – с наименьшим причинением страданий. По религиозным предписаниям иудаизма нельзя убивать животное без необходимости и с применением жестокости. Примечательно, что в иудаизме издавна идут споры о том, нужно ли вообще есть мясо.

– В чем главная идея вашей книги?

– На примере Холокоста я хотел показать, что бесчеловечное отношение к животным есть проявление звериного начала в самом человеке. Как сказал германский философ Теодор Адорно,

переживший Холокост, «Освенцим начался тогда, когда человек на скотобойне сказал: «Они всего лишь животные». Смысл моей книги в том, что тот, кто без сожалений убивает животных, может убить и человека. Это то, что привело мир к Холокосту: поставленная на поток скотобойня. Америка первой применила конвейерное убийство скота на скотобойнях в Чикаго. Генри Форд, в молодости побывав на скотобойне, пришел в восторг от процесса и потом применил его в конвейерной сборке автомобилей «Форд». Кстати, он известен своим антисемитизмом. Гитлер его высоко ценил. Форд – единственный американец, комплиментарно упомянутый в «Майн Кампф». Конвейерное убийство животных привело к конвейерному убийству людей, убийству евреев во времена Холокоста.

– Вы считаете, что прекратив убивать животных, мы прекратим убивать и людей? И что заповедь «Не убий» должна распространяться на всякую тварь божью?

– Да, и Исаак Башевис-Зингер, который еще мальчишкой видел, как на базарах резали скотину, писал, что должна была быть одиннадцатая заповедь «Не убий животного». Так что заповедь «Не убий», применима не только к людям, но и к животным.

...К сожалению, экстремизм наблюдается как со стороны противников вегетарианства, так и со стороны защитников животных. Помнится, в Нью-Йорке члены Общества защиты животных нападали на извозчиков, которые катали туристов в колясках, запряжённых лошадьми. Я, будучи поклонником циркового искусства, не уверен в правоте тех, кто огульно обвиняет всех дрессировщиков в жестоком обращении с животными.

Мне жаль, что из-за таких, часто несправедливых обвинений был вынужден прекратить своё существование самый знаменитый и старейший американский цирк Ringling Brothers and Barnum and Bailey. Но я полностью согласен с мыслью Чарльза Паттерсона, что жестокое отношение человека к животному часто ведёт к жестокому отношению человека к человеку.

Часть 5.

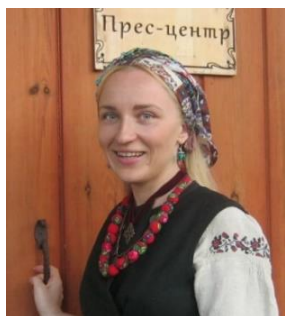
Наши интервью



Николай Акимов. Эскиз театрального костюма к неизвестной постановке. 1950-е

Даша Кашина

Киев, Украина



Энвер Измайлов – недоступная звезда

«В Киеве состоится концерт с участием всемирно известного мастера игры на гитаре Энвера Измайлова. На концерте будут собирать средства семьям политзаключенных».

(из объявления)

По данным американских изданий, этот человек, единственный из СНГ, входит в десятку лучших гитаристов мира. Об этом уровне игры на гитаре говорят: «Многие пробуют, но не у многих получается». Его зовут Энвер Измайлов. Его имя переводят как «лучезарный». Фамилию часто пишут как Is my love.

Я спросила у муллы:

– Играют ли законопослушные мусульмане на гитаре?

– Нет, что ты! Там, где этот инструмент – там водка, сигареты, женщины.

– Как Вы, Энвер, согласовываете свою жизнь добропорядочного мусульманина со своей исполнительской карьерой? – поинтересовалась я у Звезды.

– Я грешный мусульманин. Но стараюсь соблюдать основные постулаты Корана. Считаю это не книгой заповедей. А книгой – напоминанием. Многого из его глубин я не знаю. И считаю, что это даже лучше. Потому, что зная все, нарушать осознанно – неправильно и опасно для собственной души.

– Вы родились в семье татар, депортированных из Крыма?

– Да. Мой отец из Судака, мама из соседней местности.

- Вы помните депортацию?
- Почти нет. Это коснулось родителей.
- Вы приезжаете на родину?
- Я здесь уже живу!
- У Вас здесь дом?
- У меня дом в Симферополе. Там живет моя семья. Две дочери.
- Я слышала, что одна из них занимается вокальным исполнительским искусством, близким к фольклорному. Имеет свою группу.
- Да. Недавно мы с Ление выступали в Германии. Она лауреат ряда международных конкурсов.
- Во Франции на радио Парижа вы выступали вместе?
- Нет, это было мое сольное выступление.
- Она переняла у Вас секреты владения гитарой?



Энвер Измайлов и Даша Кашина

- Нет, дочери не хотели учиться моему инструменту. Они искали свой путь в жизни. И я понимал, что женские судьбы и гитара с ее гастрольным графиком могут войти в противоречие. Сына я бы обучил.
- Как и где этому научились Вы?
- А меня никто этому не учил. И в этом – то лучшее, что получилось. Получилось:
- любовь к инструменту,
- свобода импровизаций,

– отсутствие жестких правил.

Учился я в Ферганском музучилище игре на фаготе. Поступил – куда были места. Хотел зарабатывать профессией музыканта. А на гитаре играл во дворе с пацанами. Этот инструмент был любимым.

– Ваш стиль – это синтез фольклора вашего народа, джаза, тайпинга – был найден самостоятельно или были советчики?

– Совершенно самостоятельно. В условиях полной свободы личности в искусстве и приходят такие идеи. Думаю, их у тех, кто творил свои экспромты во дворах, было много. Мои, благодаря Аллаху, больше некому – были услышаны обществом. А когда появились интересующиеся моими экспромтами любители и даже фаны – стала приходиться помогать. Очень много мне помог бывший саксофонист, позднее клавишник, живший в Фергане москвич. Позднее в Москве ставили его мюзиклы, в которых играли многие известные артисты, такие, как Николай Караченцев.

– Вы только что получили звание Народного артиста Украины?

– Да. Готовлю по этому случаю сольник.

Наш разговор в джаз-клубе накануне концерта для друзей подходил к концу, когда к нам подошел художник в очках кота Базилио, кепке с околышком и каком-то военном пиджаке без знаков отличия. Он предложил Энверу посмотреть в его самодельной деревянной установке типа первых фотоаппаратов кукольный театр. Энвер согласился. Сев на маленький стульчик, он сунул голову под синюю бархатную занавеску, как ему указали. При этом малышка – дочь художника – все время дергала отца и кричала: «Не надо! Не надо!». Менеджер Измайлова, стоявший рядом, напрягся и пошутил:

– Там не гильотина?

Из аппарата пошел дым. Энвер, как ребенок, долго смотрел это действо.

Мне он потом пояснил – это талантливый человек. Серьезный художник. Правда, с особенностями. Недавно, например, так напился, что «мы нашли его на ступеньках джаз-клуба. Никак не могли привести в чувство и даже отливали водой».

Человечность – наверное, этим отличается Измайлов в этом бесчеловечном мире, и за это любит его, грешного мусульманина, Аллах. Это возможно для тех, кто живет искусством.

Начался концерт – путешествие. Обычно эти импровизации Энвер Измайлов строит как путешествие по миру. Начиная со своей страны, он умеет музыкально нарисовать любую. «А сейчас мы поедem в...» – обычно так объявляет он номер. Мы следовали за звуками, путем,

которым вел нас Маэстро. Он играл вроде бы не на гитаре, а на фантастическом инструменте из струн своей души. Обычно зал заворожено следит за руками на грифе, почти не касающимися гитары и выделяющимися чудеса тайпинга.

Моноotonно, как голос над минаретом, умеет звучать его струна от легкого прикосновения.

Вокруг расстилались видения гор его кавказских композиций с цоканьем копыт осликов по головокружительному серпантину горных дорог.

При исполнении композиции «Памяти Биттлз» все встали.

В его финальной шуточной композиции «Утро на море» – заводились моторы машин, под танец маленьких лебедей выходили первые купальщики, мычали коровы, кричал петух и даже взлетал легкий планер. И все это делала гитара и его «вокальное сопровождение».

Наверное, на эти звуки в зал ворвалась собака. Она делала круги вокруг музыканта. Его менеджер пытался ее выгнать. Энвер успел на это музыкально, с улыбкой, отреагировать. Когда порядок был восстановлен, я услышала чей-то сердитый шепот, обращенный к хозяевам джаз-клуба:

– Ну зачем вы так назвали собаку? Что я отвечу ребенку, который спрашивает: как ее зовут?

Оказалось, собаку назвали «Сиська».

Евгения Народицкая

Род-Айленд, США

Где был Бог во время Холокоста... Интервью с Александром Городницким

Александр Моисеевич Городницкий о себе (2018): «Мне 85 лет, я родился в Ленинграде, пережил блокаду. Я профессор геофизики, всю жизнь проработал в экспедициях на Крайнем севере и мировом океане, побывал на Северном полюсе и в Антарктиде, погружался на океанское дно, объездил весь земной шар. Мой родной язык русский, на нем я написал много стихов и песен, некоторые из которых стали народными. ...Я, может быть, единственный в России заслуженный деятель науки Российской Федерации и в то же время заслуженный деятель искусств Российской Федерации».



В честь Александра Городницкого названы малая планета Солнечной системы и горный перевал на Саяне, его песни стали безымянными, народными, а стихи включены в школьную программу. Среди известных песен: «Над Канадой», «На материк», «Кожаные куртки», «Паруса Крузенштерна», «Снег», «Песня полярных летчиков», «Предательство», «Воздухоплавательный парк», «Чистые пруды». Песня «Атланты» считается неофициальным гимном Санкт-Петербурга. Александр Городницкий

член союза писателей России (1972) и Международного Пен-клуба (1998). Входил в жюри и был председателем на многих фестивалях, в том числе Грушинском. Главный научный сотрудник в Институте океанологии имени П.П. Ширинова РАН, профессор МГУ. Автор и ведущий цикла научно-популярных фильмов на канале «Культура» «Атланты. В поисках истины» (42 серии) в 2003—2012 годах. Сын Владимир (1955) живет в Израиле. Вторая жена – Анна Анатольевна Наль (1942-2017), поэтесса и переводчица.

– Что побудило вас, гуманитария по способностям, поступить в Ленинградский горный институт на геологоразведочный факультет?

– В 10-м классе я хотел стать историком, но в 1951 году, когда я окончил школу, путь на истфак в Ленинградский университет, носивший гордое имя Андрея Александровича Жданова, мне как еврею был перекрыт. Приходилось выбирать из тех ВУЗов, куда брали.

– Окончив институт, в экспедициях на Крайнем Севере вы оказались в непривычном для вас окружении. Как это окружение изменило ваше отношение к жизни?

– Оно во многом сформировало мое мировоззрение и научило ценить человеческие качества в трудных условиях.

– В автобиографической книге «И вблизи, и вдали» описана встреча с цыганкой в Сталинабаде (Душанбе), которая точно предсказала судьбу вашего товарища по экспедиции. Означает ли это, что в жизни каждого из нас все предопределено заранее?

– Скорее, это означает, что можно предсказывать будущее.

– Александр Моисеевич, в вашей песне «Всё перекаты да перекаты» есть такие строчки: «На это место уж нету карты, — Плыву вперед по абрису». Судя по тому, чего вы добились в жизни, вы по абрису не плыли, а знали, что вас ждет за поворотом.

– К сожалению, я никогда не знал, что ждёт меня за поворотом.

– В фильме «В поисках идиша» вы рассказываете об уничтожении фашистами евреев Белоруссии, среди которых были и ваши родственники из Могилева. Есть ли у вас ответ на болезненный вопрос – как Всевышний допустил Холокост?

– Отвечу стихами:

На киот поглядываю косо,
И не верю в ангельскую весть.
Где был Бог во время Холокоста,
Если он и вправду в мире есть?

Русский, итальянский и еврейский,
Где он был, незыблемый в веках,
На полотнах, куполах и фресках
Медленно парящий в облаках?
На вопрос ответить мне не просто
Посреди бесчисленных могил.
Где был Бог во время Холокоста,
Если он и вправду где-то был?
Я об этом думаю с тоскою,
Ощущая с мёртвыми родство.
Если мог он допустить такое,
Значит вовсе не было его.

*– Среди религиозных евреев есть мнение, что Холокост наказание
евреям за то, что они отошли от иудаизма. Вам близка такая точка
зрения?*

– Отвечу еще одним стихотворением.
Под монументом каменным надгробным,
Где в небе коршун белорусский реял,
Мой друг хасид мне объяснял подробно,
Что Холокост был карой для евреев.
Он излагал спокойно, без запинки,
Перебирая горестные даты,
Что в жертвах Аушвица и Трешлинка
Евреи сами были виноваты.
Что Гитлер и другие палачи,
По существу, посланцы были божьи.
Смири свою гордыню и молчи:
Они посланцы все, и Сталин тоже.
Был взор его, как у младенца, чист.
Он верил свято в Божью справедливость.
Его я молча слушал терпеливо,
И утешался тем, что атеист.

*– Уже после войны Илья Эренбург сказал: «Фашизм победил — он
умер как система, но он победил как идеология. И это на много, много
лет». В мартовской статье этого года «Нью-Йорк таймс» приводит
данные, что количество преступлений на почве антисемитизма в 2017
году в Америке выросло на 57%, по сравнению с 2016 годом. Вы*

можете прокомментировать рост антисемитизма в последние годы?

– Вопрос трудный. С одной стороны, это связано с разнузданной антисемитской и антиизраильской пропагандой, особенно в европейских странах, и ростом ксенофобии в мире, но дело, видимо, не только в этом. Это очень удобный вековой громоотвод для оправдания своих трудностей и неудач. Кажется, Вольтер сказал: «Если бы евреев не было, их следовало бы выдумать».

– *Несколько стихотворений вы посвятили теме сталинских репрессий: «Молча Сталин глядит с пьедестала / На страну, что увязла в ночи. Половина здесь жертвами стала, / А другая пошла в палачи». Чем вы можете объяснить, что самым выдающимся человеком всех времен в прошлом году россияне назвали Сталина?*

– Подозреваю подтасовку. Иначе это национальная катастрофа.

– *«Над Канадой небо синее, / Меж берёз – дожди косые. / Хоть похоже на Россию, / Только всё же не Россия». Ваше отношение к эмиграции?*

– Сочувственное.

– *В стихотворении «Стихи о позвоночнике» есть такие слова: «...завершая бал сей, / Я скажу, в минувшие года / Он болел, стирался и ломался, / Но не прогибался никогда». Как вам удалось не прогибаться в жизни?*

– Далеко не уверен, что это удалось мне в полной мере.

– *В стихотворении этого года есть строчки: «...Писать неизменно о главном, / А главное — то, что болит». Что «болит» сейчас?*

– Кроме возрастных болезней, сознание беспомощности в борьбе со злом.

– *На телевидении вы много лет вели авторские передачи «Атланты. В поисках истины». Глобальное потепление – миф или реальность?*

– Глобальное потепление – реальность. Влияние человека – миф.

– *На глубоководном аппарате «Мир-1» вы погружались на дно океана на глубину 4,5 километра. Вы также побывали на Северном полюсе и в Антарктиде. Ваши ощущения?*

– Острое ощущение мальчишеского счастья.

– *В фильме «Можно ли есть рыбу из Балтийского моря?» вы утверждаете, что это опасно для здоровья из-за захоронений хранилищ с ипритом на дне моря. А можно ли есть рыбу из Атлантического и Тихого океанов?*

– Пока можно.

– *Нарушают ли экологию газопроводы, которые прокладывают по дну Балтийского моря?*

– Будут нарушать, когда начнутся утечки.

– *«И в час, когда вспыхнет пожаром / Земная недолгая плоть, / И ядерным смертным ударом / Людей покарает Господь...», – пишите вы. Допускаете ли вы, что все катаклизмы – это наказание людей за грехи?*

– Нет. Я агностик.

– *«Мы на пороге энергетического кризиса, нефть закончится через 60 лет, газ через 100», говорите вы. Что делать?*

– Последние подсчеты более оптимистичны. Однако надо искать новые безопасные источники энергии.

– *В фильме «Откуда ждать беды обитателям нашей планеты – снаружи или изнутри?» говорится, что вырубка лесов приводит к наводнениям. Однако повсеместно леса вырубают. Как противостоять интересам бизнеса?*

– Ограничить жёстким законодательством и попытаться обратить его на пользу людям.

Часть 6.

Кино и театр



Николай Акимов. Эскиз костюма Лисандро к спектаклю по пьесе Лопе де Вега «Валенсиянская вдова» Эскиз костюма к спектаклю по пьесе П. Кальдерона «С любовью не шутят». 1938 год

Нина Аловерт

Нью-Йорк, США



Ленинградские театры 60-70 гг. Из альбома театроведа и фотографа

ОТ АВТОРА

Этот альбом¹ – фотографии спектаклей любимых мною ленинградских театров, в которых я работала, актеров ленинградских театров. Вступления к каждому разделу альбома – это не рецензии, это зарисовки прошлого, словесные фотографии, воспоминания.

Сейчас, мне кажется, когда говорят о прошлой театральной жизни Ленинграда 60-70 годов, вспоминают только БДТ, что совершенно несправедливо. В Ленинграде было несколько интересных, не похожих друг на друга драматических театров, где работали талантливые режиссеры и не менее талантливы артисты.

Многие актеры – я до сих пор в этом уверена – были не ниже уровнем прославленных артистов БДТ. Просто критики писали о них гораздо реже, чем о театре Товстоногова и его труппе.

Прежде всего, это был театр Комедии Николая Павловича Акимова. Сам Акимов был уникальной фигурой в русской культуре, как и созданный им театр Комедии, а также Театр им. В.Ф.Комиссаржевской и Театр им.Ленсовета.

¹ Нина Аловерт. Портрет театральной эпохи. Ленинградская драматическая сцена 1960-70-х. С-П, Балтийские сезоны, 2018

Я присоединила к ним свои воспоминания о Сергее Юрском, о его собственных первых постановках того времени, в которых он играл, и чтецких вечерах. Актер БДТ, он стремился к самостоятельной творческой деятельности. Юрский всегда был и остается в театральном русском мире одиноким волком Акело.

«Нина ходит в театр, как в 19-ом веке: на актеров», – говорил обо мне Николай Павлович Акимов.



«Двенадцатая ночь». Оливия – Вера Карпова, Виола – Нелли Корнева.
Фото Нины Аловерт

Это не совсем верно, конечно. Я ходила в театр на спектакли. Но как фотограф, Акимов прав, я любила снимать именно актеров. Снимать драматические спектакли я начала в акимовском театре.

Я работала в Театре Комедии зав.музеем. Штатный фотограф Громов делал в павильоне рекламные снимки перед каждой премьерой. А я сидела рядом с Акимовым на специальных местах у тех дверей, через которые попадаешь из фойе в центральный проход зрительного зала, и снимала спектакли по ходу действия, в то время без практической цели.

Я любила театр и снимала, потому что не умею любить пассивно. Это была моя единственная возможность принять участие в творческой жизни театра.

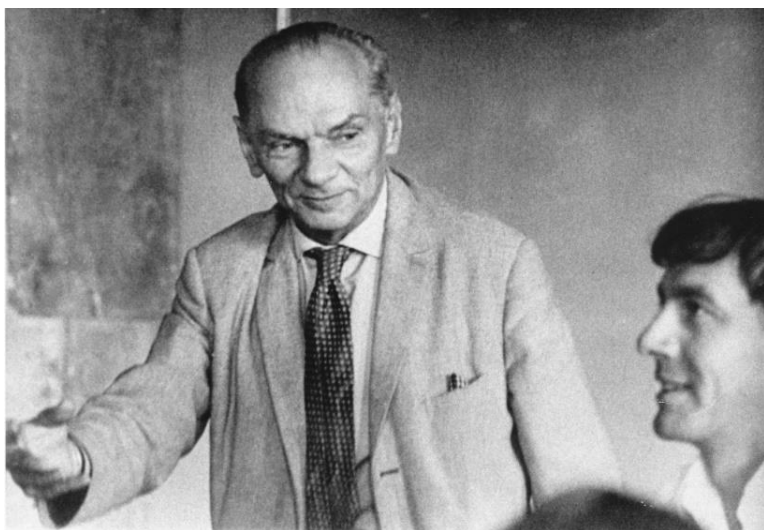
Я и до сих пор прихожу в театр, готовая душой откликнуться даже на самое маленькое чудо актерского откровения, на то чудо, которое умирает с окончанием спектакля и никогда больше не повторится. Мое стремление удержать это неповторимое мгновение на пленке, это и есть для меня, фотографа, высшее наслаждение.

Детали стерлись из памяти. Моя память об актерах с которыми мне привелось прожить рядом много лет моей прошлой жизни, это чаще – память сердца.

Часть 1. НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ АКИМОВ

В Ленинграде в 1950-1960-ых годах было два самых знаменитых драматических театра: Театр Комедии Н.П. Акимова и Большой Драматический театр Г. А. Товстоногова.

Каждый из режиссёров не признавал творческой метод другого и, по джентельменскому соглашению, Акимов и Товстоногов на спектакли друг к другу не ходили. Но в начале сентября 1968 года Товстоногов, придя утром на репетицию, обратился к актёрам со словами: «Встаньте.



Акимов на репетиции с Воропаевым. Фото Нины Аловерт

Умер Николай Павлович Акимов. Почтим его память молчанием. Смерть Акимова – это потеря для всей культурной жизни Ленинграда». (Пишу со слов актёров БДТ).

Николай Павлович Акимов – как режиссер-новатор, театральный художник и портретист (ученик студии А.Е.Яковлева и В.И.Шухаева), является особым явлением русской культуры 20-го века. Со смертью Акимова закончился целый период не только театрального Ленинграда, но и всего советского театра.

В 1949 году его изгнали из созданного в 1935 году Театра Комедии за «формализм и западничество». Некоторое время Акимов работал в Ленинградском театре им. Ленсовета, затем в 1955 году вернулся в Театр Комедии. Всю свою жизнь он сражался за свое виденье и понимание театра с представителями советской власти, от чего и умер от 3-его инфаркта 67 лет отроду.

Акимов давно говорил мне: «Знаете, как я умру? Я приду после спектакля домой, надену пижаму, лягу в кровать, прочитаю французский роман – и умру.»

Так и случилось. В конце августа 1968 г. театр ехал в Москву на гастроли. Лето было нестерпимо жаркое. В последний раз я видела Акимова накануне отъезда в Москву, я провожала его домой из театра. Николай Павлович расстроено говорил о событиях в Чехословакии, вообще чувствовал себя плохо, у него ни с того ни с сего поднялась температура. Но в Москву он поехал. В Москве его театр очень любили.

6-го сентября Акимов и директор театра Закс приехали перед спектаклем к Угрюмову (драматургу и другу Акимова). Там Акимову стало плохо с сердцем, но вызванные врачи из «Кремлёвки» ничего не обнаружили, дали какое-то лекарство.

А начинался инфаркт. После лекарства Акимову стало лучше, и он поехал в театр. В тот вечер шёл его любимый спектакль «Тень» Шварца. Принимали прекрасно. После спектакля на сцену вышел студент МГУ и поклонился Акимову до земли.

Утром в гостинице к Акимову в комнату не могли достучаться, взломали дверь. Он лежал мёртвым в постели, и в руках у него был номер «Иностранной литературы», открытый на 40 странице: французский роман Сименона.

Когда-то Акимов говорил мне: «Когда я умру, я буду летать в коляске, запряжённой лебедями, и смотреть вниз на тебя. Если ты будешь обо мне плохо говорить, я в тебя сверху плюну.» Надеюсь, что своими воспоминаниями я не навлеку на себя столь страшной кары.



«Тень». Ученый – Геннадий Воропаев, Тень – Лев Милиндер.
Фото Нины Аловерт

Несмотря на все настороженное отношение властей к Акимову, в 1966 году его вдруг выпустили в Париж и не просто, как туриста, а ставить в Комеди Франсез «Свадьбу Кречинского» Сухово-Кобылина (после того, как он поставил пьесу в Театре Комедии). Привожу письмо Акимова из Парижа.

Дорогая Ниночка!

Спасибо за письмо. Ждите! Скоро увидимся! Дела идут пока (тьфу!тьфу!тьфу!) – хорошо. Спектакль уже по существу поставлен, всем в театре очень нравится. Костюмы сшили умопомрачительно. На днях будут монтировочные. 4 го ноября репет. с папами и мамами 7го и 9-го премьеры с приглашенными. Будет замечательный Расплюев – Руссильон.

...Вчера встречался со студентами из и-та мирового театра. 2 часа и очень оживленно. Завтра делаю в Сорбонне доклад о Шварце (Все на их родном языке!)

Разумеется масса впечатлений и фотографий! Много читаю из последних новых книг и журналов...

Спектакль у меня здесь очень обогащен и персонажами (слуги у Муромских и кредиторы у Кречинского) и штучками, которые я придумал, пока на репетициях французики разучивали текст. Кажется, на последнем этапе придется ужимать по времени. Ничего! Ужмем!



«Свадьба Кречинского». Кречинский – Геннадий Воропаев, Расплюев – Лев Лемке. Фото Нины Аловерт

Передавайте мои приветы всем друзьям и барышням! Марка целуйте особо! (Марк Эткинд, искусствовед, друг Акимова – Н.А.)

Скажите ему, что Лувр я одобрил! Ну, побегу на репетицию. Вообще этот театр имеет гораздо больше общего с нашим, чем разницы! А актеры, по-видимому, во всем мире одинаковы!

Целую Вас

Ваш старый друг Н.Акимов

25 октября 66г. Париж.

Ел.Вл. шлет привет.

Часть 2. КАПУСТНИКИ В ТЕАТРЕ КОМЕДИИ

В Театре Комедии был замечательный обычай: раз в году устраивался ночной капустник, на котором поздравляли юбиляров,

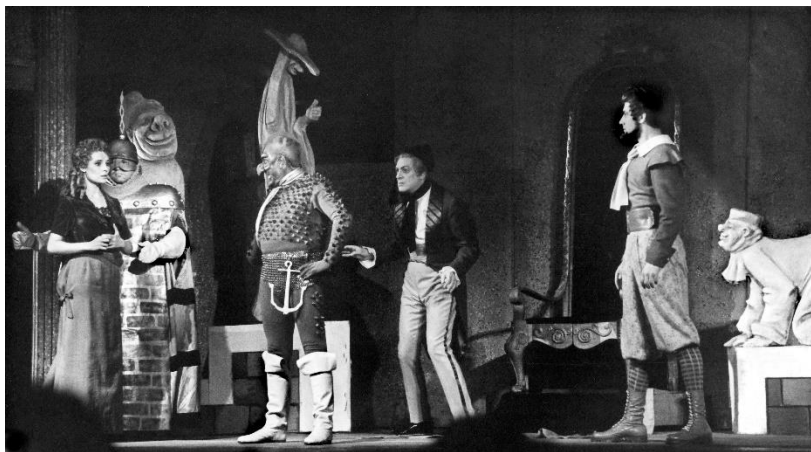
проработавших в театре от пяти до ...дцати лет. Каждые пять лет считались юбилеем.

Текст поздравлений писала команда местных остроумцев во главе с актёрами Львом Милиндером, Леонидом Леонидовым, Валерием Никитенко, Алексеем Севастьяновым. Капустник начинался с того, что все занятые в нем исполнители пели хором на мотив советской песни «Все выше, и выше и выше стремим мы полет наших птиц»: «Вас просим, друзья-юбиляры, традиция наша проста: не надо вам строиться в пары, займите на сцене места!»

При переполненном зале (актёры, родственники, друзья) юбиляр выходил на сцену с опаской: никто не знал, как посмеются над ним поздравители. Поздравления пелись на мелодии известных арий, романсов и популярных советских песен.

На эти капустники рвался «весь город»: тексты не литовались, т.е. исполнялись без разрешения, так как считались внутренним мероприятием театра. А на капустниках пелись тексты, не всегда безобидные с точки зрения цензуры.

Так, Акимов хотел поставить пьесу Александра Володина «Назначение», которая уже репетировалась в «Современнике». В Москве спектакль пошёл, а Акимову ленинградское начальство его запретило. На очередном капустнике Акимову-юбиляру спели:



Сцена из «Дракона». Фото Нины Аловерт

... «Назначенье» ты поставить решил.

На прогон «Назначенья» кой-кого пригласил.
Кой-кому, оказалось, кой-чего не дано...
Это было недавно, это было давно».

Прошлись в своё время и по запрещению спектакля «Дракон». Пьесу Е. Шварца Акимов ставил дважды. Это был мужественный поступок с его стороны. Пьеса была откровенно антисоветская. Одна из умирающих голов Дракона говорила: «... я оставляю тебе прожженные души, дырявые души, мертвые души...» А затем на смену Дракону приходил Бургомистр...

В 1944 году спектакль сняли за то, что увидели намёк на Сталина, в 1963 – на Хрущёва (Суханов, который играл Бургомистра, сменившего Дракона, выходил в клоунском костюме), а в принципе, я думаю, во все времена еще и за проповедь человечности.

Ланцелот говорил со сцены зрителям в зале: «Не бойтесь... Жалейте друг друга. Жалейте – и вы будете счастливы! Честное слово, это правда, самая чистая правда, какая есть на земле». Слова о жалости (читай – милосердии) так давно исчезли из понятий советской официальной морали, что, думаю, пугали начальство не меньше политических ассоциаций.

На капустнике в 1963 году немедленно спели:
«Почему наш «Дракон» вдруг попал под закон?
Почему, расскажите вы мне?
Потому что у нас нет драконов сейчас
В нашей юной прекрасной стране».

Борис Фогель

Бостон, США



Московские театры 2018. Дифирамб Вере Васильевой

Я регулярно прилетаю в Москву в мае, чтобы принять участие в программе «Образовательный мост». Директор этого проекта Людмила Лейбман организует обмен творческими группами на фестивалях, объединяющих Бостон с Москвой и Санкт-Петербургом. Концерты проходят на сценических площадках этих городов.

Все свои музыкальные авторские программы я всегда с большим удовольствием представляю зрителям на сцене Дома Актёра в Москве, с которым меня связывает многолетняя, большая творческая дружба. Не стала исключением и поездка в этом году.

Но, прежде всего, хочется поделиться впечатлениями о театральной Москве. Когда я приезжаю в Москву, стараюсь посмотреть, по возможности, больше драматических спектаклей.

В этот раз я был на двух спектаклях театра «Современник». В связи с ремонтом театра спектакли проходили в прекрасном «Дворце на Яузе». Я посмотрел там спектакль по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион», где в главных ролях блистали Сергей Маковецкий и Алёна Бабенко, и премьеру спектакля «Свадьба». Композиция режиссера Егора Перегудова составлена по произведениям Михаила Зощенко, Бертольда Брехта, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Антона Чехова, Михаила Жванецкого. Это весёлый, лёгкий спектакль с прекрасной игрой молодёжи театра.



В театр имени Вахтангова меня пригласил заслуженный артист России Александр Павлов на спектакль «Горячее сердце» по пьесе Островского, где Павлов играет роль «барина с большими усами». Это небольшая роль. Мне кажется, что, работая в этом театре 50 лет, по своим творческим возможностям, он достоин более интересных ролей. Александр Павлов прекрасно поёт. Мы с ним сделали много программ-моноспектаклей, посвященных творчеству Есенина, Пушкина, старинным русским романсам...

Большое впечатление на меня произвела постановка в этом театре режиссёра Римаса Туминаса пьесы древнегреческого драматурга Софокла «Царь Эдип». Кроме знаменитых актеров Людмилы Максаковой, Евгения Князева, Виктора Добронравова, в нём участвуют девять греческих артистов из Национального театра Афин. Они составляют хор фиванских граждан и замечательно исполняют многоголосные греческие песнопения и речитативы.

Но самым сильным впечатлением от театральной Москвы стали спектакли, где главные роли исполняет Вера Кузьминична Васильева. Прилетев в Москву, я сразу позвонил Вере Васильевой. Она говорила со мной искренне и очень тепло, пригласила посмотреть спектакли с её

участием. Когда-то я аккомпанировал ей на концертах в Москве и в гастрольных поездках. Многие помнят Веру Васильеву в ролях лирической героини фильма «Сказание о земле сибирской» и «Свадьба с приданым». В этом фильме она играла роль Ольги со сценическим женихом Максимом, который в жизни стал ее мужем. Владимир Ушаков, артист Театра сатиры, прожил с Верой Кузьминичной 55 лет. Много раз я аккомпанировал на творческих вечерах этому замечательному дуэту, певшему популярную песню Бориса Мокроусова на стихи Алексея Фатьянова – «На крылечке твоём...»



Малый театр. Спектакль «Пиковая дама». Постановка Андрея Житинкина.
Слева направо: Андрей Житинкин, Вера Васильева, Сергей Виденов

30 сентября 2018 года Вере Васильевой исполнится 93 года. Она удивительно хорошо выглядит. Сохранила прекрасную осанку. А ведь Вера Кузьминична отдала сцене 67 лет. Потрясает то, что в этом немолодом возрасте начался творческий подъём её как драматической актрисы. Главный режиссер театра Сатиры Валентин Плучек не давал ей этой возможности. Поэтому она исполняла роль Кручининой в спектакле «Без вины виноватые» в Орле и роль Раневской в постановке пьесы «Вишневый сад» в Твери.

Сейчас режиссёры разных театров Москвы приглашают актрису на драматические роли. Её обаяние неподвластно времени.

К 90-летию со дня рождения Веры Васильевой режиссер Андрей Житинкин поставил спектакль «Роковое влечение». В основу сюжета положен голливудский фильм 1950 года «Бульвар Сансет». Вера

Васильева убедительно играет роль Ирмы Гарленд – звезды немого кино. Она влюблена в молодого, никому не известного писателя Джона Уильямса. Всеми забытая стареющая звезда Ирма Гарленд любимыми способами решает вновь обрести молодость и вернуться на экран. Вера Васильева создает образ глубокий и трагичный. При этом режиссёр поставил перед замечательной актрисой трудные физические задачи.

В этом спектакле она девять раз переодевается. На сцене установлена трехметровая конструкция, по которой передвигается Вера Кузьминична. Когда по окончании спектакля она спросила у меня о впечатлениях от спектакля, я сказал: «Поражён, как вы легко сбегаете на высоких каблуках по ступенькам сценической конструкции».

Она со своим свойственным только ей юмором и с удивительно доброй улыбкой ответила: «Это всё, что вы заметили?» О спектакле актриса сказала: «Это и об искусстве, и о возрасте, и о любви, и о том, как выживать, когда очень трудно». После спектакля зрители долго аплодировали, никто не хотел уходить. Разумеется, я, как и большинство зрителей, был потрясён великолепной игрой замечательной актрисы, но меня восхитила и её удивительная «спортивная» форма.

В Малом театре я посмотрел сценическую композицию режиссера Житинкина по повести Пушкина «Пиковая дама». Этот прекрасный спектакль должен был быть бенефисом Элины Быстрицкой. Но по состоянию здоровья, как мне сказала Вера Кузьминична, Быстрицкая не смогла в нем участвовать. Таким образом, счастливый билет исполнить роль графини выпал Вере Васильевой. Она создает трагедийный образ, и каждый её выход на сцену вызывает бурные аплодисменты зала, хотя при её красоте и обаянии актриса не выглядит зловещей «Пиковой дамой», символом прошлого. Режиссер-постановщик народный артист России Житинкин погружает зрителей в атмосферу пушкинской эпохи, начиная с первого движения танцевальных пар на балу. Очень помогает лучшему восприятию спектакля прекрасная музыка Чайковского, Листа, Малера, Шнитке.

В театре «Модерн» на Спартаковской площади мне посчастливилось быть на юбилейном спектакле «Однажды в Париже». В течение 10 лет главную роль в нем исполняет Вера Васильева. Автор пьесы Валентина Асланова. Казалось бы, простой сюжет. Это история актрисы Элизабет, ушедшей со сцены, куда она никогда уже не сможет вернуться. Но появляется молодой коридорный этого пансиона, который принес на серебряном подносе утренний кофе мадам. Актриса

читает потрясающие монологи ему, единственному зрителю. Она проигрывает свою актерскую жизнь.



Театр «Модерн». Спектакль «Однажды в Париже». В главных ролях: Вера Васильева, Олег Вавилов

Здоровье не позволяет её героине, как прежде, быть примой, и она придумывает себе уже несуществующий мир и живет в нем. Репетирует роли для никогда не состоявшихся спектаклей, разговаривает по неработающему телефону с воображаемыми журналистами и театральными деятелями, посылает мальчика коридорного отправить телеграмму с отказом играть в не понравившейся ей пьесе. И пытается заставить окружающих, и себя тоже, поверить в свою востребованность и благополучие. Вера Васильева в этой роли очень искренне, пользуясь разными красками, раскрывает образ бывшей звезды театра. Режиссер-постановщик народный артист России Юрий Васильев сумел за лёгкостью постановки прочертить глубокий драматический сюжет.

Я помню молодого Юру Васильева по гастрольной поездке всей труппы театра в 1981 году в Новосибирск. Меня пригласили в эту поездку сопровождать в концертах всем поющим актерам театра. Сейчас Юрий Васильев – ведущий актер театра, режиссёр и педагог. Очень органичны в спектакле, поставленном Васильевым, замечательные партнёры Веры Васильевой: народный артист России Олег Вавилов в роли любовника Ивана и Максим Демченко в роли

коридорного Люсьена. Прекрасная лирическая музыка композитора Рубена Затикяна помогает создать театральную атмосферу спектакля. Зрители уходят после окончания спектаклей счастливые и радостные, вдохновлённые увиденным.



Концерт Бориса Фогеля в Доме Актера. 10 мая 2018 года

Ещё мне удалось посмотреть спектакль Театра Сатиры «Таланты и Поклонники», премьера которого состоялась в ноябре 2002 года. Однако за эти годы зрители не потеряли интерес к спектаклю. В нём замечательно играют Алена Яковлева, Андрей Зенин, Олег Вавилов, Николай Пеньков. Мне вспомнились гастрольные поездки с этими актерами по бывшему Советскому Союзу. Особенно хочется отметить Веру Васильеву в роли Домны Пантелеевны и Юрия Васильева в роли богатого мецената театра Ивана Семёновича Великатова. Они создают яркие сценические образы в комедии Александра Николаевича Островского.

Но, разумеется, походы в театры всё-таки не были главными в этой поездке.

10 мая состоялся мой авторский вечер на сцене Дома Актёра под названием «Летит по свету песня, не ведая преград». Этот вечер был посвящен презентации нотного сборника моих песен, написанных в Бостоне на стихи поэта Давида Клебанова.

В этом вечере, организованном Ириной Москаленко, принимала участие ведущая концерта писательница Юлия Цхведиани. Она специально для этого вечера подготовила рассказ о Бостоне, который она посетила в рамках программы «Образовательный мост». Несколько моих песен исполнила народная артистка России певица Людмила Сафонова, с которой я много выступал в Москве и зарубежных поездках.

Я был счастлив увидеть на концерте в первом ряду Веру Кузьминичну Васильеву. Не смогу забыть добрые теплые слова обо мне и моём творчестве, которые она высказала по окончании концерта: «Вы – невероятно доброжелательный человек, который любит чужие таланты. Когда вы приезжаете в Москву, для меня совершенно святая радость видеть вас и мысленно уйти в те далёкие годы, когда мы все весело жили, несмотря на огромные трудности. И ваша музыка, то, как вы это делаете, как вы это любите, это так нас всех согревало, объединяло – Андрюша Миронов, Мария Владимировна, Шура Ширвиндт... Мне хочется вам пожелать, чтобы вы очень долго были там, где вам нравится, где вас будут слушать. Я так счастлива вас видеть!» Она обещала, что постарается исполнить некоторые песни из сборника, который я ей подарил. Стихи понравились, а музыкальное сопровождение поможет осуществить ее постоянный аккомпаниатор, замечательная пианистка Инна Москвина, проработавшая в Театре Сатиры более 50 лет.

Я желаю Вере Васильевой успешно продолжать свой творческий путь. Ведь она без театра жить не может и она так необходима своим зрителям. Сейчас Вера Кузьминична репетирует главную роль в новом спектакле. Здоровья ей и успешной премьеры! И до новых встреч!

Евгений Соколинский

С.-Петербург, Россия



Французские штучки. Ростан и Мольер на петербургской сцене

«Сирано де Бержерак» Э. Ростана в Александринском театре и «Мизантроп» Ж.Б.Мольера в Санкт–Петербургском театре В.Ф.Комиссаржевской

В начале 1990-х годов в Театре им. В.Ф.Комиссаржевской шла бульварная комедия Ж.Ж.Брикера и М.Ласега «Французские штучки». В нынешнем сезоне, когда через короткий промежуток показаны в Петербурге премьеры «Сирано де Бержерака» и «Мизантропа», почему-то вспомнилось это название. Вспомнилось также мейерхольдовское выражение «режиссерские штучки» – синоним режиссерских аттракционов. Оба спектакля основаны на знаменитейших французских пьесах, и в то же время они режиссерски «эксцентричные» или эгоцентричные, хотя каждый по-своему.

«Сирано де Бержерак» (1887) – пьеса, обожаемая публикой, театрами, актерами. Она красива, романтична, поэтична (особенно в переводе Т.Л.Щепкиной-Куперник). Где «Сирано» только не ставился?! На моей памяти, в Театре им. Ленинского Комсомола и Балтийском доме, Театре им. Ленсовета, Приюте Комедиантов и, конечно, в Театре драмы им. А.С. Пушкина (Александринском) – говорю только о Петербурге. В 1987 г. И.О. Горбачев поставил пьесу

для себя. Правда, иногда давал поиграть и второму исполнителю А.В.Маркову А уж кто только не воплощал образ поэта, бретёра, протестанта! От М.Астангова и Р.Симонова до нынешних С.Шакурова, Г.Тараторкина, К.Райкина, М.Суханова, С.Безрукова. Впрочем, не буду удаляться в историю. На тему постановок «Сирано» в российском театре выпущена целая книга Евгении Тропп в 2017 году.

При всей разнице трактовок и переводов (помимо Щепкиной-Куперник – Вл.Соловьёва, Ю. Айхенвальда, Е.Баевской) пьеса до сих пор сохраняла сюжет, стиль, романтичность. Кстати, в Ярославле издан сборник со всеми четырьмя переводами (2009).



Сирано – Иван Волков. Фото: Владимир Постнов

Николай Рощин, главный режиссер Александринского театра (с 2016 года), вероятно, впервые столь решительно порывает с традицией. «Стихов почти нет, большинства самых известных сцен нет, историзма нет. Есть романтика протеста, переходящего в утопию протеста и усталость природы протеста. Но суть, как нам кажется, не ушла и даже заострилась» – так излагает свою программу в аннотации к премьере Рощин. Текст представлен сценической редакцией Н. Рощина, А. Демидчика на основе подстрочного перевода М. Зониной – Зонина обычно переводит французские драмы XX века.

Итак, героическая комедия о поэте лишена поэзии, лучшие сцены либо отсутствуют, либо сильно сокращены, из словесного плана

переведены в визуальный. Скажем, знаменитый монолог о носе пересказан в одном абзаце, другой монолог (баллада о дуэли «И попаду в конце посылки») заменен комической игрой с перебиранием видов оружия и защиты: от ножа до современного гранатомета.

Современность (за исключением политики) не любит слово. Можно, конечно, поговорить о том, что слова девальвировались (жалоба не нова), но тогда нужно «выбросить с корабля истории» и Пушкина, и Шекспира – они, увы, выражали мысли словами. Более того, компьютерщики жалуются в социальных сетях, что им мешает большое количество букв. Ограничиться междометиями, вроде, неудобно. Остается возвращение к наскальной живописи. Это было бы кардинальным решением. Но трудоёмко.

Беда в том, что нынешний авангард ничего нового не предлагает. Он доводит до абсурда старые сюжеты, модернизирует их, «играет в бисер». Сознаю, бывает авангард авангарднее, и для кого-то Роцин вполне традиционен. Все же он борется с традицией, и, вероятно, это главная для него задача. Скажем, Роцин уделяет много времени и сил представлению в некоем академическом театре (по пьесе Театр Бургундского отеля) с актером Монфлери. Перед нами мерзковатый Купидон (Степан Балакшин) с обилием толщинок и накладным членом. У Роцина своеобразное чувство юмора. Он строит пародийное действие с куклами и масками (люди интересуют его меньше). В «Бане», например, всех заслоняет гигантская кукла Маяковского. В такой же масочной манере поставлен и «Ворон» по К. Гоцци.

Кого сегодня пародирует Монфлери, трудно понять. Это самоценная режиссерская игра в стиль XVII века, которого мы не застали. Более понятна пародия на современный технократический стиль, кстати, свойственный художественному руководителю театра Валерию Фокину. Здесь героя во многом замещает осветительная аппаратура. Опускаются, поднимаются, сами по себе поворачиваются софиты – театр оснащен лучше некуда. Из давних времен, когда боги и герои появлялись на облаке, в новом «Сирано» заимствована любовь к подвесам. Также Балакшин – Швейк спускается на кресле с небес в фокинском «Возвращении Швейка», а Балакшин-Монфлери-Купидон в роцинской премьере спускается с небес на облаке-подушке.

Естественно, Сирано наглядно контрастирует с этой старинной безвкусицей. Он в современном черном костюме, говорит с интонациями нашего современника. Возникает только вопрос, кого пародирует Роцин, с кем борется наш гасконец? Где то архаичное,

академичное, официальное искусство? В БДТ? Там воюет авангардист Андрей Могучий. В Мариинке?



Роксана – Оксана Обухович. Фото: Владимир Постнов

Там ставят Верди про итальянских мафиози в Нью-Йорке («Сицилийская вечерня») и т.д. В Михайловском? Там бушует Андрий Жолдак в «Евгении Онегине» и «Иоланте». Может быть в соседке-Комиссаржевке? Там Роман Смирнов ставит «Гамлет квест». Режиссерские удары Рощина, похоже, наносятся куда-то вбок.

Пародия на Бургундский отель XVII века времен, которые и Ростан не застал, сменяется пародией на милицейские сериалы, где Сирано больше напоминает главаря банды, чем борца за справедливость. Само собой, на место театральной супер-условности приходит видео с супер-натурализмом. Кстати, список съемочной группы спектакля несколько больше, чем список театральной постановочной бригады. Особенно интересен специалист под названием фокус-пуллер (вообще-то это наводитель на резкость при съемке).

Сирано вступается (почему-то) за безумную графиню Линьер (Анна Селедец). Суровые бандюганы (Ле Бре, Рагно, и др.) вместе со своим главарем Сирано долго, идиотично кружатся на рафике вокруг Александринского театра, пока не обнаруживают 100 омоновцев, перегородивших улицу Зодчего Росси (вместо улицы у Нельской башни). Храбрый и бессмысленный гасконец бросается с двумя

молотками на щиты, при этом теряя свой пресловутый нос. В пьесе эпизод битвы со 100 убийцами, которые ждут Линье, обидевшего куплетом де Гиша, только пересказывается, но здесь это один из основополагающих моментов спектакля. У Ростана Сирано понятен – он вступился за свободу слова, за собрата по перу и фантастически победил. Здесь Сирано, скорее, пошел размяться перед любовным свиданием, и был избит закономерно. Лицо в кровище и т.д. Сирано почти весь спектакль истекает кровью. Его полутруп смывают с проезжей части водомётом, как мусор. Плетью обуха не перешибешь. Все же фильм в спектакле забавен. Особенно скупой разговор взглядами «настоящих мужчин» в машине.

Как ни крути, Сирано должен быть положительным героем. Но ради чего он хлопочет? Понятно, по Рошину, он не поэт – стихи пошли под нож. Любовь к женщине пуста. Не к этой же куколке (Роксане) испытывать великую любовь. Да и Роксана-то мнимость. Последний монолог Бержерак обращает к пустому футляру – монашескому платью женщины. Мужская дружба тоже фальшива. Друзья Сирано уходят от своего товарища с де Гишем пить и смеяться.

Даже современный режиссер понимает: надо как-то двигать представление. И тут извлекается из сундука текст Ростана. Персонажи Сирано (Игорь Волков), Роксана (Оксана Обухович), Кристиан (Виктор Шуралёв) с большим или меньшим успехом пересказывают своими словами (точнее, по сильно сокращенному подстрочнику) реплики Ростана. Трудно возражать против сокращений – и Олег Ефремов убрал в свое время половину оригинала. Но зачем же его тускло пересказывать? Те, кто читал или слышал перевод Щепкиной-Куперник, с унынием вспоминают, насколько у нее это было блестяще, и видят, насколько упрощенно, грубо звучит проза XXI века. В чем преимущество замены? Я понимаю Ю. Айхенвальда, он перелагал для «Современника» первоисточник стихами, приближающими пьесу к современной лексике, убирал неизвестные имена, избавлял пьесу от излишней красоты. Но кому нужен стертый язык М. Зониной?

Спектакль практически движется от режиссерской штучки к режиссерской штучке. Следующий после боя с омовцами аттракцион: венчание Роксаны с Кристианом из роستانовского 3-го акта. Изящество неоромантика Ростана Рошину чуждо, поэтому он превращает венчание в фарс, когда три участника церемонии, включая Капуцина, напиваются вдрызг. Само собой, великолепный лунный розыгрыш Де Гиша пошел в корзину. Зато изображен пьяный жених

(Кристиан), торопливо спускающий штаны, не дожидаясь брачной ночи. Впрочем, его отправили срочно на войну.

Следующий аттракцион – эпизод при осаде Арраса (действие 4-е). Вы, надеюсь, не подумали, будто нам покажут военные действия? Зато нас вернули к историческим костюмам. Точнее, от трусиков и маечек – к атрибутам XVII века. Очевидно, не для того, чтобы показать их эффективность. Для того, чтобы продемонстрировать их нелепость, неадекватность. Люди собираются на смертельный бой и при этом завязывают бантики, расправляют кружавчики и т.д. Причем, делают это словно автоматы, никуда не торопящиеся. В полном молчании. Эпизод явно комический, даже поначалу смешной, но безмерно затянутый. Детальное одевание длится минут 20. То, что поначалу кажется любопытным, через 10 минут становится нестерпимым. Так и задумано. Это что-то вроде «игры на зрительских нервах», любимых режиссером московского «Эрмитажа» Михаилом Левитиным. Кабинки для переодевания превращаются в гробы, куда и валятся при первом же залпе гвардейцы.

Все же режиссер идет навстречу нашим «дурным» привычкам – стремлению к сюжету. За «одевательской» шуткой следует текстовый кусок. Надо же доиграть «навязшую» историю с Сирано. Недотёпа благополучно умирает, и режиссер облегченно вздыхает. Теперь Рощин может творить самостоятельно, без вмешательства надоевшего Ростана.

По завершении пьесы как таковой (фактически, без финального монолога – он произносится по-французски), возвращается Монфлери. Толстяк издевательски говорит: «Вы, зрители, ведь ради пасторали с моим участием и пришли в театр?» В течение получаса разыгрывается глупая история с Пастушкой и Пастушком, на первых порах напоминающая пастораль в сцене бала из «Пиковой дамы». Но если в опере Чайковского она достаточно органична, в Александринском театре, где, казалось бы, рассказывают о современном протестанте, пастораль превращается в хоррор с изнасилованием Пастушки и самоубийством влюбленных. Самое же главное: ад по-американски, то есть ад Дяди Сэма, где грешников-самоубийц, если они не проявляют желания продать Родину, проворачивают через гигантскую мясорубку. Пока ноги жертв превращаются в фарш (этот фарш бросают в публику), селяне произносят пародийно-патриотические речи. Над чем издевается режиссер, сказать затруднюсь. То ли над псевдопатриотизмом, то ли над антиамериканской пропагандой. Факт тот, что к основной, декларируемой задаче спектакля это не имеет

никакого отношения. Перед нами большое режиссерское антре, затянутое и не лучшего вкуса. Одна молодая критикесса объяснила, что получасовая финальная пародия показывает, во что превратится современное искусство без протестанта Сирано. Увы, ее догадка не убеждает.

В любом постмодернистском действии должна быть соразмерность частей и чувство ритма. Здесь соразмерность и не ночевала. Каждый режиссерский эпизод затянут, доказывает только одно: режиссер может работать и в таком стиле. Что же касается главного героя, то он режиссеру не очень интересен, хотя с актером Иваном Волковым Рошин сотрудничает уже много лет.

Волков, наш новый Сирано, успел поработать у Вячеслава Полунина, в спазм-оркестре «Корень из девяти». Характерны признания актера в интервью: «Нас интересовало то, что «до слова» или «после слова» [...] «очень легко потерять представление о плохом и хорошем». Иван Волков полагает: для поколения его родителей все было прозрачно и ясно. Теперь люди ужасно сложные, поэтому не различают добро и зло, хорошее и плохое. На мой примитивный взгляд, Волкову для роли Сирано не хватает бешеного темперамента его матери (Ольги Волковой, когда-то звезды ТЮЗа, Театра Комедии, БДТ), которую я называл «Кин в юбке».

К сожалению, премьера Рошина фрагментарна, достаточно рассудочна и не азартна. В ней есть остроумные эпизоды, но они не оправдывают отсутствие целого и ярких актерских работ. «Штучки» и не более того.

Вопреки декларации режиссера я не заметил в александринской постановке «усталость природы протеста». Скорее, усталость режиссерской мысли. Стоило ли тревожить тень поэта де Бержерака и поэта Ростана, чтобы убедить нас в пустоте и бессмысленности всего сущего?

Другой авангардист, режиссер Константин Богомолов, признался по случаю премьеры «Славы» Виктора Гусева в БДТ им. Г.А.Товстоногова: «Меня не интересуют художественные прорывы. Меня интересуют технократические прорывы». Боюсь, технократическими задачами озабочены и другие наши режиссеры-современники.

Мольеровский «Мизантроп» совсем не похож на «Сирано». Григорий Дитятковский – человек начитанный, интеллектуальный, в известном смысле, эстет. Поэтому оригинальный текст в спектакле Театра им. В.Ф.Комиссаржевской сохранен.



Альцест – В.Крылов. Фото из архива Театра им. В.Ф.Комиссаржевской

Более того, персонажи выступают в красивых исторических костюмах Владимира Фирера. Минималистская сценография в багровых тонах более спорна, но не возмутительна. За что спасибо всей постановочной бригаде. Но как только слышишь текст, начинаешь поскрипывать зубами.

После режиссерского пролога со слугой просцениума (Ефим Каменецкий) – он зажигает шандалы, стучит жезлом – звучит первый монолог Альцеста. Владимир Крылов произносит его в бешеном темпе и достаточно озлобленно. Понять стихи (в переводе Т.Л.Щепкиной-Куперник, которую отбросил Николай Рошин) можно только наполовину, но совершенно ясно: перед нами человек неприятный и раздраженный. В дальнейшем это впечатление подтверждается. Григорий Дитятковский воспринял прозвище главного героя буквально. В программке приведено определение из Википедии: «Мизантроп – человек, который избегает общества людей, нелюдим, страдает или наоборот наслаждается человеконенавистничеством (мизантропией)». Далее говорится о сходстве между мольеровским героем и Чацким. Критики эту параллель с удовольствием подхватили. Однако Чацкий вовсе не мизантроп. Он приезжает в Москву влюбленный в Софью и поначалу ничего не имеет против Фамусова. Александр Андреевич охотно приходит на бал, острит, еще не

понимая, как его слова воспринимаются светом. И только в финале этот свет выдавливает Чацкого из Москвы.

Альцест с самого начала испытывает неприязнь к своему окружению, возмущается единственным другом Филинтом и своей невестой Селименой. Следя за Альцестом в течение двух сценических действий мы убеждаемся: он «желчевик». Очевидно, такая трактовка входила в намерения режиссера. Симптоматично признание Дитятковского на церемонии награждения Высшей театральной премией Санкт-Петербурга 29 октября 2018 г. Получая премию за лучший спектакль большой формы, Дитятковский сказал: «С каждым годом все труднее любить актеров». Иными словами, он ощущает в себе растущую мизантропию, с которой пытается бороться, в том числе и с помощью постановки спектаклей.

На самом же деле, у Мольера речь идет не столько о мизантропии, сколько о правдолюбии. Стоило ли писать о человеке с дурным характером? Как Сирано де Бержерак, так и Альцест, оба не боятся говорить правду вышестоящим лицам, всегда откровенны, что не принято в обществе. Реальным примером такого человека, талантливого, умного, но непримиримого, всегда говорящего «кто сволоочь», является актер, режиссер, бывший министр культуры СССР, а ныне депутат Московской Городской думы Николай Губенко.

Всякий человек, посещавший ленинградские театры в 1970-е годы, помнит «Мизантропа» Петра Фоменко в Театре Комедии (1975, 1980). В обеих редакциях постановки (с Георгием Васильевым и Виктором Гвоздицким (1975), Владимиром Ереминым (1980)) это был спектакль трагически-сатирический. Человека предельно честного, страдающего, окружали зловещие маски. Среди них невозможно жить и любить. Альцест и Селимена – представители оппозиции, их ждет в финале арест.

Дитятковскому подобная политизированность чужда. Да и время другое. Никаких гротескных масок, никаких злодеев. Оронт в Комиссаржевке – нормальный серьезный человек (Денис Старков), вздумавший побаловаться стишками. С кем не бывает. Надо ли его так ожесточенно топтать? Неделikatно. И два маркиза (Акаст и Клитандр) в своем праве, когда возмущаются Селименой, посылавшей им любовные и в то же время оскорбительные письма. Евгения Игумнова, как и Альцест у Дитятковского, малоприятная особа, сплетница. Любить никого не способна (в том числе и Альцеста), также желчна, но еще и неискренна во многих случаях. Опять же не могу не вспомнить высказывание Игумновой на «Золотом Софите».

Бессменная звезда Комиссаржевки, которую в начале ее карьеры А.А.Белинский провозгласил «новой Комиссаржевской», удивилась, почему приз получила «человеконенавистница» Селимена.

Не обсуждаю правомочность получения наград. Тому есть субъективные и объективные причины. Разумеется, Игумнова более профессиональна, чем ее партнер. Она лучше читает стихи. У прочих каждое слово – главное. Ритм нарушен. Однако в ее Селимене ощутима необъяснимая усталость. Впрочем, необъясним весь образ Селимены в спектакле. Теоретически мы должны симпатизировать и Альцесту, и Селимене, а не за что. Обычно персонажи Владимира Крылова в других постановках наивны и трогательны – здесь и этого нет. Крылов кричит и суетится. Не могу не обратиться к мнению Ю.Айхенвальда (процитированному в книге Е.Тропп ««Сирано де Бержерак» Э.Ростана и русский театр» (СПб., 2017. С. 93), одного из переводчиков «Сирано де Бержерака»: «Характер в стихотворной пьесе – не то, что в пьесе прозаической, бытовой...это портрет росчерком пера, как рисунок Пикассо, – меньше психологизма, больше легкости, цельности исполнения, ибо сам характер целен, даже если он противоречив: в стихотворном характере, даже противоречивом, есть некая обобщающая завершенность. Есть своя мелодия». Вот этой легкости, завершенности Альцесту-Крылову и не хватает.

Остальные исполнители как бы минуют проблему стиха, по нынешней традиции его прозаизируя. Я бы не рискнул обвинять театр в недоработке – на репетиции было выделено 9 месяцев. Достаточный срок, чтобы «ребенок» родился здоровеньким, полноценным. Не случилось, хотя есть поклонники спектакля. Но есть много других, кто на представлении сильно скучал.

За отсутствием подлинного Альцеста его место занял Филинт, друг Альцеста. В замечательной постановке Фоменко 1975 г. Филинт был почти не заметен. Здесь Егор Бакулин становится «героем нашего времени». Этот мягкий увалень добр, деликатен, действительно хороший друг и вполне заслуженно награжден под занавес тривиальной, но привлекательной Элиантой (Варвара Репецкая). Истероидных и мечущихся, походя оскорбляющих направо и налево, много, а людей здравомыслящих – недостаточно. Крикливости Альцеста Филинт противопоставляет спокойствие. Это отнюдь не Фамусов и не интриган Молчалин, но он умеет жить в обществе. Не знаю, насколько подобная расстановка сил озвучивалась на репетициях, однако концепция «непротивления жизни» очень

органична для Театра им. В.Ф. Комиссаржевской. Театр может быть разным, но протестантства в его палитре нет.

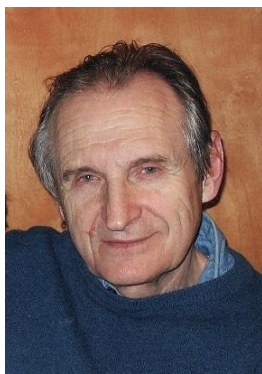
Хотел Дитятковский этого или нет, но спектакль получился про человека естественного, коммуникативного. Быть может, в этом одна из причин, почему его поддержало жюри «Золотого Софита». Однако постановка выворачивает пьесу наизнанку.

Что же получается? Перекраивает ли режиссер текст полностью или сохраняет его в неприкосновенности; игнорирует стих Щепкиной-Куперник или уважает его, режиссерская мысль опрокидывает авторский замысел. Два поэта перестают быть поэтами. При этом уничтожается и внятность жанра. Жанр в обеих постановках «серобуромалиновый». Персонажи спектакля могут рядиться во французские исторические наряды, однако режиссер должен непременно сделать смысловой «кувырок». Ох, уж эти режиссерские французские штучки!

Нет новых мыслей, новых героев и, в конечном итоге, все сводится к дилеммам: читать стих или не читать, использовать в полной мере театральную машинерию, видео или не использовать. А жизнь пуста и тосклива. Не за что бороться, некого любить.

Сергей Линков

Бостон, США



Здравствуй, Шлема, с днем рождения! Спектакль о Михоэлсе в Бостоне

С каких-то давних-давних времен запомнилось. Наверное, август-сентябрь 45-го года. Радостный, возбужденный разговор взрослых о каком-то спектакле в Еврейском театре. Он тут, рядом, на Малой Бронной.

А потом всплыло имя Соломон Михоэлс. Оно как-то притягивало, оно мне нравилось, может быть, своей звучностью, не знаю... Попробуйте, произнесите громко Соломон Ми-хо-элс с короткими паузами.

Холодная, пустынная Малая Бронная. Серый стоячий воздух. Иду в школу, наверное, это было 14 или 15 января 1948-го. И я, двенадцатилетний, чувствую что-то неприятное, тревожное ...

Спектакль памяти Соломона Михоэлса я хотел сделать давно. Многое прочел, посмотрел. В 2017-м году написал краткий сценарный план, назвав его «Здравствуй, Шлема! С днем рождения!», имея в виду то, что наше представление станет днем его рождения. Он жив, он с нами.

Соломон Михоэлс был в своем искусстве режиссера, актера радостен и заразителен. Все свои спектакли театр ГОСЕТ играл на идише. На вопрос «Почему?» Михоэлс отвечал: «Язык – часть нашей культуры, и мы обязаны ее беречь.» Он вырос в хасидской семье. Получил от

родителей любовь к книгам, знание Торы, Талмуда, притчей, легенд одного из древнейших народов мира. Он был впечатлительным мальчишкой и остро воспринимал все, что происходило в тихом провинциальном Двинске, где почти половина населения была еврейской. Все это стало его взлетной полосой как личности. С ранних лет он обнаружил в себе тягу к лицедейству, она сопровождала его всю жизнь. Почему она возникает, тяга к лицедейству? Ответы могут быть самые разные, и многие будут правильными. А в случае со Шлемой Вовси, наверное, можно сказать, что это была игра и осознанная или не осознанная попытка проникновения в то, что происходит с человеком внутри него, за внешней простотой жизни.

В 1945-м году, в июле месяце, Михоэлс ставит спектакль «Фрейлехс». Он хотел сделать, что-нибудь шумное, веселое, чтобы люди встряхнулись. Первую репетицию начал со слов: «Плакаться надо перед Богом, а перед людьми смеяться. Гасите свечи, задуйте грусть».

Обо всем этом думалось, когда писал первый вариант сценарного плана. Отдал его продюсеру Борису Фурману. Началась работа. Вскоре получил от Саши Зарецкого десятки ссылок на материалы о Михоэлсе и, более того, он нашел Леонарда Лермана, сына Эмилии Розенштейн – переводчицы Михоэлса в Бостоне в 1943-м году. Леонард – композитор, библиограф, музыкальный директор синагоги в Нью-Йорке. Я очень обрадовался находке – до нас долетело эхо из того времени. Начался диалог с Лерманом. Он оказался живым общительным человеком, наполненным знанием многого, связанного с Михоэлсом.

Дожили и до поиска исполнителей для нашего представления. Однажды Борис предложил мне поехать в Temple Shalom послушать хор. Войдя в синагогу, очутился в обширном вестибюле, в распахнутые двери видны просторные залы, какой-то домашний мягкий свет. Хор уже стоял на сцене. Одна песня, вторая, третья... Слышалось волшебное пение, чистое, возвышенное. Глаза руководительницы хора горели страстью, ее руки, поднимавшиеся вверх, казались устремленными туда, ввысь. Я не мог отвести от нее глаз. И понял, вот что нам надо! Просто необходимо! И сразу за последней песней, за аплодисментами ринулся к Кэрол Мартон (так ее звали). Представляюсь, говорю о нашем проекте. Хочу, чтобы ваш хор в нем участвовал. Можете?! Хотите?! Борис поддерживает, и она говорит: «Да». Чувствую, что совершилось что-то очень важное. И, спустя

какое-то время, понимаю – пение этого хора может стать камертоном всего нашего представления.

Лет 8-10 назад я встретил в Бостоне человека, лицо которого мне показалось очень знакомым. И я не ошибся. Впервые я его увидел в 1957-м году. Это был Семен Ривкин. Мы начали общаться. Он руководил организованной им театральной молодежной студией «5 вечеров». Иногда я ходил на их выступления. Семен Ривкин, театральный режиссер, работавший в Москве, в театре Маяковского, оказался одаренным педагогом. Мне нравились его ребята воспитанностью, серьезностью. К сожалению, этот талантливый, славный человек ушел из жизни. А его студийцы продолжают встречаться, осуществлять свои идеи на сцене. Одно это говорит уже о многом. Я решил пригласить двух из них участвовать в нашем проекте. Это Алина Лукьянова и Роман Головач. Мы начали встречаться, разговаривать, нащупывать общую почву. А в мае 2018-го года начались репетиции. Я предложил каждому работать над тремя текстами в разных жанрах. Был уверен, что им это по плечу.

Вот Перец Маркиш. Какой это был красивый и смелый человек. «И молод день и прям, и высь бурлит, блестя, и ветерок упрям, и я еще дитя...» А Шлема Вовси в 9 лет к дню своего рождения написал пьесу в 4-х действиях, и сам отважился сыграть все роли. В 9-то лет! Мне показалось, что интонация стихотворения очень «ложится» на Шлемино лицедейство. Через 35 лет этот некрасивый, невысокого роста мальчик сыграет короля Лира. А почему бы нам не показать на экране финальный монолог Лира-Михоэлса?! Сохранилась же пленка. А наш актер на сцене, нет-нет, не играя, это было бы неправильно, прочтет и напомним зрителям этот монолог.

А вот не очень известный рассказ Веры Инбер «Соловей и Роза». О весне в Москве, о любви, сжигающей портного Эммануила Соловья, часто напевавшего за работой слова Суламифи: «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви». Этот рассказ привлек еще и потому, что Соломон Михоэлс любил в зрелые годы, встречаясь со своим братом Хаимом, вспоминать мастеровых из местечек – портных, кузнецов, стекольщиков, каменщиков, их трудную жизнь, их юмор, их надежду и веру в счастье. Так почему бы актрисе не спеть «Дайте немножечко счастья»!? Алина начинает заниматься с учителем музыки, и скоро я услышал, как она это поет. Это было хорошо. В спектакле, правда, она делает это вместе с певицей Лилианой Глик.

На репетициях с Алиной и Романом искали неожиданности в интонации, в жестах, обращали внимание на эффективность перемены ритма. А иногда говорили просто о жизни, о запомнившихся по какой-то причине чувствах и наблюдениях. От этого легко перейти к выражению сценических чувств и внутренней наполненности на сцене. Это всегда легко определить по выражению глаз актера.

В 1936 году Михоэлс сыграет в фильме «Семья Оппенгейм» доктора Якоби. Мы берем сцену из этого фильма. Штурмовики-нацисты приходят в госпиталь и заявляют главному врачу: «Мы должны вышвырнуть отсюда всех еврейских врачей!». Затем они входят в приемную доктора Якоби. Там есть мастерски сыгранный Михоэлсом момент. Штурмовик дергает его за галстук, и Якоби спокойно, не торопясь, глядя ему прямо в лицо, возвращает узелок галстука на место. Возникает фотография – ров с обнаженными женщинами и детьми. Звучит стихотворение Семена Рудяка – «Меня здесь нет в том страшном декабре, не я снимал над рвом свою одежду...». Мы напоминаем о Холокосте. И медленно, перед сценой, лицом к зрителям встает хор...начинает петь песню узников Варшавского гетто «Закрой свои глазки» (обращение к ребенку). В зале тишина.

Возникает тема – Михоэлс – Председатель Антифашистского еврейского комитета. Его первое обращение на митинге и по радио началось со слов «Братья евреи!». Так Соломон Михоэлс вышел на свою тропу борьбы с фашизмом. Во время поездки по США летом 1943-го года с помощью еврейских благотворительных организаций он собрал огромные деньги, около 40 млн долларов, на которые было куплено 1000 самолетов, 500 танков, медицинское оборудование, одежда, продовольствие, но, помимо всего этого, он завоевал сердца американцев. На встречи с ним приходили десятки тысяч людей. Все хотели пожать руку, обнять. Однажды доска помоста, на котором он стоял, провалилась, сломана нога, но поездка продолжается.

После постоянной и обширной переписки с Леонардом Лерманом, решили, что у него будет 5 минут для рассказа о пребывании Михоэлса в Бостоне в июле 1943-го года. И он сделал это, живо, с юмором. Американская часть аудитории приняла его очень горячо. Он был представлен, на сцене появилась девушка в шляпке военного времени (Женя Фурман), сказала, что ее зовут Эмили Розенштейн и она будет его переводчицей. Атмосфера легкой игры, доброжелательности сопровождала выступление нашего американского гостя, а его жена Хелен Вильямс спела отрывок из песни Бернстайна, посвященной борьбе союзников во Второй мировой войне.



На сцене в течение всего представления стоит передвижной экран (детище Миши Филиппова). Он был как бы еще одним действующим лицом. С ним быстро и по-свойски обращались Роман Головач и ведущий Борис Фурман. Экран то стоял в глубине сцены, то возникал прямо у рампы. Нам было очень важно приблизить изображение к зрителю.

Как соединить все части нашего представления в единое целое? Многое зависело от нашего ведущего. И он сделал это, иногда словами, иногда движениями, порой танцевальными, жестами. Специально посещал для этого танцевальный класс. А наши музыканты!? Гитара – Миша Никитенко, кларнет – Юра Левинсон сопровождали все происходящее на сцене: здесь выявили смысл, а здесь – усилили эмоции... Все скреплялось, соединялось.

Как-то на репетиции хора Kőleini Кэрол Мартон спросила меня, во что будут одеты хористы на спектакле. Я знал свой ответ и тут же сказал ей – «В обычную повседневную одежду, но, конечно, никаких джинсов» и объяснил почему. «Я хочу, чтобы хор был одет так, как зрители в зале. Они и мы – все вместе». На этой же репетиции Борис произнес перед хором зажигательную речь с рассказом о Михоэлсе. А я попросил их прийти в хорошем настроении. И вместо первоначальных 15-ти человек на представлении было 40 хористов. Выступление хора подняло спектакль над землей, это была особого рода эмоциональность, негромкая, нешумная, устойчивая.

На сцену выбегает девушка с микрофоном в руке, она поет песню «Вокруг костра», за ней – парень, еще один, еще... они поют по очереди, потом вместе, они делают это темпераментно, азартно. Начинается их танец, веселый, притягательный. Это было по-настоящему красиво и зажигательно. Кто это сделал? Собравшиеся на день-два из других городов воспитанники Ани Кравец, художественного руководителя Еврейского Музыкального театра. А предшествовали этому выступлению слова ведущего: «Окончилась война, и уже в конце июля 1945-го состоялась премьера спектакля «Фрейлехс», поставленного Михоэлсом». Это был его парад победы. Он пережил это, он знал, какой ценой народ заплатил за победу. Но своим «Фрейлехсом» – он призывал к жизни...к радости.

А затем в финале хор запел *Ale Brider* – мы все братья, мы все сестры... К хору присоединились участники представления, зрители. Случился момент единения. Это был итог нашего вечера памяти Соломона Михоэлса.

Опустела сцена. В глубине еще горят, как прощальные огоньки, небольшие электрические гирлянды, горят свечи. Это придумала и осуществила буквально накануне художник спектакля Ксюша Магваер.

Вспоминаются слова Михоэлса: «Гасите свечи, задуйте грусть».

Александр Сиротин

Нью-Йорк, США



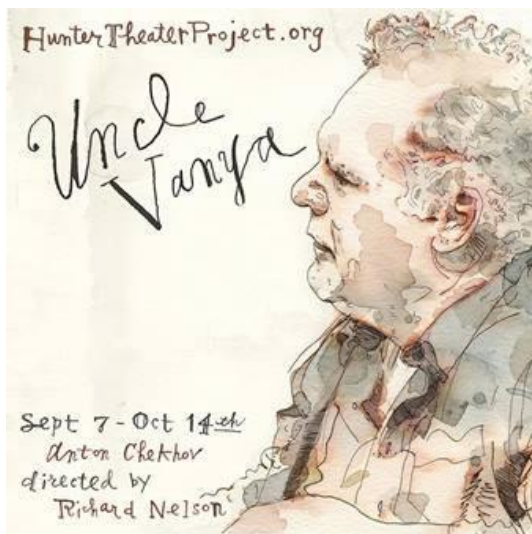
Дядя Ваня на Манхеттене

У американцев не ослабевает интерес к пьесам Чехова. Спросите любого американского актёра, играл ли он в чеховских пьесах, и услышите: «Да!» За четыре десятилетия, что живу в Нью-Йорке, я пересмотрел десятки «Чаек», «Вишнёвых садов», «Трёх сестёр» и «Дядь Вань». Актёры в основном играют хорошо. Режиссёры по-разному трактуют пьесы Чехова, но главное – к автору, как правило, относятся с большим уважением и стараются не исказить его идеи.

Этой осенью на сцене театра манхеттенского Хантер-колледжа зрители увидели постановку «Дяди Вани» в новом переводе Ричарда Пивера и Ларисы Волохонской при участии Ричарда Нельсона, режиссёра спектакля. Перевод сделан на современный английский язык, дабы приблизить Чехова к молодым американским зрителям. А режиссёр-драматург Ричард Нельсон сделал сокращённый вариант. Он, ужав текст и убрав из пьесы нахлебника Телегина, уложил спектакль в 1 час 45 минут без антракта.

Когда-то публика могла смотреть пьесы в пяти действиях, потом только в четырёх, затем в трёх. В наше время драмы и комедии идут не более, чем в двух актах, а всё чаще в одном и без перерыва.

Постановка не коммерческая, внебродвейская, поэтому цена билетов для студентов 15 долларов, всем остальным – 37 долларов. Места не нумерованные, зрители садятся кто где хочет. Зал камерный, менее чем на 200 мест. Зрители сидят со всех четырёх сторон сцены. Видно хорошо отовсюду.



На сцене три старых потёртых деревянных стола, на них несколько перевёрнутых деревянных стульев. При первом выходе актёры расставляют столы и стулья в нужном порядке, который не меняется до конца спектакля. Одежда персонажей простая, можно сказать рабочая, вневременная. Как у Брехта, ни время действия, ни место действия, то есть страна, значения не имеют. Всё может происходить в России в конце 19 века, или в Америке в первой четверти 21 века.

По заданию режиссёра, актёры специально будто играют не для зрителя, а для себя, чтобы максимально достичь правды жизни на сцене. Говорят они друг с другом тихо: будто не в театре, не на сцене, а у себя дома, в одной комнате. Этот режиссёрский прием потребовал разместить под потолком десятки микрофонов, а зрителям при входе в театр предлагали наушники, ибо порой трудно разобрать, что говорят артисты.

Поначалу у меня возникало впечатление, что я присутствую на читке пьесы или на первой репетиции, когда актёры лишь пробуют себя в роли. Особенно это относится к исполнителю роли Астрова (Джесси Пеннингтон). С нечёсаной бородой, немного косноязычный, похожий

на бездомного, Астров, который у Чехова умный, усталый, ироничный, но не лишённый романтики, сильно пьющий земский врач, в этой постановке вызвал у меня полное недоумение.

Видимо, главным для постановщика в этом персонаже было то, что он не может без спиртного. Совершенно непонятно, как в такого неопрятного человека могли влюбиться сразу две женщины: и Соня, и Елена. Глядя на него, трудно поверить, что это он мог сказать: «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». На мой взгляд, Астров в этой постановке – единственная серьёзная неудача и актёра, и режиссёра. ...

И водку он пить не умеет. Опрокидывает стопку даже не поморщившись, не набрав воздух и не выдохнув. Разумеется, в стопке простая вода, но ты же актёр – сыграй! Режиссёр, поставивший перед собой и актёрами задачу достичь максимального правдоподобия, уйти от театральности, пренебрёг мелкими деталями, из которых и состоит реальность.

А нарочитый реализм, вопреки режиссёрскому замыслу, создаёт ощущение искусственности. Как говорил актёрам Станиславский – первый исполнитель роли Астрова в «Дяде Ване»: «Есть простота, которая хуже воровства». Это когда актёрская простота сделанная, наигранная.



Астров – Джесси Пеннингтон, Дядя Ваня – Джей О. Сандерс

Теперь, собственно, о тех самых бросившихся мне в глаза деталях, на которые большинство зрителей наверняка не обратили внимание, но... Доктор Астров и по российским, и даже по американским понятиям – человек более или менее воспитанный.

Ну никак не может врач, вытерев руки полотенцем, бросить его, мокрое, на общий стол. И мужчина, тем более врач, не будет сидеть, развалиясь, на стуле, разговаривая со стоящей перед ним и нравящейся ему женщиной, даже если он – врач деревенский, а вся пьеса названа Чеховым «сценами из деревенской жизни».

Да и брюки у доктора дырявые, дырка на колене. Странно, что Соня не предложила её заштопать. И дядя Ваня, хотя и живёт в деревне, управляя помещьем, которое его покойная сестра оставила в наследство мужу, профессору Серебрякову, не может вытирать грязные руки о свои штаны, и не будет, отерев о салфетку грязный, липкий от яблочного сока нож, класть его обратно в выдвижной ящик стола вместе с чистыми столовыми приборами.

В одной из сцен Соня, дочь профессора, и Елена, жена профессора, ходят по столовой, которая также и гостиная, босыми. Почему? Что хотел сказать этим режиссёр? А зрители в это время разглядывали у обеих актрис выпирающие сбоку от большого пальца ноги косточки.

Астров и Иван, конечно, давние друзья, но пить спиртное из одной фляжки при наличии стаканов... уж не настолько они оба деревенские! И няня Марина не настолько деревенская, чтобы ставить туфли для Сони не на пол, а на стул, на который через минуту кто-то сядет.

Неужели таким поведением персонажей режиссёр хотел приблизить Чехова к современной американской публике? Соня, которая у Чехова – Софья Александровна, в программке значится как Sonya Alexandrovna. А в биографической справке о Чехове пишется, что родился он in Taganrog, Russia, on the Sea of Azov. Да-да, на Азовском море вместо Азовского.

...И всё-таки смотреть спектакль было интересно. Актёрам удалось выполнить главную заложенную в чеховской пьесе задачу: сыграть людей несостоявшихся, несчастных, разочарованных, но скрывающих это от чужих глаз, сдерживающих до поры свои эмоции. Актёры избегают театральщины, наигрыша.

Они внешне сдержанны, ведут диалог вполголоса, как бы вполнакала, но в них чувствуется внутреннее напряжение, которое постепенно нарастает и вдруг выплёскивается с огромной силой в сцене конфронтации Ивана Петровича Войницкого с Александром Владимировичем Серебряковым. В этой сцене отставной профессор

Серебряков предлагает продать имение, чтобы потом он мог жить на проценты с капитала.

Как и где будут жить дочь Соня и шурин Иван, которые ведут дела в имении, профессору безразлично. Это вызывает у Ивана такое возмущение, что он взрывается и бросает в лицо Серебрякову всё, что о нём думает и о чём так долго молчал.

Он даже пытается застрелить профессора, потом хочет покончить с собой. Но, будучи неудачником во всём, в том числе в любви, он не сумеет сделать ни то, ни другое. Он – умный, работающий, добрый человек – после вспышки протеста возвращается в прежнее рутинное состояние и становится жалким, даже смешным.

Это прекрасно сыграл Джей О. Сандерс, отмеченный всеми театральными рецензиями в разных газетах от «Нью-Йорк Таймс» до «Вашингтон Пост». Неудачный бунт дяди Вани вызывает ассоциации с другими героями чеховских пьес. Все они, каждый по-своему, хотя и вырваться из болота российской жизни: и Лопахин, вырубая вишнёвый сад, и Нина Заречная, бегущая из дома, и три сестры, мечтающие уехать, как они говорят, в Москву, которая им кажется чуть ли не Парижем.

Все они – Емели из русской сказки, мечтающие о том, чтобы их желания исполняли не они сами, а щука, и чтобы печь сама ехала. Возможно, поэтому Чехов столь популярен в русском театре. Но чем же драматург привлекает американцев? Актёров, понятно, влечёт возможность сыграть тонкую психологическую роль.

А зрителей? Почему новый спектакль «Дядя Ваня» пользуется огромным интересом публики и билеты так раскупаются, что продюсеры дважды переносят закрытие спектакля на более позднее число? Узнают ли и американцы себя в чеховских персонажах, как это делают русские, ассоциируют ли себя с теми, кто не смог реализоваться в полной мере, не стал тем, кем хотел и оттого не чувствует себя счастливым? По-моему, это не очень похоже на американцев, не в их характере. Причина их тяги к Чехову в чём-то другом. Но в чём?

Есть в спектакле режиссёрские находки, например, монологи, сыгранные так, будто персонажи – сначала Иван, потом Елена – сидят в баре и откровенничают со случайным соседом. Поскольку зрители первых рядов сидят в непосредственной близости к актёрам, последние обращаются напрямую то к одному зрителю, то к другому, то

поворачиваются к третьему, тихо раскрывая свою душу и как бы советуясь. Публика с удовольствием включалась в игру.

Я был приятно удивлён тем, что каждая ироничная чеховская реплика вызывала смех у публики. Американцы верно ощущают, что Чехов в своих пьесах и сочувствует, и одновременно посмеивается над героями. Он как врач безжалостно препарировал своих героев, вскрывает их душевные раны, иронизирует над их неумением быть здоровыми и даже вешает на стену ружьё, из которого кого-нибудь застрелят или кто-нибудь застрелится. И за этим тоже скрывается чеховская улыбка, пусть и с состраданием.

Одна из лучших из виденных мною постановок «Вишнёвого сада» – работа Анатолия Эфроса 1975 года в любимовском Театре на Таганке. Там ирония и сострадание были настолько пронзительны, что вызывали у зрителя и смех, и слёзы, и восторг, и отчаяние. Ключ к эфросовской постановке в сцене, когда полный революционных идей вечный студент Петя произносит монолог о прекрасном будущем, засыпая на могильном холмике.

Нынешняя нью-йоркская постановка «Дяди Вани» интересна, хотя особых эмоций у меня не вызвала, «мурашки по телу» не бегали. Мне опять не хватило в спектакле иронии.

Нельзя сегодня произносить всерьёз слова «Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим всё небо в алмазах, мы увидим, как всё зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихой, нежной, сладкою, как ласка. Я верую, верую...» Это произносит Соня, утешая дядю Ваню. И тут я ожидал, что дядя Ваня горько усмехнётся. Этого не случилось. Жаль.

В Нью-Йорке Uncle Vanya идёт в театре Frederick Loewe при Хантер-колледже по 4 ноября. Затем труппа выезжает с этим спектаклем на гастроли в Европу.

The Hunter Theater Project. Photo by Jim Cox.

Элеонора Мандалян

Лос-Анджелес, США



Кинообозрение от Элеоноры Мандалян. Где и как рождаются звезды (и рождаются ли)

Есть на Голливудском небосклоне одна очень харизматичная и привлекательная – особенно для представительниц женского пола – звезда, притягивающая своим обаянием и пронзительной, прямо-таки васильковой голубизной глаз. Это, конечно же, Брэдли Купер. До сих пор его знали и любили исключительно как киноактера. А теперь вот он решил предложить себя в расширенном варианте, дебютировав одновременно как кинорежиссер, сценарист, сопродюсер, сокомпозитор и музыкант в одном флаконе. Ну и, само собой, – как исполнитель главной роли, да еще и в паре с кем... с королевой эпатажа, известной под сценическим псевдонимом Леди Гага. Буквально на днях на экраны вышло их совместное творение – музыкальная любовная драма «на двоих» *A Star Is Born* – «Звезда родилась».

Фильм стал третьим ремейком классического голливудского сюжета – одноименной черно-белой ленты 1937 года (с Фредриком Марчем и великой Джанет Гейнор, первой в истории кинематографа обладательницы Оскара), которая в 1954 году была адаптирована в мюзикл (с Джуди Гарланд и Джеймсом Мейсоном). А в 1976-м новый ремейк: рок-мюзикл с молодой Барброй Стрейзанд и Крисом Кристофферсоном.



Кадр из фильма «Звезда родилась»

Последний собрал огромное количество наград. Барбра Стрейзанд! Этим все сказано. Рискнуть потягаться с ней силами, превзойти ее божественный голос и драматическое чутье – уже геройство. Но бесстрашной и отчаянной Леди Гаге не впервой брать неподъемные высоты.

Барбра никогда не была красавицей, но сколько красоты внутренней, сколько искренности, трепетности, обаяния! Это актриса, в которую хотелось верить, сопереживать ей и восхищаться. Леди Гага, без всех своих немыслимых эпатажных наворотов, шокирующих туалетов и косметики, тоже не блещет красотой. Только вот что касается природного обаяния, шарма – большой вопрос. А ей ведь в фильме пришлось предстать в своем естественном, «первозданном» виде. Сумела ли она удержать планку, поднятую Барброй? Если нет, то все затраченные усилия и средства теряют смысл.

Снять очередной ремейк старого доброго мюзикла было задумано еще лет семь назад, причем не Купером. Обычные проволочки и нестыковки оттягивали его запуск, Warner Bros. перебирала возможных режиссеров, начиная с Клинта Иствуда и актеров на роль

поп-музыканта, в числе которых были Леонардо Ди Каприо и Том Круз. В конце концов остановились на том, на чем остановились.

Брэдли и Леди Гага... в данном случае, уместнее будет вспомнить ее настоящее имя – Джоанн (если целиком, то – Стефани Джоанна Анджелина Джерманотта) хорошо потрудились, вложив в неожиданный тандем все силы, а главное – душу.

Фишка Купера-режиссера и его тактический ход заключались в том, что он привлек Леди Гагу как заведомый залог успеха фильма – хотя бы из зрительского любопытства. В качестве авторского новаторства он озвучивает попытку передать восприятие происходящего с героями-музыкантами не со стороны, не «из зрительного зала», а как бы со сцены и из закулисья, выражая уверенность, что подобных прецедентов в истории игрового кино еще не было, хотя здесь с ним вполне можно поспорить.

– Я не видел никогда картины, снятой таким образом, – говорит он. – Источником вдохновения для меня стало исполнение Энни Леннокс песни I Put a Spell on You. Когда она поет, ты видишь, как пульсирует вена на ее шее, ты слышишь, какой у нее чистый голос. И именно это я хотел показать в фильме.

Наверняка, этот не слишком дорогой фильм (его бюджет \$36 млн) сторицей окупит свои затраты, потому как, если не каждый, то многие (не говоря уже о многомиллионной армии фанатов), уж точно захотят увидеть – подробно и много, во всех ракурсах, включая горизонтальный, натуральную Стефани Джоанн Анджелину Джерманотту, так железобетонно прятанную за Леди Гагу. Захотят узнать, наконец, что она из себя представляет без немыслимого макияжа и париков, без фантастических перевоплощений, безумных сценических наворотов и сногшибательных шоу, акробатических трюков и ошеломляющих выходов. Без манто из лягушек, без нарядов из сырого мяса, лопающихся пузырей, взрывающегося бюстгальтера, без русалочьего хвоста, костылей и сатирих ног, обутых в так любимые ею уродливые туфли на карикатурно-ходульной платформе. И пожелать им можно только одного – не разочароваться.

Один из клипов Леди Гаги – Bad Romance:

По существу для певицы – это добровольное визуальное разоблачение, ведь 32-летняя королева сцены, эпатажная поп-дива, «мама Монстров», как она себя величает, без сценического антуража оказалась самой обыкновенной, неказистой дурнушкой с неправильными чертами лица и тусклыми волосами. (Ее преображение

в конце фильма с помощью все тех же визажистов не в счет.) Но все остальное – голос, фигурка, талант и умение привлечь к себе всеобщее внимание, по-прежнему при ней.

Стоило Леди Гаге, личности мегалитической по своему неисчерпаемому творческому потенциалу, войти в проект, все и всё сгруппировалось вокруг нее, как металлические опилки над магнитом. По признанию Купера-режиссера, «в эпицентре фильма неизменно была Леди Гага, на ней все и держалось».

Соглашаясь на предложенную роль, Леди Гага сразу же поставила условие – никто в фильме не будет петь под фонограмму. Поэтому все композиции записывались вживую, прямо на съёмочной площадке. А чтобы показать огромное количество зрителей на выступлениях героев фильма, она предложила использовать ее концерты в Лос-Анджелесе и на музыкальном фестивале Coachella, в Калифорнии.

Так какого жанра этот фильм – о музыке и музыкантах или музыкальный? Судя по тому, что песни и музыка в нем служат иллюстрацией взаимоотношений героев, как в оперетте, его вполне можно считать мюзиклом или музыкальной драмой.

Сюжет незамысловат. Это история зрелого мужчины и молодой женщины, которых объединила музыка и любовь. Он – популярный в прошлом музыкант в стиле кантри, стадионный рокер Джексон Мейн, вступивший в стадию заката своей карьеры, глушащий неминуемые разочарования вином и наркотиками (что там первично – закат или алкоголизм, не знаю), она – официантка из бара для трансвеститов (очень романтично!), по имени Элли, неприметная, неказистая серая мышка с комплексами, умеющая хорошо петь, но неуверенная в себе и в самой возможности добиться чего-либо большего от жизни.

Их случайная встреча в том самом «романтическом» баре выливается в страстный роман. Услышав как она поет, Джек сразу все понял, заставив Элли поверить в себя и сделать первый шаг на большую сцену. Ее неожиданный успех порождает конфликт между влюбленными – чем ярче разгорается звезда молодой певицы, тем болезненнее и острее воспринимает Джек собственный закат. «Это история любви между двумя несовершенными людьми на разных этапах жизни, – интерпретирует свой замысел Брэдли. – Огромное цунами эмоций, захлестнувшее их, не раз приводит к трагическим последствиям.»

Фильм *Star Is Born* был показан вне конкурса на Венецианском кинофестивале, затем на кинофестивале в Торонто. Были и другие просмотры – в России, в рамках Фестиваля американского кино, в Лос-

Анджелесе... Несмотря на сообщения, что в Торонто зал стоя аплодировал создателям фильма целых 8 минут, публикой и критиками он был принят неоднозначно. Похоже, пришли в некоторое противодействие ожидания и результаты.

Фанаты Гаги развернули целую кампанию в его поддержку через зрительское голосование, но на первые строчки рейтинга так и не смогли его вытащить. То же самое они устроили через Твиттер, размножая, как под копирку, сфабрикованные хвалебные отзывы и обругивая другой фильм – «Венома», одновременно с ним вышедший в прокат (чтоб не конкурировал).

Одни называют режиссуру Купера уверенной и состоявшейся, другие напрочь отказывают ему в одной, обвиняя в пошлости, примитивизме и одномерности. Одних впечатляет «химия», однозначно возникшая между героями-любовниками, так необходимая для достоверности сюжета и образов, другие морщат нос от избытка эротических постельных сцен (рейтинг-то 18+) и слезливых сантиментов. Кто-то уверен, что присутствия Леди Гаги на экране в ее естественном виде с лихвой хватает для того, чтобы зритель валом повалил в кинотеатры, а награды, включая Оскаров, дождем посыпались на фильм и его исполнителей, но есть и такие, кто насмеяется над потугами певицы выйти за рамки собственной индивидуальности на фоне никудышной куперовской режиссуры.

Приведу один такой «скалозубый» отзыв: «Преображение героини Гаги из замухрышки в поп-королеву выглядит смехотворно, это фактически неумышленная автопародия. Весь якобы такой провокационный, ее образ растворяется как тени поутру: и провокации нет, и музыка плохая.»

Однако сами авторы и герои фильма, как всегда, придерживаются диаметрально противоположного мнения и очень довольны проделанной работой, собирая полные залы фанатов на многочисленных интервью, ток-шоу и презентациях. Брэдли и Леди Гага щедро одаривают друг друга комплиментами и похвалами, причем, похоже, не наигранными, а вполне искренними. На одной из таких встреч со зрителем, певица изо всех сил пыталась сдержать слезы (ведь на ее лице снова был привычный грим и накладные ресницы) и в конце концов от избытка эмоций расплакалась. А Брэдли, все это время сочувственно за ней наблюдавший, гладил ее и обнимал, пытаясь утешить.

– Я обрел друга на всю жизнь. Уверен, что эта дружба продлится вечно, она невероятный человек. Мне очень повезло с ней работать, –

расчувствованно признавался собравшимся Брэдли, с терпеливым удовольствием переживая ежеминутные всплески восторгов из зала.

– Я с ума сходила от голоса Брэдли и искренне говорила ему, что он у него красивый, – делится своими впечатлениями Леди Гага.

– И это дало мне силы серьезно заняться вокалом, – подхватывает Брэдли. – А потом мы стали писать песни, и скоро я уже сам их писал и занимался аранжировкой (Получается, что он уже трижды дебютант.) – У Гаги замечательная способность найти и вырастить талант. Мы все знали, что она очень одаренный человек, но не знали о ее способности самоотверженно делиться своими знаниями и энтузиазмом.

И слышит в ответ:

– Я считаю Брэдли потрясающим режиссером. У него есть четкое представление о том, что он собирается снять, и даже когда Купер входит в роль, видно, как вертятся его шестеренки.

Не правда ли, напоминает басню Крылова: Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку?! Один «простой зритель» (по его собственному определению), посмотрев фильм, так высказался в Твиттере по этому поводу: «Лично мне показалось, что просто сами исполнители главных ролей тащатся от самих себя и про себя же кино и снимают. Но вот какой прок от этого самолюбования зрителю – вопрос философский.»

– Что касается моей собственной эволюции как музыканта, – говорит Брэдли, не снимая руки с плеча своей партнерши по роли, – то ею я полностью, на сто процентов обязан сидящей рядом со мной Леди Гаге. Странно, но наши отношения напоминают отношения Элли и Джексона. – (В смысле наоборот.) – Она вселила в меня уверенность в своих силах. Не прошло и десяти минут после нашей первой встречи, а мы уже пели дуэтом. Даже не знаю, как это получилось.

На другой презентации откровенничает Леди Гага:

– Этот фильм изменил мою жизнь. – Я американка итальянского происхождения с Восточного побережья. Я уроженка Нью-Йорка, которая всегда мечтала о том, чтобы стать актрисой. Но у меня не получилось, и я отказалась от своей мечты и начала петь. Никогда прежде у меня не было такого художественного опыта. У меня ни с кем не складывалось таких тесных творческих взаимоотношений, как с Брэдли.

Страстная любовь, в которую Брэдли Купер и Леди Гага сыграли на экране, и трогательно-теплые чувства, которые они открыто демонстрируют друг к другу на встречах со зрителем, стали для многих пристрастных наблюдателей поводом поставить под сомнения

крепость семейных уз актера, связывающих последние несколько лет Брэдли с российской татарочкой-моделью Ириной Шейк (Ириной Шайхлисламовой, уроженкой Еманжелинска, Челябинской области). Но сам Брэдли поспешил развеять эти подозрения, заявив в интервью People, что в Леди Гаге он нашел друга на всю оставшуюся жизнь.



Брэдли Купер и Леди Гага на презентации фильма в Москве

Возможно, весь свой пыл Брэдли как личность творческая отдавал не Гаге, а своему фильму-первенцу, будучи режиссером-дебютантом, особенно, если учесть, в скольких ипостасях он в этом фильме выступил. Что же касается его личной жизни, у Брэдли и Ирины, не вступивших, правда, еще в законный брак, в прошлом году родилось совершенно очаровательное создание – дочка Лея, с которой счастливый отец в свободное от работы время с удовольствием гуляет по Нью-Йорку, а по окончании съемок «Звезды» семья провела отпуск на пляжах Италии.

– Я с детства хотел быть режиссером, – рассказывает Купер. – И думал: когда мне перевалит за 40, я сделаю первый шаг... – (Кабы все мечты сбывались с такой точностью!). – Иного счастья для себя я не представляю. Никакая из моих предыдущих работ не давала мне такой возможности самореализации, как эта.

43-летний американец Брэдли Купер, итало-ирландских кровей, снимается в кино и телесериалах давно и много, этак с два десятка лет, но популярность по-настоящему пришла к актеру где-то с 2009 года. Он четырехкратный номинант на «Оскара», а также – на «Золотой глобус» и ВАФТА («Секс в большом городе», «Мой парень – псих», «Афера по-американски», «Снайпер», «Обещать – не значит жениться», «Всё о Стиве», «Мальчишник в Вегасе», «Дело № 39», «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Команда-А» и т.д. и т.д.). Теперь вот актер примерил на себя роль режиссера.

Что касается Леди Гаги, певице уже представлялась возможность испытать себя как актрису. В частности, она снялась в телесериале «Американская история ужасов», сыграв 40-летнюю графиню-вампиришу, хозяйку гостиницы, признавшись попутно, что ее «всегда привлекала темная сторона сущего». Однако, в интервью «Комсомольской правде» после выхода в эфир сериала, Гага-Джоан-Стефани пыталась защитить свое изначальное «Я»:

– Забавно, что люди отождествляют меня с Графиней, полагая, будто мне было очень легко понять ее мир. Словно я с красной дорожки вошла прямо в этот отель, блондинка и высокомерная дрянь с хамскими замашками, как бы для всех тут все понятно и ничего не изменилось... Леди Гага! Однако я должна вас разочаровать. Мне было непросто примерить на себя этот образ. Графиня очень отличается от Леди Гаги, как и Леди Гага отличается от меня самой в обычной жизни.

Думается, экзальтированная, непредсказуемая, бескомплексная, подхлестывающая свой буйный нрав наркотиками актриса лукавит. Она и ее сценический образ, вне сомнения, связаны между собой. Это ее персоналити, ее метод самовыражаться, присущий именно ей и никому больше. Возможно, именно потому, что она другая, у нее не слишком получилось сыграть в фильме Купера скромную, нежную, чувствительную натуру, коей по сценарию является Элли.

Осознанно подбрасывая в топку собственного пламени выверенные дозы трагизма, Гага-Джоанн может поделиться вдруг со зрителями пережитыми унижениями школьных лет, когда одноклассники издевались над ее первыми потугами реализовать себя.

– Унижения остаются с тобой на всю жизнь, – сообщает она. – И неважно, сколько людей потом выкрикивают твое имя и сколько у тебя хитов... Но я должна возвращаться к этой ране, к унижениям, к чувству незащищенности, всему, что пережила в детстве. Ты не можешь сказать мне, что я такая же, как все: я знаю, что не такая. И никогда не буду... Те, кто в толпе... Не хочу быть одной из них. Понятно?

Никто не хочет. Но не всем это, как ей, с таким блеском удастся. Понятно, что тут нужны не только смелость, но и мозги, и большой талант – чтобы было что положить на весы собственной исключительности. Она намеренно шокирует публику, чтобы ее запомнили и ни с кем никогда не спутали.

Да, она сама себя сделала. В первые нулевые годы она ворвалась в шоу-бизнес как торнадо. Она постоянно была в центре внимания не только своих многомиллионных фанатов, но и прессы (за один только год ее изображение появилось на обложках 36 модных глянцевого журналов мира), и шоу-критиков, сделавших ее обладательницей многих музыкальных наград, включая титул «Иконы стиля» – от Совета модных дизайнеров Америки.

– В какой-то момент мне стало ясно, что просто хорошо петь или клево танцевать сегодня уже мало, – откровенничает Гага. – Нужно объединить в одно представление вокал, музыку, технологию, моду, эпатаж. И нужно сделать так, чтобы зритель, увидев это, сказал: «Охренеть!» И больше до конца концерта уже ничего не смог сказать.

Насколько у нее получается вызывать у зрителя именно такие эмоции, на уровне «охренеть», предлагаю проверить хотя бы по вот этому перевоплощению в образ итальянского парня, своего альтернативного эго. Экстремизм Леди Гаги сценой не кончается. Ко всем своим провокационным качествам она еще и суперактивный борец за права секс-меньшинств, чем открыто бравирует. Она основала благотворительный фонд в их поддержку, назвав его в честь своего альбома *Born this way* – «Рожденный таким», ставшего гимном всех нетрадиционно ориентированных. Она окружает себя представителями «незаслуженно обиженных», выступает за их поправленные права везде, где только можно и где нельзя.

Как-то раз поп-звезда явилась на церемонию вручения наград MTV Video Music Awards (где выиграла 8 номинаций) в сопровождении эскорта из бывших военных, уволенных из армии за нетрадиционную сексуальную ориентацию. А несколько лет назад, по приезде на гастроли в Санкт-Петербург, решила и с россиянами поделиться своей позицией, о чем потом задиристо рассказывала: «Я получила сообщение от своего менеджера, что меня здесь арестуют или заставят заплатить штраф в 50 тысяч долларов за поддержку геев. Я сказала: О'кей, пусть меня посадят, но я буду бороться за вашу свободу и равенство до конца!»

Кстати, возвращаясь после временного очеловечивания в «народившейся Звезде» в свой эпатажный мир, певица подписала

контракт с развлекательной компанией MGM Resorts International, в Лас-Вегасе, и в течение ближайших двух лет даст 74 концерта, под названием Lady Gaga Enigma.

Ладно, не будем углубляться в ее таланты и пунктики и вернемся к фильму «Звезда родилась», в котором она вместе с Брэдли Купером только что сыграла. Стоит или нет рекомендовать к посмотру эту музыкальную драму, сказать затрудняюсь. Тем, кто симпатизирует Брэдли Куперу и интересуется карьерными извержениями Леди Гаги, кто хочет увидеть ее в первозданном, человеческом облике, конечно стоит – хотя бы из любопытства к их трансформации и творческим поискам. К тому же, Гага отлично поет, а вокальные данные симпатяги Брэдли, как выяснилось, если не по «стадионному», то по-домашнему милы и приятны. (Его режиссерская составляющая оставляет желать лучшего.) Так что, если не настраивать себя на что-то особенное, из ряда вон выходящее, то можно расслабиться и получить удовольствие.

Ирина Чайковская

Б.Вашингтон, США



Раздайте патроны, поручик Голицын! О фильме «История одного назначения»

Реальная история. Поручик Григорий Аполлонович Колокольцев назначен ротным командиром армейского полка, расквартированного под Тулой, недалеко от Ясной Поляны, сменив на этом посту капитана Казимира Брониславовича Яцевича (все имена подлинные,

исторические), не угодившего начальству и отправленного служить в какой-то дальний гарнизон.



Авдотья Смирнова

Картина Авдотьи Смирновой призвана рассказать нам историю этого назначения.

Итак поручик... нет, не Голицын, – Колокольцев. Увидев этого худощавого паренька с юркими глазами и порывистыми движениями, начала вспоминать: где-то я его уже видела.

Вспомнила – на фотографии в моей рецензии на фильм «Садовое кольцо». Ну да, режиссер этого нашумевшего сериала Алексей Смирнов, родной брат Авдотьи Смирновой, снялся у нее в заглавной роли в «Истории одного назначения». Сама Дуня также снялась у брата в его картине в эпизодической роли, там же мелькнул и корень фамилии, отец обоих, – тоже режиссер Андрей Смирнов.

В фильме «История одного назначения» Андрей Смирнов также задействован – играет генерала Колокольцева, отца поручика. Что ж, я не против семейственности в кино, мне нравится подобное «обыгрывание» семейных отношений, тем более, дающее художественный результат. Актер Андрей Смирнов даже в крошечной роли может создать типаж.

Теперь об Авдотье Смирновой. Это талантливый режиссер и сценарист, все ее ранее виденные мною работы вызывали интерес. На забывается «Дневник его жены» о Бунине и Вере Муромцевой-Буниной режиссера Алексея Учителя, сценарий к которому написала

Авдотья Смирнова. Понравился мне и сериал «Отцы и дети» по Тургеневу, с очень непривычными акцентами и персонажами.

Теперь о новой ее кинематографической работе в качестве режиссера.



Алексей Смирнов

Поначалу мне показалось, что фильм невероятно скучный и никак не начнется. И вправду, экспозиция не кончалась, завязка истории сильно затянулась, но зато потом ее развитие двигалось с небывалой быстротой. Прямо по пословице про русского мужика, который долго запрягает, но быстро едет...

В композиции ленты, как кажется, есть просчет. Возможно, он допущен уже на уровне сценария.

В чем коллизия картины?

Поручик Колокольцев, ведущий жизнь золотой молодежи, после «проработки» отца, переводится из гвардии в армейский полк, где сталкивается с обычной муштрой и унижением солдат. Он конфликтует со служакой и педантом полковником Яцевичем, грубит ему в лицо, пытается насадить в полку новые идеи – «политпросвет» и обучение солдат грамоте. Последнему их учит тщедушный замухрышка-писарь, с которым у поручика завязываются особо доверительные отношения и из-за которого в итоге заваривается весь сыр-бор.

Алчный фельдфебель заставляет писаря подделывать денежные отчеты, а когда Яцевич призывает фельдфебеля к ответу, тот сваливает

все на писаря. Начинается допрос, в ходе которого замухрышка дает полковнику пощечину. Алерт. Бедолаге-солдатику грозит смертная казнь.



Поручик Колокольцев и Лев Гостой

Параллельно развивается линия со Львом Толстым, живущим неподалеку. Он и его жена знают поручика, Софья Андреевна и ее младшая сестра Татьяна знакомы с Гришей Колокольцевым с юности. От него семья узнает о происшествии в полку, и Толстой решает защищать солдата в суде. Нужно сказать, что одним из сценаристов фильма выступает Павел Басинский, автор жизнеописания Льва Толстого, сюжет с выступлением Толстого в суде в качестве защитника рядового солдата взят им из жизни. Этот сюжет, как я понимаю, и стал зародышем замысла картины.

Защитить солдата у Толстого не получается, военно-полевой суд, состоящий из «тройки» офицеров, в которую входит и Колокольцев, двумя голосами против одного выносит смертный приговор.

Мы узнаем, что против смертной казни проголосовал прапорщик, приятель Колокольцева, а сам Григорий вместе с полковником подал голос за казнь. Шок.

Поручик объясняет свой поступок присутствием на суде отца, генерала Колокольцева, но в общем уже понятно, что молодой человек дал «слабину». Дальше больше. Крестьяне, присутствовавшие на расстреле «рядового Шабунина», устраивают по нему панихиду, ставят на холмиках на его могиле свечи (реальные факты!). Поручику

приказано разогнать крестьян и срыть холмики со свечами. И вот уже молодой Колокольцев командует солдатам: «Тесните!» и «Срыть!»

В общем свершается «обыкновенная история» превращения бывшего «либерала» в «слугу отечества и государя императора». На мой взгляд, совершается как-то неестественно быстро. В своей толстовской эпопее в главе «Спасти рядового Шабунина» Басинский предполагает, что Григорий Колокольцев сделал это из карьерных соображений.

В фильме этот явный шкурный мотив отсутствует, скорее всего, поручик действовал из соображений офицерской чести. Ну а в дальнейшем сам механизм армейской жизни затянул его в свои недра и как следует перемолол, так что вскорости ротный командир Колокольцев, не хуже ненавистного ему служаки Яцевича, будет командовать на плацу солдатам: «Носок тянуть!»



Сестры Софья Толстая и Татьяна Берс с поручиком Колокольцевым

Где-то мне встретилось, что Авдотья Смирнова говорит о том, что ее удручает удивительное сходство фильма с сегодняшней российской действительностью. Видно, потому и был взят этот сюжет.

Грешным делом я подумала, не намекает ли он на эволюцию мужа Авдотьи Андреевны Анатолия Чубайса, тоже когда-то причислявшего себя к либералам, а закончившего сами знаете чем...

Но потом мне пришло в голову, что в этой картине больше отличий, чем сходства с современностью ... Судите сами.

Взять того же молодого Колокольцева. Кто из современных «сынков» захочет не управлять компанией или банком или занимать

ответственный пост в правительстве, а, скажем, поработать в том же банке клерком или посыльным в компании? Дураков нет.

Кто из современных офицеров решится громко оскорбить своего командира, высказать ему, так сказать, свое отношение? И заметьте, поручик, совершив это, заработал всего-навсего короткий домашний арест. Сегодня невозможно представить ни первое, ни второе.

Проголосовав за казнь «через расстреляние», поручик не находит в себе сил командовать солдатам «пли», за него это делает прапорщик. Уверена, что современный офицер обзовет Колокольцева «нюней» и «слабаком». Скомандует «пли» без зазрения совести и не пойдет после этого топиться, как прапорщик из фильма.

Есть и еще вещи, несовместимые с современностью. Например, фельдфебель обкрадывает солдат втайне от командира. Здесь коррупцией и не пахнет. Командир Яцевич чист, он честен и верен присяге. Наверняка таков и генерал Колокольцев, да и сын его, по всему, в будущем в коррупции замечен не будет.

Это тип Николая Ростова, честного и грамотного служаки, верного долгу. Он пойдет по приказу подавлять мятеж, но остановит садиста и насильника, пощадит женщину и ребенка, его невозможно заподозрить в наживе на солдатском провианте. Найдутся ли в сегодняшней Росгвардии подобные офицеры, – большой вопрос. Судя по их начальнику, показанному нам в расследовании Алексея Навального, а затем увиденному нами въяве в его видеобращении к оппозиционеру, росгвардейцам задан прямо противоположный пример.

Что сказать о фильме? История поручика Колокольцева показалась мне рассказанной скороговоркой, без психологических нюансов, столь важных в драме. Идущий параллельно рассказ о предательстве Сергея Николаевича Толстого, обманувшего Татьяну Андреевну Берс в ее матримониальных ожиданиях, также подан невнятно и обрывочно.

Актеры говорят «как в жизни», то есть порой так тихо, что я их реплик просто не слышу.

Не получилось и показать Льва Толстого.

Все же Толстой в это время – зрелый, пишущий «Войну и мир»; образ, созданный на экране, мелковат и, увы, не убеждает.

В фильме, как мне услышалось, а потом подтвердилось титрами, звучит современная музыка. И вот это мне понравилось.

Образовался хороший мостик в наше время, только, увы, с ностальгическим привкусом – уж больно современность уродлива в сравнении с девятнадцатым веком!

Часть 7.

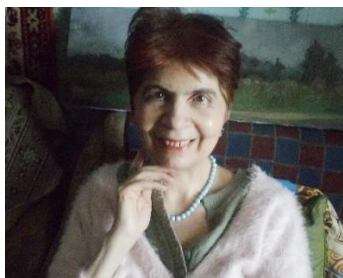
Изобразительное искусство



Николай Акимов. Эскиз костюма графа Зефинова к спектаклю по пьесе А.М. Бонди
Лев Гурыч Синичкин, 1945 год

Вера Чайковская

Москва, Россия



Антропное самомнение. Полемические заметки

(О книге Светланы Батраковой «Современное искусство и наука. Место человека во Вселенной», М., БуксМАрт, 2018-288с.)

Великолепная идея – рассмотреть науку и искусство «века авангарда» в одной связке, показать общие истоки и общие тенденции их космической одиссеи. Очень кстати тут пришелся и антропный принцип, как в эпоху Возрождения, но с еще большими «полномочиями» ставящий человека в центр Вселенной. Человек уже не просто свидетель, он активный участник космических процессов.

Но... Да, есть у меня это «но», которое разрасталось по мере неторопливо-эпического и не без элементов авторского восхищения перед фантазийной игрой современного авангардного сознания изложения материала.

Мне показалось, что эта замечательная во многих отношениях книга (поражает свободное владение автором огромным материалом физики, философии, искусства, искусствознания, литературоведения, эстетики), – несколько запоздала. Что сейчас уже пришла пора задавать вопросы, не что такое авангардное искусство и как оно соотносится с современной наукой, а как выводить и то, и другое из серьезнейшего

тупика. Примерно до середины века еще были иллюзии расцвета, еще живы были такие корифеи и пророки науки, как Альберт Эйнштейн и Анри Бергсон, а у нас Петр Капица и Лев Ландау. Еще творили Шагал, Кандинский, Магритт, – авторы глубочайших космических интуиций.

А сейчас физические теории не находят реальных подтверждений, природа на них попросту «не отзывается». По сути, неразрешимой космологической проблемой стало существование темной материи и темной энергии. А Большой адронный коллайдер так и не подтвердил теорию суперсимметрии, лежащую в основе современной теоретической физики.

Авангардное искусство наших дней или сливается с развлекательными действиями, превращаясь в «парк аттракционов», или уныло маячит в музейных залах горой мусора и поношенной обуви, вызывая зрительскую усталость и разочарование...



Поль Сезанн. Гора Святой Виктор. 1900. Холст, масло.
Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

Автор книги какой-то такой, не очень хороший поворот, смутно подозревает. Недаром в самом конце книги находим фразу об искусстве будущего: «Нередкие и весьма агрессивные примеры выхода искусства 20-21 веков за пределы эстетических оценок и норм – все эти мешки с углем, унитазаы, груды песка в музейных залах, все эти акции

и инсталляции, все эти «безумства» и «абсурды», выдаваемые за художественные произведения, побудило некоторых исследователей предрекать в будущем замену того, что мы привыкли называть культурой, чем-то принципиально другим»^[1]. Другим? Едва ли Светлану Батракову могла очень порадовать подобная перспектива! Чем заменить Культуру? Компьютерной зимой?

Но какая поразительная искусствоведческая выдержка! О выставленном в художественном салоне «Фонтане» Марсея Дюшана, представляющем собой обыкновенный перевернутый унитаз (или писсуар), автор говорит с той же научной строгостью и серьезностью, что и о произведениях гениального Марка Шагала. И то , и другое прекрасно вписывается в «неклассическую», подвижную и «открытую» картину мира. А авторская задача -показать ее невиданный радикализм, пугавший многих современников.

Мне-то, напротив, кажется, что многие издержки эпохи авангарда, как в науке, так и в искусстве, связаны с феноменом «атакующего сознания», о котором Светлана Батракова не раз упоминает как о важнейшем ее компоненте. Когда-то Баратынский написал о Гете, бывшем, конечно же, автором космического плана, причем одновременно ученым и поэтом, удивительные стихотворные строки:

«Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна».
(«На смерть Гете», 1832-1833)

Для самонадеянного «атакующего сознания» голос самой природы уже не важен, диалог с ней исчез, стихия воображения, свободный полет фантазии перекрывают шум морских волн. Ученым порой кажется, что Бог «играет в кости», то есть мир **по сути** непредсказуем и абсурден.

А художники, если и делают вид, что «слушают» природу, на самом деле задают ей какие-то ненужные и смешные вопросы, на которые природа не желает отвечать или отвечает издевательски. Так, Светлана Батракова пишет о представителе французского «нового реализма» Иве Кляйне, который укреплял на крыше автомобиля чистый холст и отправлялся в путешествие, надеясь, что над задуманными «Космогониями», потрудятся «дожди, солнце, ветры и туманы».^[2]

«Кто автор таких картин? – задает вопрос Батракова, – может быть, следует говорить о соавторстве?». А я думаю, что никакого соавторства нет, есть все то же «атакующее сознание» с его очередной

эпатажной выдумкой. Можно писать картину с помощью обмокнутых в краску хвостов обезьян или произвольно взрывать холст, – все это к «природе» никакого отношения не имеет. Она ехидно молчит или даже «мстит», насылая на нас, утративших с ней естественную связь, ураганы и пожары.

Еще один жупел авангардного искусства, связанный все с тем же «атакующим сознанием», – изобретение нового языка.

Автор пишет: «Никогда еще столь широко не использовались в работе над картиной разного рода природные и вообще подручные (бриколаж!) вещества и материалы: песок, стекло, опилки, зола, земля, деготь и т.п.»^[3]



Марсель Дюшан. Фонтан. 1917 (авторское повторение. 1964). Фарфор

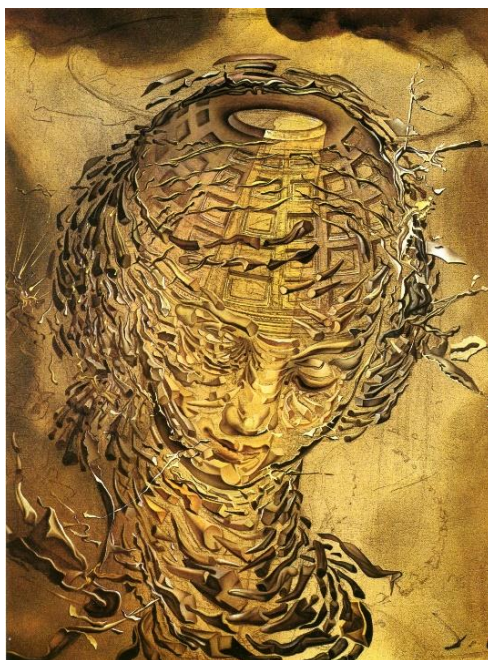
Надо сказать, что автор перечислил далеко не все «подручные» материалы. В аннотации к переводной книге для детей о современном искусстве, выпущенной недавно нашим крупным художественным издательством, говорится, что материалом произведения может быть «и шоколад, и разбитые автомобили, и даже слоновий помет». Помет? Мне почему-то трудно представить, что кто-то решится подойти к такому «произведению». Все же брезгливость никто не отменял. Позвольте, а вы уверены, что произведения такого рода являются искусством? Мы, взрослые, искусствоведы и зрители, еще сами не договорились, а детей уже учат, что это и есть «современное искусство». Смущает, что речь не о смысле, не о правде, не о духовной

потребности выговориться, а о «новом языке» и новых, эпатажных материалах. Между тем, давно сказано, что «уста глаголят» от «полноты сердца». Если есть, что сказать, язык отыщется! Но есть ли, что сказать?

И вот со смыслом в авангарде, кажется, не все в порядке! «Сон, бред, бессознательные импульсы и сознательное помешательство (вернее его имитация) – все идет в ход», – пишет автор.^[4] Но поскольку это – примета «неклассической», «синергетической», «становящейся», словом, достаточно «радикальной» картины мира, у автора никаких претензий к утрате смысла нет. Бред, так бред! Особенное внимание автор уделяет «бриколажу», когда художественный мир монтируется из связанных «по касательной» фрагментов. Вполне допускаю, что во многих работах Сальвадора Дали и впрямь не следует искать какого-то «прямого» человеческого смысла. Но вот у Марка Шагала или у Амедео Модильяни, работы которых тоже рассматриваются автором в контексте «бриколажа», такой смысл всегда есть! В том же «Белом Распятии» (1938, Институт искусств, Чикаго), анализируемом в книге, холст строится как икона с «клеями», где в центре распятый Христос, а по бокам фрагменты разбегания его соплеменников-евреев «по лицу земли». Где-то бегут от погрома, где-то от наступающих вооруженных людей со знаменами, где-то бегут в одиночку, где-то плывут в лодке, напоминающей ковчег, а сверху в отчаянии витают в воздухе души погибших... И это все очень личное, очень цельное и страстное послание художника к обезумевшему миру. Также ярко, внятно и прекрасен Модильяни со своими «обнаженными», освещающими человеческим теплом страницы этой, на мой вкус, несколько холодноватой книги. И у Шагала, и у Модильяни ощутимы уроки большой, тысячелетней пластической традиции, с которой они и не думали порывать! Книга Батраковой, как мне показалось, в большей степени о тех, кто с такими традициями сознательно или бессознательно порвал. Но не потому ли столь запоминаются две главы, посвященные «сомневающимся» ученому и художнику, сохранившим позицию «смирения» (почти забытое ныне слово!) перед природой.

Это Эйнштейн и Сезанн, два корифея авангардной эпохи, взгляды которых автор, на мой взгляд, очень интересно сблизил. Оба новатора не желали уходить «в абсурд», довольствоваться только своим воображением. Сезанн сохранял «смирненное благоговение перед природой»^[5]. Ему вторит Эйнштейн, пишущий, что природа

«возбуждает в душе каждого мыслящего человека чувство истинного смирения».[6] Как это не похоже на «атакующее сознание»! Обоим представлялось важным продолжение диалога с природой. Эйнштейн в споре с Бором доказывал мысль, что «Бог не играет в кости», и пытался отыскать некие общие теоретические основания общекосмических и атомарных процессов.



Сальвадор Дали. Взрывающаяся рафаэлевская голова. 1951. Холст, масло.
Частное собрание

А «икона» авангарда Сезанн все никак не мог вполне оторваться от «натуры», природного мотива, писал и писал свою гору Святой Виктории. Между тем, вокруг уже всюду развернулся кубизм, в натуре не нуждающийся! Важнейшее противоречие, которое автор нащупал у талантливейших представителей «авангардной эпохи»! Не значит ли это, что и у классического искусства 20 -21 веков остался серьезный творческий потенциал?

Мне в этой связи припомнились замечательные российские художники Роберт Фальк и Аристарх Лентулов. Они начинали как

«сезаннисты» и кубисты, представители «Бубнового валета». Но в какой-то момент вдруг вернулись к «предметной» живописи, к сокровенному диалогу с природой. Фальк писал на природе по два пейзажа в день, запечатлевая в тончайших красочных нюансах открывшиеся ему тайны. А Лентулов написал в конце 20-х годов поразительный цикл ночных и закатных пейзажей, «ноктюрнов», где его прежде «солнечная» живопись, – обрела невиданную глубину, загадочность и символический подтекст. Поистине они стали «космическими» живописцами. Выразили какие-то новые смыслы, подхватив и оживив давнюю пластическую традицию!

Энциклопедического охвата книга Светланы Батраковой для меня с несомненностью показала: одной «неклассической» картины мира сейчас уже явно недостаточно! Необходимо продолжить диалог с традицией и диалог с природой!

Интересно, что автор, подводя итоги, вдруг выходит на возможность какого-то менее брутального и «атакующего», – «женского» подхода к миру. В самом деле – природа жаждет человеческого внимания и участия. И, думаю, что новые наука и искусство, услышат ее призыв!

В сущности, все необходимые слова об авангарде – «атакующее сознание», новый язык, ориентация не на правду жизни, а на собственную фантазию, утрата единого смысла, который заменяется «бриколажным» смыслом «по касательной», – в книге произнесены. Они вписываются в новую «неклассическую» парадигму. Но ведь художники – народ единичный. Кто-то искал «новенького» и эпатировал публику, а кто-то вгрызался в неподатливое время, снова и снова вопрошал природу, пытливно изучал традицию, отыскивая новую правду.

[1] Батракова С. Современное искусство и наука. Место человека во вселенной. с.282

[2] Там же. с.69.

[3] Там же, с.68.

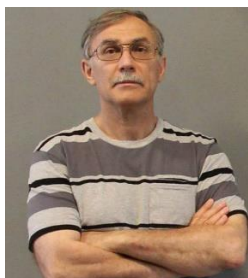
[4] Там же, с.89.

[5] См. там же, с.118.

[6] Там же, с.114.

Игорь Волошин

Чикаго, США



Эпизод из жизни еврейского художника Уильяма Гроппера

Жил в Нью-Йорке художник Уильям Гроппер (1897 – 1977). Не многие помнят это имя, но, поверьте, художник этот был знаменит, о чем свидетельствует хотя бы тот удивительный факт, что в 30-е годы он спровоцировал дипломатический скандал между США и Японией, а также то, что Гитлер считал его своим личным врагом.

Как ему это удалось? Уильям Гроппер был политическим карикатуристом... Вас удивляет, что я назвал Гроппера еврейским художником? Подождите...

Несмотря на свою не слишком явно выраженную фамилию, Уильям Гроппер был евреем, чьи родители приехали в Америку в конце 19 века из Румынии. Впрочем, и этого недостаточно, чтобы считаться еврейским художником, тем более, что Уильям рано сформировался не только как художник, но и как политический активист.

Как вы уже, очевидно, поняли, известность его была скандальной, причем в немалой степени благодаря коммунистическим взглядам, хотя формально членом партии он не состоял. Мы – нынешние, «шибко грамотные», – сейчас о таких говорим, что у них промытые мозги. Может, мозги у него и были промыты, но страсти и искренности Гропперу было не занимать. До поры до времени, работая в коммунистической прессе, Уильям не знал особых проблем, пока не наступили мрачные времена маккартизма. Его они коснулись в полной мере.

Скажу только что в черный список сенатора Маккарти о запрете на профессию попали всего два художника – знаменитый в СССР пейзажист Рокуэлл Кент и Уильям Гроппер. После суда он создал один из своих главных шедевров – «Каприччос», позаимствовав название у Гойи. Гроппер этой серией из 50 работ обличал язвы капиталистического общества, и, увы, не всегда он был неправ.



Один из пяти витражей синагоги West Suburban Temple Har Zion, River Forest

Однако мой рассказ не об этом. Я не собираюсь писать биографию Гроппера. О нем написано немало, в том числе и по-русски, но один необычный, но важный факт биографы, а особенно русские, почему-то нередко игнорируют, и мне хочется восполнить это упущение.

Итак, немолодой уже художник остался без работы и перебивался случайными заработками. А в это самое время в другой части страны, а точнее – в пригороде Чикаго Ривер Форест, построили новую синагогу. Несколько лет она своими пустыми стенами только «отпугивала» прихожан, за что получила прозвище Bowling Alley

(кегельбан), и это впечатление не мог изменить даже выразительный барельеф на фасаде, выполненный талантливым чикагским скульптором Милтоном Хорном.

В 1965 году совет синагоги, по рекомендации бизнесмена и коллекционера произведений искусства Мориса Липшульца, принимает решение установить витраж, который украсил бы здание. Решение было принято, и дело оставалось за малым – найти художника, которому такое по плечу. Витраж – штука дорогая и узкопрофессиональная, не всякий мастер за него возьмется.



Тогда Липшульц предлагает привлечь к работе запрещенного художника Уильяма Гроппера – зрелый художник, которому к этому времени исполнилось 67 лет, капризничать не станет и много не спросит, а разрешение для него на работу уж как-нибудь получим. И впрямь – разрешение получили, Гроппера пригласили, а также собрали необходимые для выполнения \$40 тысяч.

Однако, поначалу художник возмутился – ему, знаменитому карикатуристу, предлагают выполнить витраж. Во-первых, он понятия не имеет, как делать витражи, но это еще полбеды. Гораздо хуже то, что ему запрещают изображать на витраже людей. Для карикатуриста это было оскорблением, но делать нечего, надо сводить концы с концами, и Гроппер согласился.

Неожиданно новая работа увлекла карикатуриста. Когда-то он писал: «Люди, живущие без искусства, подобны дому без окон – они живут в темноте». Теперь это иносказание приобрело реальный смысл.

Однако по мере работы над витражами, с Гроппером произошло нечто, что заставляет нас задуматься. Престарелый художник неожиданно вспоминает о своих корнях. Нет, конечно, он прекрасно помнил, что он еврей. В годы войны на какое-то время это стало главной причиной его ненависти к Гитлеру, что вылилось в большое количество антифашистских карикатур. Но никогда еврейство не было для Гроппера доминирующим фактором.

Он свято верил в коммунистическую идею, а еврейство считал чем-то вроде атавизма. Однако сейчас, работая над витражами, изучая жизнь еврейского местечка, никогда не бывавший в Восточной Европе Уильям Гроппер, растревожил свои еврейские корни, словно проснувшись от долгой спячки. Он настолько глубоко окунулся в эту жизнь, в уничтоженный войною еврейский быт, что уже не смог из него безболезненно выйти.

В 1967 году витражи были закончены, но забытая еврейская жизнь осталась в душе художника, он буквально вжился в образ маленького местечкового еврея, и вскоре это самоощущение вылилась в серию из 24 удивительных литографий, которую он так и называл – «Штетл». На мой взгляд, это самое выдающееся, что создал еврейский художник Уильям Гроппер.

На этом можно было бы и закончить рассказ, но история витражей имела небольшое, но яркое продолжение. Через несколько лет после их создания, в городке Ривер Форест, как раз во время молитвы Кол Нидрей, разыгралась необычайно сильная гроза. Погас свет, зажгли свечи, и тогда прихожане увидели витражи во всем великолепии. Морис Липшульц вспоминал: «Бог закончил то, что не закончил человек – каждая вспышка молнии озаряла окна и они оживали. Это было восхитительно.»

Часть 8.

Проза



Николай Акимов. Эскиз декорации к спектаклю по пьесе В. Масса и М. Червинского «О друзьях-товарищах», 1947 год

Натан Шиллер

США



Мой друг Эдик (дебют)

Дорогие друзья, мы решили поместить в нашем журнале дебютный рассказ нашего соотечественника, ныне живущего в Америке, Натана Шиллера, которому в 2019 году исполнится 96 лет. Нашему дебютанту желаем здоровья и вдохновения. А вам, дорогие читатели, хотим напомнить: чудеса свершаются и ваши желания однажды могут сбыться.

«Сильный – прощает,
Слабый – мстит,
Счастливый – забывает
Китайская мудрость

Однажды в моей квартире раздался телефонный звонок. Я услышал воркующий голос, и текст, содержащий бесконечное количество уменьшительных суффиксов. По этим признакам я тотчас узнал старого московского знакомого – Эдика. Эдик был начальником кинолаборатории, в которой я работал несколько лет до эмиграции. Я ничего не слышал о нем ни много ни мало – 30 лет! «Чего он вдруг? – обеспокоенно подумал я. – Если Эдик звонит, значит, что-нибудь ему надо». Под воркующий голос я лихорадочно соображал, чего он попросит? Но Эдик, в соответствии с кодексом кухонной дипломатии, ходил вокруг да около. Он напоминал мне о тех идиллических

временах, когда мы были друзьями, рука об руку, создавали нетленные киноэпопеи...

Честно говоря, ничего подобного я не помнил. Зато я точно помнил, что покидал Россию с чувством яростной ненависти к Эдику. Мало к кому, а вернее сказать, ни к кому, никогда в жизни, я подобной ненависти не испытывал. Забегая вперед, хочу сказать, что, с годами, чувство ненависти заменилось... Но это позже. А тогда...

Эдик звонил еще несколько раз. Мы вели с ним спокойные, «светские» беседы. Однажды, во время моего с Эдиком телефонного разговора, в комнату вошел мой сын Алик. Продолжая говорить, я смотрел на сына и меня удивляли изменения, происходящие в его лице. Он то краснел, то бледнел, кулаки у него сжимались, скулы ходили. Я не мог понять, что с ним, потому свернул телефонный разговор и спросил, в чем дело? «Это Эдик? – прошипел Алик. Я кивнул головой. – И ты можешь с ним так разговаривать?!» «Как – так? » «Ты должен был проклясть его в первых словах, а в последующих не использовать ничего, кроме мата, до хрипоты... » «Почему?» – удивился я. «Ты забыл, как он сломал тебе жизнь накануне отъезда?» Я на минуту задумался... Забыл? Нет, конечно. Я не идиот. Фактов я не забыл. Я забыл ту неизбывную злость и ненависть, которую я тогда испытывал к этому человеку. Факты же я помнил абсолютно четко. Помню, когда ему понадобилось мое место для очередного блатного знакомого он, не раздумывая, меня уволил «за прогулы», хотя у меня было свободное посещение. Я, естественно, протестовал и скандалил. Он начал готовить материалы, чтобы уволить меня по статье Трудового кодекса. Больше дышать с Эдиком одним воздухом я уже не мог. Я сказал ему все, что думал о нем, и уволился. После месяца хождений от двери к двери я понял, что Эдик этих слов мне не простил и решил не только меня уволить, но и уморить голодом. Я понял, что начальники учреждений, куда я приходил наниматься, уже были осведомлены обо мне. Эдик не поленился позвонить своим многочисленным знакомым в киномире и дать мне самую «лестную» характеристику. В этих организациях мне отказывали, как только я называл свою фамилию. Были и другие, где говорили, что вакансия у них есть и чтобы я оставил свои документы и пришел через неделю. Правда, результат был тот же. Я прекрасно знал механику найма в советских учреждениях. Получив документы, начальник звонит по последнему месту работы нанимающегося и просит краткий о нем отзыв. И тут я будто слышу тихий, воркующий голос Эдика: «Натан Шиллер? Прекрасный работник! Трудолюбивый... Только мне кажется, он чуть-чуть того...

«ку-ку». Говорят, состоит на учете в психдиспансере». Когда я прихожу за ответом, меня встречают с распростертыми объятиями: «Мы очарованы вашим резюме! Какой многосторонний опыт! Мы только опасаемся что вы чересчур квалифицированы для той утлой должности, которую мы можем вам предложить. Вам просто негде будет развернуться!» При подходе к следующей организации, где я должен получить ответ, своим внутренним слухом я улавливаю воркующий шепот Эдика в телефонную трубку: «...Очень производительный! Трудоголик! Только... Сослуживцы говорят – стучач... с Органами связан...» Понятно, что и здесь меня встречают весьма приветливо, говорят, что я подхожу им по всем пунктам, ну, буквально по всем! Жаль только, что вчера эту штатную единицу сократили!»

Выхода нет. Я должен вернуться к полной неопределенности жизни свободного художника. У меня договор с Моснаучфильмом на довольно большой и сложный сценарий – «Язык архитектуры и архитектура языка». Если я не буду переключаться на работу в лаборатории, я его месяца в три кончу. А что? Вполне приличная сумма. Потом еще и потиражные... Ничего, проживу и без этого сюсюкающего монстра!

Через несколько дней у меня была очередная встреча с редактором. Редактор меня не принял, сказал, что с моим договором сложности и что меня вызывает директор. Я снова почувствовал костлявую руку... В ожидании приема, по привычке реконструировал телефонный звонок Эдика. Он вряд ли позвонит самому министру. Скорее всего, воркование будет предназначено какому нибудь из референтов: «Послушай, старик, хочешь премию во втором квартале? Слушай сюда! В плане на следующий год есть сценарий «Язык архитектуры и архитектура языка». Сценарий формалистический и проповедует антимарксистские взгляды на искусство. Прояви коммунистическую бдительность. Дальше сам знаешь, что делать...» Я ждал всего: и что потребуют изменить название, убрать некоторые эпизоды, увеличить ссылки на классиков... Директор мне без обиняков сообщил, что студия договор со мной разрывает, аванс требует вернуть. Сердце упало глубоко вниз. На улицу я вышел ничего не видя, ничего не слыша. Я думал о суициде. Моя ненависть к Эдику приобрела абсолютно конкретную форму. Это была с м е р т е л ь н а я ненависть. Как я уже сказал, такой ненависти я не испытывал больше никогда и ни к кому.

Жизнь мне спас сын. Он держал меня за руки и говорил: «Ну, не хочешь здесь жить, давай эмигрируем!» Эмигрантские хлопоты

отдалили меня от суицидных мыслей. А уж обустройство в Америке вообще выбило их из головы. Американская жизнь это смерч: уроки языка, поиски работы, учеба детей, отпуска с поездками, покупка недвижимости... Прошлое блекло, и с ним блекли и злость, и ненависть. И потому на вопрос Алика, забыл ли я подлости Эдика, я искренне ответил: «Забыл... А что тебя удивляет? В мои лета забывать естественно...» Но Алик не слушал меня. Он вдруг, ни к селу, ни к городу, спросил: «А ты был счастлив в Америке?» Я пожал плечами. В Америке со мною происходило так много разного, что я, действительно, не знал, был я счастлив или нет. Алик сказал: «Подумай. Потом поговорим.» И вышел. Когда он вернулся и снова спросил, был ли я счастлив, я ответил ему словом из молодежного лексикона: «Однозначно!» «Ну вот и хорошо, – сказал Алик. Теперь все ясно. Помнишь китайскую мудрость? «Сильный – прощает». Ты не очень сильный. Ты не простил. «Слабый – мстит». Ты никогда не был слабым. Ты не мстил. «Счастливым – забывает!» «Ты, по собственным словам, был счастлив. А посему забыл...» «Да, Алинька, ты, скорее всего, прав». «А теперь ты все вспомнил?» «Все, что было, и даже кое-что новенькое». «И что же это?» «Понимаешь, подлость Эдика была последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Фактически он мне помог принять решение об эмиграции. Он, хотел того или нет, был участником приобщения меня к американскому чуду». «Ну и характер у тебя, папуля! Все мерзкое превращать в приемлемое. Впрочем, как знаешь». И Алик ушел.

О дальнейшей жизни Эдика я узнал по слухам, носящимся в воздухе. И картина складывалась печальная. Перестройка уничтожила номенклатуру. Блага перестали распределять. Все можно было купить. Понадобились деньги. А у Эдика их не было. Эдик уже был немолод, и остатки сил потратил на приобретение специальности. Используя оставшиеся крохи блата, он поступил на «Высшие режиссерские курсы» и через два года получил корочки режиссера. Фильм, который он сделал, не получился. Оказалось, что, кроме корочек, нужен талант. Когда кончился просмотр, а аплодисменты не последовали, на лице Эдика возникло недоумение. Я вгляделся в этот образ, возникший перед моим мысленным взглядом, в его недоуменное лицо, и вдруг мне пришла в голову мысль: «А ведь Эдик еврей!» И я увидел перед собой другого Эдика. «При его способности к мимикрии, наверно, правоверный еврей». На лицо Эдика опустились стигматы возраста. На лысину, откуда-то сверху, спланировала ермолка. Я заглянул под кустистые брови Эдика и увидел влажные, добрые, карие еврейские

глаза. И я вдруг понял, что не испытываю к Эдику ни малейшей ненависти. «Наверно, он эмигрирует в Израиль», – подумал я. А почему обязательно в Израиль? – продолжал я размышлять. – Может, и в Америку. Ведь недаром же он мне звонил. – Я лёг, на кровать. – Если приедет в Америку, надо будет помочь ему обустроиться. – И, приспособив голову к подушке, засыпая, подумал: «Ведь нельзя же быть неблагодарным...».

Ксения Дуртай

Ростов-на-Дону, Россия



Object time (дебют)

Иван Курдане: Добрый день. Это «Хроники Нормаса» и я, Иван Курдане. Если вы постоянно слушаете наш подкаст, то вы, наверное, знаете, что в прошлом выпуске мы говорили о неизвестном, ранее закрытом, городском клубе «Икс», в котором проводят время местные представители власти и олигархи. Местоположение клуба засекречено, так же, как и имена его членов. Но совсем недавно у этого заведения, как ни странно, появился свой пресс-секретарь, который и поделился некоторыми фактами о жизни клуба.

Напомню, что в прошлом выпуске мы говорили о различных весьма дорогостоящих развлечениях его членов. Но наибольший отклик наших слушателей вызвало описание специфического интерьера «Икса», заключающегося в наличии живой мебели. Предметами интерьера клуба являются модели — реальные женщины. И с одной из них наш корреспондент умудрился провести небольшое интервью в

телефонном режиме. Думаю, вам будет интересно послушать его запись. Итак, на связи Сергей, наш корреспондент и Марина — одна из моделей клуба, которая работает... кхм... столом в комнате переговоров. Слушаем внимательно.

Сергей: Добрый день, Марина. Меня зовут Сергей, я журналист портала новостей «Хроники Нормаса». Мне о вас рассказали в пресс-центре клуба «Икс», Ваша история показалась мне очень интересной. Вы можете мне уделить несколько минут и ответить на вопросы для нашего издания?

Марина: Добрый день. Могу, конечно.

Сергей: Все ваши напарницы отказались давать интервью, мотивируя это тем, что у них подписан договор о неразглашении. Почему вы согласились? В вашем договоре с «Икс» нет такого пункта?

Марина: Мой договор ничем не отличается от договоров остальных девочек. Но если вам дали мои контакты в пресс-центре клуба, то почему я не могу поговорить с вами? Видимо, сейчас клубу по определённой причине нужно рассказать о моей профессии миру.

Сергей: А другие девушки? Почему они отказались?

Марина: А другие девушки, возможно, либо не совсем внимательно читали договор, либо решили перестраховаться. Но вы же понимаете, я не могу об этом сказать наверняка. Я отвечаю только за себя.

Сергей: Хорошо, я вас понял. В чём заключается ваша работа?

Марина: Моя работа — быть живым столом в переговорной комнате клуба.

Сергей: То есть вы живой стол и в буквальном смысле работаете мебелью.

Марина (с улыбкой в голосе): Да, я живой стол.

Сергей: Расскажите подробнее, как вы работаете? Какие у вас обязанности?

Марина: Сейчас попробую рассказать. Многие политики и бизнесмены приходят в «Икс» не только для того, чтобы отдохнуть, но и для того, чтобы решать рабочие вопросы. Скажу даже больше: у этих ребят работа не отделима от отдыха и наоборот. Поэтому в клубе предусмотрена переговорная комната, где я, собственно, и работаю столом. Я каждый вечер к назначенному времени прихожу на работу, раздеваюсь, принимаю душ, вытираюсь. На меня надевают золотую маску без прорезей для глаз, и я укладываюсь животом на кожаную кушетку, подставив колени на специально приспособленные для этого подушечки. Всё сделано так, чтобы стоять было максимально удобно для модели. Моё тело при этом обнажено, руки прикованы

наручниками к кожаным валикам этой кушетки, а я распластана на столе. Таким образом я провожу шесть часов.

Сергей: В такой вот недвусмысленной позе?

Марина: Да, именно.

Сергей: И удобно так стоять в течение шести часов?

Марина: Вполне, к этому привыкаешь. Тем более, у нас есть перерыв в течение рабочего дня. Я работаю в паре со сменщицей с такой же комплекцией, как у меня. Когда мы меняемся, разницы не видно. У меня есть два часа лежать так. Потом приходит она, пока я иду на перерыв и отдыхаю в течение ещё двух часов. Затем я возвращаюсь и дорабатываю свои два. На следующий день мы меняемся. А потом у меня выходной. Иногда бывают переработки. Но в целом всё шикарно организовано. График распределен так, что стол всегда остаётся живым. Смена моделей происходит в тот момент, когда в переговорной никого нет. Это, кстати, определяется не по камерам — камеры в помещении по регламенту отсутствуют. Но есть очень точные датчики тепла, по которым можно определить наличие живого тела. В то время, когда в переговорной никого нет, нас очень быстро сменяют. Соответственно, обджект и овертаймы прописаны приблизительно. Иногда бывают задержки. Хотя в целом в переговорной члены клуба проводят довольно немного времени.

Сергей: И вы просто лежите. Вызываете своим видом у членов клуба определённые желания... Но не исполняете их?

Марина: Да, не исполняю. У меня никогда не было сексуальных контактов с посетителями комнаты. Более того, нам запрещено не только оказывать интим-услуги членам клуба, но и вступать с ними в какие-либо личные отношения другого характера, этот пункт отдельно прописан в трудовом договоре.

Сергей: И никто вам даже не предлагал ничего подобного?

Марина: Нет. Вы можете подумать, что к живому столу привлечено много внимания и желания. Но такие мысли возникают у вас из-за дефицита доступных для вас женских тел, либо из-за кажущейся экзотичности происходящего. Но нет. На самом деле я почти всё время валяюсь в полном одиночестве. Члены клуба, да, они иногда приходят в переговорную. Иногда даже общаются за столом. Но почти никогда не обсуждают серьезные вопросы рядом со мной, несмотря на то, что я подписала тысячи бумаг о неразглашении. Чаще всего обсуждают жён и детей, поездки и разные виды отдыха, гораздо реже играют в карты или даже шахматы, коробку с которыми ставят мне прямо на спину. Я валяюсь на кожаной кушетке, пристегнутая наручниками. Рядом с

моей правой рукой тревожная кнопка, которую я должна нажать в случае возникновения каких-либо проблем. Проблемой может быть что угодно: от прямого посягательства на моё тело до простого желания сходить в туалет. До меня почти никто не дотрагивается. Кстати, моё лицо закрыто маской, и я даже не вижу тех людей, которые находятся в комнате.

Сергей: И не было никаких инцидентов? Не приходилось нажимать тревожную кнопку в связи с посягательствами на ваше тело?

Марина: Нет. Пару раз мне отвешивали легкие шлепки по заднице и несколько раз легонько щекотали. Это считается допустимым. И это было скорее исключением. Большую часть рабочего времени я действительно стою. На меня обращают внимания так же мало, как на любой другой предмет интерьера, и я просто стою в своём углу. Но в конце каждой смены я неизбежно получаю свои четыреста долларов. К слову, четыреста долларов — это моя месячная зарплата на предыдущей работе.

Сергей: Вы работаете ради денег?

Марина: Разумеется. Ради чего же ещё? Не каждой девушке вроде меня так везёт. Я до сих пор удивляюсь, как со мной могло произойти нечто подобное. В отличие от других моих напарниц, которые прежде, чем попасть в «Икс» обивали пороги модельных агентств, ходили на тысячи кастингов, я нашла себя абсолютно непреднамеренно. Со мной заговорила гостья ресторана, в котором я работала официанткой, и предложила мне попробовать себя в этой любопытной роли.

Сергей (возмущённо, но слышно, что всеми силами пытается говорить спокойно): Нашла себя? Повезло? В чём вы видите здесь везение? Если я правильно понял, ваша работа заключается в том, чтобы изображать стол. Вам никогда не казалось, что такая работа не реализует вас как личность и вообще никак не задействует ваш творческий потенциал?

Марина: Я не личность, и у меня нет никакого потенциала. А ещё у меня нет хорошего образования. Я не обладаю никакими особенными талантами и умениями, которые мне обязательно нужно было бы реализовать в этой жизни. Такие люди, как я, это в основном продавцы-консультанты, официанты, уборщицы, горничные, посудомойки, рабочие цехов и складов. Но мне, как видите, повезло немного больше. Несмотря на то, что моя профессия вызывает у людей, вроде вас, некоторое отторжение, моральные мучения... или не знаю, что там с вами происходит, — ваш голос стал немного более эмоциональным

сейчас, – эта работа ничем не отличается от другой подобной, кроме того, что она оплачивается немного выше.

Сергей: Ладно, я вас понял. Призвание так призвание. А никогда не задумывались над тем, чтобы сменить эту работу на что-то другое? Где-то отучиться дистанционно?

Марина: Мне кажется, я нашла своё место в этой жизни. Я идеально подхожу для такой работы и не вижу смысла её на что-то менять.

Сергей (нравоучительно): Может, это просто зона комфорта и стоит из неё выйти?

Марина: Вы серьёзно? Только идиот может считать, что находиться в комфортных для себя условиях – это плохо! Не думали об этом? Призывают выйти из зоны комфорта только те, кто на самом деле в ней не находится. Это подмена понятий. На самом деле, все стремятся не выйти, а войти в эту зону комфорта. И если ты делаешь какие-то движения, значит, на старом месте тебе не очень-то и здорово. Вот и всё.

Сергей (возмущенно, недоуменно): А как же развитие? Высшие потребности?

Марина: Не понимаю, о чем вы. Давайте лучше по плану, ведь у вас был план вопросов для разговора со мной?

Сергей (растерянно): Хорошо.... Вам ведь приходится следить за красотой своего тела? Есть какие-то стандарты внешности у мебели клуба «Икс»?

Марина: Да, мне приходится следить за своим телом, я постоянно хожу на тренировки, где корпоративный тренер заставляет меня приседать со штангой, чтобы моя попа была круглой и аппетитной. Я должна иметь профессиональный маникюр с покрытием. Абсолютно любой. Иногда это ногтевые модные арты, стразы и рисунки, иногда обычный френч, иногда красный лак. Но дизайн мы выбираем не сами, нам всем, а нас только в переговорной на самом деле работает восемь девушек, делают одинаковые ногти. Мне нужно иногда посещать солярий и массажиста. Разумеется, эпиляция. Всё это оплачивает клуб. А в свободное время я трачу деньги. И в отличие от дома, где мои отношения с родителями были не слишком доверительными и где от меня ждали проявления талантов, которых у меня не было, в отличие от работы в ресторане, где я чувствовала себя не в своей тарелке, здесь мне по-настоящему легко и спокойно.

Сергей: Как ваши родители отнеслись к вашему выбору профессии?

Марина: Никак, потому что они не знают. Но я думаю, что мои родители не поняли бы этого. Этого бы не понял никто и с моей

предыдущей работы, где я была официанткой. Многие бы сказали, что это ужасно. Потому что я стою на коленях в унижительной позе и какие-то мужчины плятятся на мою задницу и иногда безнаказанно могут отвесить мне шлепок. На своей работе я превращаюсь в предмет. Но чем эта работа отличается от той же работы официанта, где я также просто предмет, способный принести кофе? Чем эта работа отличается от работы горничной или администратора? Чем эта работа отличается от любой другой? Я не знаю. Для меня прежде всего уровнем дохода, который я не смогла бы себе позволить ни в одной из вышеперечисленных сфер.

Сергей: То есть всё решается уровнем дохода?

Марина: Да.

Сергей: А помимо работы вы имеете какие-то увлечения?

Марина: Конечно. Я занимаюсь йогой, медитирую и стараюсь познать себя и своё существование как можно более полно. Это сказывается положительно как на моём эмоциональном состоянии, так и на качестве моей работы.

Сергей: О каком качестве может идти речь?

Марина: Хорошо, не на качестве. На внутренней наполненности во время обджект тайм.

Сергей: Обджект тайм?

Марина: Да, так называется в нашей работе непосредственно то время, когда мы становимся объектом потребления, в данном случае мебелью. Обджект тайм. А овертайм — это время перерыва, когда нас сменяет другая девушка, а мы можем отдохнуть по собственному усмотрению в одном из лучших элитных клубов региона, тем самым поднимаясь над собственной ролью.

Сергей: А что такое внутренняя наполненность?

Марина: Это сложно объяснить. Я бы посоветовала вам медитировать некоторое количество часов, чтобы понять это, но я прекрасно знаю, что вы негативно относитесь к медитации и прочим духовным практикам.

Сергей: Откуда?

Марина: Не угадала?

Сергей: Если честно, угадали.... Но откуда?

Марина: Я знаю и то, как вы выглядите. У вас синие глаза, пивной животик, смешные короткие ножки, и

Сергей (возмущенно перебивая): Почему сразу смешные?....
Погодите, откуда вы знаете, как я выгляжу?

Марина: Как бы объяснить.... Чтобы не скучать во время обджект тайм, но и не засыпать (сами понимаете, мобильные телефоны, музыка, фильмы, сон, — всё это запрещено), я медитирую. И за то время, что я работаю, я научилась видеть почти всё, что хочу увидеть. И, конечно же, я вижу при желании всё, что касается меня и моей судьбы. Вас я увидела примерно в тот момент, когда вы решили взять у меня интервью. Это было за пару дней до того, как вы разузнали мой номер и, наконец, позвонили.

Сергей (пораженно): То есть, находясь физически в одном месте, вы можете видеть другие?

Марина: Что-то вроде того. Но это пока получается не всегда. Я не готова углубляться в эту тему. Вернемся к плану вопросов, который вы настроили?

Сергей (уныло): Да, конечно. Как отражается ваша работа на вашей личной жизни?

Марина: Никак. У меня нет личной жизни.

Сергей (оживляясь): Из-за работы сложно встретить того самого человека?

Марина: Сложно, но не из-за работы. Это пока всё, что я могу сказать вам в ответ на ваш вопрос.

Сергей: Никогда не думали о том, что клуб может закрыться или же ваше место работы когда-нибудь упразднится? Или вы просто и банально станете старой, прошу прощения.

Марина: Да, конечно, последний пункт меня немного пугает. Но не до паники, так как я стараюсь грамотно распоряжаться своими деньгами. Думаю, уже через несколько лет я стану финансово независимой.

Сергей: Даже так....

Марина: Почему нет?

Сергей (раздражённо): А первые два пункта? Клуб может закрыться или ваша должность станет неактуальной. Вас это не пугает?

Марина: Нет, не пугает. Это маловероятно.

Сергей (все ещё раздраженно): Почему? Ведь в кризис многие заведения закрываются? Особенно те, которые предполагают роскошь и излишества.

Марина: В кризис страдают только капиталы тех людей, для которых роскошь является излишеством. Клуб «Икс» находится за пределами этого круга лиц.

Сергей (повышая голос): Однако, у клуба появился пресс-центр. А это значит, что у «Икс» есть потребность в создании определённой репутации для простого народа. Не всё так гладко?

Марина: Дело не в том, что клубу нужна какая-то репутация. На самом деле всё немного сложнее. И ответ на этот вопрос уже выйдет за рамки дозволенной мне степени разглашения. Буду благодарна за понимание. Предлагаю на этой ноте закончить интервью. Я знаю, что вы подготовили ещё два вопроса, но на один из них я косвенным образом ответила ранее, а на второй отвечать не буду. Спасибо за внимание к моей персоне, это был очень интересный и необычный для меня опыт. Никогда ещё не доводилось так много говорить о самой себе.

Сергей (отрывисто): Я понял вас. Спасибо за ответы на вопросы. До свидания.

Марина (с улыбкой в голосе): Прощайте. Успехов вам в вашей деятельности.

Сергей (грустно): Спасибо. И вам....

Иван Курдане: Вот и закончился разговор Сергея с Мариной, а заодно и обджект тайм нашего корреспондента. Теперь он может стать сам собой и выразить всё, что чувствует по поводу происходящего, но в эфире мы этого не услышим. А зная Сергея, я могу сказать, что он сейчас плюется и рассуждает о морали. Но задавать такие вопросы девушке напрямую он не мог, потому что для журналиста выражение собственного мнения — это непрофессионализм. А Сергей является высокопрофессиональным корреспондентом. Я хорошо его знаю и прямо чувствовал по его голосу, как он негодует.

У вас есть возможность поделиться своими предположениями, почему негодует Сергей. Ведь он может негодовать по двум причинам. Первая: он выступает за традиционные домостроевские ценности и считает, что женщина не должна оголять свой зад ни перед кем, кроме законного супруга. Вторая: он феминист и считает такой вид работы объективацией женского тела. Вы можете отправить в комментарии к файлу цифру один или два, в зависимости от того, что считаете более вероятным. Все, кто ответит правильно, будут участвовать в розыгрыше отличной кофеварки с капучинатором и набора для рисования на кофе.

А я вернусь к теме. Сергей действительно негодует. Но он не может выразить своё негодование, потому что наш канал не является оппозиционным, где спорить, гнобить друг друга и орать является

этической нормой. У нас серьёзный региональный канал, верно? И серьёзный региональный подкаст.

Но о чем же заставила задуматься эта запись лично меня? Я, если честно, задумался о том, что Сергей, как бы он ни негодовал, точно так же находится в обджект тайм, как и Марина, которая работает столом. Она не может встать и выйти, вынуждена терпеть иногда шлепки по попе и запах сигаретного, а то и какого-нибудь ещё дыма, а он вынужден терпеть других людей с их жизнью и их мнением, которое отличается от его собственного. Но только, в отличие от Сергея, который продолжает негодовать, Марина нашла себя и вжилась в свою роль, смогла познать дзен и научилась видеть реальность такой, какая она есть. Вы со мной согласны?

Однако, время подкаста закончилось и я вынужден на сегодня прервать нашу интересную дискуссию. В следующем выпуске мы поговорим об известных баристах нашего города и среди верно ответивших на заданный мной вопрос проведём розыгрыш кофеварки. А я с вами прощаюсь. До встречи.

Сергей Брус

Курганская область, Россия



Каиново семя (дебют)

Можно сказать и так: поездка не радовала.

Но это означало бы – не сказать ничего.

Пока ехали по грунтовке, автомобиль раскачивался на ухабах дороги, а затем его нещадно трясло, когда в черте города выехали на брусчатку.

Пары отработанного горючего проникали внутрь крытого фургона с надписью «Хлеб», и дышать с каждой прошедшей минутой становилось все трудней.

Подташнивало.

Люди, которые находились в фургоне, не видели друг друга. Внутри стояла тягучая и плотная, словно осязаемая, тьма. Если и были щели между не аккуратно пригнанных досок, то свет не проникал сквозь них, потому что снаружи царил осенняя ночь.

А улицы пустынно, и нет фонарей. Когда настоятельная потребность выгоняла кого-либо из дому, тогда путник осторожно крался вдоль стен. Он старался идти там, где тьма была особенно густа, и оставалось меньше шансов встретиться либо с бандитами, либо с теми, кто с ними боролся.

Но с этим можно было мириться. Это не страшно. И не эти мелкие неудобства непомерным грузом давили на поникшие плечи людей. Нет, не они.

Страх всплывал из глубин собственного сознания. Он сковывал смертным холодом сердце, покрывал лоб и все продрогшее тело бисером отвратительно-липкой испарины, заглядывал прямо в душу и открывал ей омерзительный оскал небытия. Голова томилась в тисках боли: казалось, будто на нее накинута металлический обруч и чья-то безжалостная рука все сильнее и сильнее сдавливает его. А перед глазами – из стороны в сторону – раскачивается огромный маятник, отсчитывая время, которое осталось у них до исхода.

Каждый знал о том, что ему выдан билет в один конец.

Молчали... Говорить было не о чем...

Вскоре людей качнуло вперед и автомобиль остановился.

Сначала – лай собак, а затем стал слышен неприятный, скребущий звук, который прошелся не только по ушам, но коснулся и каждого сердца. Это тоскливо заныли, застонали плохо смазанные петли на створках тяжелых ворот, открывая вход в хорошо известную неизвестность.

Ясен был финал — приговор особой Тройки, но неизвестны этапы пути к нему...

Лязгнули металлические детали засова, и чьи-то руки рванули дверь, отчего внутри стало немного светлей.

– Бегом из машины, сволочи! Бегом, падлы! – истошно орал вертухай, и его пронзительные вопли, – иначе не назвать те звуки, которые вырывались из его широко распахнутого рта, – перекрывали громогласный хор тюремных псов.

Люди один за одним спрыгивали на утопанную землю, где немедленно попадали в цепкие руки тюремной охраны. Последние толкали их вперед, порой сбивая с ног, а следующие за ними кто дубинкой, кто киянкой сопровождали далее до открытой двери, ведущей внутрь здания. И все с криками, матом и богохульствами, да под неумолчный рык рвущихся с поводков, натасканных на человека злобных псов.

До мелочей отработанная схема приема, вновь прибывшего, человеческого материала: они так и не поняли – эти горемыки из фургона, – как оказались в большом помещении, обстановку которого составляли лишь пустые столы, стоявшие вдоль стен, столь неумолимо быстро все произошло.

Возле каждого стола, перекидываясь скабресными шутками, стояли мужчины и женщины в военной форме. Особи женского пола преобладали — мужчины, по большей части, выступали в качестве загонщиков, которые и согнали узников в плотную группу в центре зала.

-Слушай сюда, контра недобитая. Вещи — на столы, одежду — на столы... Обыск. Живо!

Конвоиры пустили в ход дубинки и киянки, подгоняя непонятливых.

И снова крики. Отборная ругань и мат.

И густой запах сивушного перегара...

– Завязывай, братишки. – вскоре приказал старший. – Контра прониклась важностью момента. Они все поняли – и разоблачаются... Кому не ясно?! Одежду сняли! Быстро!

Хуже всех пришлось юной девушке, почти подростку. Она стояла с глазами, полными слез, и затравленно озиралась вокруг. Именно на нее переключилось внимание тюремных надзирателей.

– Давай, давай, заголяйся, контра, – орали они, сопровождая похабные слова, столь же непристойными жестами.

Более других старалась побольнее уязвить средних лет вертлявая вертухаечка, с явными следами пьяных оргий на лице и прокуренным голосом. Впрочем, не нам судить: работать так, как работали эти пахари революции, и в то же время смотреть на мир трезвыми глазами, наверное, весьма непросто.

– Что, застеснялась, сука?! – закричала она и занесла киянку над головой беззащитной девушки. – А когда перед недобитой контрой ноги раздвигала, стыдно не было?! А?!

Деревянный молоток не нашел цели. Он ударил по плечу пожилого мужчины, который мгновением ранее слегка отодвинул девушку в

сторону, убрав ее с линии удара. Вертухайка замахнулась снова — она жаждала пустить кровь этой девке, невинная чистота которой больно уязвляла то немногое, что еще оставалось от ее совести.

– Подождите, – спокойно сказал длинноволосый мужчина, одетый в рясу, местами, уже порванную. – Попробую всё уладить, с Божией помощью.

«Красная дьяволица» опустила киянку:

– Улаживай. Только запомни хорошенько — здесь тебе Бог не помощник. – усмехнулась она.

Мужчина бережно приподнял заплаканное лицо девушки и посмотрел ей в глаза.

– Успокойся, милая, успокойся. – сказал он. – Не так страшен черт, как его малюют.

Губы вертухайки растянулись в некоем подобии улыбки:

– Скоро узнаешь, поп, как он страшен. Прямо тут и узнаешь, потому, как вы – уже в аду!

Ее реплика вызвала взрыв гомерического смеха – тюремщики бесновались. Не в переносном смысле, но в прямом. Они подошли поближе, предвкушая очередное развлечение. Конечно же, жизнь — скучна... И что может так украсить ее весельем, как не зрелище страданий ближнего?!

Тем временем, священник говорил с девушкой. Его слова были едва слышны, но в наступившей тишине каждое прозвучало, словно набатом:

– Мы не станем смотреть, – отвернемся..., а на этих, – он кивнул в сторону слугителей тюрьмы, – не обращай внимания: это уже не люди, а полубесы. – Священник замолчал, а затем, вполголоса, добавил, – нелюди, одним словом.

И звуки пропали.... Потому что стало очень тихо. Более того — казалось, что тишина превратилась в физически осязаемую субстанцию.

Вертухаев не возмутил тот факт, что их причислили к бесовскому сословию, нет! Им льстил, можно сказать и так: приятно щекотал революционную гордость и самосознание тот факт, что именовали их «красными дьяволятами». По молодости лет, конечно же, дьяволятами, но с твердокаменной уверенностью в том, что по мере физического взросления, войдут и в духовный возраст полных демонов революции.

Но «нелюдь»?!

Если бы спросил их кто, то не смогли бы эти люди дать какое-либо более или менее вразумительное объяснение неприятию этого

определения, но интуитивно они чувствовали, что это – полновесное оскорбление. Понимали правду этого слова по отношению к себе, так как где-то глубоко-глубоко, в недрах не способной умереть человеческой души, все еще теплился малюсенький остаток бесценного дара Божия человеку — его совести. Он едва тлел, но в то же время обжигал больно, и они топтали божественную искру грязными сапогами, заглушая дикой злобой те крохи человечности, которые все реже и реже напоминали о себе.

-Бей контру! – прозвучал призыв.

Вероятно, бесстрастная старуха, на чей голый череп накинута черная шапка, уже занесла косу над головой священника, но смертный час его еще не пробил.

-Отставить, – властный голос прозвучал от закрытой до сей поры второй двери, которая вела в большой зал, и заставил всех обернуться к ней.

С первого взгляда было ясно, что тот, кто отдал приказ, не сомневался в его беспрекословном исполнении: обладатель шикарной кожаной куртки, весьма любимой комиссарами разного калибра, столь усердно трудился на ниве красного террора, что заслужил безусловное уважение большевистской братии, которая стояла ниже на иерархической лестнице революционного беспредела.

– Этого, – он указал на человека в рясе, – этого ко мне. И быстро. Успеете пообщаться, – добавил он с мрачной ухмылкой на лице, – когда пойдете сопровождать его в последний путь.

Конвейер по приему кандидатов в расход заработал так, словно ничего и не произошло. Рутинная... Сколько их уже прошло, и сколько пройдет еще. Нет причин для того, чтобы задумываться о тех, кого вычеркнули из списков живых. Их уже нет.

Пуля лишь поставит жирную точку.

А тем временем человека, одетого в рясу, провели по лестничным маршам на несколько уровней вниз и втолкнули в камеру. Судя по отсутствию забранного решеткой окна, она находилась в подвале и использовалась для допросов, так как, кроме письменного стола и прибитого к полу табурета, иной мебели здесь не наблюдалось.

– Присаживайся, что ли, собрате мой. – Человек в кожанке указал на табурет. – Или не признал?

– На память не жалуюсь. Узнал.

– Это хорошо, что узнал. Тогда и поговорим, как говаривали старые и добрые друзья, да в старые и добрые былые времена. Вина, прости, не будет, а чайку можем сообразить. Эх! – он потер ладонь о ладонь. –

Вернуть бы времена нашей семинарской молодости! – слегка поджав тонкие губы и прикрыв веки, обрамленные чуть-чуть подпаленными ресницами, он покачал головой, словно вспоминая дни бесшабашной юности, и затем спросил:

– Так что с чайком? Или откажешься? Так это будет проявление бесовской гордыни. А? Негоже так-то, отец Николай. Ой, негоже.

– Зачем отказываться? Следующее чаепитие, вероятно, уже за гробовой доской будет.

– Ой ли?! Не спеши отче, не спеши... До нее еще дожить надо. – С недоброй усмешкой сказал человек, который сидел за столом, и добавил, выдержав небольшую паузу. – А это будет непросто в наших-то лагерях. Весьма не просто...

Он навис над столом, понизил голос, словно заговорщик, и сказал шепотом:

– Поверь – я знаю, что говорю.

Человек в кожанке откинулся на спинку стула и тяжелым взглядом, не мигая, посмотрел на собеседника. Не столь важно, сможет ли он сломать своего бывшего сокурсника или нет. Не важно. Не этот, так другой... Недостатка в иудах никогда не ощущалось. Особенно — среди высшего духовенства. Царя, не так давно предали... Да что там говорить: и предательство Самого Христа — дело рук первосвященников. Слабое звено, что ни говори, эта архиерейская братия. А друга юности лучше дожать — знает отца Николая народ, знает и верит ему. Многие за ним пойдут, если соблазнится сребрениками.

– Не надо вокруг да около ходить, Владимир, – ответил священник, – не ради самовара сюда позвал.

– Ну и ладненько, – согласился тот, кого назвали Владимиром, – не хочешь чаю, так и не надо. Решим дело полюбовно — сразу домой и пойдешь. Там можно будет и водочки испить, праздную избавление из рук нечестивых. Хоть до поросычьего визга нажрись! Все тебе власть народная позволит, если примешь мое предложение. Не скрою, в этом случае и сам нечестивым станешь. Не без того. Так ведь и право жить – заслужить надо.

– Совсем Бога не боишься?

– Правду тебе скажу, Коля. Как на духу, – человек в кожанке перегнулся через стол и смотрел теперь прямо в глаза собеседника. – Бог, Коля, Он, может, есть, а, может, и нет... И это – тот еще вопрос, а жить-то я здесь хочу. И сейчас... Подумай. Только поскорее. Времени у тебя нет. Могу дать минуточку... И все.

– Чего ты хочешь?

– Да все – как и всегда. Ничего нового: здесь тебе хлеб и жизнь, – Владимир выложил на стол бумагу с напечатанным на ней текстом, – а не подпишешь... Прости, но будет Крест.

Он накрыл бумагу своей ладонью и придвинул ее к краю стола.

Это — декларация вашего митрополита Сергия Страгородского об отношении Православной Российской Церкви к существующей гражданской власти большевиков. Можешь не читать. Здесь изложено обыкновенное отношение надсмотрщика, из рабов, к своему хозяину и, соответственно, есть призыв к пастве слепо следовать за ним. Не станешь читать, поверь, ничего не потеряешь. Твое дело подписать. И будешь, Коля, свободен как ветер, который волен вольно гулять везде, где мы позволим.

Владимир рассмеялся собственной шутке и еще раз хлопнул ладонью по тексту сергиевой декларации.

– Подписывай.

– Не наш митрополит Сергей, – ответил отец Николай, – обновленческий. Скорее — ваш он.

– Другой бы спорил, а я — нет. Конечно же, – он наш. Наш потому, что назвал нас, откровенных богоборцев, властью от Бога. И не важно, каковы были его побуждения: Иуда, как говорят некоторые, тоже руководствовался благими намерениями, а Каиафа и Анна хотели уберечь народ от несчастий... А что имеем в результате? Правильно – они отдали на распятие Сына Божия. Нет. Сергей – он и ваш, потому как является заместителем местоблюстителя патриаршего престола. Единственным, заметь, кто сейчас на свободе, милостью больших людей с Лубянки. Главпоп – на данный момент. А декларация эта – есть дело его рук. А там черным по белому написано о том, что вполне можно быть православным христианином и вместе с этим сознавать Советский Союз своей гражданской родиной, радости и успехи которой – ваши радости и успехи, а неудачи — ваши неудачи. Как тебе это: радости врагов Божиих — ваши радости?! Ха-ха-ха.

И хлопнул по столу уже кулаком.

– Подписывай, — сказал он.

Его собеседник отрицательно качнул головой.

– Ты же знал, что я не поставлю свою подпись. – Ответил он. – Знал еще до того, как предложил мне принять этот акт предательства Господа и Бога нашего Иисуса Христа.

Человек, одетый в кожаную куртку, отнесся к отказу философски.

-Ты — дурак. Дурак и фанатик. К тому же – фанатик, можно сказать, почти покойный. На что ты надеешься? Стремись попасть в сонм христианских мучеников? Дурак ты, отец Николай, трижды дурак. Мы воспитаем целую плеяду наших «патриархов», которые будут верно служить нашему же делу, и кто-то из них, будущий, когда-нибудь освятит памятник нашему же ставленнику, митрополиту — обновленцу, толерантному к богоборческой власти, Сергию Страгородскому! А всех вас, дураков, мечтателей и идеалистов, будут жрать могильные черви, и более того – на церковных службах поминать вас станут как исповедников и новомучеников нами же созданной «церкви».

Владимир еще раз хлопнул ладонью по тексту сергиевской декларации.

– Подписывай.

Отец Николай кротко взглянул на него и ответил тихо:

– Бог поругаем не бывает, Володя...

Когда отец Николай посмотрел в глаза расстрельной команды, он без удивления увидел, что глаза их были пусты.

Николай Толстиков

Вологда, Россия



Маэстро

Нина Ивановна, спустя много-много лет, все-таки вернулась однажды в Ильинку. В храме она остановилась перед кануном, сжимая

в руке пучок простеньких свечечек; зажигая и расставляя их, шептала имена, на мгновение воскрешая в памяти полузабытые лица давно ушедших.

Вошла сегодня в храм Нина Ивановна без опаски, не остерегаясь осуждающего чужого глаза, не как в далекой юности...

Тогда все ее еще звали просто Нинкой-Ниночкой. Она собиралась идти учиться в десятый класс, когда ее отца, подполковника, заместителя командира танковой части, из города в Подмоскowie перевели в глухую северную глубинку. Нинка с мамой особо не отчаивались, собрались быстро: что поделывать, судьба военная такая. Да и отца с войны четыре года ждали, вернулся совсем недавно.

Нинка теперь после уроков в новой школе — бывшем купеческом особняке в центре городка домой не мчалась как угорелая — не мелочь пузатая уже, а вышагивала не торопясь, в окружении сверстников, форсисто задрав носик и помахивая портфельчиком в руке. Голову рослой Нинки украшала свернутая в тяжелую корону русая коса.

Ближе к околице ватага сверстников таяла. Дальше девчонке по полевой дороге вдоль жидкого перелеска до бараков воинской части предстояло бежать одной. Из мальчишек-одноклассников в провожатые пока никто не набивался, видимо, робея Нинкиного городского гонора и под стать ему характера.

Миновав околицу, Нинка прибавляла шаг, потом уж чуть ли не бежала. От заносчивой девчонки не оставалось и следа, мчалась как последняя трусишка. Еще бы — в продуваемом насквозь ветром редком перелеске мелькала согбенная мужская фигура с длинными включенными космами волос на голове. Незнакомец, выглядывая из-за стволов деревьев, передвигался по перелеску ничуть не медленнее Нинки, вынужденной перескакивать и обегать дорожные ухабы, заполненные водой. Девчонка, хоть и боялась попристальнее взглянуть в его сторону, все-таки успела рассмотреть его лицо с вытарашенными глазами и облепленное клочками седеющей щетины. Домой Нинка заскакивала — не помнила как...

Она стала брать провожатых парней: уговаривать их не пришлось — тряхнула косой, и тут же побежали наперебой. По перелеску теперь никто не метался, лишь раз мелькнула в стороне знакомая фигура и пропала.

Нинка вздрогнула и испуганно заозиралась.

– Яшки, что ли, боишься? – спросил один из провожатых кавалеров.
– Так это наш дурачок, безобидный и добрый. Ничего худого не сделает.

И вправду, Яшка к Нинке по-прежнему близко не подходил, только выглядывал ее, прячась, из-за углов, и Нинка скоро стала привыкать к такому странному вниманию.

Иногда и ей самой доводилось незаметно понаблюдать за своим неожиданным «поклонником».

У Яшки было, видимо, что-то неладное с ногами: развернутыми в разные стороны ступнями он вздымал клубы пыли, неуклюже переваливаясь по подсушенной еще почти летним солнцем улице, но передвигался довольно быстро, наклонив вперед голову с нечесаной гривой волос. Было Яшке за тридцать, сильно старила его борода с нашлепками седины. На лице его, казалось, застыла навсегда блаженная улыбка, хотя большие черные глаза смотрели с печалью.

Выскакивали из подворотен брехучие псы, норовили ухватить Яшку за штанину; мальчишки-мелюзга, дразнясь, бежали следом за ним и пуляли камушками. Яшка, хоть бы что, скаля зубы, упрямо пер вперед...

Жил он в сторожке на краю погоста возле Ильинки: старик сторож потеснился, уступив на время убогому чуланчик, а тот так в нем и остался. Старушонки-прихожанки Яшку, жалея, подкармливали, да и сам он не слонялся без дел, а их в приходском хозяйстве — пруд пруди.

Вот так же, жалеючи и чуть с насмешкою, однажды провожала взглядом Нинка бедолагу, несущегося куда-то по улице.

Нинка и сама спешила — на «осенний бал» в городском доме культуры. В новом платье, стесняясь накинутаго на плечи старенького маминогo пальто, она старательно обходила лужи, стараясь не запачкать туфли. Предстояли не какие-то школьные танцульки, а настоящий, первый в жизни «взрослый» бал. К «Дому культуры», расквартировавшемся в стенах церковного собора, она пришла одной из последних. Постояла в нерешительности перед входом в здание со сбитыми куполами, перешагнула порог, заметив проступающую сквозь побелку фреску со святым ликом над аркой входа.

Стены внутри собора, высокий свод тоже тоже были наглухо забелены, но лики святых все равно проявлялись тут и там. Новые хозяева здания пытались их прикрыть кумачовыми полотнищами с наляпанными наспех в «духе времени» лозунгами.

Молодежь толпилась у дальней стены возле штабеля поставленных друг на дружку длинных лавок для зрителей — кино показывать сегодня не собирались. На деревянном помосте сцены, устроенном в алтаре, резвились, выплясывая, девки в красных косынках из

агитбригады; потом что-то, жутко фальшивя, попытался исполнить местный духовой оркестр.

И наконец... Заскучавшая Нинка даже растерялась, увидев на сцене... Яшку. В чистом, явно с чужого плеча, costume, с аккуратно причесанными волосами и подстриженной бородкой, он неуклюже проковылял к роялю, громоздившемуся в углу сцены, сел на табуретку, все с прежней своей блаженной улыбкой поднял над клавиатурой руки с длинными пальцами и когда их опустил... Звуки вальса взметнулись и разлились под соборными сводами, по упраздненному властями Божьему храму закрутились в стремительном танце пары.

Нинку пригласил молодой красавец-лейтенант из отцовского гарнизона. Увлеченная танцем, она все время чувствовала на себе Яшкин взгляд, хотя, казалось, что за роялем он забыл обо всем на свете, без усталости играя весь долгий вечер.

Все остались довольны: и танцоры, и любители, подперев плечом стенку, просто поглазеть. Только непонятным было Нинке: почему это в своем углу, что-то шепча, украдкой крестилась бабка-билетерша...

Яшка после того вечера куда-то пропал; Нинка забеспокоилась даже. Будто чего-то не стало хватать в этом маленьком городке. И ноги ее как-то сами собой принесли к ограде Ильинки, где в сторожке обитал Яшка. В храм она не зашла, побоялась: отличница, комсомолка – мало что накажут, но и еще за «свихнувшуюся» посчитают.

У ворот Нинке встретилась та старушка-билетерша из «дома культуры».

– Я уж, милая, подумала на тебя, что это наша Настенька воскресла! – воскликнула она, всматриваясь пристально Нинке в лицо.

– А кто она была?

– Дочка здешнего диакона.

Старушка поозиралась, взяла Нинку за руку и отвела на укромную лавочку, спрятанную в еще не облетевших кустах у ограды.

– Перед войной, в тридцать седьмом, их всех «забрали». Настенька-то от отца не отрекалась — и ее тоже. И Яшкиного родителя, отца Игнатия, со старшими сыновьями. Яшке-то младшему, «заскребышку», особенный талант к музыке Господь дал. Парня даже в консерваторию в Петербург учиться взяли. А потом тоже — в тюрьму... — старушка заговорила еще тише. — И вот Яшка вернулся, то ли отпустили, то ли сбежал. Ноги обморозил. Прибег домой, а родных никого в живых нет. Всех! Он на колокольню взобрался и сиганул вниз. С горя. Грех смертный задумал совершить — самоубийство. Но жив остался. Господь безумием его наказал, только талант не отнял,

оставил... А Настенька-то невестой его была обрученной. И ты — вылитая она!

– Где сейчас он... Яшка? – спросила растерянная и потрясенная старухиным рассказом Нинка.

– Лежит вон, в сторожке, едва живой... Он после каждого такого своего выступления болеет тяжко. Вот ведь судьба — памятью от прежней жизни один рояль у него остался, и в соборе, где отец настоятелем служил, играть для публики ему приходится. Страдает он, хоть и не в себе давно...

Нинка поднялась с лавочки и хотела уж пойти в сторожку проведать Яшку, но старушка удержала ее:

– Лучше тебе, девонька, его сейчас не видеть! Он еще хуже, чем есть...

Дома Нинку ожидал радостный, взволнованный отец:

– Собирайся, стрекоза, уезжаем отсюда! Меня переводят служить в Германию!..

Через пару дней немудреный семейный скарб был уложен в кузов грузовичка. Отец попрощался на плацу с танкистами, сел на переднее сидение открытого «виллиса» рядом с солдатом-водителем. Нинка и мать расположились позади.

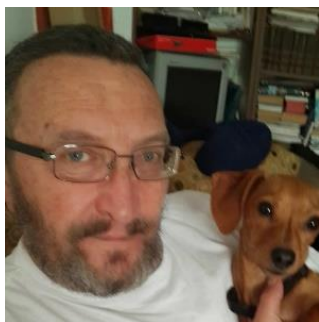
Миновав околицу городка, машины вывернули на «большак». И тут, у поворота, Нинка заметила знакомую косолапую фигурку, ковыляющую наперерез по полю.

Яшка застыл на дорожной обочине как вкопанный, и, когда мимо, набирая скорость, проезжали машины, так же, как и раньше, глядя на Нинку, блаженно улыбался и так же печальны были его глаза. Он поднял руку и прощально помахал. Робко, оглядываясь на мать, махнула ему рукой и Нинка...

...Нина Ивановна долго еще стояла у кануна, дожидаясь пока не погаснет огонек поминальной свечки. Что стало с тем бедолагой Яшкой из далекой ее юности, как окончил он дни свои? Теперь наверняка никто и не ведал. Сколько страдальцев в разные времена видел этот Ильинский храм — несть им числа.

Лев Альтмарк

Беер-Шев, Израиль



Последний бой Рона

...А потом всё опять погружалось в едкий удушливый жёлтый дым и мысли путались.

Кашляя и отплёвываясь, он выбирался из своего люка и всё пытался задрать голову и взглянуть на башню, в которой был Алекс. Но в густом клубящемся дыму ничего видно не было. А потом что-то оглушительно грохнуло, и звуки пропали. Где ты, Алекс?..

...Очнулся Рон уже в больничной палате.

- Как себя чувствуешь, солдат? – донёлся до него незнакомый голос.
- Где я? – с трудом прошептал Рон. Шевелить губами было почему-то трудно, и очень хотелось пить.
- Ты в больнице. Всё теперь у тебя будет хорошо.
- А Алекс? А танк?
- Обо всём потом. А сейчас отдыхай и выздоравливай...

... Сквозь клубы дыма за секунду до того, как прогремит взрыв, он, кажется, заметил краем глаза, как на броню танка лезут две или три фигурки в чёрных майках и испачканных землёй джинсах. Там же Алекс... Неужели они подбираются к нему на башню? Для чего? Взять в плен? Ну, Алекс парень крепкий, его голыми руками не возьмёшь... И всё же они лезут...

Чёрт возьми! Ну, стоило ли им ссориться перед самым боем? Они и раньше не особо ладили. Алекс – студент университета, а Рон – всего лишь работяга на заводе. Ну и что из этого? Что это меняет?.. Пора бы

уже знать, всё в этом мире непостоянно – не найдёт Алекс работу после университета, на тот же завод прибежит. А Рон... Нет пока у него определённого плана, но всё ещё впереди...

И всё-таки не надо было им ссориться перед самым боем...

Понятно, что это всенародная любовь к нашим солдатикам, к нашим раненым бойцам, к нашим мальчикам... Но где вы все, ребята, были раньше, до войны? Когда в страну приезжает одиночка, такой, как Рон, ему предоставляется полное право выбираться из дерьма самостоятельно. Разве он после школы не поступил бы в тот же самый университет, как Алекс, который приехал с родителями? Ему тоже пришлось несладко, и он тоже повкалывал, чтобы заработать деньги на учёбу, но ему хоть свои помогали...

Как надоело это казённое слезливое сочувствие! Какие-то незнакомые люди мельтешат в палате – члены Кнессета, сердобольные истеричные девицы, целующие его в лоб, как покойника, генералы, которых он видел раньше разок-другой на базе и которым раньше до него не было ровным счётом никакого дела. Модно это – навестить раненого солдата...

Рон уже пытался встать с кровати, но ему не давали. Мол, серьёзных ранений у тебя, солдат, нет, но есть тяжёлая контузия. Вряд ли ты пока сумеешь адекватно вести себя. Так что лучше лежи, а врачи поставят тебя на ноги. Попей таблеток, отоспись, и голова перестанет болеть...

...Две или три фигурки в чёрных майках и джинсах – это наверняка боевики, подбившие их танк. Но Рона взрывной волной сбросило с брони и, кажется, даже присыпало землёй, а что с Алексом? Удалось ли ему спастись? Почему никто не говорит?

– Доктор, что с Алексом? – спрашивает он у человека в белом халате, который утром пришёл к его кровати в окружении медсестёр и студентов.

– А кто это?

– Мой командир. Мы с ним в танке были...

Доктор на минуту замаялся, потом неспеша проговорил, наверняка взвешивая каждое слово:

– Тебя привезли два дня назад, и ты был без сознания. С тобой вместе привезли ещё трёх раненых, но среди них не было парня по имени Алекс.

– Как же так? – Голос Рона предательски подрагивает. – Мы же были вместе...

Доктор вздыхает:

– Будет кто-нибудь из армейского начальства, у них и спросишь. А я всего лишь врач, который тебя лечит...

В палате ещё две койки с ранеными солдатами. Все койки разделены ширмами, но тишины и покоя нет. То и дело к кому-то приходят очередные посетители, и палата всё время наполнена тихим шелестом слов и шагов.

Как они надоели! Рон вертится на своей койке, и никак не может найти удобного положения. Ночью он спать не может, потому что начинает задыхаться от дыма, который не перестаёт валить от подбитого танка, а днём эти люди...

Только утром перед обходом врача устанавливается некоторое затишье. Посетителей просят выйти в коридор, и молчаливая уборщица-тайландка быстро протирает полы и тоже уходит.

Со своими соседями Рон так и не познакомился, потому что они лежачие. Один всё ещё без сознания, а у второго, видимо, постоянные боли, и ему не до разговоров с соседями. Даже имён их Рон не знает. Да ему это и не нужно...

...Наверняка эти подбившие танк боевики захватили Алекса. Он у них в плену. А иначе Рону обязательно что-нибудь про него рассказали бы. Не хотят беспокоить. Но... даже если он в плену, зачем делать из этого тайну?! Нужно его спасать!..

Спасать, спасать, спасать... Но как? Может, про Алекса просто забыли? А может, сочли погибшим?! Ну, не может быть такого! Алекс такой весельчак и балагур, всегда достававший скупого на слова Рона... Ну, не может этот жизнелюб так просто погибнуть! Не тот он человек, чтобы без сопротивления сдаться обстоятельствам...

Значит, нужно ему помочь. Если никому из окружающих нет до этого дела, то остаётся Рон. Тем более, они с Алексом пока в ссоре и так это оставлять нельзя. Нужно спасти командира... Но опять же как? Пытаться рассказывать тем, кто сюда приходит? А кто его, по большому счёту, слушает? Кто услышит? Люди приходят сами выговориться, посмотреть на солдата. Многие приходят позировать перед телекамерами, чтобы попасть в вечерние новости, мол, вот мы какие сердобольные и отзывчивые...

Хорошо, что мы пока в ссоре с Алексом! Рон невольно даже скрипит зубами. Только злей буду его вытаскивать. Откуда? Да чёрт его знает

откуда! Но вытаскивать надо. Хотя бы по одной причине – помириться...

– Куда ты встал, солдат? – пытается остановить его медсестра, пожилая женщина с усталым материнским лицом. – Тебе же нельзя...

– Пойду, покурю на балкон, – улыбается Рон и ковыляет, придерживаясь за стену.

– Да и не курил бы ты! Вон, еле на ногах стоишь.

– Я всего одну... – Рон спешит, не оглядываясь. – И воздухом свежим подышать...

– Может, я тебе помогу?

– Не надо, сам справлюсь...

На балконе с пятого этажа больничного корпуса разворачивается панорама города, залитого полуденным солнцем. Сегодня очень жарко. Места в тени на нескольких железных скамейках заняты больными. В уголке курят два молоденьких парня в медицинских халатах.

– Дай сигаретку, – просит Рон у мужика с загипсованной ногой, опирающегося на бетонный парапет.

Мужик протягивает пачку и спрашивает:

– Солдат?

– Да.

– Ну, как там в Газе?

– Нормально. Воюем. – Рону вовсе не хочется разговаривать о войне, отвечать на одни и те же вопросы, выслушивать стандартные ахи и охи.

Мужик что-то ещё пытается спросить, но Рон поскорее прикуривает и отходит в сторону.

– Слушай, – вдруг обращается он к мужику, – у тебя есть какая-нибудь майка и брюки?

– Удрать отсюда хочешь? – ухмыляется мужик. – Зачем? Здесь же тебя подлечат, а потом отпустят. Не волнуйся, лишнее время держать не будут.

– Надо мне очень... Так есть? А то в этой больничной пижаме меня первый же полицейский остановит. Даже охранник на входе не выпустит.

Мужик некоторое время пристально разглядывает Рона, потом спрашивает:

– А ты насовсем хочешь уйти или вернёшься?

Если сказать, что насовсем, мужик, пожалуй, не даст одежду.

– Вернусь, – вздыхает Рон и придумывает на ходу, – у меня, понимаешь ли, тут девушка живёт. Недалеко, в двух кварталах. Утром вернусь и всё тебе отдам.

Мужик похабно ухмыляется, но кивает головой:

– Пойдём ко мне в палату...

...Держись, Алекс! Хотя ты и зазнайка, и я всё ещё немного злюсь на тебя, но приду тебе на помощь. Вовсе не потому, что ты поступил бы точно так же, просто мы солдаты, и должны поступать как солдаты. Нельзя в бою оставлять товарища. Нельзя...

Наверняка эти трое боевиков никуда не делись с этого места. Я уверен в этом. Небось, отсиживаются сейчас в туннелях, которые прокопали вокруг. Их бомбят, а они, как крысы, притаились и выскакивают, когда почувствуют запах добычи... Не будет у них добычи! Я спасу тебя, Алекс, и докажу, что напрасно ты подсмеивался над своим механиком-водителем...

На громадной автомобильной стоянке у больницы многолюдно. Кто-то приезжал и уезжал, и на Рона, натянувшего на себя мятую белую майку и светлые полотняные брюки, внимания никто не обращал. Мало ли тут сегодня молодых ребят, без цели расхаживающих среди рядов припаркованных автомобилей.

– Простите, вы не прихватите меня с собой? – спросил Рон у толстяка, садящегося в белую «Сузуки-Балено».

– Куда тебе надо, приятель? – Толстяк вытащил из багажника бутылку с водой и отхлебнул большой глоток. – Учти, я не местный и по городу крутить не буду. Сразу на выезд и по тель-авивской трассе до своего дома...

– Мне туда и надо.

– Куда конкретно? Ко мне домой?

– Я покажу по дороге, где мне выйти.

– Садись...

В машине было душно, и у Рона сразу стало ломить в висках. Не спас даже кондиционер, который толстяк включил почти сразу. Он молча крутил баранку и поглядывал на своего мрачного попутчика.

– А что ты делал в больнице? – наконец спросил он у Рона. – Навещал кого-то из родственников?

– Да, – с трудом проговорил Рон, морщась от головной боли. Его даже бросило в пот от слабости, и толстяк это заметил:

– Тебе плохо? Укачало? Возьми бутылку с водой, попей...

– Спасибо. – Рона всё больше и больше злил этот разговорчивый дядька, у которого, судя по его довольной физиономии, никаких проблем никогда не было.

– Как тебя хоть звать-то, парень? Меня зовут...

Но Рон его зло перебил:

– Меня не интересует, как вас зовут! Давайте помолчим. Мне и в самом деле очень плохо!

– Ну, как знаешь! – обиделся толстяк и дальше ехал, демонстративно отвернувшись в сторону.

Рон безучастно смотрел в окно и всё никак не мог вспомнить, зачем и куда он едет и как вообще оказался в этой машине.

– Остановите, я хочу выйти... – морщась, проговорил он, чувствуя, что его начинает тянуть на рвоту.

– Э-э, парень, вижу, тебе совсем плохо! – Толстяк пристально разглядывал Рона и стал притормаживать на обочине.

Рон с трудом открыл дверь и выбрался наружу.

– Постой! – окликнул его толстяк. – Здесь ничего нет в округе. Куда ты идти собрался?

Он вышел из машины и подхватил парня под руку. Рон почти не сопротивлялся, лишь прошептал:

– У тебя есть какие-нибудь таблетки от головной боли?

Толстяк дотащил его до машины и усадил на сиденье сзади:

– Чувствую, брат, тебя нужно назад в больницу везти. Ты, кстати, не сбежал ли оттуда? Что-то у тебя вид нездоровый...

И тут у Рона что-то полыхнуло перед глазами. Он схватил большой металлический термос, лежавший на заднем сидении, и изо всех сил ударил толстяка в лицо. Раз, потом ещё раз, а дальше он уже ничего не помнил...

...Он бродит по руинам среди кусков искорёженного бетона и ржавой арматуры, спотыкается о торчащие обугленные деревяшки, и вокруг него странная пустота. В ушах свист, невыносимый и несмолкающий, и как ни затыкай уши, он только нарастает.

Ему кажется, что он зовёт Алекса, но собственного голоса не слышит. Лишь этот жуткий пронзительный свист...

Какие-то люди проходят мимо него. Вернее, не проходят, а еле слышно проплывают лёгкими полупрозрачными тенями. Но среди них он не видит людей в чёрных майках и перепачканных землёй джинсах. Какие-то силуэты...

Где ты, Алекс? И где наш подбитый танк, из которого Рон успел выбраться, а вот выбрался ли командир, неизвестно. А может, Алекс всё ещё там, в башне танка, и нужно спешить, чтобы помочь ему? Ведь танк горел. Наверняка горит до сих пор...

И что это за несуразный металлический термос в руках? Откуда он взялся?..

Рон медленно ехал в белой «Сузуки-Балено» по тель-авивскому шоссе. Голова соображала плохо, но он помнил, что нужно добраться до выезда на приморское шоссе и там повернуть в сторону Газы. Перед самой Газой все дороги, конечно, закрыты, ведь объявлено военное положение, но там он что-нибудь придумает.

О толстяке, которого он бил термосом, Рон не вспоминал. Не стоило быть таким настырным. Видишь, что с тобой не хотят разговаривать, не лезь. Разве ему объяснишь, что нужно спасти горящего в танке командира? Этот толстяк и в армии наверняка не был, не то что на войне...

Ага, вот и перекрёсток, на котором нужно сворачивать. Рон даже повеселел. Он включил приёмник и попробовал найти какую-то музыку, но сразу тихий салон машины наполнился визгливыми обрывочными звуками, отозвавшимися резкой болью в затылке. Рон с силой ударил кулаком по панели приёмника, но тот не только не стих, а запел ещё громче.

Машина завихляла, потому что Рон теперь управлял одной рукой, а второй пытался вырвать панель приёмника. Когда ему это удалось, боль в голове немного стихла, и он смог перевести дыхание...

...Ему казалось, что он уже едет по Газе. Дорога, разбитая артиллерийскими снарядами, пыльный искорёженный гусеницами танков асфальт, полуразрушенные дома на горизонте. Это небольшой городок, из которого постоянно запускались ракеты в сторону Израиля, и который почти полностью разрушен после авиаударов и обстрелов артиллерии. Но городок постоянно огрызается, потому что боевики ушли в тоннели под землю, и достать их оттуда совсем непросто. Именно там и подбили их танк...

– Как ты сюда попал? – вдруг донёсся до него голос.

Рон вздрогнул и посмотрел по сторонам. Рядом с ним на соседнем кресле сидел... Алекс. Он был в расстёгнутом испачканном бронежилете и каске, но лица его почему-то не было видно.

– Я приехал тебя спасать, – виновато пробормотал Рон, – ты же остался в танке...

– В каком танке? Я сейчас здесь, с тобой рядом...

– А кто тогда остался в танке?

Алекс тяжело вздохнул, но ничего не ответил. Рон молча вёл машину и не отводил взгляда от дороги. Ещё раз посмотреть в сторону Алекса он почему-то не решался.

– Ничего не понимаю, – наконец проговорил Рон, – где ты и где я? Где мы сейчас находимся?

Некоторое время он ждал ответа, потом всё-таки повернул голову. Соседнее кресло было пустым...

Самый первый кордон на шоссе оказался полицейским. Машина с мигалкой стояла поперёк дороги, и один полицейский сидел внутри, а второй, облокотившись на капот, внимательно разглядывал медленно приближающуюся белую «Сузуки».

– Это снова они! – закричал с соседнего кресла снова появившийся неизвестно откуда Алекс. – Гони, не останавливайся! Дави их! Они сейчас будут пытаться нас взорвать! Мы же сгорим...

Рон резко вдавил педаль газа в пол, и машина почти подпрыгнула, набирая скорость. Полицейский на капоте беспомощно взмахнул руками, скатываясь на землю, а тот, что сидел внутри, попытался руками упереться в дверь, которая уже прогибалась от удара. Было видно его перекошенное от страха лицо.

Всё произошло так стремительно, что Рон даже не сообразил, что было нужно вывернуть и объехать полицейскую машину. Лишь свист, пронзительный и непрерывный, по-прежнему стоял в ушах, и это было мучительно и невыносимо.

– Я тебя спасу, брат! – шептал он и кусал губы до крови. – Вот сейчас мы их объедем, и всё...

Он крутил баранку из стороны в сторону, но двигатель уже заглох, и «Сузуки» остановилась, впечатавшись в бок полицейской машины.

– Я тебя спасу... – непрерывно бормотал Рон. – Я тебя вытащу...

Шатаясь, он выбрался из машины и с трудом доковылял до противоположной дверцы, распахнул и вдруг громко разрыдался – Алекса нигде не было.

– Куда вы его дели?! – сильным голосом проговорил он, вглядываясь в окровавленное лицо полицейского, который так и не смог выбраться наружу.

И только сейчас он разглядел, как из-за машины поднимается второй полицейский и целится в него из пистолета.

Чёрное и бесконечно страшное отверстие в стволе пистолета, из которого вылетает лёгкий беззвучный огонёк, – это было последнее, что он видел в своей жизни...

Григорий Писаревский

Нью-Джерси, США



Ночные тени

По высокому «кафедральному» потолку, как всегда чуть шурша, одна за другой пробегали бледные тени, и я не поленился, встал, плотно задернул темно-бордовые шторы. Бегущие тени ушли, но появились другие, колышущиеся и дрожащие. У теней имелись лица, одни смутно знакомые по прошлым временам, другие непонятно чьи, а может быть, просто забытые.

Ночь тихой, холодной, туманной пеленой обволокла дом, а внутри было приятно, воздухопроводы послушно несли тёплые потоки, уютно пощелкивали своими тонкими алюминиевыми стенками. Казалось бы, спи себе и спи, дрыхни, один на широкой, «королевской» кровати (вот уже четвёртый год мы с женой, поцеловавшись, расходимся на ночь в разные комнаты). Ан нет, тени кружатся и кружатся на потолке, я вижу их даже сквозь крепко стиснутые веки.

Ловлю себя на том, что пальцы рук собраны в кулаки, зубы сжаты, мышцы вокруг глаз бессмысленно напряжены. С усилием расслабляю их, разжимаю зубы и пальцы, представляю себя белой чайкой, парящей в тёплых потоках воздуха над Карибским морем. Не шевеля губами,

повторяю любимую мантру. Нет, пересохшие губы все-таки шевелятся, но какая разница, мне становится легче, я чувствую, как разглаживается кожа лба, разгибаются пальцы на ногах (ага, и они были напряжены).

Ощущаю, как свободно и с наслаждением дышу полной грудью, воздух заполняет легкие, мышцы расслабляются, может быть, сейчас я наконец усну. А тени пускай подождут. Но сон, такой близкий и манящий, бесцеремонно отгоняет выплывающая из-за чьего-то зыбкого плеча Володькина физиономия.

– Марк, ты зачем рассказал им тогда, весной, что я много пью? – ехидно спрашивает Володька. Его широкий лоб собран в морщины, остальное лицо скрыто за плотным туманом. Негромкий голос звучит обиженно.

– Так ведь я должен был им что-то дать. Хоть что-то, Вовчик. Хорошее или плохое.

– И ты выбрал пьянство?

– Да, взял и сказал им, что ты бухаешь. Выбрал самое безобидное, самое, можно сказать, верноподданническое. А что? Веселие Руси есть питье. Кто не пьёт, тот размышляет, это ещё царские жандармы подметили. А если пьёт – значит, наш человек, водкой проверенный.

– А про меня ты что говорил? – вмешался Лагунов. Он как-то незаметно материализовался из смутной толпы теней и вытянулся во весь свой немалый рост рядом с замолчавшим Володькой – Ты что-то говорил им про меня, я знаю, можно сказать, чувствую. Даже и не думай отнекиваться. А ведь я помог тебе достать путевку в Джанхот. Помнишь, Марк? И это я добился, чтобы тебе дали характеристику для турпоездки в ГДР.

– Меня все равно не утвердили...

Тени Володьки и Лагунова медленно двинулись навстречу друг другу, как дверные створки, совместились, потом расплзлись в стороны и исчезли, словно растворились все в том же мутном тумане. Зато появились, выступили вперед две другие тени, гораздо отчётливее всех прочих. И это уже были *они*.

– Вы, Марк Борисович, совершенно не будете обязаны сообщать нам только однозначно негативную информацию, – приятным баритоном сообщил один из *них*, широкоплечий, спортивного вида, коротко стриженный блондин в роговых очках. Его открытое лицо портила, и довольно сильно портила, только одна деталь – слишком малое расстояние между кончиком носа и крепким, мужественным ртом. Второй, худощавый брюнет с неприметной внешностью, согласно

покивал. В хороших темно-синих костюмах, с подобранными в тон галстуками, *он* составляли прекрасно сыгранный дуэт. Но тут откуда-то сбоку выскочил и вмешался в разговор, никем вроде бы и не званный, Исидор Вагаршакович Хатунян. А те двое неспешно отступили куда-то в глубину, затерялись, но я знал – *они* ждут где-то поблизости, рядом.

– Вот вы, Марк Борисович, сообщили им, что я рассказываю антисоветские анекдоты. – Хатунян откинул свою лысеющую голову и глубоко вздохнул. – Без этого никак не могли обойтись?

– А вы вечно интриговали против меня, Исидор Вагаршакович. Ходили к замдиректора, что-то там нашептывали...

– Мне нужно было увеличить финансирование для своей группы. Два замечательных экспериментатора собрались от меня уходить. Ваша тема неоправданно перетянула на себя выделенные нам ресурсы.

– Ну, вот видите...

– Боролись бы в открытую. Доказывали на ученом совете...А вы сразу к ним.

– Не сразу... И вообще, с вами же ничего не случилось.

– Э, нет. Вызывали в партком, помотали нервы. Не пустили на конференцию в Чехословакию.

– Идите-ка вы к черту!

Я сосредоточил всю свою волю в одной точке и послал ему мысленный импульс удалиться. Хатунян скрылся за другими теньями. Тут же опять появились *они*.

– Мы хотим знать и хорошее. Кому можно доверять, кто полностью поддерживает политику партии и правительства. Вы знаете, мы всегда можем помочь таким людям. Поверьте, у нас большие возможности, – он взглянул на своего напарника, брюнета, и тот вступил в игру, как вторая скрипка по знаку дирижёра. Только это была не игра.

– Вот смотрите, вы уже восемь лет младший научный сотрудник. Диссертация готова, но её не никак не могут утвердить к защите. У вас сколько опубликованных статей, десятка полтора?

– Да. Четырнадцать.

Они, конечно же, серьёзно подготовились.

– Ну вот. Два изобретения. А на конференции ездите только в Пензу.

Он помолчал. Другой, блондин, разминал пальцы, глядел дружелюбно, даже слегка переигрывал с этим дружелюбием.

– Мы знаем, что вы думаете об этом. Вам чинят препятствия из-за пятой графы. Так ведь?

– Да, так. – Я хотел ответить без всякого вызова в голосе, но не вышло. Вызов все-таки прозвучал.

– Давайте, я вам кое-что объясню. – опять вмешался широкоплечий блондин – Вот вы считаете, что это несправедливость. Я вас понимаю, Марк Борисыч. В отношении лично вас – да, возможно, это несправедливо. Но взгляните на вещи шире. В нашей, так сказать, системе координат.

Тут же *они* исчезли, забылись на время, а из мешанины теней, как когда-то давно выступали лица из фотопроявителя, выдвинулся Сергей Никитич Лыков, персоне солидная, внушительная, наш заведующий из шести полновесных отделов.

– Мне отлично известно, кто вёл разработку, Марк Борисович. – пророкотал он, неодобрительно буравя меня жесткими светлыми глазами поверх набухших синеватых мешков – Это был коллективный проект, там участвовали...

Поведя слева направо своей крупной львиной головой, Лыков справился с коротким текстом лежащего перед ним отдельного листа бумаги:

– Карнаухов и Попов. Да и Федоренко немало помог, не так ли?

– Основную линию вёл я, Сергей Никитич. Фактически, я уже давно выполняю обязанности старшего научного...

– Вот опять вы себя выпячиваете, дорогой. Скромности в вас маловато. Вот защититесь, подадим представление на учёный совет... Придёт и ваш черёд получить свои пироги и пышки. А пока что...

Нет, не было этого разговора, не могло быть. Не мог я пойти со своими делами к самому Лыкову. Или все-таки был? В какой-то момент я дошёл до точки кипения – сколько можно молчать, пойду и объясню, что с меня хватит, надоело.

– Стало быть, я, по-твоему, бухарик? – из-за плеча Сергея Никитича опять выскочил обиженный Володька. – А ты со мной не бухал? Ещё как бухал!

Ну конечно, Вовчик, мы не раз выпивали с тобой и в праздники, и после работы, и на дне рождения друг у друга, особенно в первые годы после твоей и моей женитьбы, и на сабантуях в институте, и в открывшихся тогда повсюду рюмочных. Ты мог выпить больше чем я, но и я в то время тоже чего-то стоил. Один раз в ресторане «Горка» мы с тобой спьяну завелись с какой-то большой компанией, потом еле унесли ноги. Что же мне было сказать им про тебя, поганец ты этакий? Что ты шпион Далай-Ламы?

– А зачем ты заставил меня сделать аборт? – откуда ни возьмись высунулась из-за ждущих своей очереди теней Надька, моя подруга времён защиты диплома, и оттеснила настырного Володьку. Надька, милая ты моя. Такая ладная, всегда благоухающая, с искрящимися зелеными глазами, такая изобретательная в постели.

– Ты знаешь, что мы с мужем потом так не смогли иметь детей? Знаешь ты это, гад? В конце концов усыновили пацаненка, а он вырос и нас вчистую обобрал. Ты это знаешь?

– Нет, – бормочу я – ведь мы больше не виделись после этого дела. Я нашёл тебе деньги на аборт, договорился с хорошей врачом, встретил тебя из больницы...

– На х-а мне твои встречи! – заверещала Надька, и я протянул руку чуть вправо и вверх и включил свет. Все тени сразу пропали. Было очень тихо, айфон показывал двадцать минут третьего ночи. Неужели мне больше не уснуть, я же знаю четыре методики релаксации? Надо попить воды, лечь поудобнее и спокойно пройти все стадии погружения в сон, начиная с перенастройки чакр. Ведь я здесь один в спальне, жена спит за стеной, дети давно живут отдельно, и у них все, в разумных пределах, хорошо.

Нет, никуда они не пропали, эти говорящие тени. Вот они здесь, голубчики. Опять мучают, охмуряют, долбят мозги, носятся взад-вперёд большими чёрными птицами...

– Вы человек умный. Давайте я вам все объясню. – говорит спортивный блондин, очевидно, старший в чине из тех двоих. – Процент евреев – докторов и кандидатов наук в вашем институте слишком велик. А ведь ваше учреждение, как разумеется и все остальные, находится на бюджете государства. Следовательно, все нации и народности должны иметь равный доступ к ученым степеням.

– А почему бы не позволить всем просто-напросто участвовать в равноправной конкурентной борьбе?

– Потому что тогда наступит засилье одной национальной группы над всеми остальными. И вам же, евреям, будет хуже. Усилится антисемитизм. Мы пытаемся этого избежать.

Он помолчал. Я тоже молчал, потрясённый его дикой, гнусной, многократно использованной в истории логикой.

– Видите, мы с вами откровенны. Таковы правила управления, мы просто обязаны регулировать национальные пропорции. Но в каждом отдельном случае мы можем помочь. Тем, разумеется, кто помогает нам. Соглашайтесь, и я вам гарантирую – через год-полтора будете

кандидатом наук и старшим научным сотрудником. Все зависит от вас, дорогой мой. По рукам?

Он покровительственно произносил «дорогой мой», хотя выглядел старше меня всего на год-другой, не больше. Он не в первый раз проводил такие беседы и был уверен, что сможет добавить ещё одну успешную вербовку к своему рапорту о выполнении месячного плана. Ведь у *них*, как и у всех прочих, существовали планы: месячные, квартальные...И премия *им* светила, а не только звезды.

Я, конечно, не стал кандидатом за год. Это заняло, с утверждением ВАКом, два с лишком, почти три. И ещё полтора года понадобилось, чтобы меня повысили до старшего научного. Но ведь повысили же! Контора Глубокого Бурения слов на ветер не бросала. А ещё из головного института мне подкинули договорную тему, дали фонды на группу из четырёх единиц. Я работал как железный трактор. Зато моя зарплата круто возросла, мы с Аней смогли наконец каждое лето вывозить девочек то в Сочи, то в Ялту. Младшая, Юлька, часто болела, к ней стал приходиться частный врач-консультант, ей стало лучше, а потом она эти хворости переросла.Теперь у Юльки двое своих пацанов...

И я начал встречаться со своим координатором, тем самым худощавым брюнетом, Валерием. Мы звали друг друга по именам: Валерий, Марк, хотя на «ты» так и не перешли. Наши встречи происходили на конспиративной квартире, наверняка одной из многих, сначала на Большом Петровском, а потом в новой 16-этажке, рядом с зоопарком. Валерий оказался в общем-то неплохим парнем, остроумным, дружелюбным, весьма эрудированным, и в других обстоятельствах с ним было бы приятно общаться. Однако мы не были с ним на равных. Он умел давить, не грубо, а постепенно, по миллиметру, знал, как управлять нашими «беседами». Но я никого не выдал, не оговорил. Да и кого я мог выдать? Я не вращался в диссидентских кругах, не распространял самиздат, не подписывал писем. Нет, один раз подписал, по настоянию Валерия. Ему стало известно, не от меня, что у нас по институту ходит письмо в защиту мужа одной сотрудницы, матери троих детей, арестованного за руководство кружком по изучению иврита.

– Да, Марк, а что же вы не рассказываете мне о письме? – поинтересовался Валерий на одной из наших встреч, когда я уже встал и попрощался. Он поглядел на меня с мягкой укоризной, словно я забыл передать ему привет от любимой тёти, но глаза его не выражали

особой мягкости. – Ведь *мы* вам доверяем, а вы, выходит, скрываете такие вот неординарные факты. Или позабыли?

Тени опять завозились, заплясали на потолке. Я видел их сквозь свои до боли зажмуренные веки. Тени не казались уродливыми, не делали угрожающих жестов, они просто беспокойно суетились, мешая друг другу и не давая мне уснуть. Я никого не оговаривал! Наоборот, я не раз и не два, в ответ на прямые вопросы моего координатора, очень хорошо отзывался о Чеботареве, о Ткачуке, о Вадике Берлинблау. Эти трое действительно были нормальные мужики. Вот я и расхваливал их как первоклассных специалистов, общественников – так было принято говорить в те годы – и просто как людей порядочных и надежных. В итоге Ткачук через какое-то время стал замзавотделом, Чеботарев завлабом. А Берлинблау избрали в местком. Из-за меня никто не пострадал! А Гетлину разрешили поехать на симпозиум в Венгрии, а после он даже побывал то ли в Дании, то ли в Швеции. Правда, он по паспорту числился русским, но они ведь знали, что Мишка еврей. И все эти блага посыпались на Гетлина после того, как я твёрдо сказал спортивному блондину – да, он иной раз появлялся на наших встречах, приносил Реми Мартен или Курвуазье – сказал ему, что Мишка будет вести себя прилично и не станет невозвращенцем. Да и как от мог там остаться – Мишка дико обожал своих девочек – жену Марину и дочку.

Но иногда я, само собой, что-то *им* отдавал. Таковы были правила в этой дьявольской пьесе под названием «Кошки-мышки с Конторой». Со мной всегда разговаривали вежливо и уважительно, соглашались, улыбались по-дружески. Иногда я даже ощущал себя таким лихим кукловодом, хотя какой я был к свиньям собачьим кукловод! Я был жалкий Пьеро, *они* тянули за веревочки, а я дергался и извивался, как им хотелось.

Простите меня, люди! Володька, Леша Лагунов, Надя, Исидор Вагаршакович и все остальные! Простите меня, ибо я грешил, грешил осознанно, по слабости духа, а вовсе не потому, что не было иного выхода. Достойный выход есть всегда или почти всегда. Хотел остаться работать в науке? Любил её настолько, что согласился стать стукачом, крысой? Нужны были деньги? Я был здоровый мужик и в любой момент мог пойти, скажем, в пуско-наладку, в «Рембыттехнику», в бригаду шабашников, и зарабатывать гораздо больше. Я мог, черт побери, просто отказать. Сталинские времена давно закончились, меня уже никто бы не отправил в «солнечный Магадан».

Из неясной, шевелящейся толпы теней вырисовалось ещё одно лицо. С мощной чёрной шевелюрой, с бородкой а-ля Высоцкий. Родное лицо моего друга Ефима.

– Ты отдал *им* список подписантов. – сказал Ефим, покручивая по застарелой привычке мочку уха. – Ты отдал, ты... Я знал это, Марк.

Чего ради он привязался ко мне? Чего ради все они явились сюда, в небольшой городок на юге Коннектикута? Ведь с тех пор, черт побери, прошло почти сорок лет!

– Да ведь *они* и так знали этот список наизусть, Фима. Я был у *них* не один.

– Каждый отвечает за себя, Марк. Вот ты теперь и ответь.

Голову просто разламывало на части, а в горле пересохло так, что язык то и дело намертво прилипал к гортани. Я принял две таблетки эдвила, запил водой, опять вытянулся на своей широкой постели, но ничего не помогало. Я растирал лоб и щеки кончиками пальцев, массировал виски, пытался делать дыхательную гимнастику. А тени по-прежнему бесновались на потолке, продолжали свою нескончаемую, мучительную пляску. Они издевались надо мной, не отпускали из своих невидимых лап, не давали уйти в такой желанный, такой недосягаемый сон. В конце концов, что я такого сделал? Я никого не убил, не ограбил, даже не оклеветал. Я был одним из многих. Так какого черта?

Я убеждал себя, что эти тени существуют только в моем воображении, что я в любой момент могу их прогнать, или просто встать, одеться и перейти в кабинет, сесть за письменный стол, включить компьютер, и тогда они пропадут, испарятся, растают. Но я знал, что это неправда. Они, конечно, могут на время затаиться, успокоиться, замолчать. Но они не исчезнут. Они никогда не уйдут.

Яков Фрейдин

США



Мой Друг Пупок

«Уезжай, голубчик! Если отпустят, обязательно уезжай! Это самый важный шаг в твоей жизни и самый правильный», – сказал мой друг Илья Давыдович Пупко. Близкие друзья шутливо называли его «Пупок», поменяв местами две последние буквы в фамилии. Мы сидели на старинном кожаном диване в его кабинете в квартире на Греческом Проспекте Ленинграда, которая перешла ему в наследство от отца. Я приехал попрощаться с ним после того, как в 1977 году мы с женой подали документы на эмиграцию из СССР.

Дружили мы не так уж долго, лет шесть или семь, после того, как познакомились на одной научной конференции, сошлись быстро, почувствовав друг в друге родственные души и обнаружив множество общих интересов.

Специальности у нас были сходные — оба работали с медицинскими электронными приборами, оба любили изобретать всякие занятные штучки. Правда, он — в закрытом учреждении, а я — в открытом медицинском НИИ. Жили мы в разных городах, виделись не так уж часто, но переписывались и перезванивались постоянно. Он был старше меня лет на 20 или даже 25, сейчас не помню. Поэтому я не называл его фамильярно «Пупок», а уважительно, по имени-отчеству.

Однако, нам такая формальность не мешала чувствовать себя близкими друзьями и даже слегка подшучивать друг над другом. Например, я ему говорил: «Некрасиво это вы поступаете, Илья

Давыдович, непатриотично. Живёте в советской стране, а поселились почему-то на Греческом проспекте. Вот я, как homo-sovieticus, живу на улице «Советская». На что он мгновенно парировал: «А тебе, голубчик, надо бы знать, что в нашей стране все улицы советские, даже те, которые греческие».

Отец Ильи Давыдовича был полярником, но в начале тридцатых годов почему-то был направлен на работу в НКВД. Однако, то, что там творилось, очень его тяготило и он искал способы, чтобы оттуда уйти, не навлекая на себя и свою семью беду. В 1934 году ему пришла в голову спасительная идея — он попросил направить его как полярника в плавание на пароходе «Александр Сибиряков», который должен был отправиться в далёкий и опасный поход по Ледовитому Океану до самого Берингова Пролива, повторяя маршрут «Челюскина».

Этому походу придавали большое политическое значение, и Давида Пупко назначили туда помполитом. Ушёл он на этом корабле и не возвращался в Питер почти целый год. А за это время в стране произошли серьёзные события: был убит Киров, после чего почти что весь питерский НКВД был расстрелян или сослан в лагеря, а наш умный Давид Пупко был далеко, там, где ничего страшнее полярных медведей не возникало, и потому остался жив и невредим. Ах как полезно в нужное время быть сообразительным! Впрочем, мой рассказ не о нём, а о его сыне, Илье Давыдовиче.

В один из моих приездов в Питер (я тогда надеялся защищать диссертацию в одном из питерских вузов и потому часто туда летал), мы с Ильёй Давыдовичем, как обычно, сидели на кожаном диване в его комнате и беседовали на разные интересные темы. Я обратил внимание на висевшее над комодом фото молоденького, почти подростка, военного лётчика.

— Кто это там на фото? — спросил я.

— Не узнаёшь? Так ведь это я сам в 42-м году, — ответил он. — Во время войны я служил на Севере в морской авиации. Летал на гидроплане, то есть летающей лодке. Меня туда определили ввиду невысокого роста и малого веса. Подъёмная сила у такой лодки невелика, и каждый килограмм веса важен.

— А в боях вы участвовали, Илья Давыдович?

— Летающая лодка МР-1, на которой я летал, не боевая, хотя кое-какое вооружение всё же было: один пулемёт, из которого мог стрелять второй пилот. Наша задача была сопровождать английские конвои, которые через арктический коридор доставляли в Мурманск грузы по ленд-лизу. Корабли шли из Исландии и Шотландии, а наши самолёты

их прикрывали. Немцы отчаянно бомбили эти конвои с воздуха, торпедировали их из подводных лодок, и множество кораблей было потоплено. Если подбитый корабль со всем ценным грузом шёл на дно, моя задача была такая: садиться на воду и забирать на борт гидроплана сколько смогу тонущих английских моряков. Летающая лодка МР-1 была маленькая — два пилота, и ещё могла взять лишь шесть пассажиров.

Для экономии места я обычно летал один, без второго пилота, хотя это было рискованно. Но зато мог спасти из воды на одного человека больше. Знаешь, что было самое страшное? Я должен был решать — кому жить, а кому умереть. Представь себе, что значит делать такой страшный выбор, да ещё неопытному юнцу! Когда корабль шёл ко дну и моряки падали в ледяную воду, они там выжить могли не более десяти минут.

И вот я сажусь на воду; обстановка, прямо скажем, не курорт: с неба немецкие самолёты нас огнём поливают, вокруг гидроплана десятки моряков барахтаются, руки ко мне тянут: «Спаси!», а я только семь человек могу взять на борт, ну, если рискну, от силы — восемь, иначе не взлететь. Остаться на плаву тоже нельзя — немцы с воздуха расстреляют. Забрал людей, и улетай скорее на свою базу.

Вот тогда я должен был за секунды решать — кого мне из воды вытащить, а кого оставить. Те, кого не возьму, через несколько минут погибнут от холода. Я что — Бог, чтобы решать такие вещи? Но в те страшные минуты я был именно Богом — держал в руках судьбы этих несчастных.

— Как же вы решали?

— Старался оставить всё на волю случая — пусть он решает. Брал тех, кто оказывался ближе. Обычно случалось так: взял на борт семерых, а ещё с десятков за машину цепляются, отчаянно пытаются забраться. Что делать? Мне же с ними не взлететь и все погибнем! Приходилось этих несчастных силой обратно в воду сталкивать, на верную смерть. Никому не пожелаю брать на душу такой грех. И это повторялось десятки раз, почти каждый вылет. Вот уж 30 лет прошло с тех пор, а мне часто по ночам снятся умоляющие глаза моряков, кого я оттолкнул...

— Илья Давыдович, — сказал я, — вы с другой стороны на это посмотрите. Да, многих не спасли, но ведь семь человек за каждый ваш вылет были вам обязаны жизнью. Я не знаю никого, кроме вас, кто может гордиться тем, что спас жизнь хотя бы одного человека.

— Это так, но всё же, всё же...

Как-то мы обсуждали с ним устройство одного прибора, над которым я тогда работал. Вдруг он мне говорит, не то в шутку, не то всерьёз:

— А знаешь, я чувствую большую вину перед советским народом. Я, хоть и не напрямую, но косвенно виноват в том, что на страну обрушилось такое несчастье — кукурузная кампания. Эту злосчастную кукурузу наш любимый вождь Никита Хрущёв велел сеять везде, где попало — от южных гор до северных морей, и этим почти довёл страну до очередного голода. А всё из-за меня...

— Как же это может быть, Илья Давыдович, вы что, были знакомы с Хрущёвым?

— Нет, никогда, кроме как на фотографиях, его не видел. Вот послушай, я тебе расскажу, как это получилось. Тут в Питере есть у меня приятель профессор Тартаковский. Лет двадцать назад он заболел раком горла и ему удалили гортань с голосовыми связками. Операция прошла успешно, но с тех пор он потерял возможность говорить.

Особенно его угнетало то, что он не мог читать лекции студентам. Однажды мы беседовали с ним на разные технические темы; он, естественно, в письменной форме. Он меня спрашивает, нельзя ли сделать протез горла с искусственными голосовыми связками, чтобы можно было говорить? Я отвечаю, что протез горла — штука сложная и я не представляю, как это сделать. Однако, потом стал над этой задачей думать, и пришла мне в голову такая идея: голосовые связки создают звук, но разборчивая речь в основном формируется не в горле, а во рту, то есть движениями щёк, языка, губ. Тогда я решил вместо голосовых связок сделать внешний генератор звука. Сейчас покажу.

Он открыл ящик письменного стола и достал оттуда коричневый приборчик, напоминающий по форме электробритву. Сбоку была кнопка, а на торце пластмассовая трубочка. Он сунул трубочку себе в рот и нажал кнопку. Раздался жужжащий звук, Илья Давыдович стал двигать губами и челюстью, и тут я услышал, как звук, резонируя во рту, превращается в странный механический голос, но можно было разобрать слова: «Это электронные голосовые связки. Внутри — генератор звука, вместо трахеи — трубочка. Звук выходит из неё в рот. Я ртом модулирую звук. Получается речь. Хорошо меня понимаешь?» Он вынул трубку из рта и сказал уже своим обычным голосом:

— Требуется тренировки, но когда приспособишься, то становится довольно разборчиво. Я сделал такую машинку для Тартаковского, и он с ней стал снова читать лекции. Студенты довольны, всё понимают, а он, по его словам, будто заново родился. Я пытался как-то уговорить своё начальство начать серийный выпуск этих приборов — в стране

ведь много безгортанных людей, но от меня только отмахнулись. Вот если бы из него можно было бы, скажем, стрелять и убивать, тогда да, сразу бы ухватились, а произносить слова — кого в нашей стране это интересует? Наш народ должен слушать, а не говорить...

— Да, — сказал я, — это я понимаю, но при чём здесь кукуруза?

— А вот при чём. Как-то я прочитал в газете, что дорогой Никита Сергеевич скоро едет с визитом в Америку. Это был 1959 год. Там же говорилось, что он собирается в штате Айова посетить фермера Росуэлла Гарста, с которым познакомился за несколько лет до того, когда Гарст приезжал в СССР на сельскохозяйственную выставку, где показывал свои семена кукурузы. Там же в газете писали про Гарста и объясняли, что он большой друг СССР, крупнейший специалист по кукурузе, и ещё вскользь упомянули, что он безгортанный — у него из-за рака горла удалены голосовые связки, и он не может говорить.

Тут я подумал: если мы сделаем для Гарста такой же приборчик, как для Тартаковского, то авось Хрущёв, скажем, из рекламных соображений даст команду начать в СССР их серийное производство. Мы в лаборатории по секрету от начальства изготовили два образца в корпусе из красного дерева, наши умельцы ещё сделали красивые кожаные футляры, отпечатали инструкцию на английском языке. Я всё это упаковал и отправил в Кремль на имя Хрущёва, с предложением сделать Гарсту подарок от советских учёных. Ответа я не получил, но потом от одного знакомого журналиста-международника узнал, как всё получилось.

Никита приехал в Америку и прибыл к Гарсту на ферму. Они пошли на кукурузное поле, и Гарст что-то шептал, затыкая пальцем стому, то есть отверстие в горле. В это время кто-то из помощников подал Хрущёву коробочку с нашим звуковым генератором. Никита тут же на поле подарил его Гарсту, а помощник объяснил, как им пользоваться.

Гарст сначала не понял, но потом сунул трубочку себе в рот, нажал кнопку, зашевелил языком, и вдруг все услышали «Хэлло!» Гарст просто обмер от изумления и радости, обнял Хрущёва, прослезился. После экскурсии Хрущёв пошёл отдыхать в отведённую ему резиденцию, а Гарст отправился к себе в офис тренироваться с моим приборчиком. Вечером на обеде он уже смог сам сказать, и все поняли, что за такой фантастический подарок он своему другу Никите раскроет все секреты кукурузного бизнеса. Никита, правда, хорохорился, делал вид, что он тоже в кукурузе понимает, но, тем не менее, слушал внимательно и договорился с Гарстом о массовых поставках семян.

Короче говоря, этот Гарст на радостях так заморочил Никите голову, что тот вообразил, будто кукуруза — это палочка-выручалочка для дохлого советского сельского хозяйства и, если её выращивать по всей стране, то мы тут же Америку догоним и перегоним. Вернулся он домой и по дурусти начал эту жуткую кукурузную кампанию.

А всё из-за моего приборчика. Вот поэтому живёт в моей душе чувство вины перед советским народом. Что касается серийного производства, Никита нам ничем не помог...

Так закончил свой рассказ мой друг Пупок. Честно говоря, до сих пор не знаю, было ли всё именно так, как он рассказывал, или это плод его изобретательного воображения — он на такие вещи был горазд.

Через несколько месяцев после нашей последней встречи мы получили разрешение на эмиграцию и навсегда уехали из Советской России. В 1979 году я получил письмо от одного из наших общих знакомых, где он писал, что Илья Давыдович Пупко скоростижно умер. Было ему всего-навсего 56 лет.

Александр Романов

Волгоград, Россия



Окна напротив

– А зачем ты за мной подглядывал? – спросила Анна.

Она лежала на подстилке рядом с Андреем. Её загорелое плечо блестело на солнце, словно смазанное маслом. Остальное тело Андрей не видел, только это плечо, её короткие волосы, облупившийся на солнце красный нос, и широкие конопатые скулы.

– Я не подглядывал, – сказал он. – Куда ещё мне было смотреть?
– Конечно! – насмешливо протянула она. – Кроме моих окон смотреть больше некуда.

– Некуда, – сказал он, посмотрел на своё мокрое волосатое брюхо, – оно медленно покрывалось красными пятнами, и всё-таки прикрыл его футболкой. – Куда ещё смотреть-то?

Подумал: действительно, куда?

У него квартира на пятом этаже, и у неё на пятом. Над ними крыша. Над крышей небо. Под окнами у него и у неё непроницаемые кроны деревьев. Их дома стоят под углом друг к другу – от его окон до её окон ровно восемь метров по диагонали. И от угла до её окон, также как и от угла до его окон – глухая стена. Он хотел было сказать ей об этом, потом подумал, что незачем – она и сама прекрасно об этом знает.

Анна вытянула руку и положила так, что она почти касалась его лица.

– Тесно, – пояснила она. – Извини.

– Ничего, – сказал он. – Мне не мешает.

От руки пахло мятой и ещё чем-то терпким, незнакомым.

– А зачем ты тогда стоял передо мной голый? – спросила она.

– Когда это? – притворился непомнящим он.

– Тогда! – с нажимом сказала она.

Он принялся соображать, чтобы такого ей сказать.

Правду? О том, что увидел утром, как она на несколько мгновений вышла на балкон – в одной прозрачной ночнушке, и он потом весь день бродил по дому, не зная, куда себя деть; вечером вышел из ванной, и случайно – именно случайно, в том, что он сделал это намеренно он не мог признаться даже себе – вышел в таком виде на кухню – оттуда открывался на её окна наилучший обзор. В таком виде она его и застала. Он застыл, не в силах от смущения пошевелиться, потом пришло возбуждение – ненормальное, бешеное – и он решил, что ни за что оттуда не уйдёт. Надо ей, неудобно – пусть сама со своего балкона уходит. Никто на голого мужика, да ещё и сверх меры перевозбуждённого смотреть не заставляет. Тем более, когда у самой свой есть.

– Я тогда руку повредил, – принялся, старательно подбирая слова, врать он. – И чтобы не закапать всё кровью, разделся. И на кухне вымачивал пальцы в растворе марганцовки – так мне врач посоветовал.

– Три часа? – спросила она.

– Я уже не помню, – сказал он. – Сколько врач велел, столько и вымачивал. А ты засекала время?

– Я мужа ждала, – сказала она. – На балконе. Поэтому всё время смотрела на часы.

А мужа у тебя тогда никакого и не было, подумал он. Первый умер. Второй ещё не появился.

Анна перевернулась на бок. Андрей отвёл взгляд от её запрятанной в купальник небольшой груди. Совсем как у девочки, подумал он. А ведь ей лет уже сколько?.. Ну, если мне... Ого-го! А она на четыре года младше – если её соцсеть не врёт – значит, ей... Н-да... Уже такого быть не должно. Хотя, кто его знает, что у них там должно быть, а что нет. Вон у моей тоже...

Впрочем, ладно.

Он почесал бок.

– Ольгу не видишь? – спросила Анна.

Он нашёл взглядом её дочь Ольгу. Потом свою Лорку.

– Вон, – указал направление.

Анна приподнялась, и он не удержался, посмотрел – купальник у неё встопорщился, отошёл, и стало видно, что соски у неё светлые и маленькие.

– Как же вы на пляж и без подстилки? – спросил он, сглатывая.

Она улеглась обратно.

– Это всё Ольга, – сказала Анна. – Пойдём быстрее, пойдём быстрее.

– Помолчала и добавила доверительно, – боялась, что её мальчик уйдёт.

– А, – сказал он.

– Если я мешаю, или тесно, я могу уйти, – сказала она.

Андрей представил, что она уйдёт, и дальше он будет лежать тут один и вспоминать, что видел в её окнах. А она будет вспоминать, что видела в его.

Например, его первую жену. Потом бесконечную вереницу подруг – тем летом, восемнадцать лет назад, было так же, как и сейчас, жарко, и он делал это с ними не закрывая окон и не зашториваясь.

– Ты не мешаешь, – сказал он. И тут же спросил – вопрос давно вертелся на языке, но он никак не решался его задать:

– А зачем вы делали это на балконе?

– Мы? На балконе? Что делали? – быстро спросила Анна. Слишком быстро – он догадался, что она поняла.

– Показывали всем, что ещё на что-то способны? С этим... моряком? Точнее – ты показывала?

Он вспомнил, как она ставила своего моряка (никто не знал, кто он и чем занимается, и называли его так, потому что он пропадал на несколько недель, потом ненадолго появлялся и снова пропадал) спиной к улице, обхватывала за шею и медленно опускалась вниз – её белые руки уползли за его плечи, похожие на две змеи. Понятно было, что она там делала, но зачем при всех...

– Кому это – всем? – спросила Анна. – Сам же сказал, что кроме моих окон, смотреть не на что. Мне тоже, кроме твоих, не на что.

– То есть показывала мне? – спросил Андрей.

Подумал: я как раз расстался тогда с очередной подружкой и никак не мог наладиться со своей будущей второй женой. А незадолго до этого, когда мы пили вместе двумя нашими подъездами – Василич проставлялся, – отказался проводить тебя до магазина. Больно ты нужна мне, подумал я тогда. И ты ушла с этим самым моряком, чьим-то случайно забредшим знакомым. А могла бы со мной. И со мной тогда бы стояла на балконе, опускаясь вниз, со своими руками-змеями. Или не стояла бы – я тогда так увлечён был своей Ташкой, что мне на других женщин было наплевать.

И хорошо, что не пошёл, – не было тогда сейчас у меня моей Лорки.

Он посмотрел опять в сторону пляжа.

Лорка – вчерашняя выпускница, золотая медалистка, разговаривала с каким-то парнем.

Похожа на мать, решил Андрей, наблюдая за тем, как та, так же как Ташка, повела плечом и стрельнула глазками.

«Давай, не теряйся, – мысленно подбодрил он парня. Вторую такую тебе не найти. Это я точно знаю. Говорю как её отец. Она не то что эти бледные немощи вокруг. Ух, кровь с молоком!»

– Не надейся, – сказала, наконец, Анна.

– Пф-ф! – фыркнул Андрей. – Мне всё равно.

– Всё равно? – она погладила живот.

Он приподнялся и посмотрел. Поперёк её живота протянулись ярко-красные полосы.

– А зачем же ты тогда приходил? – спросила Анна. – Ночью.

– Я не к тебе, – сказал он, тут же поправился, – во всяком случае, не для того, зачем ты подумала, – сделал паузу и добавил мстительно, – не надейся.

– Вытащил меня из постели и до самого утра объяснял, почему мы с тобой не можем быть вместе?

– Я был пьян, – сказал он.

– И в очередной раз поругался с Ташкой.

– А ты была незамужем.

– Да. И даже не была знакома со своим третьим мужем, – задумчиво добавила она.

«Которого я ненавидел, – подумал Андрей. – И все ненавидели. Кроме тебя. Ты одна его любила. До тех пор, пока он не избил твою Ольгу. И я, оттаскивая его от тебя – ты пыталась закрыть её собой, не сломал ему обе руки. Ты ещё какое-то время даже за ним ухаживала, хотя надо было эту тварь посадить. Но потом вы всё-таки разошлись. А я – нужно ведь было воспользоваться моментом – опять сошёлся с Ташкой, нахлебавшейся со своим проклятым любовником («он лучше тебя, он упорный, он всего добился сам»), и вернувшейся, поджав хвост, ко мне»

– Когда четвёртый? – спросил он небрежно.

– Что – четвёртый? – она повернула голову к нему.

– Когда четвёртый раз замуж? – спросил Андрей.

– А ты почему больше не выходишь? – спросила Анна, не ответив на вопрос.

Она говорила об их безмолвном, выполняемом последние два года ритуале – он каждое утро открывал шторы и делал несколько упражнений из йоги. Она стояла всё это время у окна с чашкой чая и смотрела, как он их делает. Поначалу он занимался с удовольствием, но скоро занятия ему до смерти надоели, но он не бросал – не мог представить, что не увидит больше, как она стоит. И смотрит.

– Спину потянул, – сказал он. – Не могу ни согнуться, ни разогнуться.

– Целый месяц? – спросила она.

Андрей посмотрел, как она гладит себя по бедру. Почувствовал приливающее к низу живота тепло. Опустил полотенце ниже, прикрывая пах.

– А я думала, что это из-за твоей Марины.

– Марина – родственница из Челябинска. Ей жить негде, – сказал он. – Поэтому остановилась у меня. И она тут ни при чём.

– Я ничего такого не имела в виду, – сказала Анна.

– Я знаю, – сказал он. – Но чтобы ты чувствовала себя спокойнее, скажу: нет, я с ней не сплю. И вообще не имею привычки спать с родственницами. Даже дальними.

– Это не моё дело, – сказала она.

«Так же как и не моё дело то, зачем к тебе ходит этот установщик окон, – подумал Андрей. Прицеливается стать четвёртым мужем?»

Якобы поправляет оконный механизм. Знаем мы, как он поправляет. И что там на самом деле за механизм такой»

– Значит, у нас ничего не выйдет? – тихо спросила вдруг Анна. Коснулась его руки.

Он посмотрел на неё. Подумал, что мог бы сказать ей о том, что если они сделают это, если вдруг решат, что что-то у них получится, срастётся, образуется, то не будет больше ни этих выглядываний из-за штор по сто раз на дню, ни сладкого ожидания чего-то волшебного – когда она выходит на балкон и подолгу стоит там, едва одетая, прекрасная, освещённая солнцем; не будет больше её улыбки по утрам – когда она смотрит на то, как он делает свою гимнастику, делает, будь она проклята, ради неё; не будет всех этих случайных касаний в магазине и иногда у подъезда, переглядываний, таких, когда у любого, заметившего это переглядывание, возникает ощущение, что эти двое знают какую-то тайну, которую, кроме них, не знает больше никто.

Ничего этого говорить он, конечно, не стал, потому что она и сама это знала.

– Хочешь, я порежу руку и сегодня буду вымачивать её в марганцовке? – спросил Андрей. – И разденусь. Совсем.

– Порезы не вымачивают, – сказала она.

– Ну, я сделаю вид, – сказал он.

– Хочу, – сказала она. – А ты?

Он не ответил.

Подумал: не хочу быть четвёртым мужем. И не хочу, чтобы ты была моей третьей женой.

Они помолчали.

– А гимнастику свою будешь делать? – спросила Анна.

– Родственница уедет, – сказал Андрей. – Уже скоро. И буду.

Заметил её вопросительный взгляд и пояснил:

– Она спит в зале. На разложенном диване. Мне просто негде, извини.

– Ничего, я подожду, – сказала Анна.

Он вспомнил, чем занимается каждое утро на этом самом диване с этой самой дальней родственницей.

Боже, боже!..

А там за шторами, пока они кувыркаются, ждёт его его Анна.

Он вздохнул.

Хорошо, что Лорка пока живёт у бабушки. И не видит этого непотребства.

Подошла Ольга, сказала:

– Мам, пошли уже. Сгорим.
Анна послушно встала. Собрала сумку.
– До вечера, – сказала она, посмотрев на Андрея так, что у него зачесались на руке шрамы.
– Мам, мы же вечером идём в гости, – сказала Ольга.
Внутри у Андрея всё замерло. Он задержал дыхание.
– Я не пойду, – медленно сказала Анна. – Иди одна.
Андрей выдохнул.
– А, – сказала Ольга. – Ну ладно. Пока, дядя Андрей.
– Пока, – сказал Андрей. Лёг на покрывало и стал смотреть на ноги Анны. Они медленно проплыли мимо – гладкие, загорелые, ровные, напоследок качнулись, словно говоря ему: «до вечера», и исчезли из поля зрения.
– До вечера, – негромко сказал он и закрыл глаза.

Вадим Чирков

Нью-Йорк, США



Для сердца уголок

У меня есть место на земле, куда меня всегда тянуло (и тянет до сих пор) как магнитом. Это в Крыму, в Севастополе. Херсонес. Небольшой полуостров, скорее, даже мыс с высоким обрывистым, рыжего ракушечника берегом. Главная примета мыса – пепельного цвета развалины, останки древнегреческого города. Два основных цвета здесь: пепельно-серый – старого камня давних-давних стен, и гипнотически-синий – вечного моря. Был бы я живописцем, полжизни

потратил бы на то, чтобы передать эти два цвета холсту. Еще ни один художник их не одолел, хотя Херсонес писали многие.



Руины Херсонеса. Dmitry A. Mottl //commons.wikimedia.org

Херсонес я открыл для себя случайно, потом, присмотревшись, полюбил, после стало меня тянуть туда как магнитом, и стал он даже мне сниться – видя во сне синие бухты, был я каждый раз несказанно счастлив.

И столь сильной сделалась эта любовь к мысу с древними развалинами, что начала походить на мистику, и однажды я попросил объяснить это мое состояние заезжую, знаменитую в ту пору экстрасенсшу. Она очень внушительно показывала в моей компании свои возможности, и я ей доверился. Отведя в свою комнату, рассказал загадку.

Экстрасенсша посмотрела на меня как на младенца.

-Господи, да ничего тут загадочного нет! Просто вы в этом городе когда-то жили! – И встала и ушла к компании, оставив меня – младенца! – одного.

В меня как из пушки выпалили.

Та часть сознания, которая верила в чудо (она есть, по-моему, у каждого человека), эта часть сознания вспылала и зажгла всё.

Я там жил...

Когда? Нет, нет, не тогда, когда там был уже славянский Корсунь, я это знаю точно, – раньше. Раньше! Когда там носили туники до колен и сандалии, когда надевали праздничные красные тоги, отороченные

белой каймой, когда в небольшой гавани за полуостровом раскачивались мачты парусно-весельных галер, когда гончары обжигали в огромных печах (расположенных за границей города) черепицу, кухонную посуду, полутораметровые пифосы и амфоры для засолки в них рыбы, для вина и масла...

Когда там жила молодая темноволосая короткокудрявая женщина (белая туника, обнаженные загорелые руки с тонкими запястьями и целым набором браслетов на них (были даже супермодные, стеклянные), быстрый взгляд ярко-коричневых глаз, нетерпеливые пальцы на деревянных перилах лестницы, ведущей на второй, женский этаж...), женщина по имени Понтия...

Конечно, я там жил! Я был там влюблен, я недолюбил, может быть, я (моя теперешняя душа находилась тогда в теле молодого грека, моряка, владельца галеры, торговца, бродяги), может быть, «я» погиб в море во время шторма, а душа моя чайкой вознеслась над тонущим кораблем к блещущему молниями косматому небу. Вознеслась, чтобы вдоволь помотаться потом по белу свету... Она поселится в кого-то еще, еще, еще (хотел бы я знать их!)... и наконец, полная незабываемых, чудесных воспоминаний об одной только Понтии, ее доме, перилах лестницы, ведущей на второй, женский, этаж, – эта душа станет моей...

Вот и отгадка моей странной, необъяснимой любви к Херсонесу, к его пепельно-серым, нагретым солнцем камням, к которым я прикладываю ладони и подолгу не отпускаю, к россыпям красно-глиняных обломков кувшинов и амфор на галечном берегу, которые я люблю перебирать под неназойливый звон прибойной волны и шелестение песка.

Отгадка – в легко рождающейся на этом берегу радостной и радужной фантазии.

...Даже кажется порой: стоит приложить один из красных древних черепков к уху, как теперь прикладывают к уху мобильник, услышишь записанные глиной голоса – сперва гончаров, задвигающих кувшин в печь для обжига, а потом хозяев, наливающих вино из кувшина в чашу гостя...

Куда бы я ни уехал, Херсонес догонит меня. Чего-то я о нем важного еще не сказал. Он догоняет меня и спрашивает: «Где эти строчки? Мне их недостает».

Так случилось и на этот раз. Таинственный полуостров догнал меня на пути из канадского Ванкувера в Аляску на 11-палубном лайнере. Вечером мы с женой пошли на шоу в театральном зале, где сиденья расположены амфитеатром и где мы устроились наверху. На сцене внизу танцевали и пели девушки в миниюбках и модно одетые парни – шел веселый и шумный молодежный мюзикл; можно было смотреть, но можно было без какой-либо потери уйти.

И вдруг!

И вдруг вместо корабельного сплошь бархатного зала и многоцветной, в мигающих огнях, громыхающей сцены я увидел каменный серый амфитеатр Херсонеса и сцену внизу, давно уже открытые туристам, небольшую овальную сцену, на которой стояла стройная женщина в черном платье до пола.

Вот запела...

В этом древнем, подправленном строителями амфитеатре действительно бывают концерты и ставятся небольшие спектакли. Усилители доносят голоса до самого верхнего яруса, а над ним – асфальт дороги для машин и пешеходный неширокий тротуар; в центре полуострова стоит – на месте когдатошнего белоколонного храма Херсонеса со статуей внутри него богини Девой – восстановленный после бомбежек и обстрелов войны Свято-Владимирский собор построенный в честь воцарения на Руси православия.

...Песня женщины в черном была удивительной, похоже, она пелась не столько для зрителей, сколько для себя, она, скорее, была мольбой, молитвой в трагическом одиночестве – и я, уже не видя и не слыша яркого и шумного шоу, понял, что мой Херсонес снова догнал меня. Отыскал в людном зале и решительно заменил разноцветный и шумный карнавал на сцене нужной ему картиной.

Женская песня всегда о любви. Эта была о любви без надежды на встречу. О моряке, ушедшем в море и не вернувшемся.

Я наклонился, сидя в кресле, напрягся, стараясь не пропустить ни слова песни.

Что, что я здесь? Печали черный столбик -

Известие меня окаменило,

Я – голос, мечущийся чайкой

Под черной тучей, над волнами в пене,

Ведь нет меня – ни губ, ни рук, ни тела,

Исчезло всё, что было сердцем – мной.

И я теперь – лишь голос, что над морем

Зовет того, кого уж не отыщешь,
Всё море в волнах, каждая, как насыпь,
Где, под какой искать мою любовь?
Быть может, мне подскажет острый луч,
Что на мгновенье выглянул из тучи?
Стремлюсь туда, где он пронзил волну...

Голос смолк, женщина, чуть еще постояв, опустив руки, без единого движения – на самом деле превратившись в печали черный столбик – медленно уходит. Серый каменный амфитеатр молчит. Весь Херсонес знает об этой трагедии, моряки, рыбаки, купцы, гончары, земледельцы, что снабжают полуостров и купцов оливковым маслом, виноградом и вином, только растирают натруженные ладони, глядя на опустевшую сцену.

-Тебе нравится? – прервал молчание шепот жены.

-Что?

-Это шоу. Или ты о чем-то своем думал? – Разноцветная сцена снова загремела, всё на ней пришло в движение.

-Я, пожалуй, уйду.

-Ладно, а я досмотрю.

-Я на палубу. Хочу подышать свежим воздухом. Буду сразу слева после выхода.

Планширь был мокрый, он приятно охлаждал руки; в темноте за бортом, далеко, пробивался сквозь туман чей-то небольшой топовый огонек; волна, отброшенная корпусом судна, расплывалась по черной воде узорчатой белой шалью.

-Понтия. – произнес я самим собой придуманное имя женщины в древнем Херсонесе. – Пусть это будет Понтия... Это была Понтия.

Вера Чайковская

Москва, Россия



Гадкий утенок. Сергей Прокофьев и Мира Мендельсон

В конце августа вдруг стало солнечно и жарко, как он любил. Ведь вырос в украинских степях, на просторах дикого поля. Фланировал по кисловодскому санаторию в белой шляпе с отогнутыми полями и щегольском белом полотняном костюме, купленном на развале в одном из французских городков, где сравнительно недавно гастролировал вместе с Линой Ивановной. Друзья удивлялись, как их выпустили из Советского Союза в турне по Европе и Америке (Потом выяснилось, что это было последнее их путешествие за границу). В тот раз Лина Ивановна почти не пела. Что-то случилось с голосом. Впрочем, он объяснял ее частые простуды перед выступлениями обыкновеннейшим страхом сцены. И стоило столько учиться вокалу в Италии, чтобы потом так трусить перед каждым концертом?! Но даже когда она пела небезупречно (а такое частенько случалось), кто-нибудь из зала непременно подносил ей цветы. Уж очень мило она выглядела в этих своих воздушных платьицах, маленькая, ладная, яркая, ну, точно куколка.

Забавно, но во время этого их недавнего турне она спела в Париже французскую версию «Гадкого утенка» так провально, что зрители хихикали, а критики в рецензиях возмущались. Но белые лилии ей все же поднесли.

Он спускался с гористой санаторной тропы. Было еще очень рано, часов пять. В шесть у него была назначена встреча у коллонады

главного корпуса с одной отдыхающей. Договорились вместе прогуляться в горы. Но ему не спалось, захотелось побродить в одиночестве, подумать, помечтать, что было для него новостью. Сентиментальных «мечтаний» он за собой давненько не замечал. Они познакомились позавчера вечером, 26 августа (день, который они потом будут отмечать) в гостинной санатория. Он вышел в гостиную после шахматной партии с профессором Боголюбским в тайной надежде, что ее тут увидит. Он ее уже давно приметил, но поначалу испытывал какие-то странные противоречивые чувства. Увидев в столовой санатория впервые (она тоже бросила на него робкий, ускользающий взгляд), он испытал нечто такое, что французы называют «ударом молнии» – какая-то неведомая сила пронзила его насквозь. Еще пламенея и недоумевая, он с опаской взглянул на Лину Ивановну, но та ничего не заметила, капризно отодвинув тарелку с яйцом, оказавшимся крутым. А она любила всмятку. Через несколько дней Лина Ивановна уехала в Москву к сыновьям. Кисловодск, в отличие от него, она не любила.

Его случайные встречи с этой девушкой были странными, возможно, виной стала близорукость, но она ему то нравилась, то нет. Лицо казалось то нежным и печальным, то грубоватым, почти вульгарным. Эти ее преобразования его несказанно удивляли. Случайно он услышал, как кто-то назвал ее Ниной, и вздрогнул, – имя было для него значимым. Так звали его когдатошнюю невесту. Однажды все у той же коллонады главного корпуса он увидел двух прохаживающихся вместе молодых девушек, примерно одного роста, черноволосых и круглолицых. Ага, значит их две? Как в русской сказке, нужно было найти «настоящую». Он остановился у коллоны и, никем не замеченный, внимательно вгляделся: вульгарная оказалась Ниной, а другая...

Имени другой он не знал. Несколько раз они едва не познакомились, столкнувшись в холле, но оба почти одновременно, в испуге отпрянули друг от друга. И вот в гостинной, куда он по какому-то наитию вошел и остановился у рояля, она к нему подошла. В этой круглой гостинной с тяжелыми голубыми портьерами и обитыми синей плюшевой тканью стульями сидели отдыхающие. Все тут были или знакомы или почти знакомы, – в санатории собралась научная элита двух столиц. Но вот странность, с первого раза, с первого ее пустячного вопроса о его концерте, им обоим стало совершенно безразлично, что за ними наблюдают. Они об этом просто забыли, поглощенные общением. Он помнит, что испытал какую-то безумную, острую

радость, когда она задала свой вопрос. Словно что-то сдвинулось такое, что мешало дышать.

Он сам подойти не смел – был женат, но дело было даже не в этом. Он был намного старше и не хотел показаться смешным. И вот она, как Татьяна, взяла на себя этот пудовый первый шаг несмотря на свою врожденную робость, жуткую стеснительность. На следующий день в письме к жене он написал, что познакомился в Кисловодске со своей поклонницей.

Она поклонницей вовсе не была. Не слышала прежде его сочинений. Вообще, больше любила драму, не пропускала премьер в Художественном. Но ему необходимо было с кем-то поделиться, хоть с Линой Ивановной. Он писал жене о «поклоннице» словно бы не всерьез, с юмором, и она не отнеслась к его знакомству серьезно. Да, ее звали Мирой. Это было почти единственным, что он запомнил из их путаного разговора в гостиной. Потом выяснилось, что сама Мира так волновалась, что не запомнила и вовсе ничего. Даже свое имя она произнесла таким тихим, срывающимся голосом, что ему пришлось переспросить.



Мира Мендельсон и Сергей Прокофьев. Фото: cocteil.blogspot

– Мира, – повторила она, еще сильнее смутившись.

В имени был звук «р», который она не выговаривала. Но голос звучал приятно и не раздражал его привередливого композиторского слуха, и даже эта легкая картавость... Что-то она ему напомнила, очень жгучее и одновременно опасное, отчего он ездил в Кисловодск после

своего возвращения в Советский Союз (это было второе его посещение южного курорта) со страхом, но и с каким-то юношеским волнением. Как перед тайным свиданием.

В Кисловодске, незадолго до революции, он жил на съемной даче своих знакомых – богатых промышленников Мещерских и всерьез увлекся их молоденькой дочерью Ниной. Она очень похожа на картавила. И вообще, что за гадкий она была утенок! Во всех отношениях. Ужасный, переменчивый нрав! А внешность? Почти лилипутка, ему по пояс, черная, как жук, с жесткими курчавыми волосами! Ужас! Его мать, когда ее увидела, обомлела! Не такую, мол, я ждала невестку.

Успокойся, мама, все равно ведь ничего не вышло! Всем богатым буржуазным семейством отказали молодому нахалу, начинающему музыкальному гению (о его гениальности твердила молва). А ему ее внешность чем-то нравилась, притягивала, пьянила. И эта картавость была мила, и сросшиеся сердитые брови. Он сам тогда все еще ощущал себя гадким утенком, хотя уже был почти знаменит. С юности стыдился своих желтых цыплячьих волос, чрезмерно высокой костлявой фигуры, нескладной походки, круглых очков, которые приходилось носить из-за сильной близорукости.

Сколько они с Ниной тогда гуляли по окрестностям! И произвели вдвоем странное сочинение, не то неестественно длинный романс, не то моно-оперу, опередившую время. Нина написала текст по сказке Андерсена «Гадкий утенок», а он сочинил музыку. Они оба казались себе «гадкими утятами», в этом была их страшная тайна, их таинственное сродство. «Убейте меня!» – грустно и безнадежно вскричал Гадкий утенок, завидев прекрасных лебедей. И вдруг обнаружил ... Да, да, увидел, что сам способен летать! Для того и писалось! Больше всего на свете он ценил миги преобразений!

... Он шел по легкому утреннему холодку. На дорожках никого не было. Анютины глазки на клумбах и магнолии вдоль тропинки его радостно приветствовали. Какие-то неясные мысли об этом неожиданном знакомстве вертелись в голове. Позавчера в гостиной он зачем-то спросил ее отчество. Она сказала, что отца зовут Абрам, но она Александровна. Это второе, домашнее имя папы. А ее по паспорту зовут Мария – Цецилия, но бабушку звали Мира. И она взяла себе это имя.

На следующий день, обдумывая шахматную комбинацию, он внезапно понял, зачем нужны были все эти перестановки с именем. Не для того, чтобы скрыть опасную национальность, ведь имя Мира все равно было еврейским (а он за три года после возвращения из Америки

понял, что государственный антисемитизм и при большевиках в России вполне процветал). А для того, чтобы что-то важное в себе определить. Найти свою «музыкальную» тему, как он это назвал. При всей внешней скромности эта девушка таила в себе тайную глубину.

Такая тоненькая, взволнованная, неловкая и ходит, как цапля или как балерина, – совершенно прямыми ногами (Лина Ивановна, услышав в Москве его полуюмористический рассказ о новой почитательнице, будет всю жизнь твердить, что Мира была неизящной и ходила, представьте себе, не сгибая коленей! Деталь была взята из рассказа мужа, но тот просто обожал Мирину походку! Они оба ходили «странно», да он еще при этом любил вечеринки с танцами то в санатории, то в Доме ученых и тащил на них упирающуюся Миру)...

Ему было жаль, что Мира не присутствовала даже на недавнем концерте в московской консерватории. На нем Лина Ивановна пела «Гадкого утенка», его юношеское сочинение, написанное совместно с Ниной Мещерской в пору их тайной любви. И снова пела неважно. Вот уж кто никогда не был «гадким утенком» и не мог себя им представить. Всегда куколка, всегда светски оживленная на людях, и капризно недовольная дома. Такая буржуазистая пташка, любительница светских раутов и обожающих мужских взглядов. Ну, не получалось у нее преобразование в лебедя!

Она лебедем петь начинала и им же заканчивала. Строптивым, красивым и порой злобно шипящим лебедем! Но ей все равно достался букет. И все ее потом хвалили, кроме его друзей-музыкантов. Он стоял красный (в тот день после концерта у него поднялось давление) и радостно улыбался. Так их и засняли вдвоем после концерта, улыбающихся, – его, композитора и дирижера, и ее, певицу, красавицу и жену знаменитости. Но ведь Мира, хотя и не была на концерте, видела в санатории его жену. Видела, какая она красивая. Испанка с польской кровью. В России издавна ценятся испанские и польские дамы...

...Спросив имя, он впервые тогда прямо взглянул на Миру, которая стояла, опустив черноволосую голову. Но стояла, а не уходила, хотя видно было, что ей очень неловко. Все в гостиной на них пялились. И тут его осенило – она же Гадкий утенок! Совсем дурнушка в сравнении с Линой Ивановной! Ростом несколько выше низенькой Нины. Пожалуй, повыше и Лины Ивановны, но та кругленькая, аппетитная. А эта – худюля, правда, очень стройная. И одета совсем не броско, в синенькое, простое, без изысков платье, точно гимназистка в форме. И лицо, – не улыбчивое и в ямочках, как у Лины Ивановны на светских

раутах, а озаренное внутренним волнением, лицо, какое было, вероятно, у Татьяны Лариной или у Наташи Ростовой, когда они мечтали о любви. Боже, неужели ему снова так повезло! Неужели ему вновь послали его уплывшее некогда счастье? И все, все тогда окупается – это его безумное, с точки зрения американских друзей, да и русских композиторов – соперников – Стравинского и Рахманинова, в тайне завидующих его решительности, возвращение в «коммунистическую» Россию!

Его сюда неудержимо влекло, он мечтал о какой-то новой жизни, о новом вдохновении, которое его здесь непременно посетит. И Европа, и Америка с их размеренными «буржуазными» правилами и узкими «денежными» интересами ему давно опротивели. Он хотел встряски! Но, вернувшись, кроме бурного эмоционального подъема, вылившегося в разнообразную музыку, он испытал и бесконечные сомнения, и стойкое предчувствие зловещей коды. Его терзали странные отношения с переменчивым вождем, то казвившим, то милующим, и уйма свалившихся житейских неприятностей. Но все, все тяжелое и мутное окупалось с лихвой встречей с этой тихой девушкой!

Он напишет сонату, где будет менуэт, медленный церемонный танец, который Мира с ним танцует. Он и она, люди со «странной походкой», «гадкие утята», непохожие на других. Танец, скрывающий безумное, жгучее, солнечное волнение, охватившее обоих...

Они тогда вышли из гостинной санатория на воздух, сделали несколько стремительных кругов вокруг главного корпуса, потом столь же быстро спустились в город. Он повел ее в недавно облюбованный закуток, где продавались восточные сладости. Его тут уже знали, буфетчица радостно заулыбалась.

Он накупил рахат – лукума и попросил положить в две нарядные коробки.

– Сергей Сергеевич, – обратилась Мира к нему, смешно и прелестно картавя. Он нетерпеливо поправил:

– Сергей. Обойдемся без отчеств.

– Уже поздно. Меня родители ждут, – в волнении сказала Мира.

– Подождут. Вы взрослая. Сколько вам лет, восемнадцать?

Он даже схватил ее за руку, чтобы не убежала, не улетела, как лебеденок, внезапно почувствовавший за спиной крылья.

– Нет, мне гораздо больше, уже 23.

– Совсем старушка, – рассмеялся он, тщетно пытаясь вычислить в уме, насколько она младше. Не получалось. А ведь мог просчитать множество ходов в шахматной партии!

По дороге назад, не выпуская ее руки из своей, он узнал, что она студентка Литинститута, что сочиняет стихи и переводит их с английского, что хотела бы писать либретто для музыкальных спектаклей.

– Хороший либреттист – мечта моей жизни,– проговорил он, смеясь.
– До встречи с вами самому приходилось мучиться. Беру вас в свои либреттисты. Согласны?

– Но вы же, но я...-, Мира совсем запуталась и вдруг сказала, подняв на него глаза, загадочно просиявшие в фонарном свете: – Согласна! Я согласна!

Мимо них в противоположном направлении проходила его соседка по столу – доктор каких-то наук. Ему показалось, возможно, сослепу или из-за сумерек, что она улыбнулась. Нельзя было не улыбнуться, так все у него с Мирой прекрасно складывалось! И вечер был таким теплым неспроста!

На самом деле соседка изумилась. Они казались такими счастливыми и шли, взявшись за руки, так открыто и спокойно, словно это было в порядке вещей. Соседка знала, что он знаменитый композитор, видела его красавицу жену. А это кто? Какая-то студентка, да еще еврейка, привезенная в этот привилегированный санаторий отцом, ученым – экономистом. Но чтобы ходить за руку так открыто? Так сиять? Кто-нибудь ведь наверняка доложит его жене. Или напишет в самые высокие инстанции о разложении нравов в композиторской среде! Ясно, что он недавно вернулся из заграницы и ничего тут не понимает! Но какова девица! Небось, комсомолка!

Соседка жгуче завидовала. Таких сильных чувств она не испытывала уже лет... Сколько же? Да ведь и в юности – никогда!...

... Мыслей, чувств, воспоминаний было так много, что когда он издали увидел появившуюся у колоннады девичью фигурку, он даже немного огорчился – чего-то самого важного не успел додумать. Он пошел, почти побежал к Мире своей нескладной походкой – руки двигались не в такт с ногами,– и это у композитора! И издали ощущал тот ускользающий дивный аромат, который почувствовал еще тогда, в гостиной. Едва ли духи были французскими, но они словно специально создавались для его придиричьего нюха...

...А Лина Ивановна «Гадкого утенка» больше ни разу не исполняла. Нет, неправда, однажды спела. Но это было как бы в другой жизни, которая не в счет. В лагере в Абези, где она участвовала в художественной самодеятельности, мотая непомерный срок. И за что? За пропажу каких-то листочков, которые она переводила для военных

целей! И все понимали, и следователи, и конвоиры, что никакая она не шпионка, капризная маленькая женщина с ломким голосом, жена известного композитора. Но тогда он уже от нее ушел и даже, как после возвращения она узнала, женился на этой своей иудейке, которая ходила, «не сгибая коленей». Слышите? Ха-ха, ходила, не сгибая...

Она хохотала немножко наигранно, разглядывая себя в многочисленных зеркалах вдоль стен своей московской квартиры. В лагере зеркал не было. И возле зеркал на лаковых столиках лежала дорогая косметика, которой там тоже не было. При Хрущеве Лину Ивановну полностью реабилитировали, и она даже сумела отсудить у Миры часть имущества, завещанного той умершим мужем. А потом, оказавшись за границей, вернулась, наконец, в тот мир светской жизни, приемов, раутов и концертов, посвященных ее мужу – композитору (Миру она настоящей вдовой не считала), для которого была создана.

Но тогда, до всего этого, сыновья прислали ей в лагерь ноты «Утенка», и местный пианист, бывший концертмейстер Большого театра, его за один день разучил. Да еще говорил, что безмерно счастлив такой удаче. А она не стала ничего повторять, чтобы не расстраиваться, – все равно голоса уже никакого не было. Из-за жутких здешних морозов и на нервной почве. Одна из заключенных, с которой они вместе убрали барак и выносили помои, смастерила ей из белой бумаги два небольших крылышка. На большие не хватило материала. Лина Ивановна спрятала руки с крылышками за спиной. Пела почти беззвучно, невнятно, высоким надтреснутым голосом, закрыв глаза и немного откинув голову. Зато аккомпаниатор всю наяривал, наслаждаясь экспрессивной музыкой.

– Убейте меня!» – вдруг выкрикнула она так отчетливо и горестно, что задремавший было конвоир проснулся и удивленно уставился на поющую Лину Ивановну, коротко остриженную, с обиженными складками вдоль губ, неузнаваемую для тех, кто помнил ее на воле. И тут она взмахнула белыми крылышками и словно взлетела. И зал, набитый заключенными, облегченно вздохнул и разразился аплодисментами...

...А в кардиологическом санатории «Подлипки» под Москвой, где Сергей и Мира отдыхали весной 1952 года, за год до его внезапной смерти, он ненадолго словно ожил, забыв обо всех постигших его невзгодах. О предательстве консерваторского друга юности, запрете на исполнение произведений, в которых нашли «формалистические извращения», о двух своих инсультах, о трагических смертях ближайших соратников – великолепного Мейерхольда, как боязливо

шептались, расстрелянного в тюрьме, и талантливейшего Эйзенштейна, не выдержавшего травли... Но было и другое. Ведь было же! Все, все, что он писал вместе с Мирой, искрилось радостью и вдохновением. Все было освещено безумным пыланием любви, тайны, волшебства, начиная с искрометного «Обручения в монастыре» и кончая фольклорно-многоцветным «Сказом о каменном цветке».

Сидел на скамейке, почти по – зимнему экипированный Мирой в шляпу и пальто с поднятым воротником, но все еще с претензией на элегантность, и играл в огромные деревянные шахматы, стоявшие на столах вдоль аллеи у каждой скамейки. Желающих поиграть было много, несмотря на ветреный день. Зеваки толпились у каждой доски, делая отрывистые замечания. Его напарником оказался пожилой еврей, занимающий какой-то важный пост в министерстве финансов. Тот взглянул вслед удаляющейся в санаторный корпус Мире и промурлыкал невнятно, чтобы толпящиеся возле зеваки не услышали: «Излучает тишину. Вам все ж – таки исключительно повезло, особенно если иметь в виду вашу профессию. Должно быть, многое ей посвятили?»

– Начал посвящать еще до знакомства, – рассмеялся он. – И даже, кажется, до ее рождения!

Финансовый работник не выразил удивления, словно ждал такого ответа, но воспользовался заминкой композитора и сделал точный ход, так что партию с трудом удалось свести к ничьей.

Когда Мира его уводила в корпус, он неожиданно спросил, какими духами она душилась ну тогда, в Кисловодске. Мира была озадачена, разве были какие-то духи? Но потом вспомнила, что папа привез ей из командировки в Болгарию малюсенький флакончик розового масла, а она взяла его с собой в Кисловодск и по капельке утром терла им за ушами.

– Восхитительный запах! – воскликнул он, взволнованный воспоминаниями, – Тонкий, почти исчезающий, а я его ощущал на большущем расстоянии. Давай еще прогуляемся по парку, все же весна. Скоро листья появятся на здешних липках.

Они шли по мокрой от вчерашнего дождя тропинке молча, держась за руки, как когда-то в Кисловодске. И он думал, что все навалившиеся несчастья, все притеснения диких невежественных чиновников, зачисливших его в «гадкие утята» советской музыки, и даже сама смерть, дыханье которой он в последнее время явственно ощущал, – это все неправда, все внешняя шелуха, все обман чувств. А настоящая жизнь – это их с Мирой бесконечный лебединый полет под

торжественно – ликующие звуки менюэта и дурашливые инструментальные выкрики, за которыми таятся жгучие вопросы к вечности зрелых его сочинений...

Игорь Троицкий

Хендерсон, Невада, США



Сын чекистов

I

– Как Пётр Зарубин, обычный кандидат наук, специалист по полупроводникам, превратился в начальника Главного Управления МОП, курирующего разработку комплексов лазерного оружия? – спросил я Бакута, одного из старожил НПО «Астрофизика», подчиняющегося этому главку.

– Относительно «обычного» вы ошибаетесь. С самого первого курса (а было это в далёком 1951 году) мы на Физтехе знали, что Петя сын знаменитых чекистов Василия и Елизаветы Зарубиных. Во время войны его отец был первым секретарём нашего посольства в США и по совместительству являлся главным резидентом НКВД, а мама отвечала за сбор секретной информации, касающейся создания атомного оружия. Наличие таких родителей вполне достаточно, чтобы их сын стал одним из руководителей создания любой военной техники, в том числе и лазерной.

Не исключено, что в предположении Бакута и содержалась истинная причина, но раздражительный тон и неприязненная интонация

настораживали. Бакут, доктор наук, начальник теоретического отдела, был абсолютно удовлетворён своими достижениями и уж точно не стремился к дальнейшей административной карьере. Таким образом, элементарная зависть исключалась. Тогда – что же?

II

Интерес к новому начальнику главка как к сыну шпионов появился у меня, когда разные факты из деятельности четы Зарубиных перестали быть тайной. Оказалось, что Елизавета Зарубина, в девичестве Эстер Йойлевна Розенцвейг, по заданию ОГПУ «полюбила» знаменитого революционера, чекиста и террориста Якова Блюмкина. Яша был опытный конспиратор, и ей пришлось прослужить в должности любовницы несколько месяцев, прежде чем ей удалось раскрыть связи своего возлюбленного со Львом Троцким. Блюмкина судила «тройка» в составе Менжинского, Ягоды и Трилиссера. Первые двое выступили за смертную казнь, Трилиссер голосовал против, но Яшу это не спасло. Его расстреляли в 1929-ом, и в этом же году Елизавета стала женой Василия Зарубина, бывшего помощника кладовщика на железнодорожном складе, а в момент женитьбы сотрудника ВЧК с семилетним стажем.

Воочию я имел возможность наблюдать Петра Васильевича на заседаниях научно-технического совета НПО «Астрофизика». Ничего особенного: добрый, внимательный взгляд широко открытых карих глаз, симпатичные мягкие черты лица, небольшой рост. Но запоминался его голос: не мужской, и не женский, но достаточно было услышать его один раз, чтобы потом выделить из тысячи других. Сильно шепелявя, Зарубину удавалось не проглатывать части слов, а доносить их до слушателя без шумовых помех с четкой интонацией, подчёркивающей его отношение к сказанному.

В процессе заседаний Пётр Васильевич сидел молча, внимательно наблюдая за происходящим. По окончании заседания, если тема того заслуживала, он приглашал основного докладчика в кабинет Генерального Конструктора, где задавал накопившиеся у него вопросы и чётко формулировал своё мнение.

Пётр Васильевич жил один с мамой, и в его кармане вместе с носовым платком всегда пряталась авоська, в которой, когда он отправлялся домой, болталась всяческая снедь, купленная в министерском буфете.

III

Летом 1983-го года меня назначили на должность начальника нового научно-исследовательского отделения (НИО), в которое вошли два отдела, проводившие эксперименты по воздействию мощного лазерного излучения на объекты военной техники. Возглавляли эти отделы старые физтехи Александр Бакеев и Борис Федюшин. Буквально через два дня после моего назначения Зарубин объявил о совещании, на котором планировалось рассмотреть состояние работ по воздействию. Обсуждение намечалось на полигоне около города Владимир, где базировались мощные лазеры. Бакеев находился в отпуске и я, пригласив с собой Федюшина, рано утром в назначенный день на своей машине выехал на полигон.

По пути я рассчитывал узнать у Федюшина, какие конкретно эксперименты были проведены и какие результаты получены. Но на мою просьбу Федюшин ответил:

– Игорь Николаевич, я всё подробно доложу на совещании, так что зачем вам слушать одно и то же дважды. В давние студенческие времена мы с Петей были добрыми приятелями. Он – классный мужик, так что всё будет в порядке.

– «Классный мужик», – засомневался я. – Как-то Бакут излагал мне свои догадки, почему именно Зарубин возглавил главк, и в том, как он излагал свои соображения, я не почувствовал особой симпатии и уважения к вашему однокашнику.

– Ерунда, Бакут просто не может забыть, как Петя посмеялся над его «открытием». Бакут, подобно Пете, большой турист. Как-то ему пришла идея проводить ежегодно Всесоюзный слет туристов в центре Советского Союза, который он рассчитал как центр тяжести геометрической фигуры, имеющей границы Союза. Угодил этот центр в бескрайние Сибирские болота между Уралом и Обью. Бакут со своими приятелями-туристами заказали специальный монумент, вместе с которым вся гопкомпания прилетела в Свердловск. Здесь местный Обком партии устроил им грандиозный прием (еще бы, теперь всем будет известно, что центр Советского Союза находится не где-нибудь, а в Свердловской области). К всеобщему удивлению, на обратном пути вместо ожидаемого продолжения праздника их прямо с вертолета пересадили в самолет и отправили в Москву. На следующий день Бакута пригласили в ЦК КПСС, где его как члена партии ждали большие неприятности. Оказалось, что вражеские голоса объявили: русские установили центр Советского Союза и этим фактом стремятся

закрепить за собой спорные приграничные территории. Выражалась уверенность, что соседние страны обратятся в ООН и международная общественность заставит СССР уважать суверенитет других стран. Пришлось руководству «Астрофизики» спасти своего «первооткрывателя». Ещё до этого громкого финала Петя ехидно посмеивался над Бакутовским «центром тяжести Советского Союза». Так что сами понимаете ..., – закончил Федюшин свой затянувшийся рассказ.

К полигону вели две автомобильные дороги: основная уходила с трассы Владимир – Муром, другая, просёлочная, – была на пути из Москвы во Владимир и, не доезжая до города километров семьдесят, ответвлялась вправо. Я выбрал вторую и более часа маневрировал между здоровыми колдобинами, пока не выехал на еле заметную просёлочную дорогу, покрытую мягким травяным настилем. Грибы (белые, подосиновики, подберёзовики) стояли толпами вдоль дороги – и никаких следов присутствия человека. Мы остановились, побродили между кустиками, собрали пару пакетов отборных белых и продолжили свой путь.

– А что, Зарубин тоже заядлый турист? – спросил я Федюшина.

– Сейчас нет, а был – да ещё какой! Туризмом он занялся на старших курсах и стал одним из руководителей спортивного общества «Буревестник», объединявшего студентов разных вузов. После окончания Физтеха Петя уехал зимовать в Антарктиду, а потом увлёкся альпинизмом. Он спасал на пике Коммунизма ректора МГУ Рема Хохлова и еле выжил на пике Красина, где погибла команда Шатаевой.

– Интересно, а как его мама относится к столь опасному увлечению своего сына? – поинтересовался я.

– Петя уверяет, что именно она – инициатор многих его походов. И только недавно – по причине свалившейся большой должности – Петя прекратил свои альпинистские восхождения.

«Уж если еврейская женщина уникальна, так – во всём, – услышав пояснение Федшина, подумал я, – невозможно представить, чтобы «а идише» мама без боя отпустила своего единственного сына в какие-то там горы ... а тут ещё и «инициатор». Наверное, ей очень хотелось сделать из своего мальчика настоящего мужчину.»

Примерно через час ласковая лесная дорога соединилась с основной, приведшей к контрольно-пропускному пункту, миновав который, мы оказались около комендатуры, где должно было проходить совещание. Здесь мы и устроились на лавочке в ожидании, когда нас пригласят.

День был солнечный, тихий, но мне было тревожно и очень не по себе. Впервые меня ожидало обсуждение вопросов, к которым я был абсолютно не подготовлен. О лазерном воздействии я имел лишь общие физические представления при полном отсутствии знания специфики подлежащих исследованию объектов. Я сидел и не мог простить себе, что попал в такую дурацкую ситуацию.

Невдалеке передо мной начиналась деревенская улица с традиционными бревенчатыми избами, а поодаль, справа возвышались панельные трёхэтажки военного городка. Из крайней, ближайшей ко мне избы вышел человек в заляпанных грязью сапогах и в широком, мятом, заплатавшем пиджаке. Я посмотрел на появившегося мужика и почти бессознательно ему позавидовал.

– Расхаживает себе, – думал я, – и никакой Зарубин ему не страшен. Вот был бы я таким мужиком, и всякое там «воздействие» было бы мне по барабану. Впрочем, вряд ли жил бы я в безмятежном спокойствии. Наверняка, завидовал бы вон тем трёхэтажкам и тем, кто живёт в них, моется в душе, не возится с дровами. И сделал бы всё для того, чтобы оказаться в одном из них. А как добился бы этого, захотел переехать в город Владимир. А там – мечтал бы о Москве, где можно ходить в Большой театр. А превратившись в москвича, сразу же забыл бы о Большом, а стремился стать начальником с большой зарплатой. А стал бы таковым, приехал на «Радугу» и в ожидании разноса от ещё большего начальника завидовал мужику, но только стать им, увы, уже не смог – промчавшийся временной поток унёс бы меня совсем в иное измерение.

Подобные несуразные мысли промелькнули быстро, и теперь я пытался представить, что может чувствовать и каким может вырасти тот, у кого мать, предала своего возлюбленного, после чего, отец, зная об этом предательстве, взял её в жёны, и они счастливо прожили, успешно обманывая других, пребывая в постоянном страхе и от врагов, и от своего родного ЧК, которое одной рукой награждало, а другой грозило и готово было придушить.

Мне зримо представилась современная троица двадцатого века: Лев Троцкий – Яков Блюмкин – Лиза Розенцвейг. Только теперь первым выступал Дьявол (кажется, по Ветхому завету, Лев ассоциируется с Сатаной), вторым – поджигатель войны, убивший Мирбаха, немецкого посла и нашедший свою смерть не на кресте, а в застенках ЧК, а третьей была блудница, но не по призванию, а по идейным

пристрастиям, ставшая вначале доносчицей, а затем переквалифицировавшаяся в шпионку. Столь фантастические, но, вместе с тем, весьма «поучительные» размышления, не получив своего завершения, были прерваны приглашением на совещание, и я направился на ожидавшую меня Голгофу – на встречу с сыном девы Елизаветы.

V

За столом сидели командир войсковой части, два его заместителя и Зарубин. Федюшин доложил о проведённых экспериментах, после чего Пётр Васильевич открыл список боевых объектов, которые планировалось подвергнуть воздействию, и, зачитывая его, стал спрашивать о работе по каждому. Когда звучало наименование неисследованного объекта, Федюшин отвечал, что эксперимент с ним записан за отделом Бакеева, и дать ответ может только сам Бакеев. Зарубин не комментировал ответы Федюшина, а только иногда выразительно поглядывал в мою сторону. Дочитав список до конца и констатировав, что работа фактически не началась, Пётр Васильевич попрощался и со словами: «Будем разбираться в «Астрофизике», сел в ожидавшую его министерскую машину и отбыл в Москву.

Вслед за Зарубиным уехал и я с Федюшиным. Я молча переваривал всё произошедшее, пока Федюшин не сказал:

– Да, не переживайте вы так. Вы просто Петю не знаете. Он неслучайно собрал совещание на полигоне; фактически это было сделано для того, чтобы представить вас, нового начальника НИО руководству полигона и продемонстрировать всем (и прежде всего вам) важность данных работ.

VI

Эксперименты по воздействию проводились на площадках, расположенных в дремучем лесу. Каждая площадка представляла собой здание, в котором размещался лазер и прорубленную в лесу трассу для лазерного луча.

Одним из опасных экспериментов было облучение взлетающего вертолёт с находившимся в нём пилотом. При попадании мощного лазерного излучения в воздухозаборник происходил помпаж двигателя и вертолёт падал. Для предотвращения возможных повреждений машины и пилота взлётная площадка покрывалась специальными

матами. В момент, когда я вместе с другими своими сотрудниками тащил очередной мат, появился Зарубин, приехавший проконтролировать состояние проводимых испытаний. Он дождался, когда потные учёные закончили свою «важную» работу, уточнил некоторые детали предстоящего эксперимента и пожелал всем успешной работы. Была пятница, и перед тем, как покинуть площадку Зарубин спросил, не могу ли я вечером после эксперимента захватить его с собой в Москву, пояснив, что своего шофёра он хочет отпустить на выходные к родителям в Муром. Я, конечно, согласился, а то, что Зарубин попросился в мою машину, я воспринял не только, как его доброе отношение к своему шофёру, но и как хорошую оценку наших работ.

Погода была прескверная: мелкий мокрый снег превращал дорогу в сплошной каток. Мы еле тащились, и чтобы как-то скрасить нашу поездку, я стал рассказывать своему пассажиру о Суздале, в котором, к моему изумлению, он никогда не бывал.

– Мне кажется, – прервал Зарубин мой экскурс, – церкви и монастыри – это попытка людей убежать от обыденности, а я скрываюсь от повседневности в горах. Все общепринятые представления о том, что именно тянет сильного, мужественного, человека в горы – это не про меня. Просто, добравшись до малодоступных вершин, я как бы оказываюсь в другом Мире, свободном от ограничений трехмерного пространства и убегающего времени. И вокруг нет ничего обыденного, Земного.

После столь нетривиального замечания я отстал от Зарубина со своим Суздадем, и какое-то время мы ехали молча.

Примерно на полпути между Москвой и Владимиром на берегу речки Пехорка находился новый придорожный ресторан «Сказка», в котором Зарубин предложил поужинать. Полупустой зал освещался матовыми светильниками, по форме напоминавшими старые керосиновые лампы. На столах горели свечи.

После маринованных грибочков, селёдки с картошкой и суточных щей тягостное воспоминание о гадкой дороге рассеялось и разговор принял, если не доверительный характер, то, по крайней мере, перестал быть дипломатически холодным. Завершился ужин появлением самовара с сушками и горячими пирожками.

– «Смеркалось; на столе, блистая, Шипел вечерний самовар, Китайский чайник нагревая, ...», – процитировал Пётр Васильевич строки из «Евгения Онегина».

За самоваром мы просидели часа полтора. Зарубин окольными вопросами вывел меня на воспоминания о детстве и, рассказывая о бабушкиной Салтыковке, о мальчишеских проказах, я почувствовал, что вот именно эти воспоминания (а не какой-то там Суздаль) ему действительно интересны. Хрустнув очередной сушкой, Пётр Васильевич сказал:

– Я вот слушаю вас и завидую. У меня был Париж, Швейцария, Германия, Америка, но вот чего-то похожего на ваш Салтыковский дом – не было. Я был лишён воздуха мальчишеской свободы. И главное (что я понял именно сейчас), – не было своего дома. Ничто так не создаёт ощущения безопасности и бессознательной ребяческой веры в будущее, как твой дом. Ни семья (она, конечно, важна), но нужен ещё и дом – принципиально материальное, не перемещаемое, постоянное. Когда мы окружным путём переплывали в Америку через Тихий океан, японцы бомбили Пёрл-Харбор. На корабле была дикая паника, а я всё повторял: «хочу домой». Что я тогда понимал под словом дом, до сих пор не могу себе представить.

VII

В начале 1984 года вышла моя книга в соавторстве с Н.Д. Устиновым «Адаптация в информационных оптических системах», и я, будучи в Министерстве, зашёл к Зарубину, с целью подарить ему один экземпляр. На столе лежали бумаги, которые с вопросом: «узнаёте?» Пётр Васильевич протянул мне.

Это были рисунки зданий нашего экспериментального лазерного комплекса (НЭК «Терра-3»), располагавшегося на Балхашском полигоне. Рисунки были получены из ГРУ с пояснением, что сделаны они американцами на основе данных со спутников. Сами по себе рисунки не представляли никакой ценности, но американская интерпретация фотоснимков, могла существенно повлиять на подготавливавшееся решение о прекращении работ по усовершенствованию бесперспективной установки «Терра-3». Дело в том, что разбросанные вокруг зданий лазерного комплекса обломки строительной техники, принимались американцами за обломки ракет, сбитых данной лазерной установкой. Апеллируя к данным выводам, Зарубин стал с жаром уверять меня: раз американцы так решили, то это означает, что они либо уже имеют соответствующие средства, либо близки к их созданию. А в таком случае мы не должны закрывать «Терру» а, наоборот, обязаны интенсифицировать наши работы.

Спорить со столь высоким начальником я не стал, а про себя подумал: «Вот так ошибки чужой разведки могут перевесить мнения своих учёных; впрочем, может быть, это и не ошибки, а специальный вброс ложной информации?».

От Зарубина с той же целью подарить экземпляры книги я зашёл к Синцову, курировавшего Ленинградские оптические институты. Это был приятный молодой человек, прежде работавший в ГОИ, а после удачной женитьбы на дочери влиятельного партийного чиновника, возглавивший двенадцатый главк. Синцов, единственным из известных мне начальников, не вписывал свою фамилию в авторы публикаций подчинённых ему учёных. Полистав подаренную книгу и увидев моего соавтора, он сказал:

– По моему мнению, всё соавторство в России началось с атомного проекта, когда наши учёные стали путаться в том, что было украдено, а что они сделали сами. Атомный проект давно закончился, а соавторство всё цветёт и благоухает.

Обсуждение этой темы показалось мне весьма опасным, ибо мой соавтор был не просто начальником, а Генеральным Конструктором и в придачу сыном министра Обороны, так что после нескольких ничего не значащих слов я удалился. Но возник и остался без ответа вопрос: не приносит ли «научное» воровство тому, кто пользуется его результатами, вместе с большими плюсами и кое-какие минусы?

VIII

Елизавета Юльевна Зарубина умерла в 1987 году. Похоронили её на Калитниковском кладбище рядом с могилой мужа. Пётр Васильевич извинился, что не устраивает поминки, и, поблагодарив всех пришедших проводить его маму в последний путь, уехал домой.

Федюшин с Бакеевым направились в «Астрофизику», но до неё не добрались, приземлившись в кафе около метро «Тушинская». За третьей рюмкой, вспоминая Физтех, где когда-то вместе с Петей «рубилась они», Борис вдруг сказал:

– Саш, а давай-ка махнём к Петьке. Ну, чего он там один? Да и на троих как-то привычней.

Пётр открыл им дверь в халате, и приятели, быстро переместив кое-какую закуску из холодильника на стол, не чокаясь, опорожнили первую рюмку. Потом Пётр достал семейный альбом.

– Вы представить себе не можете, какие фотографии мы увидели, – через несколько дней рассказывал мне Федюшин. – Елизавета

Юльевна обнимается с самим Оппенгеймером и его женой, она за столом с Георгием Гамовым, она с женой Коненкова на пляже ... Интересно, если мама Пети исколесила все штаты вдоль и поперёк, то сам Петя безвыездно почти четыре года провёл за оградой посольства. Смеясь, Петя рассказывал, что его любимой игрой было следить за машинами американских спецслужб, то и дело появлявшихся за оградой. Но вот, о чём он рассказал с большой гордостью, так это о напутствии Сталина перед их отъездом в Америку. Всех ответственных за предстоящую разведывательную операцию Сталин пригласил к себе. После краткого обсуждения, прощаясь, вождь, обращаясь непосредственно к Василию, сказал: «Товарищ Зарубин, берегите вашу жену». А о том, что Елизавета была еврейкой и что у евреев поминки не приняты, – закончил свой рассказ Федюшин, – мы узнали, лишь уходя. Но, кажется, Петя простил нас и даже был доволен нашим незнанием.

– «Незнанием» чего: что мама Петра Васильевича была еврейкой или того, что у евреев не приняты поминки? – уточнил я.

– И того, и другого, – ответил Федюшин и как-то подозрительно взглянул на меня.

IX

В конце 80-х годов МОП переживал не лучшие свои времена, а тут ещё и дополнительный переполох: Синцов, начальник главка, оказался шпионом. Арестовали Синцова при передаче секретной информации и сведений о том, от кого он её получил. Среди списка лиц, указанных Синцовым, на первом месте значился Пётр Зарубин, а на втором – Чебуркин, главный конструктор мощных лазеров НПО «Астрофизика». Это было вполне естественно, ибо все проекты, выполняемые «Астрофизикой», базировались на оптических системах, создававшихся в тех самых институтах, которые курировал Синцов.

Петр Васильевич скрупулёзно докладывал следствию о всех своих контактах с Синцовым, а Чебуркин утверждал, что обсуждал с Синцовым только документы, отправленные в подведомственные Синцову институты. В результате Петра Васильевича уволили из министерства, а Чебуркин сохранил свою должность.

Комментируя эту ситуацию, мой приятель, заместитель Генерального Директора по режиму, полковник КГБ А.Тишин, сказал:

– Дело не в отличии в том, как вели себя на допросах оба фигуранта, а в том, что место Зарубина кому-то из «сильных мира сего» было

нужно, а должность Чебуркина – никому, – и после небольшой паузы, – вот, смотри, родители Зарубина выискивали в Америке источники секретной информации, полезной для Советского Союза, а вот прошло сорок лет и таким источником информации, но, наоборот, в Союзе для Америки, стал их родной сын. Воистину: «Пути Господни неисповедимы». Правда, и важность информации в первом и втором случаях несопоставима. Смешно, в магазинах пропало мясо, а нам в наших НИИ и охранять практически стало нечего.

И Тишин засмеялся.

Наталья Замулка-Дюбуше

Франция



Воздушный поцелуй французским коровам

Она поворачивает ключ зажигания в машине, сдает назад, выворачивает руль вправо. Колеса шуршат по гальке внутреннего двора, обильно посыпанного галькой. Теперь – к подъёмным воротам, они открываются при помощи фотоэлемента. Впереди выезд на дорогу. Этот «ритуал» она осуществляет часто. Время надо подгадать, когда меньше машин на объездной трассе вокруг ее города. Обычно это в обед, святое время для французов, все за столами пребывают. Или в кафе, неподалеку от работы, или действительно дома, если он в нескольких километрах от города. Такой ритм этого общества и людей. А она свободный человек, на пенсии. Дети в больших городах живут. Зачем ей смог большого мегаполиса? Он только позволяет одно, не

видеть, чем мы дышим. К детям лучше на поезде, быстро и без напряжения, внуков повидать, потискать, подарки привезти.

Мелькают за окном машины небольшие города и селения. Знает хорошо этот регион, свою вторую родину. И места любимые есть, где можно очутиться на природе.

Было ли это так раньше? Конечно, было. Новая страна жила в своем ритме, а она тогда была новоиспеченной иностранкой. И пейзажи вокруг мелькали не делая своих зацепок в душе, ностальгия мешала.

Цветаева, впрочем, писала во Франции: «всякий поэт, эмигрант на своей родине» – так что губы не раскатываем. Пережить ностальгию надо и точка!

Что такое ностальгия? – думала она за рулем. Психическое заболевание, социальная эмоция, или просто свойство романтической природы?

«ностос»-греч. – возвращение на родину.

«альгор»-греч. – страдание т.е. тоска по родным местам.

Она теперь улыбается, нашла рецепт выживания. Благодаря литературе. Потому что это форма осмысления, поиск выхода и способ принятия мира. Само собой разумеется, литература не в плане читать, а в плане писать.

Кто-то сказал, что интерес к прошлому – это всегда художественный интерес к принципиально завершенной жизни. А воспоминание – это движение в прошлом, в котором прощены все обязательства, все долги и все надежды оставлены. Этот путь художник фиксирует в тексте.

Так и выжила, не дала накрыть себя волной проходящего времени. Оно утекает быстрее сквозь пальцы опущенных рук. Слава Богу, это было давно. «Отмахав шашкой» на чужбине лет двадцать, имеешь право на спокойную жизнь.

Она съехала с трассы на сельскую дорогу, переехала через мост. До ближнего селения было метров пятьсот. Старинные, сложенные из камня дома, темнели цветом камня впереди. А слева поле, вернее, луг, и на нем паслись коровы. Припарковала машину, съехав на обочину, и подошла к изгороди. Чисто символическая изгородь, но все-таки разделяет дорогу и сам луг редкими столбиками с натяжкой двух линий проволоки, вверху и внизу. Переступила через нижнюю, согнулась – и вот уже она на зеленом лугу. В раю вроде очутилась. Солнце светит, ветра нет, травка зеленеет. И коровы удивленно смотрят на нее, жуя свою «жвачку», – траву.

Когда-то, сельская девочка, она не боялась их. От них шла энергия тепла, жизни и полного доверия. Подошла к одной медленно,

погладила по голове. Корова вздохнула, обдала ее запахом молока, перестала жевать и посмотрела на нее красивыми глазами с темными и длинными ресницами и замычала.

Ну да, это раса черно-белых коров, самая молочная. Писал об этом зоолог из Нидерландии, Ван Ринен. Он считал, что если коровы мычат, значит они хотят общения.

Будет им общение.

– Моя ты, Зорька, – сказала она и положила ладонь на шею коровы.

– Доить тебя не буду, это фермер тебе приставит вечером доилку-присоску. Всем ты должна молоко, отдаешь его безропотно. Каждый день работаешь, чтобы прибывало. Травку жуешь, водичку с неба слизываешь в виде росы. И спокойно думаешь свою коровью думу. Вон какое стадо вас красивых, с желтыми прищепками номеров на ушах. Думаешь, это серьги? Да ты их настоящих и не видела, только вот эти, номерные. У тебя, небось, имени нет, не так как у наших коров – Манька, Зорька? Вдали только один бык на все стадо, очумело смотрит вокруг. Думает, что вас пасет или охраняет. Взбредет ему в голову – может одну из вас и «облагородить». А заленится, зоотехник шприцем поможет. Терпеливо ходите потом с круглыми боками, телят воспроизводите. Думаете, – для жизни, а чаще выходит, что на мясо. Ненасытный народ на планете нынче пошел или был таким всегда?

Солнце стояло в зените. Трава, разогретая небесным светилом, издавала аромат близкого лета. Свидание с коровами закончилось. Вздохнула, шагнула за изгородь проволочную в сторону дороги. Еще раз охватила взором луг с терпеливыми животными у которых не было выбора. Ей дана была свобода, а им нет. Она послала коровам на прощанье несколько воздушных поцелуев – уже за рулем.

Развернула машину.

– Держитесь, девочки!

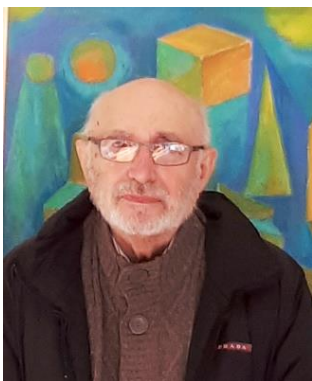
Коровы удивленно вскинули головы.

Включила огни подфарников среди белого дня, такие уж правила здесь.

Впереди был выезд на автобан.

Наум Белог

Мельбурн, Австралия



Юбилей. Из Одесских историй

Исаку Кацу, бывшему протезисту, сделавшему половину населения Одессы писаными красавцами, а ныне пенсионеру в далекой стране Австралии, исполнилось восемьдесят лет. Ростом под два метра, с широкой грудью, умеренным животиком и седым ежиком волос на круглой, как луна, голове, он выглядел на шестьдесят. Не больше.

Были у Исака жена Клара, маленькая щуплая женщина, которую со спины принимали за четырнадцатилетнюю девочку, и два сына. Старший – Миша, шофер такси в Мельбурне, и младший Жорик, полицейский на севере Австралии, где живут крокодилы, змеи, есть священный красный камень, размером с Американский авианосец, и аборигены.

Миша не рассчитывал на Жорика и решил, что если он поднатужится, то и сам осилит организацию юбилея в ресторане «Белые ночи» с музыкантами братьями Капатовыми, известными на весь город, и с шоколадным тортом от самой Любы Волк.

Посоветовшись с женой, он пошел к Доку. Так он называл папу.

– Док, тебя устроит ресторан «Белые ночи»? – спросил Миша.

Исак подумал и сказал:

– Будем считать, что устроит. Разве меня кто-то спрашивает? Пусть будут «Белые ночи». Лишь бы не черные дни. Да, позвони Жорику, чтобы он не забыл про папин день рождения. Когда от него что-то

хотят, так он забывчивый на всю голову, а когда ему что-то надо, так он первый выскочит.

– Док, конечно он помнит. Что за вопрос ты задаешь? Мне совершенно удивительно..

Миша сказал это, но, честно говоря, он не был уверен, что папин любимец Жорик приедет. Надо же кому-то следить за аборигенами, чтобы там был порядок.

День рождения Исака выпадал на понедельник, и он настоял, чтобы юбилей справлялся только в этот день.

– Почему в понедельник, Исак? – спросила Клара.

– Вот так я хочу! И все!

Исак пять раз повторил эти глупые слова, а напоследок трахнул по столу своей красной, как у мясника, рукой так, что хрусталь в горке затрясся, как будто начался артобстрел.

Ставшая белой, Клара выпила рюмку валерьянки и сказала мужу:

– Где это видано, чтобы такой юбилей справляли в понедельник?! Мне стыдно перед людьми. Исак, когда уже кончатся твои сумасшедшие штуки?

Исак уставился в свои нечищенные штиблеты и молчал. Он молчал так долго, что Клара не выдержала и вспомнила ему про все. Про его шашни с медсестрой Клавочкой и Лидочкой, так что вся Одесса гремела. А потом – про Жорика. Он был ее самый больной вопрос. Она приставила указательный палец к широкой груди Исака и закричала:

– Если бы ты сказал нет, когда заварилась эта каша с полицией, так наш Жорик жил бы, как человек. Где это видано, чтобы еврейский мальчик стал полицейским? Что было бы плохого, если бы он, как его брат, стал таксистом?

Она опустила на стул.

– У меня сердце разрывается на части, а тебе, как с гуся вода!

– Ну что я могу сделать, Клара? Он уже большой бухэр (парень) и решает сам за себя.

– У тебя сразу же есть ответ. Вот спутается он с аборигеночкой, и что тогда?

– Что ты имеешь против аборигеночки? Все женщины похожи друг на друга. Просто одна меньше загорала, а другая больше.

– Ты смеешься, бандит! Я знаю, что ты ждешь – не дождешься моей смерти.

Гостей пригласили на семь вечера, но как обычно бывает на еврейских торжествах, съезжаться начали к восьми. У входа в ресторан стоял двоюродный брат именинника Левочка Кац в пиджаке а-ля Мао

Дзэ Дун и в старомодных широченных брюках времен культурной революции. Они полоскались на сильном ветру, как паруса на яхте, и все боялись, что еще один сильный порыв ветра и Левочка улетит далеко-далеко. Хрипловатым баритоном он объявлял имена родственников, а незнакомым низко кланялся и целовал ручки дамам. Гостей было много, почти сто человек. Они все приходили и приходили. Левочка Кац от такого количества незнакомых физиономий сконфузился, оставил без разрешения свой пост и пошел опрокинуть рюмку водки для просветления мозгов.

– Миша, где ты набрал такое кодро? – Исак перехватил мечущегося от одного стола к другому старшего сына, – они же выпьют, а потом сожрут нас всех с потрохами. Кто они? Вейзмир (караул)!

– Док, не волнуйся, они все хорошие ребята. Мы вместе играем в футбол по воскресеньям. Они все программисты и врачи, – сказал Миша и тут же улетел в другой конец зала.

– Врачи, футболисты. Где это видано, чтобы доктор гонял мяч? – сказал именинник самому себе и развел руками.

Надо сказать, что Миша, который в отличие от папы, был невысокий и без единого волоса на круглой, как школьный глобус, голове всегда любил шикануть. И тут он хотел показать всем, в том числе Толику-колбаснику, что и таксист – не лыком шит. Столы были завалены икрой, копченой рыбой и мясом, а также синенькими по-одесски. Миша затребовал, чтобы никаких кабачков и сардин в собственном соку на столах даже близко не было. Что касается водки и вина, то ими можно было напоить полгорода.

Итак, все гости расселись по своим столам. Они жадно глядели на блюда и ждали, когда старший сын Миша скажет тост. Но Миша не спешил. Он стоял в углу зала и думал. Дело в том, что пять минут назад позвонил Жорик и сказал, что на Дарвин обрушился тропический циклон и самолет задержали на полчаса. И еще Жорик сказал, что у него есть сюрприз, и повесил трубку.

Что же делать? Как заставить гостей поститься еще полчаса? Они же его разорвут. Он стал обеими руками чесать с остервенением блестящую лысину и приговаривать:

– Думай, Миша, думай! Ты хотя и таксист, но шарики у тебя в голове крутятся не хуже, чем у программиста. Недаром ты имел первый разряд по шашкам в девятом классе.

К сожалению, ничего путного в Мишину голову не пришло. Он сел рядом с папой и полез в карман за бумажкой, на которой его женой Софочкой был написан текст тоста. Миша не привык выступать перед

таким количеством людей и очень волновался. Он вспотел и стал искать платок, когда вдруг раздался тихий голос Ромочки Слепого. Он дружил с юбиляром еще с первого класса, знал его вдоль и поперек и считал, что имеет право первым сказать тост. Чтобы не упасть он держался за стойку для микрофона, словно за мачту корабля. Он успел сказать всего два слова: дорогие товарищи – и зал загудел:

– Не надо Рому! Посадите его, – кричали с крайних столов, где сидели врачи и программисты. Они свистели и били ногами по полу.

Но Рома был глуховат и не слышал ни криков, ни топота ног, и он продолжал:

– Скажите мне, кто в Одессе не знал нашего замечательного юбиляра. Все знали Исака. От Привоза до Нового базара все знали, какие у него золотые руки, чтоб они ему служили до ста двадцати.

Клара толкнула Исака в бок, мол, скажи своему другу, чтобы он закружился. Исак уже был в состоянии полуобморока от голода, душившего все его органы, и крикнул Ромочке Слепому:

– Рома, твою мать, сделай бикицер!

И зал зааплодировал, а программисты и врачи свистели и кричали:

– Выведите папашу из зала заседаний! Люди хотят кушать, едри его в качель!

Миша встал и хотел успокоить публику, но никто даже не посмотрел в его сторону. Все стали пить и закусывать, а чуть не плачущий Рома Слепой продолжал держаться за микрофон.

– Что это такое, господа? Исак, скажи им что-то, – умолял старичок.

Но ни Исак, ни Клара не слышали его. Скажите, кто в этом бедламе мог услышать Ромочку? Его страдания кончились только тогда, когда его круглая, как бочонок пива, дочка Тэлочка вышла на сцену и увела папашу.

Сразу же после этого заиграли братья Копытовы и подвыпившая публика, не спеша, как стая гусей, потянулась к сцене. В середину круга танцующих вкатилась Тэлочка и закричала:

– Дерибасовскую! Дерибасовскую!

Под Дерибасовскую Тэлочка выбрасывала свои толстенные обрубки-ножки до тех пор, пока не рухнула на холодный мраморный пол. Ее утащили из круга и усадили рядом с папашей.

– Тэлочка, у тебя же диабет, а я уже – не человек. Скажи мне, кто будет смотреть за Анжелочкой?

– Папа, сегодня праздник! Пусть тебя не волнует всякая ерунда! – прокричала в папино закупоренное ухо Тэлочка, и выпила очередную порцию виски.

Но скажите, сколько еврейская женщина может выпить? Даже если она стояла в рыбном ряду на Привозе каждый Божий день. Так вот, даже Тэлочка не была сделана из железа. Она нежно опустила свою голову в тарелку с салатом оливье и захрапела. Она, конечно не услышала, как поднялся Исак и громовым голосом сказал:

– Господа, налейте все бокалы! Выпьем за мою любимую жену Кларочку, которая могла выдерживать такого клиента, как я, вот уже шестьдесят лет! Выпили? Молодцы. А теперь, моя красавица, прочитай свои стихи. Похлопайте все Кларочке.

Все захлопали, но Клара молчала.

– Любочка, все ждут твои стихи, – Исак прошептал ей на ушко.

– Исак, отстань со своими стихами. Мое проклятое давление не дало мне сосредоточиться и написать все то, что ты заслуживаешь, дорогой.

– Ты что? Люди ждут! Не шути!

– Исак, у меня нет стихов. Нету! И все.

– В такой день ты говоришь про давление! На твоего племянника Моньку у тебя не было давления, на твою сестричку Раечку у тебя не было давления, а на меня у тебя выскочило.

– Заткнись, бесстыжая рожа! Любимая жена, любимая жена!

Исак выслушал Клару, не моргнув и глазом. Потом он выпил рюмку виски, вытер красной рукой красный рот и пошел к столику, где сидела Клараина двоюродная сестра Зиночка.

– Идем, Зиночка, потанцуем. Где наша не пропадала, – нагнувшись к ней, сказал Исак.

Зиночка затушила в тарелке сигарету и вышла в центр зала. Исак обнял пухленькую Зиночку и они поплыли среди танцующих врачей и программистов. То ли от большого количества выпитого виски, то ли от запахов веселья и страстей, висевших в зале, Исак вспомнил молодость. Он снял свою правую руку с Зиночкиного плеча и положил на ее необъятную грудь. Дальше – больше. Большими красными пальцами, привыкшими копать во рту своих пациентов, он млял Зиночкину грудь, словно это был кусок теста для пирожков. Зиночка вскрикнула, затем глубоко вдохнула в свои прокуренные легкие остатки кислорода в зале и только после этого опомнилась:

– Старый ловелас. Что вы себе позволяете? Моя грудь – это моя собственность. Это вам не при социализме, где все твое – мое, и все мое – твое. Постыдитесь своих детей и Клары.

– Ну пошло-поехало. Я же вас уважаю, Зиночка.

– Уважай, уважай, но рук не распускай, – сказала Зиночка и вырвалась из его цепких ручищ.

Время неумолимо приближалось к сладкому и кофе. Уже внесли торт, пропели Хэппи бёрздэй и задули восемьдесят ханукальных свечей, когда Исак позвал Мишу. Тот прибежал, невидящими бесцветными глазами вперился в папашу:

- Док, что-то случилось?
- Почему я не вижу Жорика здесь? Где твои полчаса, хороший сын?
- Док, ты только не волнуйся. Между прочим, Док, Жорик звонил и с минуты на минуту будет здесь. Ну, я побежал. Да, кстати, он везет с собой какой-то сюрприз.

Миша сказал это и убежал, а Клара, услышав про сюрприз, расстроилась ни на шутку. Вместе с ней погрустнел Исак.

- Как же так? – сказал он Кларе, – мой любимый сыночек, и не приехал вовремя поздравить папу? Мало я сделал для него хорошего?
- Наверное – мало. Ты больше о себе думал, – сказала Клара.
- Дай мне покой, Клара. Мне что-то нехорошо.
- Люди, люди! Исаку плохо! – закричала ставшая зеленой Клара.

Слава Богу, в зале врачей было больше, чем достаточно. Первый, кто прибежал, был большой, как гора, гинеколог по кличке Химик.

- Дядя Исак, что такое?
- Ой, мне нехорошо.
- Откройте все двери и окна! Дайте кислород!

Когда открыли дверь, все увидели, что на пороге стоял могучего сложения полицейский. Он был точь в точь, как Исак, только вместо седого ежика – чернела густая, вьющаяся шевелюра.

- Жорик, – крикнула Клара, – нашему папе плохо. Слава Богу, что ты успел.
- Что успел? Клара, ты думала, что мне капут? Черта с два. Я еще живой. Жорик, иди сюда, – сказал Исак.

Исак обнял Жорика. Старик целовал своего любимого сына и плакал проалкоголенными слезами.

- Мне уже хорошо, сынок. Жорик, давай выпьем за тебя.
- Подожди папа, я через минуту вернусь. Я же обещал вам сюрприз.

Любопытные родственники, врачи и программисты столпились у дверей. Вместо одной минуты, как обещал Жорик, прошло десять минут, пока он наконец вернулся, держа за руку высокую темнокожую девушку. От волнения и страха она еле переставляла ноги. Я думаю, что она была бледна. Но разве разберешь холодную бледность на черном лице аборигенки? Конечно, нет. Видя приближающуюся пару, Клара почувствовала слабость в ногах и присела на стул, который

подсунул ей гениколог по кличке Химик. Вытерев холодный пот с лица, Клара простионала:

– Я знала, что он приедет не один. Я знала. Старая, глупая Клара как всегда оказалась права.

Ты и так, баба Катя, голодаешь! – не отступала Танька. – Что пользы от твоих чулок с деньгами, когда для себя их жалеешь? Разве это жизнь?

– А что по твоему жизнь? Уж объясни бабушке!

– Жизнь – это когда счастье в ней есть! А твое счастье в чем? Хлеб краденый, колбасные обеды?!

– Дура ты, Танька! Набитая! Неужто думаешь, что я своего счастья не знаю?! Оно вон, рукой подать!

Да где же? – не понимала Танька и расчесывала от непонимания своего красные бляшки пятен на руках.

Вон, – вскочив с качелей, топала от злости ногами баба Катя. – Отсюда берега видны! Море! Чистая бирюза, настоящее счастье! Мне бы только сезон справить! Вот тогда и посмотрим, какое оно мое счастье. Шляпку куплю, очки, купальник хороший, может, платъев каких еще... Как у моих отдыхающих... И днями на море сидеть буду! Плавать буду! А если захочу – еще и напитки разные через трубочку потягивать буду! Не смотри, что я бабка тебе! А задуматься, и не жила совсем, девчонка молодая!

– Так ты море это, баб Катя, за своими жильцами и не видишь никогда! Хоть счастье твое совсем легкое. Не то что у других.

– У других... – хмыкала баба Катя, – Они свое счастье пусть годами ищут, раз оно сложное да между хребтами гор живет, а мое счастье на вот этих ладонях меня дожидается, – баба Катя трясла своими большими ладонями, стараясь показать Таньке, где именно припряталось ее счастье. – Пойми, дуреха, деньги – они тяжелые, а счастье... Сроку дай! Сентября только подождать да сезон справить. Ну и покумекать, как пару чуланчиков еще до сентября втиснуть.

А в начале сентября, злой дождливой ночью, баба Катя внезапно умерла, так и не дождавшись окончания сезона. Когда Танька нашла ее в постели, она лежала в старенькой заштопанной сорочке и руками, теми, где должно было дожидаться ее счастье, прижимала к груди краюшку черного хлеба. На ее изменившемся, удивленном, невинно-детском лице застыла искренняя и от этого такая смешная улыбка, словно баба Катя увидела свой берег счастья, и так легко, наконец, добралась до него.

Николай Боков

Париж, Франция



Мысли. Чехов как медиум. Лара и Лолита. Одинокий воин. Колеса Солженицына

С «Улиссом» просто благодаря названию: сам автор дал ключ к сочинению, и пошло культурное распечатывание. Он ощущал некое в себе накопление, образование, складывание («еще неясно различал»). Возможно, сначала ключ дан самому автору.

Как дан был ключ другому автору, Фрейду: этот почувствовал личную правду «Эдипа». Обобщить – уже дело техники распечатывания.

Другие авторы не менее медиумичны и чутки к далеким звонам античности, но не столь категоричны. «Три сестры» (1901) Чехова – это, конечно, греческие Мойры или, возможно, римские Парки.

Клото прядущая, нитеводительница Лахесис... Атропос («неотвратимая») перерезает. Их тени спешат вслед за автором в Москву: он уже знает, но не верит. Впрочем, нить судьбы обнажилась в 1896-м: «Чайка» (поймать не получилось, сделал вид, что и не собирался... однако убитую подобрал...)

В 1904-м парадиз земной жизни – «Вишневый сад» – вырубает смерть.

Во Франции русские свои старческие дома так и называют: La Cerisaie.

«Общечеловеческое» не исчезает, оно протейно, как протеин, и это зрелище вечно, театрально, вновь и вновь организуемо на новом (злободневном) материале вплоть до полного вылуцовывания

первоначального текста. Зрители идут и идут, инстинктивно, приговоренно, посмотреть – а везучим и всмотреться – и послушать пенье веретена.

К слову о предсмертном бокале шампанского. Чехов его выпил только потому, что этому напитку приписывали лечебные свойства. Вот как ухаживают за больным холерой врачом, Louis Thuillier, в Александрии в 1883 году: «С 7 часов мы делали растирания... Обильно ледяное шампанское, инъекции эфира. /.../ Дыхание и кровообращение поддерживаются уколами эфира и шампанским...» (A.Perrot et M.Schwartz. Pasteur et Koch. P., 2014, с. 128)

ЛАРА И ЛОЛИТА

Двигатель (внутреннего сгорания...) «Лолиты» и «Доктора Живаго» один: девочка-подросток – предмет любви-вожделения взрослого мужчины, вечного где-то подростка, однажды открывшего тяготение линий тела зреющей Евы, потрясенного, приговоренного продолжение линий – скрытых ситцевым платъцем – искать.

Пастернак осторожен: он разделяется на трех персонажей. Лару соблазняет адвокат и заклеямен негодяем, – заслуженно, всякий согласен. Так условности соблюдены (алиби обеспечено). Следующий и второй – Паша-революционер – возвращает Ларе доброе имя, он практик, он скучен, он Ларе не пара, он должен уйти, сделав дело (освобождения). Вот, наконец, и сам он – поэт, целитель ран – ее и своей, романтический медик, Тристан, победивший злодеев, Омар Шериф, подаривший бродячим музыкантам парижского метро чудную мелодию, от которой сразу щипет глаза, а рука ищет в кармане монетку.

Порок наказан, добродетель торжествует.

Набоков же хотел владеть всем, от начала до конца, открыто и дерзко, наслаждаясь, помимо главного, еще и превосходством пионера над домоседством. И поэт ведь, «заставляющий мечтать мир целый о бедной девочке моей». «Бедной» – чуточку он жалеет, но о чем? Пусть скажут специалисты.

О том ли, что не позволил ей вырасти? Что пожадничал? Запер ее в клетке романа навечно? Есть в чем позавидовать «Доктору», и не только премии...

ОДИНОКИЙ ВОИН

Хотел перечитать «Урицкого» Алданова, но не нашел в интернете эмигрантского издания «Портретов» (оно было в моей библиотеке

Самиздата в Москве 1970-х), а размещенные в интернете, похоже, профильтрованы. Судьба поэта-мстителя Канегиссера меня давно привлекала, тем более, что в мои руки попали старые газеты 1918 года, «Свободная Мысль», с заметками о покушениях, на Ульянова в Москве и на Урицкого в Петрограде, 30 августа.

(ФБОН переехала в новое здание; меня, м.н.с. ИНИОН, отрядили от отдела науковедения грузчиком... после работы мне достались старые полки для книг и – тючок старых заржавевших брошенных в углу газет... О, как полыхнуло из них 18-м годом, – в комнатке в Боткинском проезде в 73-м!)

Интересно, что якобы стрелявшую в Лукича Каплан убили почти сразу же, а Канегиссера допрашивали полгода и убили только потом, – ясно, что кагебята выясняли подоплеку по-настоящему, а вот с Лукичом им было почему-то все ясно сразу...

Поэта держали в заключении в Кронштадте и возили на допрос в город. Однажды началась настоящая буря, баркас заливало, кагебята паниковали. Канегиссер сказал насмешливо, что только он один не боится потопления!

У меня была мысль написать «историческую повесть» о Канегиссере. В эмиграции, в 76-м это желание усилилось, – мне говорили, что где-то живет сестра поэта и что у нее есть его юношеские дневники. Тогдашняя редакторша «Русской Мысли» Шаховская относилась благосклонно к моим интересам; я искал сестру, помещая заметки в газете, но никто не откликнулся.

Тема «одинокоего воина» огромна, она шекспировская, абсолютно трагическая. С крушением совка она вышла из-под глушителей, дала новые образы, – о. Мень, Литвиненко, Политковская, Немцов, – если назвать лишь несколько всемирно известных имен из тысяч судеб. Непочатый край для писателей и киношников!

КОЛЕСА СОЛЖЕНИЦЫНА

Мир изменчив, – иногда в мгновение ока. Какой-никакой, а начальник – капитан артиллерии – Солженицын превращен мгновенно в раба гугага Щ-242. Колесо фортуны сделало шаг: уже не дорога под ним на Берлин, а «круг первый» воронки низвержения, – дантовского ада (что странно, конечно, Солженицын ведь жив и не признан еще грешником).

Изменчивость (колесность...) мира. Человеческая потребность выйти из движения. «Довольно превращений» (слова умирающего Льва Николаевича). Достичь неизменности, – собственно, это и есть

содержание религиозности. Человек верит, что изменчивость не окончательна – окончательна неизменность Бога. А она – вот парадокс – мелькает в разрывах пестрого покрывала (калейдоскопа) мира.

Потрясенный тюрьмой Солженицын ищет источник своего ощущения где-то возможной неизменности. И естественно поворачивается к оси колеса. К центру его. Там покой. Возможно, абсолютный. И если так, то там Бог. Он всемогущ. Он спасает в крайнем редком случае от рака.

У земной власти есть что-то «от Бога». Она тоже «всё может» (дать власть капитану, превратить его в раба, убить, сожрать).

«Круг первый» Нержина вел к «Красному колесу» Воротынцева.

Заметно, что психология обладателей власти иная, чем на периферии колеса: потому-то революции и возможны, что ось не может услышать, как ломается обод.

Инстинкт карьеры – движения вверх – тот, что он удаляется от изменчивости как можно выше, желательно в центр (и метафизический, и географический). Человек стремится подняться «социально», то есть максимально уменьшить набор факторов, требующих внимания и усилий.

Пребывание в центре, владение властью есть особая праздность.

Солженицын бывал призывает властью: сначала в капитаны. Гулаг был временной остановкой. С тех пор литература становилась, все более отчетливо, лестницей. Спицы колеса обернулись ступеньками. Его вера плодоносила реальностью.

Пока писатель не пережил крушение. В «Теленке» он рассказывает об этом. В 1974-м его опять арестовали. И вдруг начали переодевать в приличный костюмчик. Он думал, что его повезут в политбюро, – выслушать, наконец, как обустроить страну. А его повезли высылать из нее.

На Западе встречи с властями состоялись. Солженицын немного их поучил, но власти были не из его колеса, ему нужно было его родное, родитель (отец), его «красное колесо».

Когда он вернулся на родину, колесница лежала кучей обломков. Он стал ждать. Колесико где-то жужжало, но какое, и где? Постепенно оно обретало черты, теперь уже без утопии, – колесо власти кагебе. Казалось бы, старый враг? Но не он ли избавил народ от глупостей выжившей из ума капеэсес? Он практик, он трезв, он не пьет, он борец, он со свечкой стоит в церкви, он сильный. Был подполковник, а стал... И он хочет с ним встретиться.

Час пробил. Солженицын решил, что теперь-то он призван: власть нисходит выслушать, как обустроить страну. Теперь-то он достигнет великого центра, оси истории, и движение прекратится: он покой обретет. Великий, мистический. В Бозе.

Он снова ошибся: власть явилась к нему использовать и его, поновить свою тускнеющую от свежей крови позолоту, чтобы снова привлечь взоры бедной русской толпы.

Солженицына ждал другой центр колеса, «который везде, а окружность коего нигде», центр покоя и тишины, тот, где нет уже ни колес, ни воздыханий.

Воротынцев – одно из переодетых «я» писателя – возможно, тот, кто «воротился», вернулся в историю, чтобы ее рассмотреть получше. Такие возвращения были подарены Солженицыну, я подробно говорил о них в некрологе. Он пророчил о событиях своей жизни, того не подозревая. В «В круге первом» описан фарс суда над князем Игорем в терминах совка. И заключенные изумлены шуточным, но все-таки приговором изменника-князя – к высылке из страны!

Спустя десять лет выслан сам автор.

В «Архипелаге» Солженицын с презрением пишет о престарелом народовольце Николае Морозове, шлиссельбургском сидельце, которого в старости сажали – уже в сталинские президиумы. Вот ведь как – сдался борец за свободу, похлопал тирану.

И надо же – сам автор не избежал того же! Пожимал руку подполковнику, благодарил за что-то, извинялся. И взгляды современников наполнялись презрением. Но мог ли он избежать своей судьбы Воротынцева?

Ирина Чайковская

Б.Вашингтон, США



На реках вавилонских

11 сентября 2001 года мы с мужем и детьми встретили в Солт-Лейк-Сити. Мы тогда только приехали в Америку. И сразу – такое. Рассказ «На реках Вавилонских», написанный через девять дней после атаки на Башни-Близнецы, отразил мои впечатления от случившейся трагедии.

«На реце вавилонсте мы седом и плакахом...» Слова запомнились со студенческих лет. Тогда, на первом курсе, Лариса случайно наткнулась в учебнике старославянского языка на этот удивительный псалом и очень быстро его заучила. Потом он вспоминался в самые горькие минуты жизни. И всегда думалось, какие же предусмотрительные были предки, что сложили эти стихи несколько тысячелетий назад и ни одно мгновение не было для них пустым.

Эти слова все время жили, помогали, давая силы и веру, а иногда просто облегчая страдания. Где они — вавилонские реки? Там, где когда-то царствовал Хаммурапи, а сегодня Саддам Хусейн, где в древности располагались крепкие стенами Сидон и Тир, а нынче Тегеран и Багдад? Ей, Ларисе, сейчас гораздо легче представить себе эти вавилонские реки, даже географически. Из России три года скачи — никуда не доскачешь, как из сказочного гоголевского города. А из Америки — все близко. Сел в самолет и только успел прикрыть глаза, как зажигается лампочка «пристегните ремни» и голос стюардессы объявляет, что самолет приземляется на земле Месопотамии, и ты видишь в иллюминаторе, как неотвратно приближается к тебе эта

земля с ее холмами и реками. «На реке вавилонсте мы седом и плакахом...»

Она, Лариса, тогда первокурсница, проходила практику в школе. На урок перед новогодними каникулами никто не пришел. Она этому не удивилась. Понятно, что школьники использовали возможность сбежать с урока практикантки. Повернулась, чтобы взять сумку, и, когда выпрямилась, прямо перед собой вдруг увидела ученика, одиноко сидящего на передней парте.

— Ты что, Юра?

Маленький невзрачный паренек, сын школьной уборщицы Раи, он сидел нахохлившись, но смотрел ей прямо в глаза.

— Я на урок, — он поперхнулся, голос ломался, и сквозь фальцет пробивались басовые нотки, — я на урок пришел.

— Ты хочешь заниматься? Прекрасно, — Лариса быстро взглянула на паренька. Что-то было в нем хорошее, чистое.

— Знаешь, у нас сегодня особый урок, я прочту тебе древнее песнопение, — ей не хотелось произносить «псалом», — я недавно его выучила и прочитаю тебе первому, хорошо?

Юра кивнул и покраснел. А она нараспев начала: «На реке вавилонсте мы седом и плакахом», и прочитала до конца, стих за стихом, на едином дыхании, прерывающимся голосом.

Когда закончила, чуть не расплакалась. Слово «евреи» в те годы не употреблялось, про своих старались не упоминать, а про чужих говорили «израильские агрессоры». Чтение библейского псалма в школе было ужасной крамолой и грозило карами, но нервничала она не от страха, просто красота и сила этих слов волновали ее.

— Понравилось тебе? — спросила она шепотом, слова произносились с трудом. Юра попробовал было ответить, что-то заклокотало у него в горле, и он, безнадежно махнув рукой, просто кивнул, не сводя с нее глаз и снова заливаясь краской. И она отпустила его домой, не объяснив ни единого слова в явно непонятном ему сюжете, к тому же прочитанном на церковнославянском языке. Да, давненько это было, много вод утекло в мировых реках, в реке Москве и в Гудзоне, и в тех, бывших вавилонских. Сколько раз сидела она, Лариса, в своей маленькой одинокой квартирке на 27-м этаже в Манхэттене, смотрела из окна на людскую паутину внизу, сердце сжималось от нехороших предчувствий и комок подступал к горлу. Отчего бы это? «На реке вавилонсте мы седом и плакахом...»

Юра не ушел из ее жизни. После школы попал он в армию и оттуда писал ей длинные корявые письма с описанием сибирских морозов и

зверских повадок окружающих. Она отвечала, понимая, что заменяет ему несуществующую невесту, подбадривала, давала советы, иногда допускала какое-нибудь нежное выражение, например «дорогой мой мальчик». В одном из писем Юра как бы мимоходом спрашивал, о какой реке говорилось в том древнем стихе. Она подивилась, что он понял про реку, и ответила, что речь шла о реках Древней Вавилонии. Юра написал, что в политкабинете у них висит карта мира и что вавилонскими реками, по его мнению, могут быть Тигр и Евфрат. В ответном письме Лариса поощряла его интерес к географии, поясняя, что это увлечение поможет ему выжить среди читинских выюг и окружающего беспредела. Больше о вавилонских реках они не вспоминали.

Из армии Юра вернулся по-настоящему в нее влюбленный. Позвонил ей с вокзала, они назначили встречу, на следующий день долго гуляли по Страстному бульвару. Юра, столкнувшись в армии с чудовищными вещами, в юном негодовании клеймил российскую действительность. Он, русский паренек, строил планы эмиграции в Израиль. По его словам, получить подложные документы о еврейской национальности было несложным делом. Лариса поражалась иронии судьбы: жизнь довела россиян до того, что они за деньги присваивают себе принадлежность к вечно гонимой и униженной в их стране нации. Она успокаивала Юру, увещевала, остужала его пыл точно так, как делала это когда-то в своих письмах в армию. Ничего, мол, перемелется, мука будет. Мука или мУка? — спрашивала себя порой. Сама она после безнадежных попыток поступить в аспирантуру или устроиться в институт застряла в школе. Там за ней старомодно ухаживал физик Михаил Яковлевич.

Жили вдвоем с мамой в малогабаритной хрущевке в Медведкове, надеяться, в сущности, было не на что. Иногда мама говорила с задором: «Может, в Америку махнем?» В страшной и непонятной Америке еще с послевоенных времен жил мамин дальний родственник. Но какая Америка? И почему Америка? И неужели там должно быть лучше, чем здесь? Для Ларисы единственной родной территорией на свете оставался русский язык, язык великой культуры, с его пушкинской важностью, тургеневской нежностью, чеховской сдержанностью и бунинской крепостью. Куда ей от него? Где и кому она может пригодиться этим своим служением русскому языку? Идя по школьному коридору, тоненькая, не по годам юная, Лариса часто встречала Юрину маму. Та, видя Ларису, бросала тряпку в ведро и приветливо безмолвно улыбалась. Лариса поражалась сходству матери

и сына — Рая смотрела на нее таким же долгим и неотрывным взглядом, что и Юра. Однажды, когда Лариса пришла в школу в чем-то особенно светлом и нарядном, Рая, застыв на мгновение со своей неизменной тряпкой в руках, произнесла: «Вы, Лариса Ефимовна, у нас как солнышко». Слова эти потом долго согревали Ларису.

С Юрой они встречались довольно часто, и Лариса с материнской настойчивостью советовала ему поскорее жениться. К этому времени Юра уже где-то работал, посещал курсы иностранных языков — его почему-то привлек персидский, — об эмиграции в Израиль по подложным документам речи уже не заводил. Во время прогулок она постоянно ловила на себе его пристальный и какой-то восхищенный взгляд.

Словно он ею любовался, смотрел — и не мог наглядеться. Неужели это было возможно? Она же старше! Лет на пять, это точно, а, может, и на шесть. Он же ее бывший ученик! Она так и представляет его всем знакомым, встречающимся в их прогулках по московским бульварам. «Знакомьтесь, — говорит она, не глядя ни на Юру, ни на озаренные понимающей ухмылкой лица, — это мой школьный ученик». Ухмылки гаснут, Юра мгновенно и ненадолго краснеет, и они идут дальше, не зная, куда девать руки и стараясь случайно не коснуться друг друга. Она настойчиво советует Юре жениться, жениться как можно скорее. Тогда пройдет это твое ожесточение, это неприятие жизни. Тебе, Юрочка, нужна женщина. В этом месте они оба краснеют, и она ловит себя на том, что некоторые слова в его присутствии звучат как-то странно, даже двусмысленно, даже неприлично. Прохожие окидывают их взглядами. Ей хочется провалиться сквозь землю, когда это случается. Ведь наверняка они, эти гнусные циники, думают, что вот какая идет — и про себя не решается она произнести это ужасное слово — подхватила себе младенца в кавалеры! Искоса смотрит она на своего младенца-кавалера, чьи широченные плечи за пределами видимости.

За эти годы Юра вытянулся, возмужал, отрастил светлые усы и небольшую бородку, его неяркие черты приобрели определенность и даже выразительность. «Что-то есть в нем от русского царевича, каким он рисуется в сказках», — думает она после их прогулки. Вспоминает его пристальный, лучистый взгляд, который, бывает, ударяет по ней как разряд тока. Сегодня, когда они прощались, он долго не отпускал ее руку, а она, осмелев, поцеловала его в щеку — и тут же убежала, не оглядываясь. Интересно, какое у него было лицо? Дома мама смотрела на нее подозрительно, все время что-то спрашивала, а она, Лариса, отвечала невпопад и почему-то сердилась.

Почему мама думает, что у нее роман? Никакого романа. Нельзя же жениться на своей учительнице или выйти за своего ученика. Замужество требует чего-то другого, чего-то совсем другого. И на ее внутренние сомнения внутренний же голос, но с мамиными нравоучительными интонациями, настойчиво повторяет: «Это же русский мальчик, из очень простой семьи. У него же, Ларочка, нет образования. К тому же, прости меня, он ведь, кажется, младше... Что у тебя, Ларуся, может быть с ним общего?» Под конец голос звучит насмешливо, словно предполагает, что «общее» у них может быть только смешным и нелепым. А общее между тем было — была радость пребывания вдвоем, стихийная, бессознательная радость, светлый настрой и умиротворенность, овладевающие ими в присутствии друг друга. Но все это Лариса додумывала скороговоркой, чужой голос явно брал верх над ее собственными детскими рассуждениями.

Через небольшое время Лариса вышла замуж за Мишу, хорошего, достойного человека, лет на семь старше нее, преподававшего физику в их школе, но мнившего себя чуть ли не соперником Эйнштейна. Прежде равномерно-тягучая жизнь закружилась и захороводалась в незнакомых и не освоенных до того ритмах. Миша думал и говорил только об отъезде. Только там, на Западе, сможет он осуществиться как ученый, ниспровергатель устоявшихся мнений. Лариса с мамой оказались бессильны перед его натиском. Не успела Лариса оглянуться, как увидела себя в небольшой квартирке на 27-м этаже в Манхэттене.

Как перенес Юра ее замужество и отъезд? По-видимому, тяжело. Первое письмо от него Лариса получила только спустя года три после своего отъезда. Юра писал по-прежнему коряво и длинно. Сразу после замужества и отбытия Ларисы он тоже женился и тоже уехал. Брак его оказался недолгим и распался, лишь только молодожены прибыли на новое место жительства. Местожительством же оказался, к удивлению Ларисы, Тегеран. Юра подвизался в российском посольстве на какой-то мелкой должности. Знание языка давало ему некоторые преимущества, но не такие большие. Во всяком случае, молодая жена его, быстро разобравшись, что к чему, ушла от него к вдовому интенданту. Юра не сообщал даже имени своей изменницы-жены, ничего не писал ни об ее внешности, ни о характере. Читая письмо, Лариса ловила себя на мысли, что ей были бы интересны эти подробности, но их, увы, не было. Зато Юра писал, как нравится ему город, как по душе ему местные жители с их вроде бы непривычным укладом, как подходит ему климат. Лариса поджимала губу — ей

казалось, что Юра пишет все это в пику ей. В письме к коллеге-учительнице — ставшем ему известным явно через уборщицу Раю — писала Лариса о своих злключениях на чужой сторонке, на чужих реках, что текут не медом и молоком и совсем не в кисельных берегах.

Поначалу все ей здесь не нравилось, все было не мило — скучала, грустила, болела, впадала в депрессию, не ела, не спала, лезла на стену, потом понемногу пришла в себя и попробовала приспособиться к этой жизни. Муж давно уже работал, как положено выходцу из России, в компьютерной области, и, как казалось, забыл свои научные построения и амбиции. Мама жила отдельно от них в субсидальном доме на полном и бесплатном медицинском обслуживании; выработала себе распорядок с ежедневным сидением в скверике, общением с русской пожилой парой, вечерним звонком Ларисе... После целой полосы неудач и срывов, попыток заняться чем угодно и унижения от выполняемой ею чужой неинтересной работы, Лариса неожиданно нашла работу по специальности. Преподавать в чужой стране свой родной язык, нести иностранцам культуру, тебе близкую и кажущуюся драгоценной, — это ли не счастье?

Но счастья все же не было. То ли от того, что слишком много сил было потрачено на поиски, то ли от того, что такой уж был у нее характер, то ли от отсутствия детей, то ли от нехватки любви... Не то чтобы она не любила Мишу, просто она относилась к нему вполне спокойно, никогда не билось у нее сердце от его присутствия. К тому же, он как бы не оправдал связанных с ним надежд. Сколько разговоров было, что в России нет ему ходу, что на Западе он себя покажет, что его теории еще пробьют себе дорогу. Все оказалось фантазией или демагогией, Ларисе не хотелось даже думать об этом. И вот теперь в Юрином письме с корявыми, неправильно построенными фразами она читала, что человек нашел себя, свое место под солнцем, свой образ жизни.

Правда, это было уже в его втором письме, полученном года через два после первого. В нем Юра сообщал, что ушел из посольства и женился на местной жительнице-персиянке, по имени Лали. «Лали», — читала Лариса и внутренне ликовала. Ей нравилось, что у Юриной персиянки имя начиналось с той же буквы, что и у нее, Ларисы. Она всегда придавала большое значение звукам и созвучиям. И теперь вспоминала, как в детстве на вопрос «как тебя зовут, девочка?» отвечала, картавя: «Лала». Чем не Лали? Как же он женился на мусульманке? — вертелось в голове. Они же выдают своих дочек только за правоверных. Неужели принял ислам, стал мусульманином?

В письме об этом ничего не было. Юра писал только, что ему нравятся обычаи и религия мусульман, что он нашел себе простую работу, которая кормит его и его семью, что у них с Лали растет дочка.

Следующее письмо пришло года через три. К тому времени Лариса жила уже одна на 27-м этаже Манхэттенского небоскреба. В один год умерли у нее мать и муж. Мама умерла в одночасье на фоне спокойной, размеренной жизни. Миша умирал мучительно долго и тяжело: безнадежный диагноз поставили ему слишком поздно. Тут-то Лариса поняла, что никуда не делась его мечта о высокой науке, его «безумная» теория, опровергающая современные физические представления, продолжала в нем бродить. Уже прикованный к постели, чертил он в тетради какие-то цифры и формулы, произносил в полубреду имя Эйнштейна и еще какие-то имена, среди которых Ларисе слышалось имя российского академика, закрывшего Мише дорогу в науку всего лишь одной фразой: «Этого, любезный, быть не может». Бедный Миша! Здесь, в Америке, он не знал, куда толкнуться со своими спорными идеями, плохим английским, отсутствием поддержки. Ради нее, в сущности, ради Ларисы, пошел на постылую компьютерную работу. Только по ночам открывал свою заветную тетрадь. Уже после его смерти показала Лариса эту тетрадь случайно забредшему к ней «кузену», сыну маминого дальнего родственника, успешному математику. Тот пролистал тетрадь, наткнулся на какую-то формулу, ошарашенно взглянул на Ларису и попросил разрешения взять тетрадь домой для более детального ознакомления. Конечно, Лариса разрешила. Больше своего кузена она не видела.

Вообще в эти недели и месяцы, последовавшие за Мишиной смертью, у нее было ощущение, что все происходит помимо нее, в каком-то ином измерении. Словно выбыла она из числа живущих, что было для нее логически вполне закономерно. Она, Лариса, жить одна не могла — просто была не в состоянии, — но оказалась одна. Мир вокруг был чужой и враждебный, выживал в нем только сильнейший, наделенный когтями, клыками, самомнением, волей, наконец. Ничего похожего в Ларисиним арсенале не было. Она была слабая и лишилась последней опорки в лице мамы и мужа. На что можно было надеяться в заранее проигранной ситуации? Вначале она слегка сопротивлялась, делала слабые движения во спасение, звонила маминему дальнему родственнику, искала каких-то знакомых... Результата не было, родственник благополучно отсиделся, не прийдя даже на похороны ни мамы, ни Миши, знакомые все как один болели, были в отъезде, занимались срочной работой.

Спасение пришло неожиданно и с неожиданной стороны. Помогла Ларисе выжить престарелая американка, соседка, по имени Вики. Корни со стороны деда были у нее русские, но русского языка, естественно, она не знала, общались на английском. Вечерами стала Лариса приходить к одинокой Вики, жившей на 28-м этаже того же дома, и вместе они пили чай то с ромом, то с ликером, а то и с чем покрепче и говорили, говорили... Вики рассказывала Ларисе про свою молодость, проведенную в Лос-Анджелесе, в голливудских массовках, про своих мужей — на фотографиях они смотрелись голливудскими героями, про своих непутевых детей — все ее три сына попали каждый в свою историю, двое сидели в тюрьме, младший женился на турчанке и жил в Стамбуле. Вики помогала Ларисе и житейскими советами, и делом — навещала, когда у той поднялось давление, сидела у постели, шутила, приносила бутылочку «для настроения».

Постепенно Лариса выходила из своего оцепенения, к ней возвращалась жизнь. Как раз в это время и пришло письмо от Юры. В нем говорилось, что их с Лали дочка, по имени Шамнам, оказалась на редкость способной девочкой. Она хорошо играет на флейте, поет и танцует. Юре хотелось поощрить юный талант, показать ей мир, между строк читалось — показать ее миру. Косноязычно и невразумительно Юра осведомлялся, может ли Лариса приютить на неделю его жену и дочь, намеревающихся прибыть в Нью-Йорк в этом сентябре. Лариса принесла письмо Вики, и они вместе строили планы приема гостей, куда повести, что показать. У сына Вики в Стамбуле тоже росла дочка, но Вики не видела даже ее фотографий. Юрина Шамнам заранее рисовалась обеим женщинам чем-то большим, чем просто незнакомая мусульманская девочка. В голове Ларисы роились «восточные» ассоциации — княжна Тамара, черкешенка Бэла. Она радовалась приезду гостей и немножко его боялась. Было странно, почему Юра не едет сам, а отправляет одних женщин (он писал, что загружен работой). Какие они — эти женщины Востока? А вдруг ей, Ларисе, будет с ними тяжело и неудобно?

Но оказалось не так. Особенно поразила Ларису девочка. Показалось Ларисе, что и мать, молчаливая, закутанная в цветной платок, медленная в движениях Лали, с некоторым удивлением смотрит на свою дочь, словно не уверенная, ее ли это дитя. Девочка была темноволосая и темнокожая — в мать, но глаза у нее были голубые, их пристальный взгляд и особая лучистость в минуты душевного подъема тотчас напомнили Ларисе Юру. Девочка ни минуты не стояла на месте, она бегала, садилась на корточки, кувыркалась, делала танцевальные

движения и говорила не закрывая рта. Слова были разные — персидские, английские, иногда русские. Шамнам была в том возрасте, когда ребенок легко и играючи усваивает языки; ей, рожденной от родителей разных национальностей, на роду было написано «вавилонское смешение» языков.

Лали вполне прилично владела английским. Несмотря на облик традиционной восточной женщины, на свою получадру, тихость и вкрадчивость повадки, она не дичилась и не робела, была проста в обращении; самой большой ее заботой было, как она говорила, не дать Шамнам сесть Ларисе на голову. Действительно, в самом начале, при первом знакомстве, Ларисе показалось, что девочка ужасно невоспитанна, не обучена элементарным навыкам поведения. Потом она не то чтобы примирилась с этим — ей не нравилось, что Шамнам громко кричит за столом, вскакивает и бежит по комнате во время еды, истошно вопит, когда мать причесывает ее густые курчавые волосы, — но все эти детали отошли на задний план перед главным: девочка действительно была талантлива.

В один из вечеров был устроен концерт — своеобразные смотрины маленькой артистки. Лариса, Вики и Лали разместились в креслах по углам комнаты, освещенной широкими — во всю стену — окнами. Зажгли торшер, разметали по полу цветные подушки. Пространство между ними принадлежало Шамнам. С уморительным кокетством, блестя синими хрусталинками-глазами, танцевала она замысловатый восточный танец, аккомпанируя себе на бубне. Бубен сменила флейта. И тут уже все взрослые вовлеклись в движение, так завораживающе и волшебны были странные звуки флейты, с таким недетским вдохновением играла сидящая на полу флейтистка.

Лариса, Вики и Лали двигались по комнате как околдованные. Флейта резко оборвала извив мелодии, девочка вышла на середину комнаты и запела. Лариса не сразу поняла, что поет она на русском языке, слова звучали непривычно, с мягкими согласными. Только спустя минуту узнала она песню. То была «Волга-реченька». «Мил уехал, не простился — знать, любовь не дорога», — пела Шамнам сильным, чистым голосом, и вспоминалось Ларисе, что ведь и она не простилась с Юрой перед своим отъездом — закрутилась, забегалась, не до того было... Как удалось Юре обучить дочку и этой проникновенной интонации, и этой недетской печали, исходящей от песни? Как сумела дочка, рожденная на берегах чужих рек, передать тоску, обращенную к самой что ни на есть русской речке?

После импровизированного концерта растроганная Вики громко объявила, что чудо-ребенок вполне достоин Голливуда, что Шамнам должна сниматься в кино и что ей, Вики, необходимо порыться в старых адресах, а вдруг кто-то еще под седлом из прежних рысаков. Кроме того, ей хочется сделать артистке подарок на память. Не отпустит ли Лали с ней девочку, чтобы Шамнам сама выбрала себе, что ей приглянется. Решили, что за день до отъезда Вики с Шамнам сходят в близлежащий Торговый центр за подарком.

Все эти дни мать и дочь осматривали огромный город, бегали по его музеям и паркам; в свободное от работы время Лариса сопровождала их — и новым, свежим взглядом оглядывала мегаполис, так не понравившийся ей при первом соприкосновении. Сейчас, в эти солнечно-ясные, не слишком жаркие сентябрьские дни, он ей казался фантастически прекрасным. Те же ощущения читались на лицах персиянок. Шамнам не пропускала ничего занимательного, задавала несчетное количество вопросов. Почему дядя в коляске? Зачем автобус его ждет? Эти черные люди — тоже американцы? Лариса покупала ей огромные американские бутерброды, кока-колу и мороженое в громадных стаканах. Девочка с удовольствием уплетала гамбургеры и мороженое, но при этом неизменно спрашивала у матери, скоро ли та отпустит ее на прогулку с Вики. Прогулка с Вики была для нее, судя по всему, намного привлекательнее, чем посещение всех вместе взятых нью-йоркских музеев и парков. То ли Вики сумела польстить ее артистическому тщеславию, то ли так привлекал обещанный подарок...

Накануне отъезда девочка почти не спала, с раннего утра уже была на ногах и беспокоилась, не забудет ли Вики об их прогулке. Нет, не забыла. В лихо загнутой соломенной шляпке, нитяных белых перчатках, с аккуратно подведенными бровями и нарумяненными щечками позвонила она в дверь ровно в назначенное время. Ничто не дрогнуло в сердце Ларисы, когда девочка махнула ей рукой на прощанье. Лали шепнула что-то дочери на ухо на своем языке, затем, обернувшись к Вики, попросила не задерживаться — впереди у них с дочкой тяжелый день. Вики только улыбнулась — цель их прогулки находилась прямо перед окнами — высоченный небоскреб Торгового центра. Почему молчало материнское сердце? Почему не терзали его предчувствия? Почему все катастрофы оказываются для нас, людей, громом среди ясного неба?



Doug Kanter/AFP

Лариса и Лали, прильнув к стеклу, следили, как две крошечные фигурки, одна побольше, другая поменьше, взявшись за руки, направились к зданию небоскреба. Лариса, обладавшая хорошим зрением, с трудом различала Вики с девочкой в довольно густой толпе, окружавшей Торговый центр. Она скорее подумала, чем увидела, что две движущиеся точки наконец достигли входа в огромный небоскреб и были проглочены его чревом.

Лали пошла собирать вещи, а Лариса задержалась у окна. В эти-то секунды и произошел взрыв. Ларисе показалось, что рушится небо. Все последующие мгновения и часы она жила с ощущением, что присутствует при конце света, что наступили последние времена, предсказанные в Откровении Иоанна. Вместе с обезумевшей Лали они куда-то бежали, потом долго ждали, потом снова бежали. В голове мелькали обрывки мыслей: «Почему не я, не Лали, почему именно они, девочка и Вики?» И еще: «Неужели этот ужас когда-нибудь кончится?» Косвенным зрением видела она лицо персиянки, та что-то шептала, прикрыв веки, наверное, молилась. И представилось Ларисе, как в другом каком-то измерении — за бескрайними морями, горами и долинами, на древнем месопотамском берегу — одинокий Юра в бессильном отчаянии простирает руки к небу, и плачет, и плачет на реках вавилонских.

Виолетта Гребельник

Рим, Италия



Один день Леонардо. Хроника изменённых имён, но не изменённых событий

Отрывок из повести

Лето закончилось лишь по календарю. Бесперебойная череда жарких дней равномерно продолжала свой ход. Август оттеснял робкий сентябрь. Только сократившийся день намекал на ожидавшую у порога осень. Не было и восьми часов, а сумерки уже просачивались, глуша солнечные блики в стёклах витрин и наполняя воздух неизвестно откуда взявшейся влагой. Размылись и стали нечёткими в отдалении контуры домов.

Перекликался обычный воскресный день, до краёв наполненный провинциальным оживлением. На узких тротуарах не разминуться. На мостовой – тоже. Ехать приходится с черепашьей скоростью. Старый центр не приспособлен к современному потоку автомобилей, как и местные «аборигены» не приспособлены к условностям пешеходных правил. Увидав знакомого по ту сторону, они переходят мостовую, невзирая на дорожные знаки. Таким образом, въезжаешь в центр засветло, а выезжая, замечаешь, что начало темнеть и зажглись фонари.

Воскресный вечер – самое подходящее время для посещения местных ресторанчиков и трактиров. Для этого он и существует.

У Лео расклад был сегодня другой. К сожалению. Предстоящее ночное дежурство не обещало ничего хорошего. В отделении лежало несколько тяжёлых больных. У одного из них состояние не удавалось стабилизировать, и в любой момент можно было ждать сюрпризов.

За пять лет, проработанных в клинике, ночные дежурства не стали чем-то банально-привычным, а потому воспринимал он их как фатальную неизбежность, каждый раз уходя разбитым, зато с чувством выполненного долга.

Его профессиональная жизнь могла сложиться по-другому. Отец, профессор одного из крупнейших университетов Рима, настаивал на продолжении учёбы и получении специализации по кардиологии. Работая в этой сфере, мог бы поспособствовать. Но Лео упёрся тогда, не выслушав доводов. Хотелось, наконец, стать взрослым не только по паспорту. В университете он не выделялся особым рвением. Вечно за ним числились задолженности, экзамены сдавал не в срок. Когда защитил диплом, сверстники успели уже поработать пару-тройку лет врачами. Кое-кто постигал специализацию, чтобы возвращаться в узкой сфере медицины.

Начав зарабатывать, Лео снял небольшую квартирку. Поступок по местным обычаям из ряда вон выходящий. Чаще молодые люди, закончив учёбу, оставались в родительском доме, пользуясь всеми удобствами и не загружаясь бытом. В обиходе утвердилось новое слово для определения засидевшихся у маминой юбки перезрелых женихов – «мамон». Перейдя сорокалетний рубеж и пресытившись земными удовольствиями, мужчина терял интерес к вопросу устройства личной жизни. Лишние заботы, ответственность пугали, они нарушали привычный уклад. Пришлось бы пожертвовать упоительными вечерами, когда за бутылкой пива, развалившись на диване, можно смотреть футбол, зная, что никто тебя не потревожит.

Почему именно футбол? Просто в этой стране футбол – это всё. Его не достаточно назвать популярным видом спорта. Скорее всего – это политика, коммерция, искусство массового одурманивания. Называйте, как хотите. Но схема работает и даже очень успешно.

В описываемом городке секций по футболу было множество: при каждой школе, спортивном клубе и даже религиозном ордене. Свободные муниципальные участки земли были раскатаны под футбольные поля.

При рождении мальчика к поздравительным словам добавлялась фраза: «Будущий футболист!» А по достижении четырёх лет «будущего футболиста» записывали в секцию гонять мяч. Желающих заниматься другим видом спорта было трудно сыскать.

Не миновала сия чаша и Лео. Ему выдали командную униформу и выпустили на поле. Размеры поля были меньше, чем для взрослых. Сразу возникало желание стать настоящим мастером и однажды

героем появиться на поле 108 на 70 метров. Последовали интенсивные тренировки в любую погоду, мокрые от пота футболки, изодранные кроссовки, царапины и синяки. А также заслуженный после первого в жизни соревнования футбольный комплект с отпечатанным именем любимого игрока. Родители поощряли мальчишеский энтузиазм.

Потом было неудачное падение. Он ощутил хруст в колене сменившийся болью. Ему повезло, обошлось без хирургического вмешательства. Через месяц можно было выходить на поле. Но отец принял другое решение. Лео отвели на плавание. И это оказалось куда интереснее футбола с его схемами и расчётами.

Они нередко семьёй выезжали к морю. Бескрайняя водная гладь манила неизведанностью, и каждый раз по-новому будоражила ребяческую душу. Плавание становилось частью приключения, где выпадает самому принимать решения и прокладывать маршрут. Поле игры ограничивалось не трибунами, а горизонтом.

На глубине Лео через маску наблюдал за подводным миром. Он был не такой, как с экрана телевизора. В чём-то походил, но отличался существенно. К зрительному восприятию, добавлялось ощущение всем телом. А ещё – дистанции подчинялись иным законам, не как на суше. К ним нужно было принаравливаться. Угадывание точного расстояния пришло с опытом. Игристая зыбь моря покрывала другой, «неземной» мир.

Став постарше, Лео усовершенствовал технику ныряния и вскоре перешёл к подводному плаванию с аквалангом. Нырнув однажды у скалистого побережья, он вдруг понял, почему разрыв с футболом не принёс особого огорчения. Не потому, что, будучи частью команды, прокладывать свой маршрут, означало идти в разрез с ней. Главное было в другом. Да, он понял это на глубине, куда солнечные лучи проникали, преломившись под углом. Футбол, популярнейший, доводящий до безумия толпы фанатов, был игрой в двухмерном пространстве. Спускаясь всё глубже, Лео двигался по осям трёхмерности. А это совсем другое дело. Только так можно ощутить многоплановый мир и стать его хозяином.

Когда Лео вступил во взрослую жизнь, «неземной» мир стал его убежищем. Морская пучина радушно принимала его в объятия, и нервное напряжение уходило за нескончаемо далёкую линию на небосклоне.

Он хорошо изучил подводный рельеф вдоль знакомого с детства побережья. Появились любимые места, куда непременно наведывался. Завораживал небольшой грот с песчаным дном, о существовании

которого с берега нельзя было догадаться. Каждый раз, когда подплывал к нему, побеспокоенная стайка рыб проскальзывала вдоль тела. В солнечный день песок отсвечивал золотистым блеском. Редкие кусты водорослей стояли неподвижно как в аквариуме. Лео про себя именовал грот своим.

Однажды после двухдневного шторма он с интересом изучал изменившийся ландшафт. Почти у самого грота из песка выступал своим округлым боком предмет, вызвавший острое чувство уже виденного. Не стоило большого труда, чтобы извлечь находку. Ею оказался античный кувшин из светло-жёлтого терракота. Если не считать нескольких щербинок по верхнему краю, любой эксперт подтвердил бы отличную сохранность. Достаточно чётко просматривались следы росписи. Больше всего поразила уцелевшая на протяжении веков ручка. Она хоть и не была изящной, но всё-таки самое хрупкое место у любого кувшина.

Найти в здешних местах древний фрагмент не было редчайшим событием. Случалось, волны на пляж выбрасывали осколки утвари. Другое дело, неповрежденный кувшин. Настоящая удача.

Происхождение находок было достоверно известно. В первом веке нашей эры красовалась на гористом спуске вилла императора Тиберия. Построена она была не на пустом месте. К Тиберию, как к правопреемнику, перешло строение республиканского периода, принадлежавшее предположительно деду Ливии, жены императора Августа. Оставалось внести изменения по своему вкусу. Что и было сделано. Будучи поклонником эллинистической культуры, Тиберий обогатил виллу мраморными скульптурами и мозаикой по мотивам греческой мифологии. Один из гротов, где в жаркие дни сохранялась прохлада, был обустроен для императорского досуга. В центре оборудовали бассейн с циркулирующей морской водой. На скалистых уступах восседали огромных размеров статуи на сюжет Одиссеи.

Многовековая история виллы объясняла, почему находки порою относились к разным эпохам. В каком точно веке был сотворён найденный кувшин, Лео не знал. Обращаться к специалистам археологам не рискнул. Он помнил нашуевшую историю бронзового шлема римского воина. Мыслимо ли, в двадцать первом веке найти хорошо сохранившийся шлем. Его настоящий хозяин предусмотрительно выбил на металле своё имя. Знал бы, что через столетия люди будут читать эту надпись и мысленно пытаться представить облик владельца. Те двое, которым посчастливилось извлечь со дна моря уникальный предмет, не смогли утаить находку,

хотя таковым было их желание поначалу. Случился скандал, ценность на основании закона экспроприировали. Древний шлем как национальное достояние отреставрировали и выставили в музее, посвящённом вилле Тиберия и расположенном рядом с одноимённым гротом.

Лео специально посетил музей. Шлем был найден в знакомом ему месте, где он часто уединялся с аквалангом, наверняка даже проплывал вблизи. Он всматривался в детали чеканки, и невольно всплывал вопрос, а как бы сам поступил, улыбнись такая удача. Когда под водой натолкнулся на кувшин, сразу же понял, что ответ давно знал.

С крайней осторожностью привёз своё «сокровище» домой. Поспешил заказать деревянный футляр по размеру. Внутреннюю часть оббил толстой мягкой тканью. Кувшин, таким образом, был надёжно защищён. Иногда Лео заглядывал к нему, и тогда в душе возникало лёгкое трепетание, как перед важным экзаменом. Более того, достаточно было взглянуть на футляр, не открывая его, как запускалась неподвластная реакция организма. Так он и жил с этой тайной. Особого криминала в содеянном не видел. Многие хранили в домах предметы исторической значимости. «В конце концов, я потомок народа, который, создал римскую империю, а потому имею право на небольшое наследие», – такая формулировка вполне оправдывала его в собственных глазах.

Жители прибрежных посёлков рассказывали, что первые крупные находки, свидетельствующие о древнем строении, случились в пятидесятых годах прошлого столетия. В ту пору прокладывали автомобильную дорогу. Она должна была соединить центральную и южную части страны, пролегая вдоль тирренского побережья. Вилла Тиберия заявила о себе благодаря автодорожному проекту. Выяснилось, что тектонические колебания изменили линию побережья, обрушив скалистый уступ. Величественное сооружение не удержалось на склонах, его обломки ушли под воду. Оставшаяся часть, как водится, была разграблена и заброшена.

Раскопки вскрыли фрагменты колонн, статуй, мозаичных полов. Тогда же и основали музей. Сегодня бдительный путешественник невольно притормозит, заметив огромные, с человеческий рост амфоры. Их установили вдоль дороги со стороны горного спуска. Это те самые, найденные во время строительных работ. Лео любил проезжать здесь.

Сейчас он ехал другой дорогой и к другой цели. Пробившись через запруженный центр, тут же очутился на окраине, так невелик был

городок. Затем следовала серпантинная дорога, уводившая на подъём с крутыми склонами по обеим сторонам, поросшими дикой растительностью. Кустарники, раскидистые тонкоствольные деревья густо переплетались между собой. Из-за них невозможно было разглядеть небольшое озеро, притаившееся у подножья. Сюда по ночам спускались дикие кабаны на водопой. Им тернистый путь не помеха. Большая проблема – автодорожное полотно с водителями-лихачами. Известны были случаи наезда на кабана – по описаниям участников «аварии» – сравнимые с ударом в глухую стену. Животное, как правило, погибало, но и машина, ремонту не подлежала.

О кабаньем перекрёстке вся округа была осведомлена. Но не все воспринимали опасность всерьёз. Сама тропа хорошо просматривалась по склону, земля на ней всегда была взрыта, траве не прорасти. Крупные комья скатывались на проезжую часть.

Лео на всякий случай сбавил ход. В прошлом году одной из коллег, возвращавшейся поздно с работы, пришлось резко жать на тормоза перед внезапно вынырнувшим шестивием. Мама кабаниха вела к водопою стройную цепочку полосатых поросят. Несчастья не случилось лишь потому, что скорость машины была небольшой.

По-настоящему смеркалось. Клиника, окружённая всё той же дикой растительностью, угадывалась по рассыпанным, как светлячки, огонькам. Находясь на отшибе, вдали от посёлков, пространство вокруг неё к ночи погружалось в темноту, отчего небо искрилось звёздами по всему куполу. На него хотелось смотреть и смотреть.

Правда, на ночных дежурствах было не до этого. Клиника представляла собой большой комплекс. Четыре здания, соединённые переходами, стояли на отвоёванной у горы террасе. Пятое, где держали психических больных, находилось выше по склону и упиралось в стену густого леса. Оттуда до вершины горы, казалось, рукой подать. Но это было иллюзией. Когда в прошлом году один из невменяемых каким-то образом сбежал и укрылся в лесу, его не удалось найти.

Полицию уведомили об исчезновении. Поиски усилили. Их радиус, наверное, был недостаточным. Беглеца не нашли. Случилось всё под Новый год. А ранней весной местный житель случайно натолкнулся на бездыханное тело. Неприятности тогда обрушились на дежурного врача. Кто-то должен был быть виновным. То, что число госпитализированных в клинике превышало шестьсот человек, а обслуживающего персонала в наличии имелась горстка, служило слабым оправданием.

В законодательстве и нормативах усматривались разночтения и «лазейки», которые допускали вопиющую эксплуатацию и бесчеловечность. Владельцы клиник ловко пользовались ситуацией, наживая капиталы. Каждый раз, принимая дежурство, Лео знал, что ступает на лезвие ножа.

Мировой кризис не миновал страну, в том числе и отрасль медицины. Так утверждали представители администрации, когда начали массово сокращать персонал, доведя до ниже критического. В отделении двигательной реабилитации, где находилось около семидесяти пациентов, на ночь оставались медсестра и санитарка. В отделении больных с хроническими заболеваниями ситуация была ещё безобразней. Оно занимало два этажа. И если медсестра находилась на первом, то на втором могла быть в лучшем случае санитарка, а то и вообще никого.

За ночь в палатах скапливался смрад от человеческих нечистот. Заполнив их до краёв, он просачивался наружу. Проходя утром по коридору, Лео рефлекторно задерживал дыхание. К счастью, в этом он преуспевал благодаря подводным тренировкам. Каждый раз ему думалось, о том, что за стенами совсем другая жизнь, туристическая зона с великолепным пейзажем и чистым горным воздухом. Ему было жаль пациентов, попавших в ловушку, на которых хозяин делал свой бизнес. Жалко было и персонал. Как дежурный врач он не мог с них требовать невыполнимого.

Бизнес был ясен для всех. Государство, однажды дав добро на содержание так называемой конвенциональной клиники, ежемесячно перечисляло на банковский счёт сумму, рассчитанную из количества госпитализированных. Часть её действительно шла на нужды клиники, но львиную долю присваивал владелец. Делёж зависел от степени жадности и чувства порядочности последнего. Лео давно понял, что жадность у хозяина зашкаливала, а порядочность выродилась в первом поколении, заложившем основу капитала. Кризис служил ширмой для дальнейшей раскрутки.

Следующим «гениальным» изобретением стала задержка заработной платы. С каждым месяцем период задержки рос, а с ним и «народное» возмущение. Поддержка профсоюзов, в обязанности которых входила защита прав трудящихся, привела к нулевому результату. Они тоже сводили вопрос к кризису и ратовали за терпение. Профсоюзы, с момента их создания в девятнадцатом веке переродились. Председатель правозащитной организации числился на должности медбрата, не имея соответствующего образования. Форму не носил,

ходил по отделениям в обычной одежде. Вернее сказать, выступал, так как нёс себя с большой важностью, отбросив назад голову, будто мог стать от этого выше.

Чем он занимался, было непонятно, во всяком случае, не медицинской работой и не правовой. Лео не знал ни одного случая, когда бы тот помог кому-нибудь в защите прав. Обычно люди такого порядка одарены умением забалтывать любой вопрос и выезжать на ораторском искусстве. Наш персонаж был исключением из правила и обладал выдающимся косноязычием. Речи его на собраниях пестрели огрехами и неправильно построенными фразами. Смеяться никто не решался. От этого лица у слушателей превращались в напряжённые маски. Председатель, по-видимому, воспринимал такое «внимание» как знак большого уважения. Суть была в другом. Каждый догадывался о наушничестве «правозащитника» и не хотел впасть в немилость к хозяину. Лео был свидетелем, как профсоюзник напыщенно заявил однажды в кругу медсестёр:

– Вчера с хозяином так хорошо посидели в ресторане. Вы же знаете, – тут он сделал паузу, чтобы привлечь внимание, – я с ним на «ты».

«Дурак, – подумал Лео. – Молчал бы про свою продажность».

Хозяин и впрямь водил представителей профсоюзов в ресторан, но не потому, что компания была приятной. Таким примитивным способом он покупал их с потрохами. И правозащитники превращались в миротворцев, разносящих информацию, дескать, «мы на грани банкротства и для того, чтобы клиника не рухнула, а вы, «болваны», не остались без работы, терпите всё как есть. В других местах ещё хуже. Вон сколько безработных на рынке».

Действительно, многие врачи и работники среднего медицинского персонала суетились в поисках работы, рассылая запросы по разным больницам. Как говорится, на всякий случай. А вдруг возьмут. Случай подворачивался в основном если удавалось выйти на полезное знакомство. Поэтому за работу держались, хотя условия с каждым годом становились невыносимее...

Последний поворот выводил к прямому участку дороги, круто взлетающему вверх. Вмурованная табличка уведомляла, что вы на территории реабилитационного центра под сказочным названием «Сосновая роща». Отсюда открывалась завораживающая панорама. Недалеко виднелся скоплением огней посёлок над обрывом, представляющим собой внутренний борт кратера давно потухшего вулкана.

Над отвесной стеной высился средневековый замок с башней, изрезанной бойницами. Он пережил бомбёжки второй мировой войны, его толстые стены устояли и при многочисленных землетрясениях. Благодаря нему, посёлок стал местом притяжения туристов. Они интересовались историей замка, его реставрацией, но, как правило, не задавали вопроса о принадлежности, предполагая, что такой монолит не может не быть национальным достоянием. В отличие от них, местные жители знали правду.

В момент, когда пресловутый кризис набирал обороты и работников клиники убеждали, что она едва держится на плаву, хозяин купил средневековый комплекс. На этом не остановился и с пышной инаугурацией открыл центр красоты в Лондоне. Лео понимал, кризис – ширма. Иначе он, этот кризис, не играл бы в одни ворота.

Лео отличался пунктуальностью в отношении работы и никогда не опаздывал. Не потому, что был таков по натуре, просто не хотелось задерживать коллег, которые отдежурив двенадцать часов кряду, выходили измочаленные, с единственным желанием – скорее добраться домой и вытянуть ноги. Проезжая открытый шлагбаум, он приветливо махнул вахтёру. Тот с озабоченным лицом поманил его к себе. Начало не обещало ничего хорошего.

На небольшой площадке перед третьим корпусом стояла машина карабинеров. Самих блюстителей порядка поблизости не было.

– Этого ещё не хватало, – промелькнуло в голове.

Припарковав машину, он поспешно направился к вахтёру, в обязанности которого входило не только контролировать проезжающих, но и исполнять функции диспетчера. Все телефонные разговоры персонала велись через центральный коммутатор и регистрировались. Сюда же стекалась вся информация о возможных технических неполадках и различного рода проблемах. Вахтёр был ценнейшей фигурой, знал всё и вся.

– Привет, Док. В четвёртом отделении неприятности с родственницей одного из пациентов. Это она вызвал карабинеров. Я думаю, вам лучше сразу туда подняться. Уже несколько раз звонили.

– С кем я сегодня в паре?

– С Ванессой. Она уже здесь. Её призвал Росси. В твоём отделении кого-то реанимировали час назад, он хочет передать больного из рук в руки, прежде чем уйти.

– Кто с ним дежурил?

– Маруччи.

– Соедини меня с ним.

Марручи ответил не сразу.

– Привет, Лео. Прости, оставляю тебе морочливое дело.

– Я догадался. Во дворе машина карабинеров.

– Двенадцатичасовая гонка, сам знаешь. Сегодня ещё не обедал.

– Так что там?

– В четвёртом отделении, по-видимому, кишечная инфекция. Восемь человек скосило. Персонал не успевал обслуживать их и менять бельё. Назначения им расписал, анализы запросил и сгруппировал их вместе, седьмая и восьмая палаты. Дочь одного из заболевших подняла шум, требуя немедленной выписки. Мне же пришлось бежать в твоё отделение помогать Росси. Он сам не справлялся. Вытащили больного с того света.

– Из двенадцатой палаты?

– Да, он самый.

– Понятно. У него сложное нарушение ритма. По большому счёту, его надо перевозить. Завтра этим займусь. Ты где сейчас?

– В первом блоке на третьем этаже. Здесь одна старушка неизвестно как свалилась с кровати.

– Ограничительные перила были?

– Были. Она не в своём уме. Похоже, перемахнула ограждение. Объяснить толком ничего не может. Соседки по палате ничего не знают, кто дремал, кто в другую сторону смотрел. Медбрат разносил лекарства и обнаружил её на полу. Видимых повреждений нет. Параметры в норме. Ты, когда сможешь, проконтролируй её. А я оформлю бумаги и буду ухаживать.

С кроватей падали довольно часто. Директор даже создал специальный протокол на такие случаи. Служил он больше для замыливания глаз контрольным комиссиям. На практике же отнимал уйму драгоценного времени у врача, поскольку требовалось подробное описание случившегося.

– Это всё?

– Размечтался. Несколько человек с некомпенсированным диабетом, в четвёртом и втором отделениях. Двое из них под капельницами. Их проконтролируют около десяти. В твоём отделении пациентка умудрилась вытащить желудочный зонд. Я ей расписал капельницы до завтра, а там сам решай.

– Хорошо.

– Ещё одного держи под контролем. Он во втором блоке на последнем этаже. Дедушке за девяносто, с хронической почечной недостаточностью. Около трёх у него закупорился катетер.

Попытались поменять – безуспешно. Он уже два часа без катетера. Параметры пока в норме.

– А как в острой патологии?

– Туда поступили трое. Пожилая женщина с сердечной недостаточностью, какой-то бездомный африканец с высокой температурой, кстати, он ни бум-бум, языка не знает, и один диабетик с начинающейся гангреной. Хирурги решили, что оперировать пока рано. Росси ещё там. Заканчивает оформление. Кстати, там случилась сегодня одна смерть.

– Мне сказали, что он во втором, вводит Ванессу в курс.

– Шустрый малый. С ним здорово дежурить в паре. Ладно, Лео, пока. Удачи.

– Вся надежда на неё. Будь здоров.

На столе у вахтёра стопкой лежали бумаги – это были полученные по факсу запросы на госпитализацию в отделение острой патологии. Их присылали со всей области. Груз этой переписки ложился в довесок на плечи дежурных врачей. Просмотрев на скорую руку факсы, Лео попросил связать его с отделением. Ответил медбрат:

– У нас пять свободных мест.

– Что так «мало»? – с иронией прокомментировал Лео.

– Так карта легла. Одного пациента потеряли, его привезли уже почти в агонии. Одна выписалась под расписку.

– Замечательное наследие, – прервал его Лео.

– Ладно, есть и хорошая новость. Один больной уже поступил. Росси оформляет его. Так что пять минус один – четыре.

«Мы не в школе, – сострил про себя Лео, – и здесь четыре – это лучше, чем пять». Хотя привоз четырёх новых тяжёлых больных среди ночи был равнозначен пребыванию на передовой линии фронта во время решающего боя. А, может быть, и хуже. Там на тебе не лежит юридическая ответственность. Кто выжил, тот, значит, сумел. Кто не смог, что ж – на войне как на войне. Здесь же права на ошибку не давалось, и спасать надо было если не всех, то многих и, что самое страшное, одновременно.

У вахтёра на столе резко задребезжал телефон.

– Это из четвёртого. Срочно требуют дежурного врача.

– Скажи, что уже поднимаюсь. Дай мне на минутку Ванессу.

Голос у Ванессы был по-деловому резок.

– Привет, Лео. Какие будут предложения?

– Будем танцевать рок-н-ролл этой ночью. В остром отделении предположительно четыре поступления. Возьми этот блок на себя. А я перекрою остальное. Или же наоборот. Выбериай.

– Хорошо. Пойду туда. Кстати, в твоём отделении дефибриллировали пациента. Сейчас у него состояние стабильное.

– Знаю.

– Если будет нужна помощь, звони. Ни пуха!

– К чёрту.

Быстрым шагом Лео направился к третьему корпусу. Машина карабинеров нарушала убаюкивающий пейзаж. В кронах зонтичных сосен слышались редкие, затухающие голоса птиц. Солнце садилось за туманную кайму, размывающую линию морской глади вдали. Малиновый отблеск скользил по водной поверхности.

Преодолев шесть лестничных пролётов (на ожидание лифта времени не было), Лео очутился в своём отделении. В коридоре столкнулся с Тицианой, гружённой несколькими флаконами физиологического раствора. Она была опытной медсестрой, но сейчас имела несколько растерянный вид.

– Всё в порядке? – вопрос Лео прозвучал скорее как приветствие.

– Как такое можно допустить? Закончился физиологический раствор.

– Что значит закончился?

– Это значит, что в отделении нет ни одного флакона. У меня около 30 внутривенных назначений. Вот всё, что мне удалось раздобыть в кардиологии. Там тоже на исходе. Что делать, Док? – Она вопрошающим взглядом уставилась на него.

– Где твоя напарница? – спросил Лео, затягивая с ответом.

– Она занята ужином.

В обязанности медсестёр входило не только выполнение врачебных назначений, но и помывка лежащих больных, а также разнос еды и кормление тех, кто не в состоянии держать ложку в руках.

Лео понимал, без физиологического раствора кое-кто, возможно, не доживёт до завтрашнего утра. В больнице нередко создавалась искусственная нехватка лекарств или замена эффективных препаратов менее подходящими, но более дешёвыми. Подобная стратегия приводила к дополнительному доходу владельца больницы. Назначенный им директор, обладающий редкими качествами негодяйства, изощрялся в выискивании способов для всё большей и большей экономии с тем, чтобы и себе сорвать премию. История с физиологическим раствором выходила за допустимые рамки.

– Я сам пробежусь по отделениям. Возможно, в психиатрическом есть запас.

– Доктор, не откладывайте. У меня ведь назначения по времени расписаны.

– Голубушка, у нас не по времени всё расписано, а по секундам. Кто тебя меняет?

– Мне жаль вас. На ночь поставили новенькую, она впервые на смене.

– Тициана, ты мне пишешь приговор.

– Я сама не вижу логики в таких распоряжениях. Была бы моя воля.

– Знаю, знаю.

– Перед уходом покажу ей, что где находится. Постараюсь ввести в курс, насколько это возможно.

– Ты уж постарайся, родная, постарайся. Мне будет не до неё.

Пройдя через медсестринскую и помещение, где хранились лекарства, вдохнув при этом резкий аптекарский концентрат, Лео очутился в комнате, предназначенной для врачей. Фактически это была нелепая пристройка со стороны горы. Мебель состояла из двух столов и двух стульев. Два компьютера и факс говорили о том, что на дворе двадцать первый век. За тонкой перегородкой находился туалет, который служил и раздевалкой для врачей. Переодеваться было крайне неудобно из-за ограниченности пространства.

Как-то Лео забыл предварительно закрыть крышку унитаза. Придерживаясь рукой за стену и балансируя на одной ноге, он пытался снять брюки так, чтобы штанина не выскользнула на пол. Опыт уже был, и акробатический трюк удался, но при этом он уронил носок, метко скользнувший в горловину унитаза. Смену Лео отработал в шлёпанцах на босу ногу.

Недоумевающая медсестра уткнулась взглядом в оголённый подъём стопы. Такой имидж был не типичен для доктора. Лео, который не любил драматизировать, выпалил:

– Я прямо с пляжа.

– В такую рань? Там ведь темно сейчас.

Стоял поздний декабрь, когда поутру морское побережье угадывается лишь по дыханию прибоя.

– У меня был фонарик. Какие проблемы?

Она ухмыльнулась, не поверив сказанному, и с иронией добавила:

– Мой муж на днях наводил порядок в своём портфеле. Вывалил содержимое на стол и неожиданно обнаружил пару не своих носков. Не твои ли, Док?

– Розовые в горошек?

– Точно, – подыграла она.

– Нет не мои. Скажи ему, что порядок в портфеле надо наводить в отсутствие жены.

Сегодня переодевание обошлось без эксцессов. Оставив вещи в персональном шкафчике и схватив необходимое для работы, он вновь протиснулся через узкий коридор с резким аптечным запахом и направился в четвёртое отделение. Здесь также помещение для работы напрашивалось на критику и, прежде всего, смехотворно малыми размерами. По этой причине нередко приходилось заполнять медицинскую документацию стоя. Однажды Лео выразился по этому поводу: «Мы словно астронавты в посадочном модуле на Луну». Шутка была рискованная. Директор активно отслеживал недовольных и затем действовал по разработанной схеме, прямым ходом ведущей к увольнению.

Все «человеческие» помещения были оборудованы под палаты. Тут тоже не обошлось без хитростей. Если площадь комнаты соответствовала по нормативам двухместной палате, в ней размещали троих, или четверых пациентов. При виде такой ненасытности к деньгам у Лео родился гениальный план, другими словам, и рациональное предложение. Правда, оно так и осталось в его воображении.

Хорошо бы оборудовать палаты двухъярусными кроватями. Умножай, таким образом, доход на два. Вне всякого сомнения, будь хоть малейшее попустительство в законе на этот счёт, инновация была бы уже внедрена. Санитарки и медсёстры взбегали бы по выдвижным лесенкам на второй ярус для помывки и кормёжки больных, сдвинув на время ограничительные перила. А как же! В нашей клинике больных окружают не только заботой, но и мерами предосторожности.

Идея двухъярусных кроватей возникла, когда Ирина рассказала ему о поездках в Россию. От неё узнал очень многое об этой непонятной ранее для него стране. То, что преподносили в школе, уже тогда казалось не совсем правдоподобным. Многие замалчивались, ещё больше искажались. Они мечтали вместе совершить путешествие на Дальний Восток, увидеть безграничные нетронутые леса. Самое большое озеро пресной воды, жемчужину Сибири, он научился называть его правильным именем – Байкал, а не Б'айкал с ударением на первом слоге.

Кому-то понадобилось перекручивать не только историю, географические названия, но и имена славянских гениев. Лёгкую для

восприятия фамилию Гоголя переделали в резкую – Гог'ол. Доказывай теперь, что он не монгол.

О том, что великий писатель бывал в здешних местах, Лео, к своему стыду, тоже узнал от Ирины. В одном из местных трактиров, сидя в углу за столиком и не обращая внимания, на шумных посетителей, Гоголь написал целую главу «Мёртвых душ». Заглянул бы в клинику Николай Васильевич. Нелепость, контраст, дикость его бы сразили. И родилась бы ещё одна глава – Чичиков с визитом к загадочному владельцу замка и богадельни. Начинаться она могла бы приблизительно так.

«Мрачное строение возвышалось над убаюкивающей гладью озера. Тяжёлое хлопанье крыльев насторожило визитёра. Дикие птицы, потревоженные шагами, сорвались из множества бойниц. Ему предстояла встреча с владельцем клиники, до которой отсюда рукой подать. А душ в ней мёртвых и которые уже почти... в сотни раз больше, чем у Чичикова в наличии. Одним словом, фортуна. И брать её надо без промедления.

Постучав и не услышав ответа, он потянул на себя ручку тяжёлой кованой двери, высотой рассчитанной на всадника. Дверь открылась медленно, издав заржавелый скрип. Чичиков шагнул в полумрак. Скрип повторился за спиной и затухающим эхом откликнулся где-то под сводами ...».

Им нравилось фантазию переплетать с реальностью. Под рождество Лео с Ириной объехали все местные трактиры, пытаясь найти тот гоголевский, но тщетно. Зато нашли небольшую гостиницу, всего в несколько комнат, которая в те далёкие времена приютила писателя.

Именно в эти дни Лео осознал, что испытывал к Ирине не просто симпатию. Ему хотелось видеть её рядом, ощущать её запах, а потом в конце дня, обнаружив на спинке сидения её золотистый волос, почувствовать разливающуюся нежность внутри. Лео открывал для себя совершенно новый тип женщин. Он не соответствовал стереотипу, сложившемуся за годы взрослой жизни. С ней было не просто хорошо, было интересно, легко, не стандартно.

Её отъезд на родину поверг Лео в смятение...

Часть 9.

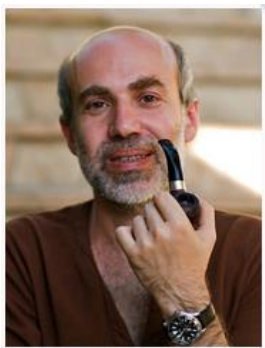
Поэзия



Николай Акимов. Эскиз декорации к спектаклю по пьесе В. Масса и М. Червинского «О друзьях-товарищах», 1947 год

Саша Немировский

Сан-Франциско, США



Полоний

«If ever a people took its energy from hope, it is the Russian people.»
(John Steinbeck)

Привет тебе, мой терпеливый край,
надеждою на завтра
сегодня жизнь влачащий.
В колоде лет,
как ни перебирай,
всё злость и зависть выпадают чаще.
Кто виноват, кто прав? -
в себя смотреть больней.
Оставим уши пропаганде лести,
закроем взор.
Когда из горьких трав
готовится елей,
то в прикупе – погоста крести.
Под серым легче прячется позор,

Над Авалоном небо обложное,
Здесь недостаток солнца – не помеха,
лишь бы не жгло.

Мы не скрываем вздоха:
что лишено
понятыя чести – есть смешное.
Мы улыбаемся. (Кому-то не до смеха.)
Но верим твердо – худшее прошло.
Пускай сегодня плохо,
пускай сегодня трудно –
во имя Завтра
в кровь сотрем ладони,
потерпим, стиснув зубы,
штыком долбая руды.
В Крыму, не правда ль,
добывается полоний?

18/08/18

Юрий Хейфец

Москва, Россия



Два стихотворения из сборника «Сто стихотворений»

Взгляни же на себя со стороны,
Страна моей неистовой печали:
В конце не будет то же, что в начале,
Мы ничего друг другу не должны,

Меня ты научила умирать,
А я тебя учил чему попало,
И вот теперь, перед лицом финала,
Тебе и мне – нам нечего терять,

Я верую в бессмертие твое,
Как знаю, что забыт тобою буду,
Но нас с тобою, будто трупов груду,
Пустых надежд терзает воронье:

Ты ждешь, что призовет тебя Господь,
А я хочу живым увидеть это, –
Мы оба не дотянем до рассвета,
У нас обоих дух покинул плоть,

Смотри, я совершенно не боюсь,

И ты не бойся неизбежной платы:
Своих детей забрила ты в солдаты,
Ты их сослала в лагерную гнусь,

Ты их лишила жен и матерей,
Ты их детей морила голодухой, –
Теперь на пепелище злой старухой
Не вой о бедной участи своей,

Что до меня – то всех грехов моих
Подробный список мне давно известен,
Но, как ты помнишь, торг тут неуместен,
Давай беду разделим на двоих,

А кто из нас сорвется первым в крик
Под пыткой, что сберег бы для врага я,
Так мы еще посмотрим, дорогая,
Я попусту хвалиться не привык,

Держи пари! Скорби, как я скорблю,
Терпи, как я терплю, не плачь, не надо,
Тебе не светит гулкий сумрак ада.
Он светит мне. Ведь я тебя люблю.

22.05.2011

Если ты любишь женщину, которая далека,
Звонками не доставай её и писем ей не пиши:
Вселенная так устроена, что сами наверняка
С разлукой сумеют справиться две родственные души.

Если ты любишь женщину, которая под рукой,
Не думай, что всё улажено, и ты уже на коне:
Любовь ненавидит многое, но больше всего – покой:
Он множество неприятностей сулит и тебе, и мне.

Рад бесконечно всякий, кто к сладким устам припал,
Но славен кровавым привкусом великой страсти прибор –
И если уж любишь женщину, – всё кончено, ты пропал,
А если не любишь женщину, – о чём говорить с тобой?

Александр А. Пушкин

Нью-Йорк, США



25 декабря 1825

Вышли декабристы. На Сенатской чисто.

Всё, как говорится, чинно-чинарем.

Спят мастеровые, воры и министры.

С кем бы нам подраться? (Рылеев) А давай с царем? (Лунин)

Падают снежинки. Топчутся лошадки.

Нету света в замке. Легкий доломан.

А у нас в казарме пунш остался сладкий... (Якушкин)

Мы стоим и будем! (Пестель) А, может, по домам? (Кюхельбекер)

Может, лучше летом? – стынут пистолеты. (Каховский)

Что нам 25-ый, будем повзрослей. (Анненков, вроде)

Постоим немного, не гони карету,

Жалко Сашки нету, было б веселей. (Волконский)

Татьяна Белянчикова

Москва, Россия



Он говорит: убогая

Он говорит: убогая,
окончилась дорога нам, -
и борщ сердито лопают,
как в дом пришедший враг.

Но он тебя не трогает,
совсем уже не трогает,
ни капельки не трогает,
нисколучки, никак.

Он смотрит невнимательно,
угрюмо, по касательной:
мол, зря ты годы тратила,
достаточно с него,
и спор совсем некстати вам,
совсем уже некстати вам,
усталость и апатия,
и больше ничего.

А вечер зол и холоден,
но рядом, в том же городе,
да что там – в той же комнате
помята, но трезва
любовь страдает: полноте,
вот так и шепчет: полноте,
когда ж вы, люди, вспомните,
что я еще жива?

Валентин Нервин

Воронеж, Россия



Две скрипки

Не умею вернуться в начало,
но, которую ночь напролет,
там, где первая скрипка звучала,
там последняя скрипка поет.
Всё кругом ненадежно и зыбко,
но Создателю честь и хвала,
потому что последняя скрипка
замечательней первой была.

2

Не всякий подарок от Бога
и по-человечески жаль,
что радости в жизни немного,
зато неизбежна печаль.
Судьба не щедра на улыбки,
но для музыкальных людей
Бог изредка делает скрипки
из долгой печали моей.

Валерий Скобло

С.-Петербург, Россия



Новогодние грезы

Эта истерика из каждого утюга
Про фашистов на Украине
под руководством Госдепа
Тем близка мне и, страшно сказать, дорога,
Что возвращает в детство...
Понимаю: смешно и нелепо.

Иосип Броз Тито... руки по локоть в крови:
Картинка из «Крокодила» -
мне вряд ли что вспомнится краше.
Как ни старайся, как это ни назови,
Ведь это и было оно -
то детство счастливое наше.

Эти убийцы-врачи... Дядя Сэм за спиной
В полосатых штанишках.
Их носатые морды отвратны.
Эту свору со столь очевидной виной
Бросить в руки народа!
Все слова в адрес их непечатны.

Но и тогда мы это как-то перемогли.
Переживем и сейчас -

мир нельзя разыграть, как по нотам:
И немалая часть всей громадной Земли
Не навечно досталась в удел
хищникам и идиотам.

19-25.12.18

* * *

Австралия, Бразилия, Цейлон...
То бишь Шри-Ланка (и туда не худо) -
Туда, где примут, но отсюда вон,
Куда-нибудь... подальше отсюда.

Согласны и на Кипр... Мадагаскар...
Пусть Новая Зеландия... Таити...
Но только не бессмысленный кошмар.
Отправьте нас туда, куда хотите.

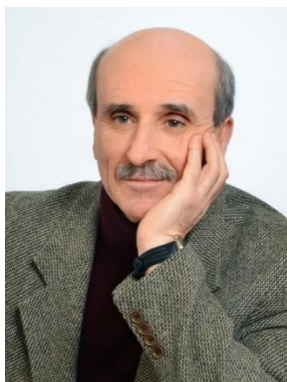
От лжи привычной... нравственных потерь.
Ни на кого не затаим обиды.
Но только не когда-нибудь – теперь.
Пошлите хоть на Новые Гебриды.

А если что-то в ткани бытия
Вам не дает дожить свой век на Крите,
Губу упрямо закусив, как я,
В который раз, как я, перетерпите.

30-31.12.18

Владимир Спектор

Бад-Зоден, Германия



Мы лишние люди...

Мы лишние люди. Пора, брат, пора.
Печоринским знаменем клясться не будем.
И, всё же, как в поле идут трактора,
Так мы с тобой катимся в лишние люди.

Забывтые лозунги бродят, как квас,
Плакатов глазницы глядят очумело.
Мы – лишние люди, уходим, как класс,
И это, наверное, главное дело.

Помашет рукой удалой Азамат,
И что-то Максимыч шепнёт с укоризной.
И снова с тобой, как столетье назад,
Мы – лишние люди у нищей Отчизны.

И, видно, нескоро придет романист,
Который покажет нас всех, как явление.
Уходит эпоха, как фильм «Коммунист»,
Как эхо потерянного поколения...

Виктор Райзман

США



Три Отечества

Томос и автокефАлия,
Кремль стращает, что есть силы,
Но всё далее и далее
Украина от России.

День и ночь страстей кипение,
Комментаторы подкованы.
Тем не менее, империи -
Выдумки средневековые.

Мы, евреи украинские,
Взрослыми в России выросли,
А в Америку таинственно
Нас под старость годы вынесли.

Три страны для нас — отчества,
И за всех душа тревожится,
Чтоб избавились от нечисти,
Лихоимства и убожества.

Пусть Россия с Украиною
И с Америкой не ссорятся,
Пусть солдат колонны длинные
Вдоль границ в ряды не строятся!

С вами сердцем я и мыслями
И напомню вам, родимые:
Чем живёте независимей,
Тем вы мне необходимее.

Борис Зорькин

Сочи, Россия



Здравствуй, Джерри

Здравствуй, Джерри, я снова с тобой,
Словно не было этой разлуки.
Снова пену швыряет прибой,
Снова ты беребишь мои руки.

Снова мы на морском берегу
Как и в те беззаботные годы.
Я опять за тобою бегу
И пытаюсь втащить тебя в воду.

И как прежде, тебя не поймать.
Я со смехом лечу на колени...
Джерри, ты обожаешь играть,
Как и в старое доброе время.

Видно, время прошло стороной,
Не смутив твою чистую душу.
И совсем по-другому со мной...

Впрочем, брось, не востри свои уши.

Я не выпущу жалоб поток,
Чтоб не портить тебе настроенье.
Лучше сделаю джина глоток,
А тебе дам сухое печенье.

Всё прошло, и что толку пенять
На шальные судьбы повороты.
Джерри, Джерри, тебе не понять
Человеческой вечной заботы.

Ты живёшь лишь сегодняшним днём,
Ты не строишь далёкие планы.
У людей же мозг полон огнём,
И горят в нём мечты и обманы.

Джерри, мозг твой не столько горяч,
Но зато благороден и честен.
У тебя нет гигантских задач,
Но нет подлости, зависти, лести.

Джерри, Джерри, мой преданный пёс!
И без слов ты прекрасно всё понял...
И тотчас же прохладный свой нос
Утешающе ткнул мне в ладони.

Григорий Оклэндский

Новая Зеландия



За годом год...

– I -

И снова нам в угоду – новый год!..
Есть в нём надежды чистота и свежесть,
Как первый снег, касающийся нежно
И тонких пальцев, и забытых нот.
И, преодолевая немоту,
Звучат аккорды музыкой старинной,
И новый год мальчишкою невинным
Вступает на коварную тропу...

– II -

Столетие минуло... Долгий век
Свинцовых ливней, обречённых судеб..
А мы живём, не различая буден,
Плывём плотвою по теченью рек.
И смотрим в небо, тусклый взгляд вперив
В созвездие единственного Бога..
Неясен путь, извилиста дорога,
И только храм пугающе красив.

– III -

Вопросы есть – но кто на них ответит?
Зияет Храм – оплот всея Руси,
Гудит над миром шквальный чёрный ветер,
И Мунк кричит, хоть мёртвых выноси...

За годом год... И кто за нас в ответе?!
Быть может Он, живущий в небеси,
Откроет нам, как жить на белом свете?
Кому дары пастушечьи нести?!

– IV -

Думы ночные январского лета.
Дымчатый след облаков.
Море качает бездонное небо.
Время стихов...
Память моя растревоженной стаей
К дальним просторам летит...
Что вспоминаешь, когда наступает
Время уйти?!

Михаил Гаузнер

Одесса, Украина



Из Адама Мицкевича (с польского)

Нырнув в зелёный мир степного океана,
Повозка то летит, то замедляет ход,
Как лодка, что плывёт среди шумящих вод,
Минуя острова багряного бурьяна.

Уж начало темнеть. Ни тропки, ни кургана.
Ищу я, *что* ладье укажет путь туда,
Где над Днестром взошла вечерняя звезда –
Блеснул во тьме маяк, лампада Аккермана.

Давайте постоим. Чуть слышны журавли.
Не может разглядеть их даже взор орлиный.
Вот мотылёк траву чуть шевелит вдали,
А в ней струится *уж* своим путём змеиным.

Литва! Прошу тебя – призыв мне свой пошли!
Нет, не зовёт никто меня к своим равнинам...

STĘPY AKERMAŃSKIE

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,

Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;
Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi;
Tam z dala błyszczą obłok – tam jutrzienka wschodzi;
To błyszczą Dniestr, to weszła lampa Akermanu.

Stójmy! – jak cicho! – słyszę ciągnące żurawie,
Których by nie dościgły źrenice sokoła;
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską pierśią dotyka się zioła.
W takiej ciszy – tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy. – Jedźmy, nikt nie woła.

Галина Ицкович

Нью-Йорк, США



Эдна С. В. Миллей в переводах Галины Ицкович

Любовь – не всё: не мясо, не питье,

Не топливо, не крыша от дождя,
Не мачта, чтоб цепляться за нее
Во время бури, вверх и вниз скользья.
Нет, не предложит воздуха глоток
Любовь, не исцелит от хромоты,
Но те, что прозябают без нее,
Со смертию становятся на «ты».
И, может случиться, в самый трудный час
Я пожелаю стать совсем другой:
Когда нужда и боль настигнут нас,
Я выменяю нежность на покой,
А память этой ночи — на еду.
Нет... сил в себе на это не найду.

Sonnet XXX

Love is not all: it is not meat nor drink
Nor slumber nor a roof against the rain;
Nor yet a floating spar to men that sink
And rise and sink and rise and sink again;
Love cannot fill the thickened lung with breath,
Nor clean the blood, nor set the fractured bone;
Yet many a man is making friends with death
Even as I speak, for lack of love alone.
It well may be that in a difficult hour,
Pinned down by pain and moaning for release,
Or nagged by want past resolution's power,
I might be driven to sell your love for peace,
Or trade the memory of this night for food.
It well may be. I do not think I would.

Погребение

На море смерть – по мне! Чем занимать
Вместилище шесть футов в глубину,
Предпочитаю под водой лежать
И звать могилой резвую волну!

Ужасным рыбам скормят плоть мою –
О том живые говорят, дрожа.
Не надо ждать ни день, ни год, молю –
Пускай едят, пока ещё свежа!

Burial

Mine is a body that should die at sea!
And have for a grave, instead of a grave
Six feet deep and the length of me,
All the water that is under the wave!

And terrible fishes to seize my flesh,
Such as a living man might fear,
And eat me while I am firm and fresh, –
Not wait till I've been dead for a year!

From Second April, 1921

Непутешественница

Тропинка, что от дома шла,
Была уж очень хороша!–
Но матушка меня предупредила:
«По ней шагая, доченька,
Придешь ты в дом молочника»
(И с той поры я дальше не ходила).

The Unexplorer

There was a road ran past our house
Too lovely to explore.
I asked my mother once – she said
That if you followed where it led
It brought you to the milk-man's door.
(That's why I have not traveled more.)

From A Few Figs from Thistles, 1920

Часть 10.

Путешествия



Николай Акимов. Эскиз декорации к спектаклю по пьесе Назыма Хикмета
«Чудак», 1956 год

Лейла Александер-Гарретт

Лондон, Англия



Иван-чай

Эту историю я рассказывала так часто, что решив ее записать, не знаю, с чего и начать. Начну с того, что в конце лета 2017 года моя дочь Лена, окончившая Оксфорд, а затем без передышки и Лондонский университет, собралась перед вступлением в ряды трудящихся выветрить накопившийся от долголетней учебы стресс и отправиться в длительное путешествие по Транссибирской магистрали – самой длинной в мире железной дороге: от Москвы до Владивостока 9288 километров, о чем она меня торжественно оповестила.

Поначалу радостное известие повергло меня в шок: дочь собирается невесть куда через всю Евразию одна! Но вскоре к транссибирской затее присоединились ее школьная подружка, итальянка Лавиния, и совсем уже взрослый гэдээровский немец из Берлина Рональд (ему за тридцать), с которым Лена училась на одном курсе по «Глобальной безопасности». Имя свое он получил в честь американского киноактера и президента Рональда Рейгана, а фамилию от одного из основоположников марксизма Фридриха Энгельса, которому Рональд приходился дальним родственником. Не удосужившись обзавестись собственными детьми, Фридрих Энгельс вкладывал нерастраченный на потомство капитал в своего революционного идола Карла Маркса. Из многочисленных мудреных высказываний Фридриха Энгельса в памяти застряло одно, связанное с немецким мистиком-самоучкой, сапожником Якобом Бёме: «Сапожник Бёме был большим философом, тогда как многие именитые философы – лишь большими сапожниками».

Когда Лена показала Рональду дом с синей мемориальной доской на Риджентс-парк-роуд, где его дальний родственник прожил почти

четверть века, Рональд Энгельс вытянулся во фронт и низко склонил голову.

Из-за победы России над Наполеоном Фридрих Энгельс почему-то называл русских «разбойничьим сбродом». Еще одна из его крылатых фраз пришлась по духу главарям Третьего рейха: «Ненависть к русским была и продолжает быть у немцев их первой революционной страстью». А Карл Маркс вообще предлагал выгнать русских «пришельцев» куда подальше, то бишь за Днепр... Мы же в детстве таскали на Первомайские и Ноябрьские демонстрации знамена с их изображениями и транспаранты с «пролетариями всех стран...»

Во время учебного года Рональд подкатывался к Лене, но она его отшила по причине отрицания им глобального потепления климата Земли. Твердый орешек моя дочь, подумала я, не то что ее мама, влюблявшаяся порой не в предмет своего обожания, а в раскрашенное радужными красками представление о нем, хотя можно было обойтись одними черно-белыми тонами. Как у Ахматовой: «Прости, прости, что за тебя / Я слишком многих принимала...»

Незадолго до отъезда Лена показала мне фотографию Рональда – верзилу под два метра «при параде», в военной форме, в зеленом берете, сопровождающего Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель. Мне ничего не оставалось делать, как развести руками: к такому на танке (к танкам мы еще вернемся) не подкатишь, он сам как танк. Никакая Сибирь теперь девчонкам не страшна! Но внешность обманчива, правда, Шопенгауэр утверждал, что на внешности отражается внутреннее содержание.

Забегу вперед и скажу, что гвардейца-телохранителя в чине капитана пехоты девчонкам пришлось всю дорогу откачивать от головокружений, тошноты и рвоты, вызванных романтическим укачиванием в поезде.

Первая остановка у ребят в Екатеринбурге, где их гидами стали аспирантка московского ученого Артема Оганова – Ксения, ее муж – священник Илья, и их пятеро детей. Артем, знавший Лену с четырехлетнего возраста, услышав о ее поездке, тут же бросил в Фейсбуке клич, на который незамедлительно отозвались его коллеги. В Красноярске в их сталкера превратился писатель Михаил Тарковский. Мама Миши, Марина Тарковская, посоветовала своей крестнице посетить природный заповедник «Столбы» с уникальными скалами, куда и доставил их Миша. В Иркутске ребята были одни, что и хорошо: Байкал нужно открывать самим, без поводырей. В Улан-Удэ, благодаря еще одной коллеге Артема Татьяне, ребята отправились в

Иволгинский дацан посмотреть на «нетленного ламу» Даши-Доржо Итигэлова, похороненного в 1927 году в позе лотоса. Ученикам своим лама наказал раскопать его через 75 лет. Тело поднимали на поверхность земли несколько раз, и всякий раз оно оставалось нетленным. Ребятам посчастливилось увидеть настоящую буддийскую святыню: как и девяносто лет назад, лама так же безмятежно сидел в позе лотоса.

В «самом благоустроенном городе России» – титул, которым неоднократно награждался Хабаровск, Рональд чуть не отстал от поезда. Добиваясь расположения неприступной сибирячки, он спустил весь свой транссибирский финансовый резерв и из добропорядочного немца превратился в русского Роньку. Владивосток открыл для ребят друг Миши Тарковского, писатель Василий Авченко.

О подробностях своего путешествия они когда-нибудь напишут сами, я же подгоню свой рассказ к моменту, когда раздался последний, до боли знакомый сигнал-свисток, и я выскочила из вагона, посылая оставшимся в купе путешественникам воздушные поцелуи. Под стук колес я рванулась наперегонки с тронувшимся поездом по ночному, совершенно пустому перрону московского Ярославского вокзала. Забег выиграл, разумеется, поезд, увезший Лену, Лавинию и Рональда в их долгожданный вояж. Как бы мне хотелось сбросить груз невесты откуда накотивших лет, взвалить за спину рюкзак и броситься за ними следом, пусть даже в другом вагоне, чтобы не мозолить им глаза... но мешать мечте детей нельзя, особенно транссибирской мечте! Пришлось довольствоваться фотографиями, присланными из разных уголков Сибири, а проехали они мимо 80-ти городов – больших и малых, останавливались на день-другой в 6-ти, пересекли 16-ть рек, включая Волгу, Енисей и Амур, а что уж говорить о Байкале, чудо-озере нашей планеты!

Итак, из Москвы интернациональное трио отчалило в полночь с субботы на воскресенье 30 сентября, а домой они вернулись в ноябре. Опишу последние приготовления с небезызвестным желанием впихнуть не впихиваемое в распухшие донельзя рюкзаки. Кузен Вася с женой Таней, будучи сами заядлыми путешественниками, приготовили для Лены всевозможные баночки с баклажанами, перцем, грибами, медом и домашним вареньем – и все это нужно было как-то умудриться взять собой!

В отличие от меня, находившейся в состоянии трясушки, ребята перед дорожкой спокойно уселись закусить. Весь день они мотались по московским музеям, забыв поесть. Знакомая история. Но с нормальной

едой у хозяина квартиры Феди, у которого мы остановились, не разгуляешься: он питается исключительно «полезными» порошками, таблетками, добавками, протеиновыми концентратами и прочей искусственной дрянью. Пришлось вытаскивать из Лениного рюкзака заветные баночки. За несколько минут половина запаса улетучилась. Ребята расплылись в улыбках и дружно потребовали чайку. В чайных запасах нашего хозяина можно было обнаружить все – от стимулирования мозгов, мужской потенции и до чистки прямой кишки. Все, кроме простого черного чая.

Вот тогда-то и всплыл «главный герой» моего рассказа: его накануне привез мне прямо с дачи модный столичный йог Кирилл. Не найдя под рукой обычного чая, не поить же девчонок зельем, повышающими мужскую потенцию, я вытащила из чемодана бумажный пакет – подарок йога и высыпала четверть его содержимого в белый, пузатый заварной керамический чайник.



Вместе с чаем и прочей снедью я пичкала путешественников нудными назиданиями, одним из которых было – поменьше улыбаться незнакомым людям, как это принято на Западе, особенно мужчинам. Рональд в знак одобрения кивал головой и обещал приглядывать за своими спутницами. Вдруг ни с того ни с сего, он спросил: «Лейла, а ты слышала о чае, из-за которого русские выиграли войну?» Я посмотрела на него с нескрываемым замешательством, держа в руке – прямо над его рыжей головой – только что вскипевший электрический чайник. Рональд любезно пришел на помощь: «Так говорил Гитлер...

Гитлер был уверен, что русские победили в войне из-за какого-то магического чая...» Он заявил об этом так, будто Гитлер только вчера проболтался ему за кружкой пива об истинной причине своего разгрома.

В последние годы на Западе победа России над гитлеровской Германией подчеркнута замалчивается или обходится стороной. Недавно в разговоре с Лавинией – моей нынешней учительницей итальянского – я упомянула, что русские потеряли во время войны более 26 миллионов человек. Она укоризненно посмотрела на меня и сморщила нос: «Двадцать шесть миллионов? Да, нет же! Быть такого не может! Ты ошиблась с нулями. Это половина населения Англии, а Россия только помогала англичанам и американцам...» Так в английском королевстве думают о Второй мировой войне молодые люди даже с высшим образованием. В школе у них, безусловно, упоминается о «русском присутствии» во время войны, но как-то промежду прочим, хотя Черчилль признавал, что если бы Англии выпало перенести десятую часть того, что выпало на долю России, Англии давно бы не было.

Последние несколько лет дедушка Лавинии живет в доме для престарелых в Милане, и над кроватью у него висят не фотографии жены, детей или внуков, а портрет дуче – лидера Национальной фашистской партии. А ее прабабушка занимала должность главы женской фашистской организации в южной Италии, в чем с горечью призналась Лавиния.

Стоит ли говорить, что я впервые слышала про подобный «чайный» бред! Я посмотрела на Лену: уж не спятил ли ее сокурсник? В ту минуту я одобряла отказ дочери от такого ухажера, пусть даже из-за глобального потепления. В ответ Лена тихо сказала: «Мам, он не дурак...» «Он называется каким-то русским именем...» – не унимался Рональд. Я взяла со стола бумажный пакет и прочитала написанное от руки название: «Иван-чай». Рональд вскочил как ошпаренный: «Иван! Иван! Он самый!» Я подлила ему в чашку кипятку: «Так ты его и пьешь!» Не веря своему счастью, Рональд воодушевленно отхлебнул горячего чая, обжегся и чуть не выронил чашку. «Неужели это правда? Ты меня не разыгрываешь?» – запричитал дальний родственник одного из основоположников марксизма. Мне и самой вся эта история казалась какой-то нелепой театральной постановкой. Рональд умоляюще заглянул мне в глаза: «А ты могла бы мне немного отсыпать? А то дома не поверят...» Он, вероятно, решил, что я угощаю его каким-то недоступным для простого смертного сортом чая. «Само

собой, – ответила я, – да ты и сам можешь его купить». Рональд опешил: «Как? Где? В обычном магазине? В Москве?» Он готов был рвануть в ближайший магазин. Со словами, что поздно бежать в магазин, пора уже собираться на вокзал, я отсыпала ему в целлофановый мешочек половину пакета сухих душистых листьев. «Купишь где-нибудь по дороге,» – успокоила я его. Что он и сделал. И не где-нибудь, а на Байкале. Скупил весь запас иван-чая в местной лавке. Может, и Федерального канцлера угостил.

Если честно, в историю с иван-чаем я не очень-то верила, но Лена сказала, что Рональд зря болтать не будет: стоит проверить.

Предание гласит, что в селе Копорье, под Питером, жил добрый молодец по имени Иван, любивший наряжаться в ярко-красные и лиловые рубахи. Целыми днями он бродил по лесу в поисках целебных трав. Однажды стилига-целитель исчез, и с тех пор его никто не видел. Зато на опушке леса выросли невиданной красоты цветы, которые односельчане назвали рубашкой Ивана. «Это, чай, наш Иван идет!» – кричали они друг другу. Так и прилипло к диковинному растению прозвище «чай, Иван», которое еще называют кипреем. Согласно другому поверью, за человеческие грехи боги ниспосылали на людей болезни. На мольбы страждущих откликнулась одна лишь милосердная богиня Купальница. В тайне от своих собратьев-богов она бросила на землю семена волшебного растения, а утром повсюду зацвел иван-чай. Без всякого сомнения, кто-то свыше одарил человечество лекарственными травами.

Говорят, что Александр Невский, разгромивший, как помнится по урокам истории, крестоносцев на Чудском озере, остановился на ночлег в Копорской крепости. Испив у монахов чаю, князь проснулся утром бодрым и полным сил. Князю так понравился чай, что он велел монахам возделывать это волшебное растение. В старину пухом иван-чая набивали матрацы и подушки. Вероятно, монахи уложили князя именно на такую перину – «мягко постелили», что также внесло лепту в его приподнятое настроение.

Чайные сомелье и дегустаторы утверждают, что иван-чай сохраняет целебные свойства трое суток, тогда как китайцы считают, что уже через двадцать минут чай превращается в «яд гремучей змеи». В отличие от китайского, иван-чай не содержит кофеина, поэтому пить его можно сколько угодно.

Когда-то Европа, особенно Великобритания, закупали у России десятки тысяч пудов копорского чая. Популярность его стала подрывать финансовое могущество Английской Ост-Индийской

компании, и тогда предприимчивые владельцы решили убрать своего конкурента, ликвидировав все поставки иван-чая в Европу. Как тут не вспомнить страстную любовь англичан к китайскому чаю и две «Опиумные» или «Чайные» войны – позорные события, когда ради собственной прибыли великосветские «торговцы смертью» превратили в наркоманов чуть ли ни целый народ. Китайцы продавали англичанам чай за золото и серебро. Те быстро смекнули, что торговля в одни ворота неизбежно разорит их казну, и решили подsunуть китайцам товар, от которого нельзя будет отказаться – опиум. Опиумные курильни открывались повсеместно. Повальная наркомания разлагала Поднебесную. Знаменитый английский фантаст Герберт Уэлс заключил, что «единственным разумным и логичным решением в отношении низшей расы является ее уничтожение». Милосердное миссионерство. И все от безумной любви к чаю! Англичане так страстно его любили, что даже выкрали у китайцев саженцы чайного куста и высадили их в Индии. Правда, китайцы до сих пор считают индийский чай второсортным, зато он дешевле.

Прежде чем перейти к иван-чаю и Гитлеру, представлю еще одну короткую историческую справку. Врач тибетской медицины Петр Бадмаев в начале XX столетия открыл в Петербурге оздоровительную лечебницу, которую посещали даже представители царской семьи вместе с Григорием Распутиным. В результате своих исследований Бадмаев сделал сенсационное заявление, что он близок к созданию эликсира молодости и долголетия. И все это на основе целебных свойств кипрея. Оставалось только найти точное соотношение. Как говорил Парацельс: «Все – яд и все – лекарство, то и другое определяет доза». После Октябрьской революции Бадмаева арестовали и заточили в тюрьму, где он умер в 1920 году. Сотрудников его клиники расстреляли. Рецепты уничтожили.

Перед началом Второй мировой войны Лаврентий Берия издал приказ о создании в Копорье тайной лаборатории под названием «Река жизни», в которой возобновили исследования уникального растения. Цель исследования – разработка напитка, повышающего боеспособность и выносливость бойцов Красной Армии. По всей видимости, в НКВД все же сохранили рецепты Бадмаева. Советские ученые пришли к заключению, что кипрей способствует улучшению иммунной системы и защитных функций человеческого организма. Несмотря на бодрящий эффект, иван-чай успокаивал нервную систему, так как в нем не содержалось кофеина, и помогал избавиться от страха. А бесстрашный боец – это то, что нужно любой армии.

Во время наступления на Ленинград немецкая танковая дивизия получила приказ ликвидировать засекреченную лабораторию в Копорье и все плантации кипрея. Фантастический приказ исходил из ставки самого Гитлера. Должно быть, фюрером овладел страх, что русские близки к созданию какого-то «победоносного» эликсира, после употребления которого завоевать этих «унтерменш» станет невозможным.

Как тут не вспомнить слова философа Ивана Ильина о зависти западных стран, «что у русского соседа большие пространства и естественные богатства; и вот они пытаются уверить себя и других, что русский народ принадлежит к низшей, полуварварской расе, что он является не более чем «историческим навозом», и что сам бог предназначил его для завоевания, покорения и исчезновения с лица земли».

Гитлер планировал сравнять с землей Ленинград, а жителей города истребить, чтобы немецкой армии не пришлось их кормить: «После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пункта не представляет никакого интереса». Во время оккупации гитлеровцы устроили в Копорской крепости бордель.

Напившись иван-чая, мы вызвали такси, закинули в багажник рюкзаки и отправились на вокзал. Приехали загодя. Пришлось немного померзнуть на холодном перроне перед закрытым поездом. Вскоре рядом с нами появилась небольшая группа коренастых мужичков, с повисшими на них провожающими девицами – у каждого по бутылке пива в руках. Наконец, двери вагонов поезда открылись и мы вошли внутрь в приятное тепло. Я надеялась, что к ребятам никого не посадят, но только я об этом подумала, как в конце коридора заметила щуплого мужчину в летах, бодро семенившего к нашему купе. Протянув мне, стоявшей перед открытой дверью билет, он втиснулся в купе и мягким голосом попросил ребят поменяться местами. Рональд тут же забросил свои вещи на верхнюю полку. Обидно, подумала я, пустой вагон, а дедулю угораздило подсесть именно к ним.

Алексей Николаевич, как назвался нагрянувший попутчик, ехал без остановок в Хабаровск, к сестре. «Представьте, я из Минска еду через всю страну, чтобы с племянницами порыбачить. У меня племянницы – во!» – сказал он, вытягивая перед собой руку с большим негнушимся пальцем. Потом Алексей Николаевич обратился ко мне, все еще стоявшей в дверях: «А вот угадайте, сколько мне лет?» Не раздумывая, я ответила: лет за семьдесят. Алексей Николаевич хлопнул себя по

коленям: «Так все думают! А мне девяносто три с гаком...» Выслушав заслуженный шквал восторгов, Алексей Николаевич снял с головы кепку. «Посмотрите, сколько у меня волос...» Взъерошив свои редкие седые волосы, он наклонил голову, предоставив нам возможность зафиксировать отсутствие на макушке лысины. «А все потому, что я занимаюсь тибетскими «пятью жемчужинами». Слышали про такие?» Лена, переводившая его рассказ на английский, подняла глаза: «О чем это он?» Я разъяснила, что это древние упражнения тибетских монахов. Считается, что с их помощью человек восстанавливает жизненные силы. Обо всем этом я читала, но встретить человека, практикующего тибетские упражнения в «девяносто три с гаком», мне приходилось впервые. Алексей Николаевич пояснил: «У меня была серьезная операция на сердце в Америке. Там живут мои внуки и правнуки – все врачи. После операции американский хирург посоветовал мне заняться этими самыми «жемчужинами». Сначала я филонил, а потом втянулся – и вот результат». Он посмотрел на часы: «Я их завтра научу». Лавиния тут же записалась в его ученицы.

Я рассказала, что ребята приехали из Лондона, мечтают увидеть Сибирь, особенно Байкал. Алексей Николаевич шмыгнул носом: «Ааа, англичане – союзнички, значит. Помню, как же. А что Байкал? Поехали лучше со мной на рыбалку...» Рональд кивнул в сторону Алексея Николаевича и испуганно прошептал: «У него медали...» Будто услышав Рональда, Алексей Николаевич снял плащ, и мы все увидели пиджак, увешанный медалями и орденами. Лавиния ахнула: «Вы на войне были?» Алексей Николаевич пригладил волосы и с достоинством ответил: «А как же! Я Берлин освобождал. Наше поколение все воевали. Били заклятых врагов на славу. Вот вам сколько лет? Двадцать? Угадал?» – обратился он к девчонкам. «А мне семнадцать было, когда я на фронт пошел. Даже годик себе приписал». Он испытующе посмотрел на ребят: «А вы знаете, союзнички, сколько людей в Белоруссии погибло?» Они притихли. «Каждый четвертый. Белоруссия была первой на пути немцев, они там позверствовали, особенно после Сталинграда. В Белоруссии все в партизаны пошли, а на Украине фашистов хлебом-солью встречали...» Эту страшную статистику я слышала от мамы. Она с первого и до последнего дня провела в оккупации и собственными глазами видела бесчинства немцев и прислуживающих им бандеровцев. Мама из Витебской области, о чем я сообщила Алексею Николаевичу. «Так мы с ней соседи. Я гродненский». Немного помолчав, Алексей Николаевич

продолжил: «Нас у родителей пятеро, и все мы дошли до Берлина. И все целы остались. Такое вот чудо...»

Лавиния смотрела на первого в своей жизни русского ветерана войны с нескрываемым пиететом. «А страшно было?» – испуганно спросила она. «А ты как думаешь? – ответил Алексей Николаевич. – На войне всем страшно. Представь: сейчас ты живая, а через секунду тебя нет, как будто никогда и не было. Но ко всему привыкаешь. Вот так-то, девонька. Самое страшное было терять друзей...» Лавиния, мечтавшая стать радиорепортером, не отступала: «А вы убитых и мертвых видели?» Алексей Николаевич вздохнул: «Видел, да столько видел... Красный от крови снег видел, реки красные видел. Заживо горящих моих товарищей видел, а помочь не мог...» Он шмыгнул носом и опустил голову. «А вы сами кого-нибудь убили?» Алексей Николаевич удивленно посмотрел на Лавинию: «Было дело. А ты как думала? Чем на войне занимаются? Папиросы стреляют, да девушек обнимают? И убитых видел, и убивал, и влюблялся. Мне ж семнадцать было. Молодость свое берет. Я в последний год на войну попал. Но и в последний год хорошенько помолотил фашистов. Убивали таких же мальцов – заклятых наших врагов. Приказ – и в бой. Я танкист. Танк у нас во какой был! – Алексей Николаевич снова задрал большой палец, но на этот раз высоко над головой. – Лучший в мире! Тридцатьчетверка!» Я подумала: как хорошо, что до выхода в Екатеринбурге, ребята проведут целых тридцать часов с ветераном войны и хоть что-то узнают от очевидца тех страшных лет.

Тут, сидевший тише воды, ниже травы Рональд, заерзал и зашипел себе под нос: «Наши Тигры и Пантеры не хуже...» Лена втиснулась вглубь лавки и перестала переводить. «Все, – подумала я, – немец сдал себя с головой!» Сейчас, прямо в купе старенького советского поезда, где даже запах оставался прежним, разразится третья мировая война. Рональд ушел в глубокую оборону, продолжая нести что-то про оптические прицелы, калибры, мощность и скорость по пересеченной местности. Из его несвязной речи на неродном английском разобрать можно было одно: мелит он о превосходстве немецких танков. Свою военную технику он отстаивал отважно, правда, втянув при этом голову в плечи, словно ожидая удара по своей рыжей шевелюре. И я готова была треснуть его по башке. «Ты еще про иван-чай ляпни! Расскажи ветерану войны, что русские выиграли войну, благодаря какому-то чаю, а не мужеству и героизму...»

Напрасно я пыталась призвать Рональда прекратить свое бессмысленное бормотание. «Он точно сумасшедший!» – решила я. На

такой кульбит мог отважиться только безумец. Между тем, Алексей Николаевич взял Рональда на прицел, пытаясь уловить смысл его тирады. Выговорившись, Рональд насупился и затих. Но в его молчании проскальзывала подспудная претензия к низкорослым, щуплым русским танкистам с их несовершенными танками, разгромившими непобедимую немецкую армию. К счастью, Алексей Николаевич не владел английским, да и я половину наименований оснащения немецких танков не смогла бы воспроизвести и под дулом пистолета. И все же знакомые названия танков не ускользнули от доблестного танкиста Красной армии. Пристально посмотрев на Рональда, он спросил Лену: «Что это он там про Тигры и Пантеры?..» Мне показалось, что в воздухе тускло освещенного и тесного купе раздался громоподобный свист кнута, который неминуемо заарканит обиженно моргающего Рональда. Лена не выдержала и выкрикнула: «Да, он немец!» В купе воцарилось гробовое молчание. «Achtung Panzer! Внимание, танки!» – промелькнула в голове знакомая фраза из кинофильмов о войне. «Ахтунг панцер, значит...» – подхватил мою мысль Алексей Николаевич. Гэдээровиц мотнул головой: «Да, я – Берлин...» Лучше бы он не посещал ускоренные курсы русского языка! Алексей Николаевич опешил и вытаращил на него глаза. Я ждала расправы. Мы все ее ждали. И первым Рональд. Минуту длился всеобщий столбняк, после чего Алексей Николаевич резко наклонился к нему, схватил за обе руки (все, подумала я!), потряс ими над головой и многозначительно сказал: «Миру – мир!» И добродушно добавил: «Немцы – хорошие солдаты. Немцы с нами никогда больше воевать не будут. Никогда. Немцы преданные, как русские. Они не продажные...» В голосе его не проскальзывало ни нотки неприязни к сидевшему напротив немцу, чьи деды убивали его родных, близких, друзей и товарищей. Глаза Рональда заблестели в тусклом освещении старенького советского купе. «Я лублу Русланд, хачу руски гаварить...» – выпалил Рональд, хлопая своими лохматыми рыжими ресницами. Он мечтал на годик-два зависнуть в России, чтобы в совершенстве овладеть нашим великим и могучим. Ветеран войны, почесав затылок, сказал: «Я все народы уважаю...» – и тут же поправил себя: «Я только поляков не люблю...» Напоследок он заявил: «Империю блюсти – не бородой трясти». Объяснить значение этого выражения я не успела. Как и выяснить причину его нелюбви к полякам. В купе в очередной раз влетела надушенная «Пуазоном» – «ядом» от Диора проводница с напоминанием, что провожающим давно пора покинуть поезд.

Позже я узнала, что утром Алексей Николаевич угощал ребят салом, воблой и разведенным кипятком супчиком со свежим чесноком, а потом учил Лавинию «пяти тибетским жемчужинам». Настоящий миру – мир! Рональда, беднягу, укачало и он весь день бегал в тамбур «подышать свежим воздухом».

Под вечер Алексея Николаевича затащили к себе трое мужичков из соседнего купе и подсунули ему самогон. Он им похвастал, что едет с иностранцами. Самый молодой из них – Юрий, названный, конечно, в честь Юрия Гагарина загорелся желанием познакомиться с ними.

Девчонки зря не послушали моего совета не улыбаться незнакомцам и встретили незваного гостя широченными улыбками на губах, а тот воспринял это как знак кокетства. Удостоверившись, что Рональд не состоит в законном браке ни с одной из них, Юрий стал клеиться сразу к обеим, попеременно слюнявя поцелуями их руки. На предмет соблазнения Юрий захватил с собой бутылку самогона. Лена напрочь отказалась пить, да и Лавинию отговорила. Юрий выпытывал, почему такие клевые девушки не замужем: «Что у вас в Англии мужики перевелись? Одни гомилы? Или вы лесбиянки?» Алексей Николаевич замахал руками: «Они англичанки! Союзнички!» Вместо того, чтобы заступиться за своих спутниц, Рональд лакал с Юрием самогон из купленной в Москве кружки с изображением ежика в тумане. Потом он забрался к себе на верхнюю полку и долго бурчал, что Алексей Николаевич ненормальный: с большим сердцем пьет какой-то «жуткий бензин». Как вообще возможно, что этот старик, в семнадцать лет отправившийся на войну, жертвовавший своей жизнью, из своего любимого Т-34 прямой наводкой расстреливавший его родной Берлин, едет один через всю Россию порыбачить со своими племянницами и распивает самогон наравне с молодыми, здоровыми мужиками? Как это понять?!

Прошел час, другой, а гость не уходил. Девчонкам хотелось отправить свалившегося им на головы Юрия куда-нибудь подальше в космос, но из-за самогонного топлива он не отрывался от земли. Рональд после кружки самогона отключился, да и освобождавший Берлин ветеран тоже задремал. Операция по выпроваживанию обнаглевшего соседа пала на Лену и Лавинию. В тот вечер девчонкам стало понятно, что Рональд им не защита, хоть и выглядел он как танк; да и улыбаться незнакомым мужчинам в России не стоит.

Утром Алексей Николаевич стонал, как булгаковский Степа Лиходеев. «Степа! Тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь!» – «Расстреливайте, делайте со мною, что хотите, но я не

встану...» Тихонько, чтобы не разбудить Алексея Николаевича, ребята собирали рюкзаки к выходу на своей первой остановке в Екатеринбурге. На прощание Алексей Николаевич все же разомкнул глаза, пожелал им счастливого пути и покорно вернулся в объятия Морфея. Снился ему, должно быть, хороший улов.

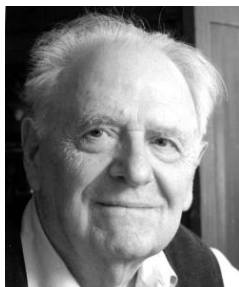
В Хабаровске, как я уже сказала, Рональд спустил в баре все свои русские рубли на покорение непьяняющей сибирячки. А ему так хотелось «оторваться по полной» и освободиться от гнетущего состояния «heavily underfucked», то есть, «тяжело недотраханного». Даже рассказы о мотоцикле Харлей Дэвидсон, который он купил перед поездкой в Сибирь, не произвели впечатления на непрístupную красавицу, а ведь на мотоцикле этой марки ездил сам король рок-н-ролла Элвис Пресли! Сибирячка только смеялась над ним: «Да, какой ты немец! Ты пьяный Ронька! Да и пить ты не умеешь!» За неимением денег, бухого и «недотраханного» Роньку выбросили из такси. До утра он бродил по городу в поисках гостиницы, упал в канаву и расквасил себе нос. Было бы совсем смешно, встретить он под утро где-нибудь на берегу Амура Алексея Николаевича с удочкой в окружении своих мифических племянниц. Представляю, что ветеран войны рассказывал им о своих попутчиках – «союзничках»: о молодых, красивых и одиноких девушках, не оценивших его стремления помочь им устроить свою личную жизнь, и о гордящимся своими танками громадном, хиленьком немце, не умеющим пить самогон.

Много приключений ожидало ребят впереди, но о них они когда-нибудь расскажут сами. Меня же пусть простят за неизбежную игру воображения, хотя все именно так и было: и Транссиб, и иван-чай, и гитлеровский приказ о его уничтожении, и герой-танкист, дошедший до Берлина, и трое путешественников, отправившихся осуществлять свою мечту.

Мне же остается закончить свое повествование с чувством гордости за ребят и грустью оставленного на пустом перроне человека...

Сергей Голлербах

Нью-Йорк, США



Путевые заметки: Акапулько

Город Акапулько известен как один из лучших курортов на западном побережье Мексики. Насколько мне было известно, там не было никаких архитектурных достопримечательностей, ни индейских пирамид, ни развалин языческих храмов, только одни современные отели для туристов.

Тем не менее, я сразу же принял приглашение провести там семинар по акварельной живописи и сделал это по двум причинам: во-первых, я уже несколько раз побывал в Мексике и полюбил эту страну с ее очень своеобразной культурой. Во-вторых, дама, которая меня туда пригласила, американка из города Денвера, сказала мне, что занятия будут происходить не в современном отеле, а в старинной мексиканской вилле за пределами города, где мы все будем жить.

Все это меня, конечно, заинтересовало. Прямых полетов из Нью-Йорка в Акапулько тогда не было, надо было лететь в Мексико-Сити и там менять самолет. В аэропорту Акапулько меня встретил американец, и мы поехали на виллу, минуя сам город.

По дороге я обратил внимание на множество недостроенных вилл и спросил, что это значит? Американец улыбнулся и сказал, что по мексиканским законам недостроенные здания не облагаются налогами. Поэтому зажиточные мексиканцы, построив часть дома и живя в ней, сознательно не достраивают другую его половину.

Приехав по месту назначения, я увидел высокий каменный забор, широкие железные ворота и несколько пальм, растущих внутри. В

вилле было четырнадцать спален для студентов, столовая, салон и терраса, выходящая на скалистое побережье.



Внутри участка у самых ворот стояла сторожевая будка, где по ночам сидел старик по имени «Эльбрухо, » что по-испански означает «колдун». Его обязанность была не пускать внутрь «лос бандидос». Мне сказали потом, что сторож всю ночь спал в этой будке, но рядом с ним лежал кинжал «мачете», так что безопасность жильцов была обеспечена.

За день до начала занятий, в воскресенье, перед ужином состоялась встреча студентов с преподавателем и вступительное слово дамы, организовавшей этот семинар. Как я уже сказал, американка Джоханна Морелл приветствовала всех собравшихся и сказала, что вся еда будет приготовлена здесь и замечательная кухарка Роза гарантирует, что никто не заболеет от ее вкуснейших мексиканских блюд. «Никто еще не помер на моих семинарах,» – добавила она с улыбкой, а если что-нибудь такое случится, то гарантирую торжественные похороны с музыкой».

Такое приветствие, не скрою, многих несколько удивило, хотя всем было известно, что мексиканскую еду надо есть с осторожностью и не пить воду. Желудочные заболевания туристов именуются «мезтью Монтезумы», индейского вождя, ненавидевшего захвативших его страну европейцев. А дальше последовало еще одно интересное

предупреждение: «В Мексике водится много маленьких ящериц, – сказала Джоханна, – они ползают по стенам и по потолку и поэтому не следует спать с открытым ртом. Кроме того, по утрам всегда вытряхивайте ваши ботинки и туфли, в них любят спать скорпионы». Я не знал, сплю ли я с открытым ртом, но ящерица мне в рот не попала.

Зато один скорпион мне в ботинок ночью залез, и мне пришлось его убить. После этого необычного вступления последовал час коктейля, и бармен по имени Мигель готовил нам замечательные «маргаритас», в результате чего все пришли в хорошее настроение, а ужин, действительно, оказался превосходным.

Еще одно добавление: собаки на вилле не было, их в Мексике не очень жалуют, но было зато два попугая, один добрый по кличке Лоренцо, другой – злой и крикливый Панчо Пистолас. Его крик будил даже одного глухого старичка, мужа студентки. Он просыпался и кричал: «Шот ап» (заткнись)!

Занятия мои заключались в том, что на нескольких автомобилях мы ездили в близлежащие маленькие городки писать пейзажи. Одним из них был городок Каюка, в миле от виллы. Почему-то мне вспомнились иллюстрации русских художников, изображавших русские захолустные городки.

И вот пример: на главной улице Каюка в луже с наслаждением купалась свинья, правда, черная, а не розовая. А весь город состоял из большого собора, базара и нескольких служебных зданий, за которыми шли маленькие домишки. Одно здание привлекло мое внимание. Над дверью висела вывеска «Медико», то есть это врачебный кабинет. Но рядом на стене красовалось изображение Мадонны с младенцем Иисусом.

Иными словами знай – если врач не может тебе помочь, всегда есть помощь свыше. Главной достопримечательностью города была мелководная речка, где местные жительницы стирали белье, стоя по колено в воде. Повсюду торчали высокие жерди с протянутыми между ними веревками, на которых сушилось белье.

Студенты с удовольствием рисовали это пестрое зрелище. Мы ездили также в одну маленькую рыбацкую деревушку рисовать лодки, мне потом рассказали о таком мною не замеченном происшествии: супружеская пара, туристы из Аргентины, с большим лохматым псом смотрели, как мы рисуем. К ним подошел один местный житель, мексиканец, и спросил, не продадут ли они ему их пса? Нет, ответили они, но почему вы хотели бы купить? Чтобы его съесть, он такой толстый, ответил мексиканец.

Аргентинцы пришли в ужас и быстро ушли подальше. Да, мексиканцы, как и китайцы, едят собак. В пятницу под вечер, к концу семинара, я рассказал моим студентам о том, что у моей нью-йоркской студентки как-то украли ее картину, повешенную ею в вестибюле ее дома, я успокоил ее, сказав, что кража картины художника – это комплимент его творчеству, она понравилась вору.

Студенты рассмеялись и сказали, что запомнят эту мысль И вот, когда в субботу я паковал свой чемодан, я обнаружил, что несколько моих акварелей, сделанных в течение недели, исчезли. Я работал вместе с моими студентами и брал с собой на память наиболее удачные этюды.

Что ж, я сам подал мысль сделать мне комплимент и получил его. На будущих моих семинарах я эту историю не рассказывал.

Маргарита Кайдун

США



В Мехико

Мехико огромен и по территории, и по количеству жителей – 22 миллиона, согласитесь, не мало. Высота над уровнем моря больше 3000 метров. А значит, скажите «привет» как минимум головокружению в первые 12-24 часа в городе. Если Вы слышали о литосферных плитах, то можете представить, что Мексика расположена сразу на трех. Т.е. это самое опасно расположенное государство в плане землетрясений и вулканических извержений.



Plaza de la Constitución, Zócalo, на заднем плане снежные вершины вулкана Истаксиуатль. На площади находится Президентский дворец, кафедральный собор, бывшее здание мерии и развалины дворца Монтесумы. Флаг каждый вечер церемониально снимают и утром вешают

И столица как раз в центре возможных вулканических катастроф. Я немного позанималась «нососовательством» в разные архитектурные трюки и пришла к выводу, что архитекторы города гениальные. Вдаваться в подробности не стану. Думаю, что можно найти информацию в нете.



Солдаты заносят флаг в Президентский дворец

Каждый район этого мегаполиса имеет свои свойственные только этому району энергию, архитектуру, запахи, настроение, пожалуй, даже цветовую гамму. В Мехико от 150 до 200 музеев. Наш гид называл цифру 200. Это Мекка для любителей «taco» и соуса «mole sauce», до которого я большая любительница.

Говорят, насчитывается больше 270 видов taco. Есть гениально сконструированное метро, двухэтажные комфортабельные автобусы – «double-deckers», чем-то похожие на лондонские, только больше и с отделом для женщин. Масса парков. В Мексике, в том числе и в столице, бесплатное образование и медицина. О качестве не говорю, не знаю. Город чистенький, несмотря на свои 22 миллиона жителей. Есть «Uber». Цены на «Uber», гостиницы и рестораны в 2 раза ниже, чем в Штатах, а качество в 2 раза выше.



Народу масса, и на каждом углу «шаманят» шаманы в живописных одеяниях. Деньги за «шаманство» не берут. Если просят, значит это не шаман, а местный паяц.

Дороги в городе прекрасные. На основных улицах – шестирядное одностороннее движение. Представляете!? Обычно такое количество рядов можно увидеть (не часто) только на американских или китайских хайвеях. В дополнение к разделительным стандартным покрашенным полосам на дорогах установлены такие веселенько-голубенькие мигающие лампочки, такие же в местах, где авто должны останавливаться на красный свет.

Что касается жителей самого населенного города в мире... Бросаются в глаза две разные человеко-породы. Одна часть, я предполагаю, наследники испанских/ австрийских/ французских колонизаторов и другие – потомки местных индейских племен. У наследников европейских колонизаторов встречаются невероятно породисто-прекрасные лица. Масса красивых женщин.

Чернокожих я не видела, черных рабов сюда не завозили, во времена майя и ацтеков рабами были завоеванные племена, а во времена испанского правления рабами стали выжившие индейцы. Но как и везде есть китайцы и даже есть China Town с традиционной пагодой-воротами и китайскими фонариками вдоль улиц.

Архитектурные стили самые разнообразные, благодаря или вопреки периодическим землетрясениям и богатейшей культуре: от Мексиканского барокко до арт-деко, неоклассики и футуризма. Меня,

честно говоря, такое разнообразие стилей повергло в культурный шок. Город впитал в себя культуру древних майя (2000 лет до рождения Христа все-таки срок – согласитесь!), пришедших им на смену ацтеков.

Испанские завоеватели оставили величественные церкви и принесли с собою 800-летнюю культуру османов, которая отразилась и в строительстве зданий и храмов. «Семисрочный» президент Порфирио Диас обожал французскую культуру и архитектуру. Благодаря ему, в городе были сооружены прекрасные виллы, которые пережили несколько землетрясений и продолжают «радовать глаз».

Во времена императора Максимилиана «разбили» Императорский бульвар (Paseo de la Reforma – нынешнее название)– копия Елисейских полей, правда с пальмами и другой центральноамериканской экзотической флорой, но от этого бульвар не менее красив, а скорее, даже более величественен. С приходом темноты бульвар подсвечивается фонариками, которые каждую минуту меняют цвет. Название бульвара менялось раза четыре-пять.

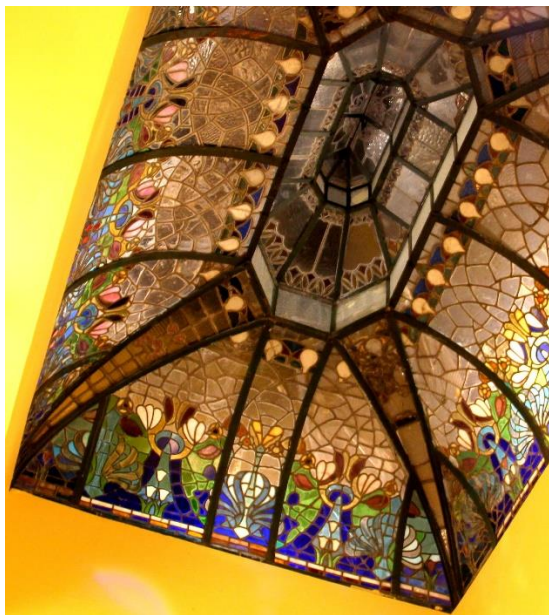
Вдоль бульвара возведена масса памятников всевозможным историческим фигурам, там же построены самые высокие небоскребы. Вот там мы и «раскинули свой временный шатер». Футуристический стиль представлен в странном здании арт-музея Soumaya. Здание обложено 16 тысячами зеркальных стальных шестиугольников. Постройку здания профинансировал самый богатый человек в мире Карлос Слим, живущий в районе Поланко в Мехико. У него самая большая в мире коллекция скульптур Родена.

Музей назван именем его последней жены. Слим имеет монополию на телефонную связь в Мексике. Поланко – район, где живут местные миллионеры. Спокойно, скучно и солидно. Но зато в этом районе парочка вполне достойных мексиканских ресторанов. О ресторанах позже. Мексиканская кухня Мехико, а не вообще мексиканская, к которой мы привыкли в Штатах или Канаде, стоит того, чтобы о ней поговорить отдельно.

В районе Соуаосап – радушном и уютном, мы почти мирно проследовали мимо музея Леона Троцкого (Бронштейна), одного из самых жестоких и харизматичных монстров из плеяды кровавых мальчиков, играющих в «русскую» революцию.

Здание полностью выкрашено в кроваво-красный цвет. Ни одного посетителя. В минутах 10 ходьбы Каса Азул (Casa Azul) – дом-музей Фриды Kahlo. Дом лазурно-кобальтового цвета. Фрида родилась, жила

и умерла в этом доме. К ней – часовая очередь, народ стоит под палящим солнцем.



Как удивительно, что страна чтит и чужеродных монстров (знают ли устроители музея всю историю Троцкого или только его модно-идиотичные теории?), и своих гениев.

Храм искусства и музей массового убийцы. Кстати, Троцкий жил в доме Фриды целых 2 года и был ее любовником.

Так она мстила своему мужу, жадному до женской плоти, талантливому художнику, коммунисту и уродцу Диего Ривере. В Соуаоасап масса парков, сквериков, фонтанов, подоконников еще с испанских времен, украшенных цветами, небольших уютных церквушек непередаваемой красоты, ультрасовременных, но совершенно неагрессивных независимых галерей и кафе с французским флером, традиционных мексиканских ресторанчиков. Кружить по улочкам можно бесконечно и также бесконечно удивляться тишайшей красоте этого района.

Район San Angelo знаменит опять-таки своими ресторанами, уютными виллами и субботними посиделками местной богемы – художников, скульпторов, ювелиров. Были ли вы на Андреевском спуске в Киеве? Если не были, «то поезжайте в Киев и спросите»

(Паниковского помните!?). В San Angelo атмосфера удивительная. Иноземных туристов почти нет, так же как, впрочем, и во всем городе. В основном туристы свои – «периферия».



Я вела переговоры с местным невероятно талантливым скульптором. Работы его настолько оригинальны, что я никак не могла понять, они мне нравятся или я их терпеть не могу.

Не знаю, как раньше, но сейчас город, на мой взгляд, рай для любителей вкусно и оригинально поесть, т.е. для таких как я «foodies». А теперь о тако и моле. Тако, говорят, появилось лет 300 назад на серебряных рудниках в Мексике. Его называют «музыкой для души». Вот только нужно найти свой тако. Тако продают везде и на улицах с частных ларьков и лотков, и в самых лучших ресторанах города. Ароматные, приготовленные из свежемолотой кукурузной муки лепешки-тортия с 270-тью вариантами начинок. Хорошее тако — это начинка, салса и лепешка. Каждый кусочек — это вкусовое шоу во рту. Побольше напишу в следующий раз.

Часть 11.

Детский Альбом



Николай Акимов. Ольга Антонова

Олег Лузанов

Курск, Россия

Дед Мороз

В обычной квартире жил да был самый обычный мальчик. Хотя не такой уж и обычный. Во-первых, он был уже почти взрослый – четыре года. Согласитесь, солидный возраст. Мальчик даже начинал о невесте подумывать, тем более что была одна на примете: он с ней рядом на утреннике сидел и даже в танце за руки держал, когда парами кружились. Во-вторых, мальчик занимался ответственным делом – посещал детский сад. И ведь как посещал – профессионально ходил, не капризничал и строго по положенным дням. И не просто так, чтобы отметить, вовсе нет, он ведь и кашу ел, и кисель, и спать после обеда ложился. Поэтому мальчик был очень ловкий и сильный. Это в-третьих. Оно ведь всегда так, кто кашу ест и не капризничает, всегда будет сильнее того, кто от каши отказывается и плакса.

Мальчика звали Ваня. Не Ванюша или Ванечка, а Ваня. Ну, ещё Иван Александрович. Это дедушка так называл иногда, когда какой-нибудь серьёзный вопрос обсуждали. Вот например, недавно затеяли разговор.

– Зачем мне этот Дед Мороз? – первый начал Ваня, когда разбросав игрушки по полу, построив и разломав башню из разноцветных соединяющихся деталей, нарисовав в альбоме синим карандашом динозавра с длинной шеей и рыбу с длинным хвостом, причём и шея и хвост многократно и странными спиралями окружали похожие круглые тела так, что фигуры скорее напоминали посиневших от холода осьминогов, стоял и раздумывал, что лучше, мяч зафутболить в коридор или пазл собрать.

– Он же снова игрушки будет дарить, – продолжал Ваня. – А куда мне? Их вон сколько.

И мальчик широким движением рукой обвёл комнату. Действительно, игрушек было очень много, почти как в магазине. Здесь были и роботы, и машинки, и самолёты, и целые стада очень похожих на настоящих разнообразных животных, кубики, пистолеты, мячи... Что тут говорить об огромном количестве динозавров: разного размера и цвета, шевелящихся и нет, умеющих говорить и молчаливо

раскрывающих зубастые пасти. К динозаврам Ваня испытывал особую любовь и каждого знал по имени. Этот стегозавр, этот паразауролоф, тот диплодок. Паренёк легко отличал трицератопса от анкилозавра, вот он был какой образованный. А если открыть дверцы шкафов, на полках рядами стояли разноцветные с красивыми картинками книжки.

– А ты думаешь, что Дед Мороз подарит тебе игрушки? – поинтересовался дедушка, который сидел на диване и отдыхал после игры в догонялки.

Ваня повернулся и задумчиво посмотрел на деда, но ничего не ответил.

– Может быть, к тебе Дед Мороз совсем не придёт, – не унимался дедушка, намекая, что мальчик иногда, мягко говоря, не очень слушался и шалил больше, чем было нужно.

– Я вообще-то и не хочу, чтобы он приходил, – заявил Иван Александрович.

Что он думал в этот момент, дедушка, конечно, не мог знать. То ли побаивался, что Дед Мороз за непослушание мог немного заморозить, то ли опасался, что всем расскажет, кто люстру в большой комнате разбил, то ли ещё какая-то мыслишка была.

Последний раз, на прошлый Новый год, уж очень пристально взглядывался Ваня в костюм и фигуру Деда Мороза. И хотя парнишка на всякий случай залез на руки к маме и даже лицо спрятал у неё в волосах, но оттуда всё же выглядывал любопытным голубым глазом и потрогал-таки волшебный посох, когда Дед Мороз подошёл чуть ближе, стараясь услышать приготовленное для этой встречи стихотворение про ёлочку и зайчика. Стихотворение Ваня ему рассказывать не стал и всё присматривался, как шапка надета и откуда борода растёт. Странная такая борода, неестественно белая и густая, у других дедушек Ваня такой не видел.

Как бы то ни было, но в положенное время родители украсили большую пушистую ёлку, которую принёс и установил папа. Ваня тоже помогал, не мог же он оставаться в стороне, когда столько красивых шариков должны были занять свои места на иглоках душистой ёлочки. Когда погасили свет и включили гирлянду, Ваня даже запрыгал, хлопая в ладоши – до того ему понравилась переливающаяся разноцветными огнями, многократно отражёнными серебристыми нитями дождика и шарами, ёлка. В комнате сразу всё изменилось, словно все оказались в сказочной пещере со множеством сокровищ и тайн. У Вани тут же улучшилось настроение, хотя оно у

него и так было хорошее, но в волшебной комнате хотелось быть намного лучше, чем он был до этого.

Целых два дня Ваня вёл себя образцово: играл в спокойные игры, рисовал или рассматривал книжки. Читать мальчик тоже умел, все буквы. Однажды он переспорил дедушку, который указывал на нарисованного леопарда и говорил, что это пантера:

– Какая же это пантера, если это леопард, – горячился юный знаток природы.

– Самая настоящая пантера, – убеждал дедушка. – Вот смотри, что написано. Пэ, а, эн, тэ...

Дедушка забыл надеть очки и водил пальцем по буквам под рисунком, подслеповато прищуриваясь.

– Как же это может быть пантера, если здесь ле-о-пард, – возмущался дедом внук и начал называть, – Лэ, е, о...

И ведь верно, присмотревшись, дед признал правоту: паренёк – то буквы называл точно. В споре победила дружба, старый и малый сошлись на том, что и леопард похож на пантеру, и пантера – это леопард, только другой окраски.

Сам праздник Нового года Ване в этот раз почти понравился: в детском саду все вместе принимали участие в утреннике, надели костюмы, танцевали, играли в игры, которые затеяли Белочка, Снегурочка и Дракоша. Правда, Ваня видел, что это тётеньки такие, но было интересно. А вот Дед Мороз огорчил, это тоже оказалась тётенька. Она старалась говорить низким голосом и ходить вразвалочку, словно медведь, но это было сначала неожиданно, а потом очень смешно. Такого Деда Мороза Ваня совсем не боялся, он же не волшебник и борода, вон, чуть не соскочила, когда тётенька-Дед крикнула: «Ёлочка гори!» – и взмахнула руками, от чего борода сдвинулась на бок, открыв гладкую щёку.

– Понарошечный какой-то этот дед, – подумал Ваня.

Но зато ёлка, огни, веселье – всё было настоящее.

Через несколько дней, после обеда, когда вся семья находилась дома, в домофон позвонили.

– Наверное, Дед Мороз пришёл, – с улыбкой сказал папа и пошёл открывать дверь.

Все собрались в коридоре, ожидая того, кто должен появиться. Наконец, прожужжал лифт и в открытую дверь вошёл Дед Мороз. Ваня стоял ближе всех и лучше всех видел. Вот это был Дед. Ростом выше папы, в красной шубе, в красной же шапке, с красным мешком. Он был о-очень большой и от него веяло морозом, как будто дверь на балкон

открыли. Это точно была не тётенька. Ваня, раскрыв глаза и шаря взглядом по всей фигуре вошедшего, старался разглядеть все подробности: как борода прикреплена, какие на нём ботинки, какие брюки. Но ничего не заметил, ни резинки, ни верёвочки, и брюки были из бархатистого красного материала, и красные сапоги с загнутыми носками переливались узорами. Когда Дед Мороз шёл, на каждый его шаг раздавался звук, словно... Ваня слышал такой звук, когда взрослые за столом поздравляли друг друга, соединяя фужеры с напитками.

– Здравствуйте, – густым басом сказал Дед Мороз, из-под густых бровей оглядывая всю семью и чуть дольше задержав взгляд на мальчике.

– Здравствуй, Дедушка Мороз, – хором ответили взрослые.

Ваня молчал, он думал.

– Здравствуй, мальчик... Ваня, – с расстановкой проговорил Дед Мороз, обращаясь к пареньку.

Но Ваня снова не ответил.

– Давайте пройдем в комнату, – решила разрядить обстановку бабушка, – сядем, Ваня стишок расскажет.

– Ваня, поздоровайся с Дедом Морозом, – подтолкнула сына мама, – он же к тебе пришёл.

– Отчего же, – пророкотал Дед Мороз, – я ко всем. Праздник ведь для всех, и для маленьких, и для больших.

И в этот момент Ваня решил, он шагнул вперёд и сильно дёрнул Деда Мороза за бороду. Ему подумалось, что лучше сразу понять, кто перед ним.

– Ох, ах, а, – вскрикнули все вместе, а громче всех Дед Мороз, борода которого вовсе не собиралась отрываться.

Ваня тоже почувствовал, что с бородой что-то не то и дёрнул ещё раз.

– Ваня, прекрати, – Дед Мороз придержал парнишку, который собирался оторвать волосяной покров с его лица, – не нужно, борода настоящая. И я тоже настоящий.

Паренёк отпустил белые пряди и отступил, недоумённо хлопая глазами. Надо заметить, что и взрослые озадачились.

– Вот это да, – проговорил папа, ни к кому не обращаясь, но как инженер с большим опытом, понимающий, что усилий сына должно было хватить на любую артистическую бороду, как бы крепко её ни привязывали или приклеивали. – Настоящая?

Дед Мороз посмотрел на него с хитринкой:

– А ты, Саша, как я помню, не очень-то в меня верил, даже когда маленьким был. Куда вы тут приглашали пройти, что мы всё в коридоре?

И первым прошагал в комнату мимо опешивших взрослых.

– Ну, что делать с вами будем? – усевшись на диван, обратился сразу ко всем волшебник.

– Мы договаривались... в фирме..., – робко начала мама.

– В фирме? Хорошо. Не буду спорить, давайте по очереди. Вам так проще будет, – остановил её взмахом руки Дед Мороз. – И вот что, ты, Катя, не волнуйся. А ведь ты в меня долго верила, хотя и побаивалась.

Мороз встал и начал стаскивать рукавицу, а на оголившейся ладони вырастал большой хрустальный шар с маленькой деревней внутри.

– Да, у меня был такой, – улыбнулась мама, – только маленький.

– Это тебе, – протянул шар волшебник. – Возьми двумя руками.

Мама Катя приняла подарок и словно засветилась от удовольствия.

– Это шар хорошего настроения, пока он с тобой...

– Всем моим любимым всегда будет радостно, – закончила Катя.

Ваня почувствовал, как от шара теплый ветерок начал поглаживать лицо и шею, как летом, и даже цветами запахло.

– Саша, подойди, – Дед Мороз вытянул руку ладонью вниз.

Папа шагнул вперёд и протянул свою, тоже ладонью вниз. Когда руки соприкоснулись у Александра на руке оказался темный гладкий браслет.

– Браслет правильных знаний, – пояснил волшебник в ответ на вопросительный взгляд. – Ты сможешь понимать, как сделать, чтобы было правильно. Но никогда не доказывай ничего тем, кто не хочет тебя слышать.

Ваня протянул руку, коснулся темного ободка и вдруг понял, как починить оторванную ногу у сломанного робота.

– Теперь с вами, – волшебник повернулся к оцепеневшим с растерянными улыбками дедушке и бабушке. – Что, не думали, что доведётся свидеться?

Дед Мороз засунул руку себе в рукав шубы и достал сначала зеркальце и затем расчёску.

– Смотрите в зеркало и расчёсывайте волосы перед сном. И обязательно сидя с прямой спиной. Можете по очереди. Кто первый, а кто второй – значения не имеет. А эффект... узнаете, – волшебник подмигнул.

Ваня удивился, потому что увидел, как дедушка тоже подмигнул, но бабушке, а бабушке опустила глаза и слегка покраснела:

– Спасибо, – с лёгкой улыбкой поблагодарила она и прижала подарок к груди.

– Теперь самое трудное, – Мороз снова сел на диван и посмотрел на мальчика. – Подойдешь?

Ваня смело приблизился и выжидательно смотрел на Деда Мороза.

– Значит, тебе игрушек не нужно?

– Нет, у меня много, пусть другим детям будут, кто хочет.

– Так, это я понял, – кивнул волшебник. – А что же ты хочешь?

Мальчик растерялся от такого прямого вопроса. Чуть нахмурился, стараясь вспомнить свои желания, но оказалось, что особо и желать-то нечего, родители и дедушка с бабушкой делали и давали всё, что он хотел. Ваня обернулся и увидел, что взрослые внимательно смотрят на него, ожидая его ответственного и самостоятельного решения, может быть самого важного в жизни: мама с шаром хорошего настроения, папа, поглаживающий браслет знаний, дедушка и бабушка – все с улыбками и теплотой во взглядах.

– А можно, чтобы было, как во сне? – решил мальчик.

– Давай попробуем, – провёл рукой по его голове Дед Мороз. – Это ты про какой?

– Который тот, где у меня было два сердца, – чётко проговорил Ваня. Дед Мороз ещё несколько раз провёл по его голове:

– О, никогда не встречал такого. Так ты желаешь...

– Мне снилось, что мама подарила мне своё сердце, а я ей своё. Пусть у меня будет два сердца. Когда моей маме или папе будет нужно, я одно сердце выну и им отдам.

В комнате стало так тихо, что, казалось, было слышно, как падает снег в хрустальном шаре.

– Ваня, сыночек, – бросилась обниматься мама.

– Внучек, – потянулась к глазам смахнуть влагу бабушка.

– Вот парень даёт, – переглянулись мужчины.

– Что ж, мне пора, – Дед Мороз встал, тряхнув колокольчиками на засветившимся на верхушке посохом, повернулся так, чтобы полы шубы на мгновение укрыли Ваню всего, шагнул в дверной проём и исчез.

В том месте, где он растаял, в воздухе оседала сверкающая пыльца, закручиваясь в небольшую воронку. Сильно запахло хвоей, мандаринами и ещё чем-то... сказочным.

Ваня побежал в коридор, чтобы найти волшебника там.

– Здравствуйте, – от лифта к двери уверенно подходил Дед Мороз.

Всё как положено: шуба синяя, шапка синяя в звёздах, посох, борода, сапоги зимние, мешок с подарками и брюки... тёмно-коричневые, обычные.

Александр Ралот

Краснодар, Россия



Сказка-загадка

Сделайте милость, доставьте мне все книги этого автора

– Хочу ещё! Сделайте милость доставьте мне все книги этого автора. Приключения этой маленькой девочки приводят меня в полный восторг!

Просьбу монаршей особы исполнили незамедлительно. Уже через несколько часов она держала в руках «Алгебраический разбор пятой книги Евклида», «Конспекты по алгебраической планиметрии», «Элементарное руководство по теории детерминантов» и «Математические курьёзы».

– Как такое может быть? Разве он не детский писатель? – Владычица вчитывалась в стройный ряд формул и ничего не понимала.

– Именно так, моя королева, – согласился с ней старый камердинер. – Не только в нашей стране, но и в других странах, где английский язык является государственным, сказки, вышедшие из-под его пера занимают третье место среди наиболее популярных книг.

– Странно, – королева взвешивала на руках толстенный фолиант. – А кто же тогда занимает первое и второе место?

– Библия, – ваше величество, а также произведения артиста и драматурга Шекспира.

– Странно! А почему я не видела его сказок раньше? Вы что, не считали книги этого автора достойными моих глаз?

– Конечно же, нет. Всё дело в том, что господин автор потребовал уничтожить весь оксфордский тираж «Чудес». Ему ужасно не понравилось качество издания.



– Надо же! Какой принципиальный! Немедленно расскажите мне о нём все подробности. Чем он вообще зарабатывает себе на жизнь? Неужели сочинением произведений для маленьких деток? Разве гонораров от этого занятия хватает на достойную жизнь в моей стране?

Камердинер замешкался. Стоял и молчал, не зная, с чего начать.

– Ну, чего же вы стоите, словно соляной столб! Не заставляйте вашу королеву ждать! Излагайте, что знаете!

– В таком случае, позвольте мне начать издалека. Так как судьба этого человека чрезвычайно необычна. Впрочем, как и всякого простого гения, живущего в вашем государстве. Он обитает в небольшом доме с башенками. Очень похожем на игрушечный замок. Слышит плохо. Только одним ухом. Поэтому всегда поворачивается к говорящему боку. Сам же при разговоре сильно заикается. Однако, несмотря на всё это, регулярно читает лекции. Работает чрезвычайно много. Его друзья утверждают, что писатель поднимается с первой зарей и сразу садится за письменный стол.

– Без традиционной овсянки и без чая? Это форменное безобразие, – перебила слугу королева.

– Чтобы не отвлекаться от работы, он почти ничего не ест. Даже днем. Выпивает один стакан хереса. Закусывает печеньем и снова спешит к перу и бумаге.

– Скажите, – Виктория ткнула пальцем в обложку книги. – Это его настоящие имя и фамилия или литературный псевдоним? По последней моде?

– Ваше величество, вы как всегда проницательны! Свой псевдоним автор книги сотворил следующим образом. Однажды взял да и написал по-латыни своё настоящее имя Чарльз Лютвидж, а уже затем то, что получилось, переписал с помощью английского алфавита. С тех пор и подписывает собственные сказки, именно так. А настоящее имя указывает только в научных трудах.

– Немедленно пошлите приглашение ему и его счастливой супруге. Пусть незамедлительно посетят мой дворец!

Камердинер поклонился, но не ушёл.

– Чего же вы стоите, как истукан! Ступайте же! Исполняйте!

Слуга склонил голову в поклоне. – Писатель, насколько мне известно, не женат.

– Как это? Не может быть! Вернее, я не то хотела сказать. Мы просто обязаны подыскать такому человеку достойную пару. Осчастливить творца.

– Увы. Осмелюсь доложить, что это не возможно. Он принял духовный сан и стал диаконом англиканской церкви. Кроме того, писатель свято чтит устав оксфордского колледжа Крайст-Чёрч, один из пунктов которого запрещает жениться.

– Но он же пишет в своей книге о девочке, как о родной дочке. Не правда ли? Значит, в его жизни было что-то такое?

– У его друга, Генри Лидделла, есть наследницы – Алиса, Лорина и Этит. Вполне возможно, что одна из них могла бы со временем стать супругой писателя, приняв его руку и сердце. Люди говорят, что его маленькая героиня имеет реальный прототип. Вообще с детьми он находит общий язык много быстрее, чем со взрослыми.

На этом, мой дорогой читатель, я вынужден прервать диалог английской королевы со своим камердинером. А всё потому, что тебе и так уже ясно, о каком именно писателе идёт речь. А ежели нет, то подсказка вон там, наверху. В знаменитой на весь мир картинке.

Евгений Ушан

Одесса, Украина

Звездный котенок

Он дрожал, забравшись на трубу.
Был он очень маленький и рыжий,
Только с белым пятнышком на лбу.
Стал найденыш жить у нас в прихожей:
Всех встречает, ластится ко всем —
На котят обычных так похожий,
Только не котенок он совсем.
Он пришелец звездный, это точно.
Прибыл из галактики иной,
А на крыше ждал меня нарочно,
Чтобы познакомиться со мной.
И пускай смеются мама с папой,
Что пришелец мой обычный кот —
Мы еще поднимемся по трапу
В голубой огромный звездолет.
Я скафандр надену серебристый,
Доложу Земле: — В полет готов!
И помчусь со штурманом пушистым
На планету кошек и котов.
А пока мы в прятки с ним играем,
Вечером мечтаем у окна,
И в глазах котенка чуть мерцают
Блестки звезд и рыжая луна.

Часть 12.

Юмор



Николай Акимов. Портрет дирижера оркестра

Александр Матлин

Нью-Йорк, США

Войти в реку времени

Странные шутки, господа, преподносит нам старость. По какой-то мистической причине, чем старше мы становимся, тем чаще воспоминания уносят нас в далёкую, давно исчезнувшую молодость. Мы начинаем с умилением вспоминать те события и тех людей, которые всю предыдущую жизнь нас совершенно не интересовали. И чем дальше, тем ярче и сочнее становятся эти бессмысленные воспоминания. До тех пор, когда память замирает, угасает и уже не хранит более не только событий прошедшей жизни, но и собственного имени. Похоже, что Всевышний напоследок одаряет наш мозг радостью перед тем, как его убить. Как последнее сладкое угощение перед казнью.

Не так давно, без всякой на то причины, вдруг явилась мне в воспоминаниях любовь моей ранней молодости, девушка по имени Фаня. Было нам тогда по семнадцать лет, и любовь, как положено, бушевала с необузданной страстью, с клятвами, слезами, учащенным сердцебиением и многочасовыми выяснениями отношений. В общем – любовь – как любовь, ничего оригинального. А может, и страсти никакой не было, а была просто незрелая, бурлящая гормонами юность. Роман этот кончился довольно быстро, как только на горизонте появилась новая мишень страсти. И с тех пор я никогда не видел Фаню и ничего про неё не знал.

Но вот сейчас Фаня мелькнула у меня в воспоминаниях и тут же исчезла. И я бы не стал об этом говорить, если бы вскоре не случилось удивительное и настолько маловероятное событие, что его можно приравнять к чуду.

Заключалось оно в том, что мой друг детства Боб прислал мне имейл. На самом деле он, конечно, не Боб, а просто Боря Шапиро. Друг не только детства, но и юности, того самого времени, когда у меня был роман с Фаней, а у него – с её подругой, и нашей самой большой радостью было танцевать танго и фокстрот под патефон у кого-нибудь дома, если, по счастью, родители уходили в театр. Так вот, Боб, копаясь от старческого любопытства в интернете, находит и присылает мне

нечто такое, от чего у меня перехватывает дыхание. Это нечто есть выдержка из московской телефонной книги, всего одна строчка, в которой обозначены фамилия, имя и отчество моей бывшей подруги Фани. Там же с хамской бестактностью указана дата её рождения, которую я помню, и прилагаются её адрес и номер телефона. Не иначе, как моё случайно вспыхнувшее воспоминание о Фане породило этот космический феномен.

Судите сами. Какова вероятность того, что Фаня живёт на этом свете? Маленькая. До нашего возраста доживают немногие, особенно в России. Впрочем, какова вероятность того, что она живёт в России? Ещё меньше. Фаня еврейка, а большинство евреев покинули свою тошнотворную родину и переселились кто куда мог. И, наконец, какова вероятность того, что Фаня, добравшись до восьмидесяти с хорошим довеском, не только живёт на свете, и не только живёт в России, но ещё и носит свою девичью фамилию, под которой она делила со мной отроческую любовь? Тут уж эта искомая вероятность настолько приближается к нулю, что её даже противно принимать всерьёз.

И вот, представьте, я узнаю, что Фаня жива и живёт в Москве под своей девственной фамилией, и меня парализует шок. Что бы вы сделали на моём месте, дорогой читатель? Ну, хорошо, наверно, приняли бы валиум или что-нибудь такое же успокаивающее, а что дальше?

А дальше вот что: у меня появляется зудящее желание позвонить Фане. Конечно, я подсознательно понимаю, что на самом деле я хочу позвонить не ей, а в свою далёкую, полузабытую юность. Несколько дней я пытаюсь сочинить первую фразу и, наконец, так и не придумав ничего сногшибательного, набираю московский номер телефона.

– Слушаю – отвечает низкий старушечий голос, и меня охватывает озноб.

– Фаина Моисеевна? – говорю я сдавленным голосом.

– Ну да, это я, а что? – В её голосе звучит недовольство.

– Вы знаете, кто с вами говорит?

– Интересно, откуда я могу это знать? Я что, по-вашему, должна знать все голоса в Москве? Вот, прямо, народ какой пошёл. Сами звонят и сами ещё спрашивают, кто звонит. Если скажете, кто звонит, тогда я, может, буду знать, кто звонит. А так – откуда я могу знать, кто звонит?

Дождавшись окончания монолога, я говорю:

– Фаина Моисеевна, это ваш старый знакомый. Пожалуйста, не удивляйтесь и не вешайте трубку.

Я называю себя по имени-фамилии и делаю паузу.

– Фаня, ты меня помнишь?



– А чего, конечно, помню – говорит Фаня, не проявляя эмоций. – Как не помнить. Ты моя первая любовь. Как сейчас помню, мы встречались на Гоголевском бульваре. Ты носил серое пальто, перелицованное из какой-то старой шинели. А у меня была меховая шапочка с красным бантиком, которая тебе очень нравилась. А ты чего звонишь? Может, хочешь зайти?

– Фаня, – говорю я, – мы с тобой не виделись и ничего не знали друг о друге больше шестидесяти лет. Расскажи мне, как ты прожила жизнь.

– А чего рассказывать? Как жила, так и живу. Квартира есть. Пенсия есть. Внуков нет, и не надо. На кой они нужны, только кормить их и убирать за ними. Где ты взял мой телефон?

– Твой телефон нашёл наш общий друг Боб Шапиро. Помнишь Боба? Он жив, здоров, живёт в Израиле, у него двое детей и четыре внука. Мы с ним часто говорим по Скайпу. В прошлом году мы с женой были у него в Израиле.

– Конечно, помню – говорит Фаня. – Сволочь он, твой Боб. Можешь не передавать ему привет. Он всегда лез ко мне под юбку, когда ты не видел.

– Подумать только! – удивляюсь я. – Что он там потерял?

– Откуда я знаю? Это ты у него спроси. Да он уж и сам, небось, теперь не помнит, зачем лез. А ещё у вас был третий друг, Толя, кажется. Или Гена.

– Правильно. Его звали Лёва. Он умер пять лет назад.

– Тоже сволочь порядочная – говорит Фаня.

– Что, тоже под юбку лез?

– Конечно. Куда ему ещё лазить?

– Странно. А где был я в то время, когда они к тебе под юбку лазили?

– А ты выходил в коридор позвонить своей маме и сказать, что придёшь домой поздно, так как у тебя много уроков задано на завтра.

– Фаня, неужели ты помнишь мою маму?

– Ну, вот ещё. Нет, конечно. Я и свою-то маму с трудом вспоминаю. Сволочь она была. Меня к тебе на свидание после восьми вечера не пускала. А сама, как только отец уедет в командировку, так хвост трубой и бегаёт до ночи чёрт знает где. Но это даже неплохо было: тогда ко мне приходил ты со своими друзьями, и мы устраивали танцы. Моя любимая пластинка была «Я помню лунную рапсодию». Помнишь?

– Конечно. Лещенко пел. Или Вадим Козин.

– Я помню лунную рапсо-о-о-одию – пар-рам-пам-пам – и соловьиную мело-о-о-одию, – запела Фаня фальшиво, но с придыханием. Дальше она, к счастью, не помнила слов.

– Фаня, – говорю я. – у тебя, кажется, был брат. Он жив?

– Он сволочь, – мрачно говорит Фаня.

– Почему?

– Потому что сволочь. А ещё брат называется.

– Понятно. Ты замужем?

– Была когда-то. Но это был неудачный брак. Мой муж оказался большая сволочь. О семье не заботился, а только и думал, как бы кого на стороне трахнуть. Лучше бы я за тебя вышла. Хотя, ты тоже, небось, хорош...

– Почему ты так думаешь? – обижаюсь я.

– Что ж я, не знаю, что ли? Все вы одинаковые. Ну ладно. Расскажи о себе что-нибудь.

– Окей, – говорю я с готовностью. – Я женат уже шестьдесят лет. У нас две взрослые дочери и три...

– У меня тоже взрослая дочь, – говорит Фаня. – Сволочь она.

– Как? И дочь тоже сволочь?



– Конечно. А кто же она ещё? Мать сидит одна в своей конуре, сама должна убираться, таскать продукты из магазина, по врачам ездить, а она даже не побеспокоится хотя бы позвонить и узнать, жива ли мать. Ну, не сволочь ли?

– Фаня, – говорю я с максимально возможной деликатностью, – у тебя что, все сволочи?

– Конечно, – соглашается Фаня. – И ты тоже сволочь. Звонишь раз в шестьдесят лет. Я уж о себе не говорю, я знаю, что тебе на меня наплевать. Но хоть бы раз поинтересовался, как поживает твоя дочь.

– О чём ты говоришь, Фаня?

– Сам знаешь, о чём. От кого, ты думаешь, у меня дочка? От тебя.

У меня спина покрывается ледяным потом. На несколько секунд я перестаю соображать. Наконец, я беру себя в руки и говорю, стараясь не выдавать шока:

– Фаня, ты что-то путаешь. Как твоя дочка может быть от меня? У нас с тобой даже секса не было.

– Был, конечно. Ты, наверно, забыл.

– Я ничего не забыл. Не было никакого секса. Ты всё время говорила: вот поженимся, тогда...

– Был, был секс, – убеждённо сказала Фаня. Ты просто не заметил.

– Подожди. В каком году родилась твоя дочь?

– Ну, в шестьдесят втором. Какое это имеет значение?

Я вздыхаю с облегчением.

– Такое, что мы с тобой последний раз виделись в пятьдесят седьмом году. На Гоголевском бульваре. Я тебе сообщил, что женился. Даже паспорт показал. И ты поносила меня последними словами. А потом

расплакалась, и мы расстались. И больше никогда не виделись. Ты помнишь это?

– Да, припоминаю, было что-то такое – говорит Фаня задумавшись.
– Когда, ты говоришь, это было? В пятьдесят седьмом? Ну, значит, дочка не от тебя. Это я немного перепутала. Но ты всё равно сволочь. Нет того, чтобы зайти, поинтересоваться, как я живу, принести чего-нибудь полезного для здоровья.

– Фаня, как я могу зайти? Я же в Америке.

– Где, где?

– В Америке, Фаня. В Соединённых Штатах. За океаном.

– Ты что, всерьёз? Что ты делаешь в Америке?

– Живу. Я уехал из Советского Союза больше сорока лет назад. Вот с тех пор и живу в Америке, в штате Нью-Джерси.

– Ты с ума сошёл! – говорит Фаня. В её голосе звучит тревога пополам с неверием. – Как ты можешь там жить? Там же преступность на каждом шагу! Я слышала, ваше пресловутое ЦРУ там бесчинствует, шпионит за всеми с утра до вечера! Кроме того, вы всё время хотите уничтожить нашу страну!

– Ну что ты, Фаня! Зачем нам её уничтожать?

– Известно зачем. От зависти. Вам завидно, как мы живём: свободно, радостно. Продуктов в магазинах полно. Отдыхаем, где хотим: хотим – в Турции, хотим – на Кипре. Теперь даже в Крыму можем отдыхать.

Я начинаю лихорадочно соображать, как бы поскорее закончить этот разговор. На выручку приходит сама Фаня.

– Так ты что, из Америки звонишь? Это же дорого, небось?

– Да, Фаня, страшно дорого. Я даже заём в банке взял, чтобы тебе позвонить. Не знаю, как теперь расплачусь.

– Тогда заканчиваем, – великодушно говорит Фаня. – Ну, ты давай, держись там. И звони, не пропадай.

– Хорошо, Фаня. Ты тоже держись. Будь здорова. Я обязательно позвоню, – говорю я и про себя уточняю:

– Обязательно позвоню через шестьдесят лет.

Я кладу трубку, и мне на ум приходит старая банальная мудрость: нельзя войти два раза в одну и ту же реку. И я понимаю, что это неправда. На самом деле можно войти.

Только нужно ли?

Рисунки Вальдемара Крюгера

Андрей Семенович

Германия

Опера «Моби Дик» в городском театре

В прошедшую субботу в нашем городском театре состоялась премьера оперы «Моби Дик» по роману классика американской литературы Германа Мелвилла. Роман много раз экранизировался, по нему ставили спектакли, а кинематографист Орсон Уэллс даже написал двухактную пьесу «Моби Дик — Репетиция» о процессе его постановки на сцене. О значительности произведения красноречиво свидетельствует и названная в честь одного из его героев знаменитая сеть кофеен «Старбакс». Кстати, та из них, что расположена напротив театра, сделала новинке репертуара хорошую рекламу, объявив о двухмесячной 15%-скидке на все горячие напитки.

Долгожданное событие несколько раз переносилось, поскольку молодой композитор необычайно тщательно дорабатывал, переделывал и дописывал партитуру. Он представил такое количество вариантов, что только на отбор удачных мест дирижеру и режиссеру потребовалось несколько месяцев, а репетиции каждый раз приходилось начинать заново. По официальным подсчетам это уже 118-я опера «Моби Дик». Поэтому в наших театральных кругах предлагали повременить несколько лет, пока она не окажется 150-й или хотя бы 125-й, чтобы представить и отпраздновать ее как юбилейную. Дирекция же, ссылаясь на угрозу закрытия театра из-за сокращения дотаций, объяснила желающим ждать у моря погоды, что такой поворот событий и вовсе исключит перспективу предполагаемых торжеств. С другой стороны, успешный спектакль отсрочит финансовую катастрофу, и тогда можно будет заказать и поставить еще одну, уже круглую по счету оперу «Моби Дик».

Действие спектакля овеяно мистикой. Оно разворачивается на парусном китобойном судне, вышедшем из порта Нантакет неподалеку от Бостона. Им командует капитан с именем библейского царя Ахава, который вместе со своим народом был жестоко наказан за глумление над Всевышним. Капитан одержим навязчивой идеей отомстить Моби Дик — огромному белому кашалоту, по вине которого он потерял ногу. Все плавание подчинено поиску и преследованию коварного

чудовища. Исступленная схватка с загадочным существом заканчивается потоплением корабля и гибелью всей команды. Неумную ярость Ахава иногда объясняют предположением, что вместе с ногой кашалот отхватил ему и еще кое-что, но театр ханжески отказался от этой кассово выигрышной интерпретации, способной разом вызволить его из бюджетного тупика.

Однако бедность пуританской трактовки главной интриги сполна компенсирована изобретательностью постановки. Сначала публика созерцает по-минималистски пустую сцену, олицетворяющую океанский простор. Мусор на ней, читаемый как современное загрязнение окружающей среды, исчезает под метлой уборщика, как бы возвращающего нас в экологически чистый девятнадцатый век. Толкающие друг друга рабочие, спешно монтирующие декорацию и выносящие реквизит, переругиваются все более громко, имитируя нарастающий шум прибоа. Постепенно на сцене выстраивается конструкция наподобие гигантских двурусных нар с лесенкой на этаж, в котором при известном воображении угадывается капитанский мостик. Свисающая с портала серебристая марля, ассоциирующаяся с рыбой чешуей, указывает на отношение сюжета к морскому промыслу. В середине сцены открыт люк, куда, как в преисподнюю, с истошным воплем проваливается один из рабочих, предвосхищая трагическую развязку.

По мере заполнения сцены на ней появляются и певцы. Некоторые пробуют голос, но когда на костяной ноге выходит Ахав, все смолкают. Ахав молча разминается, грозно стуча протезом по капитанскому мостику. В оркестровую яму пробираются музыканты. Поначалу кажется, что они настраивают инструменты, но по конвульсивным судорогам неизвестно откуда взявшегося дирижера становится понятно, что играется увертюра. Постепенно беспорядочные звуки сливаются в один протяжный вой, который лейтмотивом проходит через всю оперу. В целом оркестровое сопровождение не связано с вокальными партиями, выполняющими не столько музыкальные, сколько повествовательные функции. При этом артисты выказывают недюжинное мастерство. Например, роль Ахава требует от исполнителя виртуозного владения протезом. Некоторые эпизоды можно без преувеличения назвать произведениями для протеза с оркестром. Экспрессия усиливается нечленораздельными выкриками, разнообразие и нюансировка которых делают честь, как либретисту, так и композитору.

Матросы передвигаются по сцене небольшими группами. Они поют а сарелла все более фальшиво и нестройно, демонстрируя слабеющую дисциплину. При этом они соревнуются за лидерство и, как борцы сумо, стараются спихнуть друг друга в открытый люк. Угодившие туда протестуют, выкарабкиваются, и возня продолжается. Под сценой иногда мелькают два санитары с носилками, но спектакль не прерывается. Иногда кто-то из матросов, как в пучину, падает в оркестровую яму и дальше уже не появляется. Наиболее энергичные пытаются по лесенке забраться на капитанский мостик, но опрокидываются доминирующим на нем Ахавом. Напряжение нарастает, и оркестровый вой перерастает в ураганный рев. От беготни, падений тел и ударов протезом декорации расшатываются. От них отваливаются части, которые прикрепляются обратно выскакивающими из-за кулис рабочими сцены, что добавляет суматохи и усугубляет чувство незащищенности человека перед разбушевавшейся стихией. Осветительные приборы периодически выходят из строя, и после молниеподобных вспышек все погружается во мрак, что сеет на бутафорском корабле панику, передающуюся и залу.

К финалу на сцене остается меньше половины участников и декораций. Куски конструкции, которые растерянные рабочие тщатся прикрепить обратно, разбросаны по полу. Появление белого кита обозначено приспусканием серебристой марли-чешуи, в которой начинают путаться матросы. Спотыкаясь, они падают то в люк, то в оркестр. Капитанский мостик трещит под бешеными ударами протеза Ахава, раскачивается и дрожит. От мерцающих софитов по сцене мечутся зловещие тени. У рампы возле искрящего кабеля возятся техники, пытающиеся совладать с растревоженным электричеством. Оставшись один, Ахав дотягивается до марли-чешуи, виснет на ней и пытается сорвать. От неистовых ударов протезом от капитанского мостика отделяется лесенка, как бы отрезая путь к спасению, а потом с оглушительным грохотом рушится и сам мостик. Ахав висит, закрученный в серебряную занавеску, его протез летит вниз и, судя по натужному хлопку и звону, пробивает литавры. Музыканты ретируются из оркестровой ямы, куда низвергаются и сценическая конструкция, и Ахав, накрываемый серебряной марлей. После паузы она величественно возносится вверх, символизируя гордый исход кита после учиненного разгрома и опустошения. Под стоны отчаявшихся электриков свет гаснет окончательно. В полной темноте наступает тяжелая тишина, и только непобежденный, как и кашалот, кабель еле

слышно жужжит, рассыпая огненные брызги. Воцарившийся штиль длится минуту, кажущуюся вечностью. Наконец, от короткого замыкания провод, прощально вспыхнув, перегорает. Через пару секунд зал освещается, и на сцену выходят прихрамывающие исполнители. Нокаутированные зрители приходят в себя и облегченно аплодируют. Артистов долго не отпускают, и после дюжины вызовов публика, пошатываясь и унимая дрожь в коленях, бредет к выходу.

Наше бледное описание ни в коей мере не передает ошеломляющее впечатление от премьеры. К сожалению, по техническим причинам режиссуру уже следующего — воскресного — представления значительно упростили. Теперь зрителю не показывают ни уборку сцены, означающую реверс во времени, ни нервную сборку декораций, ни их драматичное разрушение, демонстрирующее бессилие людей перед силами природы. На заранее прибранной сцене неизбежно стоит вся конструкция, рабочие не появляются, а артисты не падают ни в люк, ни в оркестровую яму. Поскольку музыкантам уже ничего не угрожает, они до конца остаются на своих местах. Отказались и от рискованных трюков с электричеством, сузив палитру световых эффектов. К счастью, изменения не затронули звуковой ряд: оркестр все так же нагнетает тревогу и пугает публику, матросы поют по-прежнему дезорганизовано, а исполнитель роли Ахава продолжает восхищать неподражаемым звукоизданием и искусством игры на протезе.

Мы настоятельно рекомендуем посмотреть данный оперный спектакль и с помощью нашего репортажа постараться представить его изначальное великолепие.

Григорий Яблонский

Сент-Луис, США



Голая правда, или новое «Новое платье короля»

Трудно найти образованного человека, который бы не читал сказки Ханса Кристиана Андерсена. И в особенности, «Новое платье короля». Двое обманщиков назвали себя ткачами. Они «заявили, что могут вы ткать замечательную ткань... платье, сшитое из этой ткани, обладает чудесным свойством становиться невидимым для всякого человека, который не на своем месте сидит или непроходимо глуп».

И старый министр, и чиновники, и камергеры, да и король – все попались на удочку обманщиков. Не говоря уже о народе – людях на улице и в окнах. Никто не хотел признать, что он глуп.

И только какой-то ребенок сказал вдруг: «Да ведь он голый!»

И все шепотом передали друг другу эти слова, и весь народ закричал наконец: «Он голый!». И королю стало не по себе. Он тоже понял, что он голый, но надо было шагать дальше.

Такова история, рассказанная Хансом Кристианом Андерсеном. Конечно, это – замечательная сказка. Известно, что «сказка – ложь», но сказка Андерсена – слишком большая ложь, очень далёкая от жизни. По-видимому, Андерсен видел в жизни не слишком много королей, только датских. А датские короли – это, знаете ли, большое исключение. Думается, что сказку Андерсена надо пересказать.

Пришло время для правдивой истории.

Начнём с того, что такого короля, какого представил Андерсен, необычайно доверчивого и легковверного, в природе не было, нет и быть не может. А какими бывают короли? Очень разными – Великими,

Длинными и Короткими, Старшими, Средними и Младшими, Грозными, Тихими и Тишайшими, Благословенными, Благочестивыми и Кровавыми, Длинноволосыми и Рыжими, Смелыми и Безземельными, Хромыми, Горбатыми и Толстыми. Король бывает Освободитель, Лев, Львиное Сердце и Солнце. Есть король Заика и королева Большая Нога. Встречаются короли Красивые. А вот король Простодушный попадаетея исключительно редко. К тому же исторические хроники противоречат его имени и сообщают, что он был неглуп и энергичен.

Короче говоря, обычный король, встречающийся на каждом шагу, а он-то и будет героем нашей сказки – король–интриган. Профессия, ничего не поделаешь...Король хитёр, исключительно подозрителен и озабочен только одним, как бы усидеть на троне до конца своих дней.

Обманщики, назвавшиеся ткачами, представили пред его королевские очи пустые станки, на которые якобы была натянута ткань необычайно красивого цвета и с великолепными узорами. Для короля сразу же стало ясно, что он имеет дело с отъявленными мошенниками. Но он ничем это не выказал. Более того, он выразил своё королевское восхищение и назвал работу мошенников «неслыханным шедевром». Он щедро одарил фальшивых ткачей, и они рассыпались в благодарностях, поверив, что проделка удалась.

Почему же король не вывел мошенников на чистую воду? Интересный вопрос! Дело в том, что король был страстный коллекционер. Надо сказать, что в то время короли стремились отличиться друг перед другом. Кто устраивал рыцарские турниры, кто поощрял обжор и пьяниц, у кого-то при дворе была талантливая труппа уродов, карликов и гигантов. Были короли, славящиеся дерзкими шутами. Одни короли широко распахивали двери перед вдохновенными трубадурами. Других привлекали астрологи, следившие за знаменьями, и алхимики, сулившие богатства.

Всё это было и у нашего короля, но главный его интерес был в другом. За 20 лет своего правления король сумел собрать вокруг себя уникальную коллекцию мерзавцев, подлецов, скотов, негодяев, лжецов и подонков. Естественно, что ему хотелось обогатить это сокровище уникальными экземплярами. И жить с мошенниками королю было куда интереснее, чем с честными людьми. И не то чтобы он плохо относился к честным людям, от общения с мошенниками король ожидал неожиданных идей, полезных для управления государством. А от честных людей ждать было нечего, их король просто не понимал.

Известие о том, что приехали создатели изумительного платья, «неслыханного шедевра», разошлось по столице и взволновало народ. А народу волноваться не полагалось, ему полагалось «приветствовать и повиноваться». Но король знал, что делать. Собственно говоря, его навели на эту замечательную мысль мошенники-ткачи. Королевская идея состояла в том, чтобы предстать перед народом и пройтись, так сказать, в естественном виде, проверяя народное повиновение. Несмотря на всё свое интриганство, король был большой либерал. Свобода мыслей была в королевстве не отменена, и король этим чрезвычайно гордился. «Думай что хочешь – кричи ПИП (приветствую и повинуюсь)», – так было написано на стене городской ратуши.

Кроме того, будущая прогулка нагишом приятно волновала короля. Хотя он уже был и не молод, но находился в хорошей физической форме: плоский живот, развитая мускулатура, гордая осанка. Ему было что показать народу, особенно его прекрасной половине.

На Государственном Сенате был обсуждён план действий. И первый министр, и министр народного повиновения, и все сенаторы единодушно поддержали блистательную королевскую идею. Кстати говоря, короля ничуть не интересовало, верят ли его вельможи в «неслыханный шедевр» или нет. Правда, министр народного подозрения донёс королю, что министр народного повиновения назвал «неслыханный шедевр» «невидимым шедевром». Но король лишь благодушно отмахнулся. Он и так твёрдо знал, что всё его окружение – мерзавцы и лгуны, и выяснение истины для него не имело никакого смысла. Важным было только повиновение.

Гулять было решено по центральной Королевской улице, любимому месту прогулок горожан, от королевского дворца до Королевского озера. Там король сядет в королевскую лодку с итальянскими гребцами.

Народ будет стоять плотными рядами вдоль улицы. Агентов будет не так уж много – не более, чем один на десять человек. Это сочли разумным решением: государственная казна – не бездонная бочка!

И всё прекрасно получилось. Был чудный майский день, не жаркий, не прохладный. Ласковый ветерок охлаждал чело короля и обвевал торс и чресла. Ткачи семенили рядом, почтительно поднося руки и двигая ими в разные стороны – так, чтобы ни в коем случае не коснуться королевских чресел.

Мощное «ПИП», «ПИП», «ПИП» («приветствую и повинуюсь») прокатывалось по рядам горожан, радуя душу монарха. Начинили «ПИП» агенты, но народ подхватывал мгновенно, ничуть не

оглядываясь на людей в форме и без неё. Равномерное пипиканье подмастерьев, отрывистое – с долгой паузой – торговцев, трогательно-пронзительное – служанок, печально – воодушевленное – вдов, стоявших отдельно, залиvisto-радостное – городских сорванцов – всё слилось в единый мощный хор любви к обожаемому суверену. Не было никакого страха, никакой боязни – о чём вы говорите? Одна лишь любовь! И никому не было дела, видима или нет божественная оголённость того, кого Провидение даровало им в короли. Казалось, наступило всеобщее причащение и просветление, общие слёзы лились из глаз. Незабываемо!

Вечером в Академии Потаённого Знания прошла дискуссия на тему «Иллюзии оголённости и их место в научной картине мира».

А где же был тот пресловутый мальчик – правдолюбец с его выкриком. Да был ли мальчик? Может, никакого мальчика и не было?

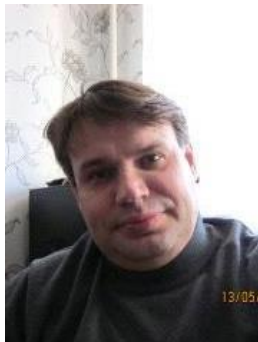
Был, конечно. Тут Андерсен не погрешил против истины. Но только почти никто его не услышал. Только этот мальчик начал кричать «А король-то го...», какой-то седой служивый, стоявший рядом, как завопит: «Го-о-о-о-л!!!». Все вокруг так и покатались со смеху. А служивого наградили потом ценным подарком. За находчивость!

Королевская прогулка стала традицией, король повторял её ежегодно. В других странах короли тоже стали делать что-то подобное. Короли гуляли голыми, королевы – полуголыми. Естественно, кое-что меняли. Мальчику, например, стали не мешать. Его не заглушали, ему не затыкали рот. Иногда его специально приглашали и даже угощали сладостями – чтоб кричал посильнее. Но как он ни старался – внимания на него никто не обращал: традиция!

Вот такие дела! Так уж получилось, что Ханс Кристиан Андерсен не смог написать правдивую историю. А всё дело в том, что он плохо знал королей. Да и народ тоже.

Олег Пряничников

Верхняя Салда, Россия



Спор

— М... м...

— Вы опять? Дороги асфальтируют, дома строят.

— Где?

— В Караганде!

— Где-где??

— Про Москву слышали? Про Казань. Итак, инфляция низкая, ни-жай-ша-я! А зарплаты растут.

— У кого?

— Тьфу ты!

— Это точно — зарплату получил и тьфу ты.

— Но разве цены в магазинах не стабильны?

— Не стабильны.

— По крайней мере, цены в магазинах не повышаются. Резко.

— Это в каких?

— Да хотя бы в продуктовых! Далее: зарплаты растут...

— За детсад подорожало. Ребёнка чтобы в школу собрать кредит брать надо.

— А про прибавки к пенсиям вы забыли?!

— Вы думаете, я до пенсии доживу?

— Конечно. Ведь инфляция низкая, зарплаты растут и, кстати, средняя продолжительность жизни по стране выросла. Ну что, согласны с тем, что жизнь в России улучшается?

- Чья?
- Вы еврей?
- Русскоукраинец я... Ах, да: Россия — великая держава!!!
- Вот-вот, жалко дураков в ней хватает.
- Это точно.

Сведения об авторах

Лейла Александер-Гарретт (р. Узбекистан). Писатель, переводчик со шведского и английского. Работала переводчицей и ассистентом на фильме Тарковского «Жертвоприношение» в Швеции. Автор книги «Андрей Тарковский: собиратель снов» (М, Аст, «Астрель», 2009). Живет в Лондоне.

Нина Аловерт (р. Ленинград). Окончила исторический факультет Ленинградского университета. Специалист в области балета и балетной фотографии. С 1977 года живет в Америке. Внештатный балетный критик и фотограф журналов Dance Magazine, Ballet Review, Point, журнала «Балет» (Москва), русскоязычных газет в Америке. Принимала участие в составлении «Международного балетного словаря» (Лондон, «Сент-Джеймс Пресс», 1994), в справочнике «Кто есть кто в современном мире», Москва, 2003. Автор книг и альбомов. Имеет международные премии и награды.

Лев Альтмарк (р. 1953, Брянск). Окончил Институт транспортного машиностроения, работал инженером, учителем, журналистом. В 1990 году поступил в Литературный институт им. Горького на семинар А.И. Приставкина. После окончания института в 1995 году переехал в Израиль (Беер-Шев). Публикации в журналах «Юность», «Дружба народов», «Нева», «Новый Ренессанс», «Российский колокол». Выпустил семь поэтических сборников и одиннадцать книг прозы (включая переводы и переиздания).

Наум Белог (Одесса). Первое стихотворение написал в 1943 году. В то же время начал рисовать. С тех пор продолжал заниматься этим. Работал инженером в СКБ. Изобретал новые машины. В 1987 году эмигрировал в Австралию. Продолжал работать инженером до 2008 года. Выйдя на пенсию, начал выставляться в австралийских галереях и писать рассказы, вначале на английском, а потом на русском. Печатался в Австралии, Израиле и Америке.

Татьяна Белянчикова. Родилась и живет в Москве. Много лет проработала менеджером в коммерческом банке, сейчас на тренерской работе – преподает банковское дело в ВУЗе. Автор четырех поэтических сборников, публикаций в литературных журналах и альманахах. Призер и победитель ряда поэтических конкурсов в рунете. Пишет тексты песен для исполнителей различных жанров.

Лев Бердников (р. 1956, Москва). Окончил филологический факультет Московского областного педагогического института и Высшие библиотечные курсы. Работал в Музее книги Российской Государственной Библиотеки, С 1990 г. живет в Лос-Анджелесе. Автор 7 книг и многочисленных публикаций. Зам. главного редактора журнала «Слово/Word» (США). Лауреат Горьковской литературной премии 2010 года в номинации «По Руси. Историческая публицистика».

Николай Боков. Родился в Москве, учился, надеялся, старался, беспокоился, кипятился, изучал философию, сочинял литературу, женился, печатался за границей, распространялся в самиздате, боялся, попался,

обыскался, арестовался, спасался, надеялся, в 75-м очутился во Франции, в 82-м обратился, развелся, молился, скитался, вернулся в Париж в 99-м. Подробности в сочинениях. Член редколлегии журнала ЧАЙКА.

Сергей Брус (р. 1960, Одесса). Учился в Одесском среднем мореходном училище торгового флота. Затем переехал в Коми АССР, где работал вальщиком леса до 1997 года. В этом же году ушел в монастырь, где и принял иноческий постриг. Через год был рукоположен в сан иеродиакона. После того, как на Патриарший престол взошел Кирилл (В.М. Гундяев), монастырь покинул. В настоящее время работает охранником.

Сергей Бычков (р.1946, Ереван). Историк русской церкви, доктор исторических наук. Занимался религиозным воспитанием детей в приходе Покровской церкви, в которой служил священник Александр Мень. После крушения СССР занимается книгоиздательской деятельностью и публицистической работой. По его сценариям были поставлены телефильмы: «ВЧК против патриарха Тихона», «Живое слово отца Александра Меня», «Завтра меня убьют» (о ходе расследования убийства Александра Меня). Член редколлегии журнала ЧАЙКА. Живет в Подмоскowie.

Игорь Волошин (р. 1955, Киев). Окончил Ленинградский институт инженеров водного транспорта. В 1991 году эмигрировал в США. Периодически публикуется в русскоязычных изданиях с очерками о национальных парках Америки, о Чикаго и о малоизвестных, но необычных личностях в истории США. Живет в Чикаго, работает инженером. В ЧАЙКЕ опубликовал несколько очерков об еврейских художниках Чикаго.

Михаил Гаузнер (р. 1936, Одесса). После окончания Одесского политехнического института проработал 42 года в крупном конструкторском бюро станкостроения, был его ведущим, затем главным специалистом, имеет 20 авторских свидетельств СССР и патенты шести ведущих стран мира. Более 20 лет публикуется в одесских и зарубежных газетах, а также альманахах и сборниках. Автор трёх книг прозы, в 2017 г. стал лауреатом литературного конкурса им. Паустовского.

Ренэ Герра (р.1946). Литературовед, собиратель, хранитель и исследователь культурного наследия Зарубежной России. Автор, соавтор или составитель 37 книг о писателях и художниках-эмигрантах, из которых 24 изданы на русском языке. Президент-основатель Ассоциации по сохранению русского культурного наследия во Франции. Награжден орденом Дружбы РФ (2007). Лауреат Царскосельской художественной премии (2009), литературной премии им. Антона Дельвига (2010) и первой Таврической литературной премии «За подлинный вклад в сохранение и возрождение традиций русской словесности» (2016). Живет в Ницце.

Сергей Голлербах (р. 1923, Детское (Царское) Село). Живописец, график, художественный критик и литератор. В 1942 г. был вывезен немцами на работы в Германию. С 1946 по 1949 учился в Мюнхенской академии художеств, в которой учились многие русские художники. Член Американской академии художеств. Автор книг: «Заметки художника»

(1983), «Свет прямой и отраженный» (2003), «Нью-Йоркский блокнот» (2013). Постоянный автор журнала ЧАЙКА. Летом 2018 года стал дипломантом журнала ЧАЙКА за серию мемуарных очерков. С 1949 года живет и работает в Нью-Йорке.

Виолетта Гребельник (Киев). Окончила Киевский медицинский институт, медицинский факультет Римского университета «La Sapienza», кандидат медицинских наук по неврологии. Работает врачом в частной клинике. В свободное время играет на фортепиано и пишет очерки и стихи. Неоднократный победитель зимних и летних творческих конкурсов журнала ЧАЙКА. Живет в Риме.

Ксения Дуртай (Ксения Евтеева) (р. Ростов-на-Дону). Окончила Южный Федеральный университет по специальности «клиническая психология». С 2017 года начала работать копирайтером, а с 2018 внештатным автором в развлекательных порталах и региональных СМИ. Решила попробовать себя в написании художественной литературы. Планирует издать полнометражный роман.

Наталья Замулка-Дюбуше. Писатель, поэт. С 1990 года живет во Франции. Во Франции работала переводчиком, функционером муниципальной службы, сейчас на пенсии. Книги стихов «Мартовская метель», «Берег памяти», «Журавли родной земли». Книги прозы - «Билет на французский корабль», «Чужая нация», «Граница дождя».

Борис Зорькин (литературный псевдоним Валерий Румянцев (р. 1951, Оренбургская область). Окончил филологический факультет Воронежского государственного педагогического института, работал учителем, завучем в одной из школ Чечено-Ингушской АССР. После окончания Высших курсов КГБ СССР на протяжении тридцати лет служил в органах госбезопасности. Лирические и юмористические стихи, басни, эпиграммы, литературные пародии и фантастические рассказы печатались в РФ и за рубежом. Вышло в свет 10 книг Валерия Румянцева. Живет в Сочи.

Галина Ицкович (р. Одесса). Психотерапевт, клинический консультант и преподаватель-эксперт Междисциплинарного Совета по вопросам развития и обучения. Переводы, стихи, публицистика и короткая проза на русском и английском публиковались в журналах и альманахах. 1-ое место в номинации «Зрительские симпатии» на Открытом Чемпионате Германии по Русской Словесности (2013). Дипломы поэтических конкурсов «Лужарская полночь» (2013), «Эмигрантская лира» (2014). Живет в Нью-Йорке.

Маргарита Кайдун. Дизайнер, инженер, блогер, как автор травелогов дебютировала в журнале ЧАЙКА. Живет в штате Мэриленд (США).

Даша Кашина (Киев). Окончила Институт русского языка им. А.Пушкина в Москве. Русскоязычный журналист на Украине, печатается в российских изданиях, дебютировала и постоянно печатается в журнале ЧАЙКА. Ведет рубрику «Калейдоскоп новостей». Автор книги «Папа», в которую вошли ее интервью с детьми известных людей. Лауреат журнала ЧАЙКА за 2018 год в номинации «журналистика». Живет в Киеве.

Ксения Кривошеина. Художник, публицист, исследователь творчества Матери Марии (Скобцовой). Автор многочисленных публикаций во французских и российских изданиях. Редактор православного сайта «Parlons d'Orthodoxie». Живет в Париже.

Сергей Линков (р. 1935, Москва). В 1959 году окончил историко-филологический факультет МГПИ, в 1968 году — Высшие курсы сценаристов и режиссёров. Кроме того, был вторым режиссёром на фильме «Дворянское гнездо», а также ассистентом режиссёра при создании документального фильма «Обыкновенный фашизм». Соавтор сценария фильма «Тимур и его команда». Живет в Бостоне.

Элеонора Мандалян (Москва). Журналист, писатель. По образованию скульптор. Кандидат наук. С 1994 живет в США. Работала литературным редактором в русскоязычном альманахе «Панорама» и вела в нем свою рубрику «Непознанное». Постоянный автор и член редколлегии журнала ЧАЙКА. Ведет рубрики «Кинообозрение Элеоноры Мандалян» и «Америка глазами россиянина». Живет в Лос-Анджелесе.

Лариса Миллер (Москва). Российский поэт, прозаик, эссеист и педагог. Автор более 13 сборников поэзии и прозы. Книги переведены на английский и итальянский языки. Член Русского ПЕН-центра (с 1992). Постоянный участник Альманахов журнала ЧАЙКА. Живет в Москве.

Евгения Народицкая. Журналист, живет в Рок-Айленде, США.

Саша Немировский (р. 1963, Москва). Поэт, писатель, путешественник, скалолаз, программист, антрепренер. Печатается в различных литературных альманахах и изданиях в США, Франции и Финляндии. Автор 4 книг стихов: «Без Читателя» (Москва 1996), «Уравнение разлома» (2009), «Система Отсчета» (2012). «На втором круге» (2014). С 1987 пишет стихи в своем собственном стиле «джаз-поэзия». Член СП Петербурга, иностранное отделение. Живет в Калифорнии, США.

Валентин Нервин (р. 1955). Член Союза российских писателей, автор 12 книг стихотворений. Лауреат литературных премий им.Н. Лескова (Россия) и им.В. Сосюры (Украина), специальной премии Союза российских писателей «За сохранение традиций русской поэзии» (в рамках Международной Волошинской премии-2013), Международной Лермонтовской премии (2014). Стихи переводились на английский, немецкий, румынский, украинский языки. Живет в Воронеже (Россия).

Григорий Оклендский (Беларусь). Школьные годы прошли в Гомеле, незабываемые студенческие – в Ижевске, а лучшие – в Новосибирском Академгородке. Многие годы занимался автоматизацией научных исследований, а также разработкой информационных систем здравоохранения. Кандидат технических наук. Более 20 лет живет в Окленде (Новая Зеландия), где работает в области информационных технологий, что сочетает с любовью к поэзии и путешествиям. Автор 2-х поэтических книг и многочисленных публикаций в сетевых и бумажных изданиях.

Григорий Писаревский (Харьков). Инженер-электрик. В Америке с 1988 года. Около 25 лет работал в крупных американских компаниях в области информационных технологий. Живет в Нью-Джерси. Является одним из основателей и членом правления клуба «Русских Американцев» в своем городе. Печатался в интернет-журнале «Беркович-Заметки», калифорнийском интернет-журнале «Кстати», «Еврейском Мире» и местной газете «Concordian» (на английском языке). Также на английском языке под псевдонимом «Jeff Pierce» опубликовал на Амазоне политический триллер «Hallways of Deserption» (Коридоры Обмана).

Олег Пряничников (р. 1969, Россия). Впервые опубликовал свои юморески в журнале «Рабоче-крестьянский корреспондент» в 1986-м году. Затем были публикации в журналах «Крокодил», «Чаян», «Калейдоскоп», «Вокруг смеха», в газетах «На смену!», «Уральский рабочий», «Литературная Россия» и других. Автор книги «Игра длиною в жизнь».

Александр А. Пушкин (р. 1957, Москва). Окончил МГПИ, отделение русского языка и литературы. Работал в театрах, экспедициях, школе, зоопарке, на стройке, в НИИ. С 1986 года - в Нью-Йорке. Был учителем, строителем, таксистом и др. Работал в New Review/«Новый Журнал». В настоящее время - главный редактор журнала «Слово/Word».

Виктор Райzman (р. 1934, Одесса). Инженер-металлург, доктор технических наук. В 1991 году эмигрировал в США. Стихи публиковались в альманахах и различных периодических изданиях. Финалист конкурсов поэтов Русского Зарубежья «Пушкин в Британии-2009» (Лондон) и «Эмигрантская лира-2010» (Брюссель).

Александр Ралот (Александр Петренко). Краснодарский прозаик, публицист и краевед. Автор пятнадцати электронных книг и десяти бумажных. Все они озвучены профессиональными артистами различных театров СНГ. Член Союза писателей России и межрегионального союза писателей, член правления Южно-Российского творческого объединения «Серебро Слов».

Семен Резник (р.1938, Москва). Писатель, журналист, историк. Более десяти лет работал редактором серии «Жизнь замечательных людей», в которой вышли его первые книги. Биография академика Н. И. Вавилова была признана «идеологически вредной», только вмешательство крупнейших ученых и международная огласка спасли книгу от уничтожения. Исторические романы «Хаим-да-Марья» и «Кровавая карусель» – о кровавом навете на евреев и Кишиневском погроме – вообще не могли быть изданы, что заставило писателя эмигрировать в США в 1982 году. Автор фундаментальных книг о Вавилове и Солженицыне. Лауреат премии журнала ЧАЙКА за 2018 год. Живет в Большом Вашингтоне.

Виктор Родионов. По рождению сибиряк. Служил в Группе советских войск в Германии. Главная часть жизни прошла в Прибалтике. Остальная – в США. Образование – юрист-международник. Профессия – журналист. Работал в молодежной прессе и ТАСС. В США с 1992 года. Сотрудничает с

изданиями России, Латвии, Германии, Нью-Йорка, Сиэтла, Денвера, Чикаго, Вашингтона, Балтимора. Постоянный автор журнала ЧАЙКА. Живет в Луисвилле, Кентукки (США).

Александр Романов (р. Волгоград). Окончил Волгоградскую Архитектурно-строительную академию в 2000 г. Служил в ВС РФ в 2000-2001 гг. Работал дизайнером. Сейчас архитектор-проектировщик зданий и сооружений. Писать начал в 2013 году. Дебютировал с рассказами в журнале ЧАЙКА. Живет в Волгограде.

Ирина Роскина. Окончила в 1971 г. романо-германское отделение филологического факультета МГУ. С 1972 г работала в Иностранном отделе Госфильмофонда СССР и по совместительству синхронным переводчиком кинофильмов. В 1990 году переехала в Израиль, где работала в Иерусалимской библиотеке Гуманитарных и Общественных факультетов Еврейского университета. Публикует в журнале произведения из семейного архива, переписку и прозу своей матери, литературоведа и редактора Натальи Роскиной. Пишет мемуарную прозу. Постоянный автор журнала ЧАЙКА. Живет в Иерусалиме.

Наум Рошаль (1926, Белоруссия). 14 ноября 1943 года был призван в Красную армию. Воевал в составе войск 1-го Украинского фронта. Воспоминания напечатаны в журнале ЧАЙКА.

Александр Сиротин (Москва). Журналист, писатель, в прошлом актер, радиожурналист. Мама Александра Нехамы Сиротина играла в ГОСЕТе Соломона Михоэлса. Сотрудничает с американскими русскоязычными газетами и журналами, радио и телевидением. Автор сборника рассказов «Москва – Нью-Йорк, далее везде». Постоянный автор и член редколлегии журнала ЧАЙКА. Живет в Нью-Йорке.

Роман Солодов (р.1944, Москва). Окончил МАИ, затем ВГИК. В России занимался научно-популярным кино, сценарист. В 1991 году эмигрировал в США. Работал на радиостанции «Свобода», получил профессию технолога по радиоизотопной медицине. Автор четырех романов в семи книгах, повестей, рассказов и многочисленных статей. Ведет в ЧАЙКЕ раздел политики и социологии. Живет в Нью-Джерси.

Михаил Синельников (р. 1946, Ленинград). Известный российский поэт, переводчик, эссеист, исследователь литературы, составитель многих антологических сборников и хрестоматий. Академик Российской академии естественных наук, Петровской академии и турецкой Академии поэзии, лауреат Премии Ивана Бунина, Премии Антона Дельвига, Премии Арсения и Андрея Тарковских и еще ряда российских и иностранных премий. Стихи переводились на многие иностранные языки и отдельными книгами вышли в Черногории, Румынии, Японии. В ЧАЙКЕ ведет свой «поэтический» блог. Живет в Москве.

Валерий Скобло (р. 1947, Ленинград). Поэт, прозаик, публицист. Окончил матмех Ленинградского ун-та. Работал научным сотрудником в ЦНИИ «Электроприбор». Научные труды в области прикладной математики,

радиофизики, оптики. Сборники стихов «Взгляд в темноту» и «Записки вашего современника». Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Стихи, проза, публицистика публиковались в российской и зарубежной литературной периодике. Премия им. Анны Ахматовой за 2012 г. (номинация «Поэзия» журнала «Юность»). Шорт-лист международного конкурса стихотворного перевода «С севера на восток» – 2013 г. (журнал «Иные берега») Постоянный автор журнала ЧАЙКА.

Евгений Соколинский (р. Ленинград). Окончил филфак Ленинградского университета, защитил диссертацию по драматургии А.В. Сухово-Кобылина и гротеску. С 1976 года начал публиковать театральные рецензии, обзоры, проблемные статьи, портреты актёров, режиссёров, драматургов. Более 30 лет ведет оперный видеолекторий в Российской национальной библиотеке. Член экспертного совета Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». С 2000 г. – член Союза писателей Санкт-Петербурга.

Ольга Соловьева. Окончила Санкт-Петербургский Государственный Университет. Защитила две кандидатские диссертации – кандидат физико-математических и юридических наук. Интересуется театром, модой и не только. В журнале ЧАЙКА публикует рецензии на современные постановки в питерских театрах, пишет заметки о городе и его жителях в своей постоянной рубрике «Записки на коленке». Живет в Санкт-Петербурге.

Владимир Спектор (р. 1951, Луганск). Поэт, публицист. Окончил машиностроительный институт и Общественный университет (факультет журналистики). Автор 25 изобретений. Работал журналистом, главным редактором региональной телерадиокомпании, корреспондентом киевской газеты «Магистраль». Член Союза журналистов, редактор литературного альманаха и сайта «Свой вариант», научно-технического журнала «Трансмаш». Автор более двадцати книг стихотворений и очерковой прозы. Постоянный автор журнала ЧАЙКА.

Евгений Терновский (р. 1941, Раменское, Московская обл.). Русский писатель, переводчик и литературовед. В 1974 году эмигрировал. Учился и преподавал в Кёльнском университете. Затем переехал во Францию, где стал доцентом славистской кафедры Лилльского университета. В 1985 году получил степень доктора философии. На рубеже 1970-х и 1980-х годов поселился в Париже. Автор ряда романов, три из которых написаны на французском языке, а также исследования «Pouchkine et la tribu Gontcharoff» («Пушкин и род Гончаровых»), основанного на уникальных материалах из французского архива семьи Геккернов.

Николай Толстиков (р. 1958, Кадников Вологодской области). Окончил Литературный институт им. А.М. Горького в 1999 году. В настоящее время – настоятель храма священномученика Власия, епископа Севастийского города Вологды. Победитель в номинации «проза» международного литературного фестиваля «Дрезден-2007», лауреат «Литературной Вены-2008 и 2010», победитель конкурса имени Ю. Дружникова на лучший рассказ журнала «Чайка» (США). Член Союза писателей России.

Ольга Трифонова-Тангян (Москва). Окончила английское отделение филфака МГУ, работала в издательстве «Прогресс» и в ИМЛИ, где защитила кандидатскую диссертацию. Является автором-составителем книги А. Нюренберга «Одесса-Париж-Москва» (М., 2010), а также автором ряда мемуарных статей о своем отце писателе Юрии Трифонове. Постоянный автор журнала ЧАЙКА. Живет в Дюссельдорфе (Германия).

Игорь Троцкий (р. 1941, Калуга). Окончил МФТИ в 1965; кандидатскую степень получил в 1968, докторскую – в 1976, учёное звание: профессор. Автор более 100 научных работ и 29 американских патентов. В Нью-Йорк приехал в 1992 г., участвовал в организации выставки «Оптика из России». В 1995 организовал в Лас-Вегасе совместную компанию по производству лазерных изображений. Как автор рассказов дебютировал в журнале ЧАЙКА.

Соня Тучинская. Родилась и выросла в Ленинграде. С большим трудом и по абсолютному недоразумению закончила там один из технических вузов. В прежней, доэмигрантской жизни – инженер-электрик. Последние 25 лет живет в Сан-Франциско. Первые годы работала в Jewish Vocational Services. Потом, в погоне за длинным рублем, перешла в software industry. Рассказы, эссе, публицистика и переводы с английского – в «Звезде», «Неве», «22», «Нота Бене», «Леханме», Слово/Word, «Панораме», «Еврейском Мире», «Форвартсе», на сетевом Портале «Заметки по еврейской истории» Берковича, включая сайт «7 Искусств».

Борис Фогель (Москва). После окончания Музыкального Училища имени Гнесиных более 30 лет работал в Москонцерте как концертирующий пианист и аккомпаниатор. Выступал с оперными певцами Большого театра, исполнителями старинных русских романсов, цыганских и еврейских песен. В течение нескольких лет принимал участие в многочисленных гастрольных поездках популярных артистов Московского Театра сатиры: Андрея Мироноват, Ольги Аросевой и Бориса Рунге, Спартака Мишулина, Анатолия Папанова, Веры Васильевой. Живет в Бостоне.

Яков Фрейдин (р. 1945, Свердловск). Кандидат технических наук, специалист в медицинской электронике и биокибернетике. В 1977 эмигрировал в США. Автор более 90 научных статей, 60 изобретений и популярного учебника по датчикам (Handbook of Modern Sensors). Автор книги воспоминаний «Adventures of an Inventor». Недавно опубликовал дебютную книгу художественной прозы на основе рассказов, напечатанных в журнале ЧАЙКА. Постоянный автор журнала. Лауреат премии журнала ЧАЙКА в номинации «художественная проза» за 2017 год. Живет в Сан-Диего (Калифорния).

Жиль Марк Фужерон (р. 1938). Бывший преподаватель русского языка и доцент Лилльского университета. Доктор наук по лингвистике, автор педагогических пособий по русскому языку. С основания в 2009 г. по 2015 г. преподавал в Русской православной семинарии в Париже.

Ирина Фужерон (Москва). С 1965 года живёт во Франции. Доктор филологических наук. Профессор университета. Сейчас на пенсии. С 1997 г. работает над архивами С.И. Карцевского.

Юрий Хейфец (творческий и артистический псевдоним Борис Берг) (р. 1953, Свердловск). Окончил Свердловский медицинский институт. В 2004 году получил второе высшее образование, окончив факультет психологии МГУ. В настоящее время работает врачом в Москве. Стихи и песни пишет с 14 лет, известен в кругу любителей авторской песни. Автор романа «Эпитафия», изданного в 2008 году в виде аудиокниги. Стихи впервые были напечатаны в журнале ЧАЙКА. Живет в Москве.

Евсей Цейтлин (р. 1948, Омск). Эссеист, прозаик, культуролог, литературовед, критик, редактор. Кандидат филологических наук, преподавал в университетах историю русской литературы и культуры. Дважды эмигрировал: в 1990-м в Литву, в 1996-м в США. Редактирует чикагский ежемесячник «Шалом». Начиная с 1968 г. публикуется во многих литературно-художеств. журналах и сборниках. Автор многих книг. О книге Евсея Цейтлина «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» не перестают спорить в разных странах и на разных языках. Член редколлегии журнала ЧАЙКА. Лауреат премии журнала ЧАЙКА за 2018 год. Живет в Чикаго.

Вера Чайковская (Москва). Прозаик, художественный критик, историк искусства, кандидат философских наук. Первая премия за прозу на международном литературном конкурсе в Италии (Анкона, 1997). Лауреат премии им. Катаева за повесть «Уроки философии» в журнале «Юность» за 2013. Диплом Академии художеств за книгу «Три лика русского искусства 20-го века: Роберт Фальк, Кузьма Петров-Водкин, Александр Самохвалов», М., 2006. Автор художественных альбомов и книг о художниках (Брюллов, Тышлер). В 2019 году изданы две ее книги: «Дух подлинности. Соцреализм и окрестности», (М., Искусство-21 век) и «Анекдоты из пушкинских времен и другие новеллы» (М., Буксмарт). Живет в Москве.

Ирина Чайковская (Москва). Писатель, критик, публицист, драматург, кандидат педагогических наук. Область исследований последние 20 лет: Тургенев и его эпоха. Автор двенадцати книг и многочисленных статей в российской и зарубежной периодике. Лауреат премии журнала «Нева» за 2015 год в номинации критики. Главный редактор журнала ЧАЙКА. Живет в Большом Вашингтоне.

Вадим Чирков. В прошлом житель Молдовы (Кишинев), детский писатель: сказки, рассказы, приключенческие и фантастические повести. Член СП бывшего СССР, лауреат конкурса им. Марка Алданова «Лучшая повесть Русского Зарубежья», журнал «Новый журнал» (Нью-Йорк), 2011, «Белогвардеец». С 2000 года живет в Нью-Йорке.

Натан Шиллер (р. 1923, Бердичев). Участник 2-й Мировой войны. Демобилизован в 1945. В 1951 окончил МГУ, исторический факультет, отделение истории и теории искусства. С этого времени и до эмиграции

работал сценаристом на Студии научно-популярных фильмов. В 1973 эмигрировал в США. Здесь занимался малым бизнесом. Литературные рассказы начал писать в 2015 году. Первый рассказ принят к публикации в литературном журнале «Чайка» в 2018 году.

Александр Экмекчи. В редакцию была прислана рукопись рассказа, найденного дочерью после смерти отца, участника войны.

Григорий Яблонский. Доктор химических наук, литератор. В 1960-80 годы работал в Новосибирском Академгородке и Туве. С 1995 года – профессор Washington University in St. Louis и Saint Louis University, Missouri (США), почётный профессор Гентского университета (Бельгия). Автор 7 книг по химической кинетике и катализу и более 200 научных работ. Печатался в различных литературных изданиях. Постоянный автор журнала ЧАЙКА и участник Альманахов. Живет в Сент-Луисе, США.